

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОЛДАТСКАЯ РОССИЯ»



ПУБЛИЦИСТИКА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ПРОБЛЕМЫ БИБЛИОТЕКА

ПУБЛИЦИСТИКА  
ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
И ПЕРВЫХ  
ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ



«СОЛДАТСКАЯ РОССИЯ»



ШКОЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА



ПУБЛИЦИСТИКА  
ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
И ПЕРВЫХ  
ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ



Москва  
«Советская Россия»  
1985

Рецензент кандидат филологических наук  
**В. В. Дементьев**

Составитель кандидат филологических наук  
**Ю. Н. Афанасьева**

Предисловие доктора филологических наук **И. К. Кузьмичева**

Художник **А. Ременник**

## 1

Спустя несколько месяцев после капитуляции Германии внимание мировой прессы привлекла заштатная немецкая провинция Люнебург: здесь английские военные власти судили фашистов-убийц, уничтоживших в бельзенском лагере свыше ста тысяч человек. Цифра эта была, по словам Л. Леонова, почти ничтожна в сравнении с миллионными гекатомбами Майданека и Освенцима, но это был первый процесс над военными преступниками, организованный Западом. Многие буржуазные журналисты, не доверявшие актам советской Чрезвычайной комиссии по расследованию фашистских злодеяний, могли воочию убедиться, что представляет собою на деле немецкий нацизм.

Однако буржуазная пресса превратила это событие в тривиальную и довольно непродолжительную сенсацию.

На суде ни разу не было названо слово фашизм, не была сделана даже попытка проследить, что заставило, например, крестьянскую девчонку из Тюрингии превратиться в самого лютого и изобретательного в лагерях Бельзена и Освенцима палача. Больше того, на суде у Ирмы Грезе нашлись дипломированные защитники, а в печати иностранные журналисты раскричали ее как «хорошенькую белокурую бестию».

Белокурая бестия или горгона, загримированная под Гретхен? Для буржуазных журналистов — это красotka, для Леонова — звероподобное существо, фашистский выродок с воспаленными навыкат глазами, как бы набухшими ужасными видениями.

Полярная противоположность характеристик военного преступника не случайна. Настороженно-сдержанный тон буржуазной печати в разгар войны по отношению к советской публицистике, бичующей фашизм, к концу войны сменяется ничем не прикрытым раздражением. Американским и английским журналистам не нравится непримиримая позиция советских писателей по отношению к фашистам. Они требуют «умеренности», «лояльности» и даже высказывают мысли об «обуздании» наших художников. Нью-йоркский журнал «Политик» задолго до



окончания войны, обращаясь к западному общественному мнению, восклицал: «Неужели вы не будете протестовать против того, чтобы немецких солдат заставляли работать в России? Неужели вы не будете протестовать против неистовства советских писателей, как-то: Алексея Толстого и Ильи Эренбурга?»

Беспринципное отношение западноевропейских и американских буржуазных литераторов к фашизму, по существу, носило антигуманистический характер. Оно не способствовало, да и не могло способствовать созданию на Западе правдивой, честной и художественно значимой публицистики. И наоборот, священная ненависть наших писателей к фашизму вызвала к жизни литературу больших идей, высоких гуманистических, истинно народных, общечеловеческих идеалов. Может статься, что со временем люди забудут зловещие имена гитлеров и герингов, но их сердца вздрогнут, когда они прикоснутся к статьям А. Толстого, Л. Леонова, М. Шолохова, А. Фадеева, И. Эренбурга и других советских публицистов 1941—1945 годов.

В предлагаемом сборнике собраны публицистические статьи и очерки виднейших советских литераторов. Но это лишь малая толика того, что было написано нашими художниками в годину тяжких испытаний. В те годы не было ни одного дня, чтобы на страницах центральной и фронтовой печати не появлялись яркие публицистические статьи, очерки, памфлеты, фельетоны, письма, воззвания, листовки, дневниковые записи и т. д.

## 2

Богата и разнообразна советская публицистика военных лет, высоки ее гражданские и художественные достоинства. Она не только бескомпромиссна и страстна, но и исключительно искренна, честна и правдива.

Известное изречение гласит: «Когда начинается война, первой жертвой становится правда». Ложь — постоянная и неизменная спутница всех несправедливых войн. Но история, кажется, еще не знала столь разнузданной и лживой пропаганды, какая с дьявольской энергией была развернута гитлеровской журналистикой. Ложь была возведена в государственный принцип. Ею фашисты вооружали армию и народ. «Лучше германская ложь, чем человеческая правда», — заявил один из нацистских гла-

варей. По инструкции Геббельса особые роты пропаганды должны были «путем распространения ложных и деморализующих сведений сломить волю противника к сопротивлению». Ложью же Геббельс стремился «поддержать настроение немецкого народа», соответствующим образом для этой цели монтируя и видоизменяя факты.

Немецкая публицистика претерпела определенную эволюцию. Вначале на разные лады воспевалась «слава» германского «непобедимого» оружия, а когда провал «молниеносной» войны стало невозможно скрывать, заговорили об «испытаниях», «стальной романтике», нелегкой, но «благородной» «исторической» миссии солдат фюрера. С приближением возмездия и бесславного конца немецкая пропагандистская машина повторяла одно: «Радуйся войне, ибо мир будет страшным!», «Победа или Сибирь!»

Фашистская публицистика была безлика. Немецкие журналисты не называли имен, не указывали конкретных фактов, бойко толковали о польских, чешских и советских «зверствах», но, как правило, не уточняли, где, когда и кем совершены эти «зверства». Не называли они и своих «героев», ограничивались сообщениями такого порядка: «Один ефрейтор убил 300 большевиков», «Три летчика сбили 72 советских самолета» и т. п. в том же духе.

Армия, имеющая преступные цели и ведущая несправедливую войну, героизма не знает. Потому и безлика, анонимна, вымышлена фашистская публицистика. У советских публицистов и очеркистов не было недостатка в адресах, так как героизм носил массовый характер и был естественным проявлением патриотического духа нашего народа. Очерки и статьи военных лет документальны, что вынуждена была признать даже западная пропаганда того времени.

В публицистических статьях советских писателей приводятся неопровержимые факты о зверствах немецко-фашистских захватчиков, даются свидетельские показания военнопленных, цитируются письма, дневники убитых немецких солдат, секретные документы ставки верховного командования немецких вооруженных сил, выдержки из речей высокопоставленных фашистов, отрывки из статей немецких газет и журналов, различного рода приказы и распоряжения военных властей.

В статье «Бескорыстные взломщики» Илья Эренбург приводит знаменательную фразу Геббельса, сказанную

им летом 1941 года: «Против русских дикарей сражаются отважные германцы, бескорыстные крестоносцы, солдаты чести, свободные и дисциплинированные».

Чтобы опровергнуть это лицемерное и насквозь фальшивое заявление, писатель привлекает в качестве авторитетных экспертов генерала фон Браухича и командиров 79-й и 18-й германских дивизий, которые в своих секретных донесениях по долгу службы докладывали начальству о том, что «бескорыстные крестоносцы» насилуют девочек, бьют старух пулеметами по голове, пьянствуют, занимаются мародерством и вообще «мало походят на солдат».

Приведем еще пример. В августе 1941 года в газете «Красная звезда» была напечатана статья Алексея Толстого «Фашисты ответят за свое злодеяние», в которой показывалось истинное лицо немецкой армии, действующей в соответствии с инструкцией по уничтожению мирных жителей, как говорилось в этой инструкции, «независимо от пола и возраста».

По поводу этой статьи берлинское радио заявило, что Алексей Толстой якобы бессовестно лжет. В ответ на это заявление художник пишет статью «Лицо гитлеровской армии», в которой на основании явных улик неопровержимо доказывает неслыханные зверства немецких полчищ и от имени многомиллионного народа бросает в лицо жестокому врагу, пытающему и убивающему пленных, стариков, женщин и детей, полную горести и презрения фразу: «Так прими же звание подлеца, германская гитлеровская армия!» Статья была напечатана одновременно и в «Правде» и в «Известиях» 31 августа 1941 года.

Буржуазная печать не делала секрета из того, как многие ее сотрудники относились к фактической стороне своих корреспонденций. Они брали факты зачастую из вторых и третьих рук. Некий Поль Хьюз, американец, никогда не был в России, не видел ни одного русского, но это не помешало ему во время войны написать за тысячи километров от фронта не статью, а целую книгу в несколько сот страниц под названием «Отступление из Ростова».

М. Шолохов, А. Толстой, Л. Леонов, И. Эренбург, Л. Соболев, К. Симонов, А. Фадеев, Н. Тихонов и другие писатели исколесили тысячи километров фронтовых дорог и писали о том, что видели, чему были очевидцами сами. Зачастую они выступали в своих статьях как свидетели фашистских преступлений.

«За последние месяцы я обошел много мест на Руси и на Украине и вдоволь насмотрелся на твои дела, Германия, — свидетельствует Л. Леонов в статье «Ярость». — Я видел города-пустыни, вроде каменного мертвеца Харахото, где ни собаки, ни воробья, — я видел стертый с земли Гомель, разбитый Чернигов, несуществующий Южнов. Я побывал в несчастном Киеве и видел страшный овраг, где раскидан полусожженный прах ста тысяч наших людей. Этот Бабий Яр выглядит как адская река пепла, несущая в себе несгоревшие детские туфельки в перемешку с человеческими останками».

Священное дело, за которое боролся советский народ, возвысило голос наших публицистов над миром. Они возглавили антифашистскую публицистику в геббельсовской клевете, демагогии и чудовищной лжи и брани противопоставили величественное слово человеческой правды.

Советские писатели не смешивали нацистов с самим немецким народом. Свое гневное слово наши художники направляли по точно выверенному социальному адресу.

### 3

Постоянное дело публицистов, указывал В. И. Ленин, писать «историю современности», причем писать ее так, чтобы «бытописание приносило посильную помощь непосредственным участникам движения... на месте действий...»<sup>1</sup>

Публицисты военных лет по-ленински поняли свою задачу и действительно писали «историю современности». Они ни на шаг не отставали от военных событий и в свдих очерках и статьях по горячим следам набросали первый эскиз величайших исторических событий.

Так, уже в 1941 году на страницах советской печати нашли отражение события на всем протяжении фронта — от Ледовитого океана до Черного моря. Но все же особое внимание в то время было сосредоточено на обороне Москвы, Ленинграда, Севастополя и Одессы.

В этом сборнике под рубрикой «1941» читатель найдет соответствующий материал об обороне названных городов. Но следует сказать, что литература того времени, посвященная этим событиям, весьма обширна. О битве под Москвой, к примеру, читатель мог бы прочесть обстоятель-

<sup>1</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 9, с. 208.

ные статьи В. Лидина «Москва, ноябрь 1941 года» («Известия», 1941, 28 ноября). Стойкость ленинградцев отражается в публицистическом очерке Н. Тихонова «Киров с нами» («Красная звезда», 1941, 2 декабря) и в серии статей Вс. Вишневского, в том числе в очерке «Октябрь на Балтике» («Правда», 1941, 9 ноября), написанном в соавторстве с Н. Михайловским и А. Тарасенковым. Оборона Севастополя и Одессы, военные события на юге запечатлены в статьях С. Сергеева-Ценского, В. Катаева, В. Величко и в знаменитом цикле очерков «Морская душа» Л. Соболева.

Ширился фронт Великой Отечественной, креп голос советских публицистов. Кажется, не было ни одного сколько-нибудь значительного события, мимо которого прошли бы наши писатели. Но особенно они были внимательны к обороне осажденных городов-героев Ленинграда и Сталинграда.

Среди статей ленинградского цикла следует выделить очерки Н. Тихонова «Ленинград в мае», «Ленинград в июне», «Ленинград в июле» 1942 года и т. д. вплоть до очерка «Ленинград в январе 1944 года. Победа». Статьи Н. Тихонова представляют собою художественную летопись не только и, может быть, не столько событий, сколько боевого народного духа, а это поважнее, так как никакой архивный документ не сможет сохранить для потомства и сотой доли того, что отметят чуткое ухо и зоркий глаз художника, участника описываемых событий. Тихонов же, как и Вс. Вишневский, и Ольга Берггольц, и Вера Инбер, сам находился в Ленинграде в дни блокады и описывал виденное не с чужих слов и не по рассказам очевидцев.

Является народ героем и в очерках Николая Тихонова, который сосредоточивает внимание на том, как день за днем, месяц за месяцем креп дух осажденного города. Обозревая пережитое — двадцать два месяца блокады, Тихонов так характеризует Ленинград.

«Борьба не окончена. Но есть огромная разница между тем, каким он вступил в войну и каков он сейчас.

Он был веселый и шумный. Он стал суровый и молчаливый. Он был немного беспечен и распахнут, теперь он скован боевой дисциплиной. Он был неопытен и бесстрашен, сейчас он мудр и крепок».

Из цикла событийных очерков о Сталинграде назовем «Дни и ночи» К. Симонова, «Огонь Сталинграда» Е. Кри-

гера, «Дом Павлова» П. Шебунина, «Город-герой» Б. Полевого, «Сталинградское кольцо» Вас. Коротеева, в которых очерчен общий ход боев, показано военно-оперативное мастерство старших советских офицеров, сделаны начальные наброски той «истории», которую потом будут уточнять и углублять.

Когда наша армия отступала или оборонялась, преобладали в основном публицистические статьи, а когда она пошла в наступление, верх берут очерки, описывающие ее налегкую, но победную поступь. Так появляются многочисленные очерки об освобождении сел, городов, краев и областей и целых республик. Для примера назовем цикл очерков Л. Соболева «Дорогами побед», в котором воспроизводится облик освобожденных городов — Одессы, Севастополя, Минска и т. д., очерки А. Фадеева «Великие Луки» («Правда», 1944, 28 мая), «Херсон», «Весну на юге» (о взятии Николаева) Б. Горбатова («Правда», 1944, 15 марта и 15 апреля) и др.

Стремление к точности и документальности, к воспроизведению того, что было на самом деле, подчиняет и здесь всю работу очеркистов. Появляется целая серия статей, в которых прямо и непосредственно передаются рассказы о виденном и пережитом нашими людьми в фашистской неволе. Классическим произведением такого рода является «Наука ненависти» М. Шолохова. Кроме этого общепризнанного шедевра можно назвать очерки А. Суркова «Земля под пеплом» и К. Симонова «В лапах у фашистского зверя».

В конце войны создается большое количество путевых очерков, рисующих победоносное шествие наших войск, освобождающих народы Европы от фашистского рабства. Таковы очерки «Путь к границе» А. Малышко («За честь родины», 1944, 15, 16 апреля), «На польской земле» Л. Славина («Известия», 1944, 26 января), «По Верхней Силезии» Б. Полевого («Правда», 1945, 4 февраля), «В глубине Европы» П. Павленко («Красная звезда», 1945, 22 апреля) и т. д.

Завершаются очерки циклом статей о взятии Будапешта и Вены, о штурме Берлина, о Победе.

Публицисты военных лет страстно писали также о подвигах партизан, о героизме труженников тыла.

От публицистов и очеркистов мир впервые узнал о бесстрашных именах Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, Александра Матросова, о подвиге панфиловцев и молодого



гвардейцев. Очеркисты как бы прокладывали путь «крупным» жанрам, «большой» литературе. Роман «Молодая гвардия» А. Фадеева, повесть К. Симонова «Дни и ночи», поэму Н. Тихонова «Киров с нами», рассказ-эпопею М. Шолохова «Судьба человека» предвосхитили очерки тех же авторов. «Повесть о настоящем человеке», по признанию Б. Полевого, была задумана как очерк. «Зое» М. Алигер, «Чайке» Н. Бирюкова, «Волоколамскому шоссе» А. Бека предшествовали очерки П. Лидова «Таня» и «Кто была Таня» — о Зое Космодемьянской, опубликованные в «Правде» в январе — феврале 1942 года, являющиеся собою огромной силы человеческий документ.

Публицисты и очеркисты военных лет выполнили ленинский завет, написали «историю современности».

4

Помощь публицистов своему воюющему народу носила широкий, разнообразный и действенный характер. Заключалась она прежде всего в противостоянии вражеской пропаганде и агитации и в раскрытии перед своим народом и мировым общественным мнением истинного лица фашизма.

Эта помощь выражалась также в установлении духовных контактов с нашими союзниками по борьбе — американцами, англичанами и французами. Не все за океаном понимали опасность, нависшую над цивилизацией, над миром, а союзное командование под разными предлогами оттягивало открытие обещанного второго фронта в Европе, не спешило включаться в борьбу с фашистскими варварами. Публицисты через головы правительств обращались напрямую к общественному мнению союзных стран, зывали к бдительности, к активности. Особенно в этом отношении интересны «Письмо американским друзьям» М. Шолохова и два письма Л. Леонова «Неизвестному американскому другу».

«Цивилизации гибнут, как и люди. Бездне нет предела. Падать можно бесконечно. Помни, потухают и звезды», — писал Леонид Леонов американскому другу.

Но, пожалуй, главное в публицистике тех лет заключалось в том, что она отразила чаяния и ожидания сражающегося народа. Неразрывно связанные со своим народом, наши художники выражали его помыслы и чувства, к нему зывали за помощью, в нем видели высший авторитет, суд

12

и надежду на спасение мира от порабощения. По публицистике можно судить о настроениях народа в период войны, о характере и духе эпохи.

Через всю войну наш народ пронес светлую мечту о победе. С этой мечтой он не расставался даже в самые мрачные дни войны. Враг рвется к Москве, а Б. Горбатов в одном из своих писем товарищу говорит:

«Два часа осталось до рассвета. Давай помечтаем. Я гляжу сквозь ночь глазами человека, которому близостью боя и смерти дано далеко видеть. Через многие ночи, дни, месяцы гляжу я вперед, и там, за горами горя, вижу нашу победу. Мы добудем ее! Через потоки крови, через муки и страдания, через грязь и ужас войны мы придем к ней».

И это было сказано осенью 1941 года, когда наша армия отступала, а на ближайших подступах к Москве завязались ожесточенные бои.

«Мы войдем в города и села, — мечтал публицист, — освобожденные от врагов, — и нас встретит торжественная тишина, тишина переполненных счастьем душ. А потом задымят восстановленные заводы, забурлит жизнь, товарищ! Жизнь на свободной земле, в братстве со всеми народами».

За такую жизнь и умереть не много. Это не смерть, а бессмертие».

«Прекрасно будет первое утро после победы, — писал Эренбург в 1942 году, когда враг был у стен Сталинграда. — Россия, первая остановившая немцев, с высоко поднятой головой, сильная, но мирная, гордая, но не спесивая, снимет с плеч винтовку и скажет: «Теперь — жить»».

Известно, что мечта мечте — рознь. Наши публицисты будили в народе подлинно боевую, революционную мечту. Они не убаюкивали народ, а учили отрешиться от благодушия и сами безбоязненно заглядывали правде в глаза.

«Не нужно обольщать себя слишком ранними надеждами», — писал А. Толстой.

Леонов в дни наступления немцев на Москву спрашивал: «В эту решающую минуту — выдержит ли, выдюжит ли русская рука?» И отвечал, полный уверенности:

«— Выдержит, выдюжит, товарищ!»

«Мы выстоим», — подтверждал Эренбург.

Публицисты сыграли важную роль в деле мобили-

13

зации нравственных и физических сил народа. Они писали воззвания воинам, труженикам в тылу, обращались к офицеру, бойцу Советской Армии, к детям, к защитникам Ленинграда, к братьям славянам, к героям французского Сопротивления, к русским, украинским, белорусским партизанам и к грядущему поколению.

«Будь образован, будь воспитан, будь всегда зятанут в мундир чести,— говорит Алексей Толстой офицеру нашей армии.— Будь отцом солдатам, каким был Суворов. В бою будь бесстрашен, как Багратион, и на совете мудр, как Кутузов».

В речи, произнесенной на одном из антифашистских митингов, Алексей Толстой провозгласил:

«Будь первым, советский человек,— это твой нравственный долг перед родиной».

В трудные минуты слово публициста звучало, как набат.

1941 год. Враг под стенами столицы. Алексей Толстой пишет статью «Москве угрожает враг», которая начинается словами «Ни шагу дальше!».

Лето 1942 года. Наши войска оставляют Ростов, отступают за Дон, фашисты рвутся к Сталинграду, целются на Кавказ. Положение тревожное. Необходимы выдержка, стойкость, упорство. «Стой! Ни шагу назад! Стой, русский человек, врати ногами в родную землю»,— пишет А. Толстой.

Почти одновременно с Толстым выступает И. Эренбург. В статье «Остановись!», опубликованной 29 июля, он призывает:

«Боец Юга, стой, и ты остановишь немца. Стой, и от тебя отступит смерть. Товарищу скажи: «Стой!» Другу скажи: «Не уйдем!» Родине ответь: «Я здесь — на посту!»

Александр Довженко в это же время пишет взволнованную статью «В грозный час», в которой предлагает воину «выпить» «ненависть к врагу и презрение к смерти». «Помни — не только весь мир, а целые грядущие столетия скрестили сегодня на тебе свои взоры, полные веры в тебя, надежды и гордости».

Когда же героическими усилиями наших войск стратегические замыслы фашистов под Сталинградом были сорваны, А. Толстой шлет отеческое послание советским воинам и от имени народа, Родины благодарит героев: «Низкий вам поклон, солдаты Красной Армии».

Голос публицистов достигал особой силы, когда главной темой статьи становилась тема Родины, России. «Гнездо наше, родина, возобладала над всеми нашими чувствами»,— писал А. Толстой в одной из своих патристических статей. Не было, пожалуй, статьи, которая бы так или иначе не касалась этих самых чувств. Таковы «Родина» А. Толстого, «Размышления у Киева» Л. Леонова, «Душа России» И. Эренбурга, «Сила России» Н. Тихонова, «Уроки истории» Вс. Вишневского, «Украина в огне» А. Довженко.

Публицистика 1941—1945 годов, безусловно, развивалась в русле горьковского направления. Революционная страстность, партийность, правдивость и социальная точность в аргументации проявились в годы войны с особой силой. Вместе с тем публицисты заговорили яснее и четче, чем раньше, не только о величии Октября, но и о животворных традициях прошлого, о национальных чертах советских людей, о характере русского советского человека.

Усиление национально-патристических мотивов способствовало повышению эмоционального накала в публицистике военных лет и придало ей ярко выраженный политический и лирический характер.

5

Публицистика в широком смысле слова может быть делом не только профессиональных журналистов, но и политиков, и ученых, и писателей. Однако писательская, или художественная публицистика имеет свое отличие. Заключается оно прежде всего в том, что в ней в большей степени используются средства, свойственные для художественного творчества, скажем — образная речь.

Разумеется, границы между «простой» публицистикой и «художественной» относительно подвижны. Тем не менее они существуют. Если в основе обычной публицистической статьи лежит развитие какого-либо тезиса, положения, мысли, то стержень статьи художественно-публицистической составляет определенная поэтическая идея, заключенная в сквозном образе-переживании. «За эти месяцы тяжелой борьбы... мы все глубже познаем кровную связь с тобой, и все мучительнее любим тебя, Родина»,— начинает свою знаменитую статью «Родина» Алексей Толстой. Задушевная фраза-зачин становится как бы

увертюрой ко всему произведению. Все дальнейшее повествование является развитием и углублением этой темы. Художник обращается к прошлому для того, чтобы через прошлое проникнуться еще большей любовью к настоящему и укрепить нашу веру в нерушимость земли «оттич и дедич». Образ бородатого пращура, воспроизведенный в статье, есть не что иное, как поэтически-возвышенное выражение лирического «я», как образ-переживание, проведенный сквозь строй веков отечественной истории и согретый единым патриотическим дыханием. И все, что «померещилось» пращур — и «красные щиты Игоря», и «стоны русских на Калке», и «мужицкие копыя на Куликовом поле», и «кровью залитый лед Чудского озера» и т. д., вплоть до той поры, когда европейским державам пришлось потесниться и дать место России в «красном углу», а потом отступить перед народом и революцией, — все это есть освещение прошлого, история, переплавленная в любовь и ненависть. Советский патриотизм, корни которого уходят глубоко в народную почву, рождает в душе художника-публициста твердую уверенность перед новым испытанием: «Ничего, мы сдюжим»... И это удивительно емкое, не поддающееся переводу, оваянное опытом поколений выражение проходит через всю статью и заключает ее величественным оптимистическим аккордом.

С точки зрения новизны фактов в анализируемой статье А. Толстого волнует и юношу и убеленного сединами ветерана, ибо это — патриотическая лирика в прозе, песня об Отчизне, как бы пришедшая из глубины веков.

Принято думать, что под рубрикой «публицистика» можно печатать и очерк. Многолетние споры о специфике очерка привели наших литераторов к выводу, что очерк — это тоже художественная публицистика. С этим, в общем, следует согласиться, так как публицистичность как настроение, как пафос, как гражданская направленность свойственна и очерку. Особенно публицистичны были очерки военных лет. В соответствии с этим составитель предлагаемого вниманию читателя сборника наряду с собственно публицистическими статьями вроде писем «Неизвестному американскому другу» поместил и несколько очерков. «Наука ненависти», к примеру, типичный публицистический очерк. Тем не менее между публицистической статьей и очерком существует различие, которое нетрудно уловить.

Эстетическим центром художественного публицисти-

ческого произведения является лирическое «я», сам автор, субъективное переживание, настроение, а не объективные картины действительности. В ней, как и в лирике, предмет, говоря словами Белинского, «не имеет цены сам по себе, но все зависит от того веяния, того духа, которым проникается предмет фантазией и ощущением». Что же касается очерка, то в нем обстоятельность, явления, предметы имеют самостоятельное значение. Очеркист, по словам Горького, призван «очерчивать» факты, показывать их такими, каковы они есть, объективно. В очерке «Таня» для нас в первую голову важны не авторские переживания, а то, что представляет из себя Таня, как она ведет себя на пытках, что чувствует, думает и делает перед казнью. Иными словами, в очерке, как таковом, помимо эмоциональной стороны, большое значение приобретает сторона чисто фактическая, познавательная, документальная.

Публицистические статьи военных лет в совокупности с очерками — явление феноменальное, изумительное не только в советской, но и мировой литературе нашего века. В них по горячим следам событий запечатлена героическая душа советского народа, отстаившего свою свободу и освободившего другие народы и государства от фашистского порабощения.

\* \* \*

Окончилась вторая мировая война, самая кровопролитная из войн, какие знала история. Она унесла 50 миллионов человеческих жизней, в том числе 20 миллионов советских людей. Распалась, рассыпалась в прах пресловутая фашистская военная ось «Рим — Берлин — Токио». Главные немецкие военные преступники предстали перед судом.

Казалось бы, любителям военных авантур история преподнесла предметный урок. Но не успели еще затянуться травой солдатские окопы, как наиболее агрессивные империалистические круги США и Англии стали спешно сколачивать военные блоки, готовить «крестовый поход» против Советского Союза и перевооружать свои армии качественно новым смертоносным оружием, способным уничтожить все живое на земле. На повестку дня стала борьба за мир, в которую включились миллионы людей всех континентов. Советский народ, вынесший на своих



плечах основную тяжесть минувшей войны, стал во главе движения за мир.

Одним из важных средств в борьбе за мир становится публицистическое слово. Как и в годину тяжких испытаний, наши писатели бичуют поджигателей войны и ратуют за счастье для всех людей доброй воли на земле. 20 сентября 1947 года М. Шолохов, А. Фадеев и другие писатели публикуют открытое письмо «С кем вы, американские мастера культуры?». Позднее с открытым письмом к писателям Запада выступит Илья Эренбург с просьбой подписать обращение Всемирного конгресса сторонников мира с требованием запретить атомное оружие как оружие устрашения и массового уничтожения людей. Страстные публицистические статьи в защиту мира опубликуют Л. Леонов, Б. Горбатов, К. Симонов и другие.

На страницах данного сборника читатель найдет несколько статей первых послевоенных лет, в том числе вдохновенное, проникнутое добрым человеческим чувством «Слово о Родине» великого Шолохова. Это слово о нелегкой нашей судьбе, о горе и страданиях, причиненных нам войной, о сильных и смелых духом простых русских людях, выдержавших все тяготы войны и с дивной сказочной быстротой врачующих раны, нанесенные войной. Это слово о борьбе за мир, об ответственности ныне живущих и перед грядущими поколениями и пред светлой памятью тех, кто сражался за Родину. Это слово о народе-победителе, ставшем «светочем надежды для трудящихся во всем мире».

Завершается статья словами, которые святы для каждого из нас:

«Милая, светлая Родина! Вся наша безграничная сыновья любовь — тебе, все наши помыслы — с тобой!»

*И. Кузьмичев*



Алексей Толстой

РОДИНА

**З**а эти месяцы тяжелой борьбы, решающей нашу судьбу, мы все глубже познаем кровную связь с тобой и все мучительнее любим тебя, Родина.

Надвинулась общая беда. Враг разоряет нашу землю и все наше вековечное хочет назвать своим. Даже и тот, кто хотел бы укрыться, как сверчок, в темную щель и посвистывать там до лучших времен, и тот понимает, что теперь нельзя спастись в одиночку.

Гнездо наше, Родина, возобладала над всеми нашими чувствами. И все, что мы видим вокруг, что раньше, быть может, мы и не замечали, не оценили, как пахнущий ржаным хлебом дымок из занесенной снегом избы, — пронзительно дорого нам. Человеческие лица, ставшие такими серьезными, и глаза всех — такими похожими на глаза людей с одной всепоглощающей мыслью, и говор русского языка, — все это наше, родное, и мы, живущие в это лихолетье, — хранители и сторожа Родины нашей.

Все наши мысли о ней, весь наш гнев и ярость — за ее поругание, и вся наша готовность — умереть за нее. Так юноша говорит своей возлюбленной: «Дай мне умереть за тебя».

Родина — это движение народа по своей земле из глубин веков к желанному будущему, в которое он верит и создает своими руками для себя и своих поколений. Это — вечно отмирающий и вечно рождающийся поток людей, несущих свой язык, свою духовную и материальную культуру и непоколебимую веру в законность и неразрушимость своего места на земле.

Когда-нибудь, наверно, национальные потоки сольются в одно безбурное море, — в единое человечество. Но для нашего века это — за пределами мечты. Наш век — это суровая железная борьба за свою независимость, за свою свободу и за право строить по своим законам свое общество и свое счастье.

Фашизм враждебен всякой национальной культуре, в том числе и немецкой. Всякую национальную культуру он стремится разгромить, уничтожить, стереть самую память о ней. По существу фашизм — космополитичен в худшем смысле этого понятия. Его пангерманская идея: «Весь мир — для немцев» — лишь ловкий прием большой финансовой игры, где страны, города и люди — лишь особый вид безликих биржевых ценностей, брошенных в тотальную войну. Немецкие солдаты так же обезличены, потрепаны и грязны, как бумажные деньги в руках аферистов и прочей международной сволочи.

Они жестоки и распущены, потому что в них вытравлено все человеческое; они чудовищно прожорливы, потому что всегда голодны и потому еще, что жрать — это единственная цель жизни: так им сказал Гитлер. Фашистское командование валит и валит, как из мешка, эту отупевшую человеческую массу на красноармейские пушки и штыки. Они идут, ни во что уже больше не веря, — ни в то, что жили когда-то у себя на родине, ни в то, что когда-нибудь туда вернуться. Германия — это только фабрика военных машин и место формирования пушечного мяса; впереди — смерть, позади — террор и чудовищный обман.

Эти люди намерены нас победить, бросить себе под ноги, наступить нам сапогом на шею, нашу Родину назвать Германией, изгнать нас навсегда из нашей земли «оттич и дедич», — как говорили предки наши.

Земля «оттич и дедич» — это те берега полноводных рек и лесные поляны, куда пришел наш пращур жить навечно. Он был силен и бородач, в посконной длинной рубахе, соленой на лопатках, смышлен и нетороплив, как вся дремучая природа вокруг него. На бугре над рекою он огородил тыном свое жилище и поглядел по пути солнца в даль веков.

И ему померещилось многое — тяжелые и трудные времена: красные щиты Игоря в половецких степях, и стоны русских на Калке, и установленные под хоругвями Дмитрия мужицкие копы на Куликовом поле, и кровью залитый лед Чудского озера, и Грозный царь, раздвинувший единые, отныне нерушимые, пределы земли от Сибири до Варяжского моря; и снова — дым и пепелища великого разорения... Но нет такого лиха, которое уселось бы прочно на плечи русского человека. Из разорения Смуты государство вышло и устроилось и окрепло сильнее прежнего. Народный бунт, прокатившийся вслед за тем по всему государству, утвердил народ в том, что сил у него хватит, чтобы стать хозяином земли своей. Народ сообразил свои выгоды и пошел за медным всадником, поднявшим коня на берегу Невы, указывая путь в великое будущее...

Много мог увидеть пращур, из-под ладони глядя по солнцу... «Ничего, мы сдюжим», — сказал он. и начал жить. Росли и множились позади него могилы отцов и дедов, рос и множился его народ. Дивной вязью он плел невидимую сеть русского языка: яркого, как радуга, — вслед весеннему ливню, меткого, как стрелы, задушевного, как песня над колыбелью, певучего и богатого. Он назвал все вещи именами и воспел все, что видел и о чем думал, и воспел свой труд. И дремучий мир, на который он накинул волшебную сеть слова, покорился ему, как обузданный конь, и стал его достоянием и для потомков его стал Родиной — землей оттич и дедич.

Русский народ создал огромную изустную литературу: мудрые пословицы и хитрые загадки, веселые и печальные обрядовые песни, торжественные былины, — говорившиеся нараспев, под звон струн, — о славных подвигах богатырей, защитников земли народа — героические, волшебные, бытовые и пересмешные сказки.

Напрасно думать, что эта литература была лишь плодом народного досуга. Она была достоинством и умом народа. Она становила и укрепляла его нравственный

облик, была его исторической памятью, праздничными одеждами его души и наполняла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, природой и почитанием отцов и дедов.

Народ верил в свой талант, знал, что настанет его черед и другие народы потеснятся, давая ему почетное место в красном углу. Но путь к этому был долг и извилист. Культура древнего Киева погибла под копытами татарских коней, Владимиро-Суздальской Руси пришлось почти четыре столетия бороться и с Золотой Ордой, и с Тверью, и с Рязанью, с Новгородом, собирая и укрепляя землю. Во главе этой борьбы стала Москва.

Началась Москва с небольшого городища в том месте, где речонка Яуза впадает в Москву-реку. В этом месте заворачивал на клязьминский волок зимний торговый путь по льду, по рекам — из Новгорода и с Балтийского моря — в Болгары на Волге и далее — в Персию.

Младший Мономахович — удельный князь Юрий — поставил при устьи Яузы мытный двор, чтобы брать дань с купеческих обозов, и поставил деревянный город — кремль — на бугре над Москва-рекой. Место было бойкое, торговое, с удобными во все стороны зимними и летними путями. И в Москву стал тянуться народ из Переяславля-Залесского, из Суздаля и Владимира и других мест. Москва обростала слободами. По всей Руси прогремела слава ее, когда московский князь Дмитрий, собрав ополчение, пошатнул татарское иго на Куликовом поле. Москва становилась сосредоточием, сердцем всей русской земли, которую иноземцы уже стали называть Московией.

Иван Грозный завершил дело, начатое его дедом и отцом, — со страстной настойчивостью и жестокостью он разломал обветшавший застой удельной Руси, разгромил вотчинников-князей и самовластное боярство и основал единое русское государство и единую государственность с новыми порядками и новыми задачами огромного размаха. Таково было постоянное стремление всей Руси — взлет в непомерность. Москва мыслилась как хранительница и поборница незапятнанной правды: был Рим, была Византия, теперь — Москва.

Москва при Грозном обстраивается и украшается. Огромные богатства стекаются в нее из Европы, Персии, Средней Азии, Индии. Она оживляет торговлю и промыслы во всей стране и бьется за морские торговые пути.

Число жителей в Москве переваливает за миллион. С Поклонной горы она казалась сказочным городом, — среди садов и рощ. Центр всей народной жизни был на Красной площади — здесь шел торг, сюда стекался народ во время смут и волнений, здесь вершились казни, отсюда цари и митрополиты говорили с народом, здесь произошла знаменитая, шекспировской силы, гениальная по замыслу сцена между Иваном Грозным и народом — опричный переворот. Здесь, через четверть века, на Лобном месте лежал убитый лже-Дмитрий в овечьей маске и с дудкой, сунутой ему в руки; отсюда нижегородское ополчение пошло штурмом на засевших в Кремле поляков. С этих стен на пылающую Москву хмуро глядел обреченный Наполеон.

Не раз сгорая дотла и восставая из пепла, Москва, — даже оставшись после Петра Великого «порфиноносной вдовой», — не утратила своего значения, она продолжала быть сердцем русской национальности, сокровищницей русского языка и искусства, источником просвещения и свободомыслия даже в самые мрачные времена.

Настало время, когда европейским державам пришлось потесниться и дать место России в красном углу. Сделать это их заставил русский народ, разгромивший, не щадя жизни своих, непобедимую армию Наполеона. Русскому низко кланялись короли и принцы всей Европы, хвалили его доблесть, и парижские девицы гуляли под ручку с усатыми гренадерами и чубатыми донскими казаками.

Но не такой славы, не такого себе места хотел русский народ, — время сидеть ему в красном углу было еще впереди. Все же огромный национальный подъем всколыхнул все наше государство. Творческие силы рванулись на поверхность с мутного дна крепостнического болота, и наступил блистательный век русской литературы и искусства, открытый звездой Пушкина.

Недаром пращур плел волшебную сеть русского языка, недаром его поколения слагали песни и плясали под солнцем на весенних буграх, недаром московские люди сживали по вечерам при восковой свече над книгами, а иные, как неистовый протопоп Аввакум, — в яме, в Пустозерске, и размышляли о правде человеческой и записывали уставом и полуставом мысли свои. Недаром буйная казачья вольница разметывала переизбыток своих сил в набегах и битвах, недаром старушки задворенки и бродящие меж дворов старички за ночлег и лопот



хлеба рассказывали волшебные сказки,— все, все, вся широкая, творческая, страстная, взыскующая душа народа русского нашла отражение в нашем искусстве XIX века. Оно стало мировым и во многом повело за собой искусство Европы и Америки.

Русская наука дала миру великих химиков, физиков и математиков. Первая паровая машина была изобретена в России, так же, как вольтова дуга, беспроволочный телеграф и многое другое. Людям науки, и в особенности изобретателям, приходилось с невероятными трудами пробивать себе дорогу, и много гениальных людей так и погибло для науки, не пробившись. Свободная мысль и научная дерзость ломали свои крылья о невежество и косность царского политического строя. Россия медленно тащила колеса по трясине. А век был такой, что отставание — «смерти подобно». Назревал решительный и окончательный удар по всей преступной системе, кренившей Россию в пропасть и гибель. И удар произошел, отозвавшись раскатами по всему миру. Народ стал хозяином своей Родины.

Пращур наш, глядя посолонь, наверно, различил в дали веков эти дела народа своего и сказал тогда на это: «Ничего, мы сдюжим...»

И вот смертельный враг загораживает нашей Родине путь в будущее. Как будто тени минувших поколений, тех, кто погиб в бесчисленных боях за честь и славу Родины, и тех, кто положил свои тяжкие труды на устройство ее, обступили Москву и ждут от нас величия души и велют нам: «Свершайте».

На нас всей тяжестью легла ответственность перед историей нашей Родины. Позади нас — великая русская культура, впереди — наши необъятные богатства и возможности, которыми хочет завладеть навсегда фашистская Германия. Но эти богатства и возможности,— бескрайние земли и леса, неистощимые земные недра, широкие реки, моря и океаны, гигантские заводы и фабрики, все тучные нивы, которые заколосятся, все бесчисленные стада, которые лягут под красным солнцем на склонах гор, все изобилие жизни, которого мы добьемся, вся наша воля к счастью, которое будет,— все это — неотъемлемое наше наследие, все это наследство нашего народа, сильного, свободлюбивого, правдолюбивого, умного и не обиженного талантом.

Так неужели можно даже помыслить, что мы не побе-

дим! Мы сильнее немцев. Черт с ними! Их миллионы, нас миллионы вдвойне. Все опытнее, увереннее и хладнокровнее наша армия делает свое дело истребления фашистских армий. Они сломали себе шею под Москвой, потому что Москва — это больше, чем стратегическая точка, больше, чем столица государства. Москва — это идея, охватывающая нашу культуру в ее национальном движении. Через Москву — наш путь в будущее.

Как Иван в сказке, схватился весь русский народ с чудом-юдом двенадцатиглавым на калиновом мосту. «Разъехались они на три прыжка лошадиных и ударились так, что земля застонала, и сбил Иван чуду-юду все двенадцать голов и покидал их под мост».

Наша земля немало поглотила полчищ наезжавших на нее.



## Алексей Толстой ЧТО МЫ ЗАЩИЩАЕМ

Программа национал-социалистов — наци (фашисты) — не исчерпана в книжке Гитлера. В ней только то, в чем можно было признаться. Дальнейшее развитие их программы таит в себе такие горячечные, садистические, кровавые цели, в которых признаться было бы невыгодно. Но поведение наци в оккупированных странах приоткрывает эту «тайну», намеки слишком очевидны: рабство, голод и одичание ждет всех, кто вовремя не скажет твердо: «Лучше смерть, чем победа наци».

Наци истерично самоуверенны. Завоевав Польшу и Францию — в основном путем подкупа и диверсионного разложения военной мощи противника,— завоевав другие, более мелкие страны, с честью павшие перед неизмеримо более сильным врагом,— наци торопливо начали осуществлять дальнейшее развитие своей программы. Так, в Польше, в концлагерях, где заключены польские рабочие, польская интеллигенция, смертность еще весной этого года дошла до семидесяти процентов,— теперь она поголовная. Население Польши истребляется. В Норвегии наци отобрали несколько тысяч граждан, посадили их на баржи и «без руля и ветрил» пустили в океан. Во Фран-

ции, во время наступления, наци с особенно садистическим вкусом бомбили незащищенные городки, полные беженцев, «прочесывали» их с бреющего полета, давили танками все, что можно раздавить; потом приходила пехота, наци вытаскивали из укрытий полуживых детей, раздавали им шоколад и фотографировались с ними, чтобы распродавать, где нужно, эти документы о немецкой «гуманности»... В Сербии они уже не раздавали шоколада и не фотографировались с детьми.

Можно привести очень много подобных фактов.

Все эти поступки вытекают из общей нацистской программы, а именно: завоевываются Европа, Азия, обе Америки, все материки и острова. Истребляются все непокорные, не желающие мириться с потерей независимости. Все народы становятся в правовом и материальном отношении говорящими животными и работают на тех условиях, которые им будут диктоваться. Если наци найдут в какой-либо стране количество населения избыточным, они его уменьшат, истребив в концлагерях или другим, менее громоздким способом. Затем, устроив все это, подобно господину богу, в шесть дней, в день седьмой наци, как белокурая, длинноголовая раса-прима, начинают красиво жить — вволю есть сосиски, ударяться пивными кружками и орать застольные песни о своем сверхчеловеческом происхождении...

Все это не из фантастического романа — именно так реально намерены развивать свою программу в имперской новой канцелярии, в Берлине. Ради этого льются реки крови и слез, пылают города, взрываются и тонут тысячи кораблей и десятки миллионов мирного населения умирают с голоду.

Разбить армии Третьей империи, с лица земли смести всех наци с их варварски-кровавыми замыслами, дать нашей Родине мир, покой, вечную свободу, изобилие, всю возможность дальнейшего развития по пути высшей человеческой свободы — такая высокая и благородная задача должна быть выполнена нами, русскими, и всеми братскими народами нашего Союза.

Фашисты рассчитывали ворваться к нам с танками и бомбардировщиками, как в Польшу, во Францию и другие государства, где победа была заранее обеспечена их предварительной подрывной работой. На границах СССР они ударились о стальную стену, и широко брызнула кровь их. Немецкие армии, гонимые в бой каленым желе-

зом террора и безумия, встретились с могучей силой умного, храброго, свободолюбивого народа, который много раз за свою тысячелетнюю историю мечом и штыком изгонял с просторов родной земли наезжавших на нее хазар, половцев и печенегов, татарские орды и тевтонских рыцарей, поляков, шведов, французов Наполеона и немцев Вильгельма... «Все промелькнули перед нами».

Наш народ прежде поднимался на борьбу, хорошо понимая, что и спасибо ему за это не скажут, ни царь, ни псарь, ни боярин. Но горяча была его любовь к своей земле, к неласковой родине своей, неугасаемо в уме его горела вера в то, что настанет день справедливости, скинет он с горба всех захребетников, и земля русская будет его землей, и распашет он ее под золотую ниву от океана до океана.

В отечественной войне девятьсот восемнадцатого — двадцатого годов белые армии сдавали со всех сторон нашу страну, и она — разоренная, голодная, вымирающая от сыпного тифа — через два года кровавой и, казалось бы, неравной борьбы разорвала окружение, изгнала и уничтожила врагов и начала строительство новой жизни.

Народ черпал силу в труде, озаренном великой идеей, в горячей вере в счастье, в любви к Родине своей, где сладок дым и сладок хлеб.

Так на какую же пощаду с нашей стороны теперь рассчитывают наци, гоня немецкий народ на наци стальные крепости, ураганом несущиеся в бой, на ревущие чудовищными жерлами пояса наших укреплений, на неисчислимые боевые самолеты, на штыки Красной Армии?

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,  
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,  
От потрясенного Кремля  
До стен недвижного Китая,  
Стальной щетиною сверкая,  
Не встанет русская земля?

В русском человеке есть черта: в трудные минуты жизни, в тяжелые годы легко отрешаться от всего привычного, чем жил изо дня в день. Был человек — так себе, потребовали от него быть героем — герой... А как же может быть иначе? В старые времена рекрутского набора забритый мальчишечка гулял три дня — и плясал, и, подперев ладонью щеку, пел жалобные песни, прощался с отцом, матерью, и вот уже другим человеком — суровым,

бесстрашным, оберегая честь отечества своего, шел через альпийские ледники за конем Суворова; оперев штык, отражал под Москвой атаки кирасиров Мюрата, в чистой тельной рубахе стоял — ружье к ноге — под губительными пулями Плевны, ожидая приказа идти на неприступные высоты.

Три парня сошлись из разных деревень на службу в Красную Армию. Хороши ли они были до этого, плохи ли, — неизвестно. Зачислили их в танковые войска и послали в бой. Их танк ворвался далеко впереди во вражескую пехоту, был подбит и расстрелял все снаряды. Когда враги подползли к нему, чтобы живыми захватить танкистов, три парня вышли из танка, у каждого оставался последний патрон, подняли оружие к виску — и не сдались в плен. Слава им, гордым бойцам, берегущим честь Родины и армии!

Летчик-истребитель рассказывал мне: «Как рой пчел, — так вертелись вокруг меня самолеты противника. Шея заболела — крутить головой. Азарт такой, что кричу во все горло. Сбил троих, ищу прицепиться к четвертому. Сверху — то небо, то земля, солнце — то справа, то слева; кувыркаюсь, пикирую, лезу вверх, беру на прицел одного, а из-под меня выносятся истребитель, повис на тысячную секунды перед моим носом, — вижу лицо человека, сильное, бородастое, в глазах ненависть и мольба о пощаде... Он кувырнулся и задымил. Вдруг у меня нога не действует, будто отсидел, значит — ранен. Потом в плечо стукнуло. И пулеметная лента — вся, стрелять нечем. Начинаю уходить — повисла левая рука. А до аэродрома далеко. Только бы, думаю, в глазах не начало темнеть от потери крови! Все-таки задернуло мне глаза пленкой, но я уже сядил на аэродром, без шасси, на пузо».

Вот уж больше полвека я вижу мою Родину в ее борьбе за свободу, в ее удивительных изменениях. Я помню мертвую тишину Александра Третьего, бедную деревню с ометами, соломенными крышами и ветлами на берегу степной речонки. Вглядываюсь в прошлое, и в памяти встают умные, чистые, неторопливые люди, берегущие свое достоинство. Вот отец моего товарища по детским играм — Александр Сизов, красавец с курчавой русой бородкой, силач. Когда в праздник в деревне на сугробах начинался бой — конец шел на конец, — Сизов веселыми глазами поглядывал в окошечко, выходил и стоял в воротах, а когда уж очень просили его подсобить, натягивал

голицы и шутя валил всю стену; в тощем нагольном полушубке, обмотав шею шарфом, он сто верст шагал в метель за возом пшеницы, везя в город весь свой скудный годовой доход. Сегодня внук его, наверно, кидается, как злой сокол, на германские бомбардировщики.

Я помню, в избе с теплой печью, где у ткацкого станка сидит молодая, в углу на соломе спит теленок, огороженный доской, мы, дети, собравшись за столом на лавках, слушаем высокого, похожего на коня старика с вытекшим глазом, — он рассказывает нам волшебные сказки. Он побирается, ходит по деревням и ночует, где пустят. Молодая за станком говорит ему тихо: «Что ты все страшное да страшное, расскажи веселую...» — «Не знаю веселую, дорогая моя, не слышал, не видал, — и одним страшным глазом он глядит на нас, — вот они разве увидят, услышат веселое-то...»

Я помню четырнадцатый год, когда миллионы людей получили оружие в свои руки. Сибирские корпуса прямо из вагонов кидались в штыковой бой, и не было в ту войну ничего страшнее русских штыковых атак.

Прошло двадцать пять лет. От океана до океана зашумели золотом колхозные нивы, зацвели сады, и запушился хлопок там, где еще недавно лишь веял мертвый песок. Задымили десятки тысяч фабрик и заводов. Тот же, быть может, внук Александра Сизова, такой же богатырь, пошел под землей ворочать, как Титан, один сотни тонн угля за смену. Тысячетонные молоты, сотрясая землю, начали ковать оружие Красной Армии — армии освобожденного народа, армии свободы, армии — защитнице на земле мира, высшей культуры, расцвета и счастья.

Это — моя Родина, моя родная земля, мое отечество, — и в жизни нет горячее, глубже и священнее чувства, чем любовь к тебе...

1941 г.



**Алексей Толстой**

**ТОЛЬКО ПОБЕДА И ЖИЗНЬ!**

Ни шагу дальше! Пусть трус и малодушный, для кого своя жизнь дороже Родины, дороже сердца Родины — нашей Москвы, — гибнет без славы, ему нет и не будет места на нашей земле.

Встанем стеной против смертельного врага. Он голоден и жаден. Сегодня он решился напасть на нас и пошел на нас... Это не война, как бывало, когда война завершалась мирным договором, торжеством для одних и стыдом для других. Это завоевание такое же, как на заре истории, когда германские орды под предводительством царя гуннов Атиллы двигались на запад — в Европу для захвата земель и истребления всего живого на них.

В этой войне мирного завершения не будет. Социалистическая Россия и фашистская Германия бьются насмерть, и весь мир внимает гигантской битве, не прекращающейся уже более ста дней.

Враг нас теснит. Над Москвой нависла угроза. Враг собрал оружие со всей покоренной Европы. У него пока еще больше танков. В эту битву он бросил все, что мог, и большего усилия, чем в эти дни октября, он повторить уже не сможет. Его тыл — как дупло гнилого дерева. Остановленный в эти дни, он именно сейчас, захлебнувшийся в своем наступлении, перейдет к обороне и изнеможет...

Наша задача в том, чтобы остановить гитлеровские армии перед Москвой. Тогда великая битва будет выиграна. Силы наши растут. День и ночь наши танки во все увеличивающемся количестве готовятся на машиностроительных заводах Союза. Заводы Днепропетровска, Днепро-дзержинска, Запорожья, Брянска, Киева эвакуированы в глубь страны.

Настанет час, когда мы перейдем к решающей фазе войны — наступательному удару по германскому фронту. Но чтобы перейти к этой фазе войны, нужно сейчас и немедленно остановить врага.

Ленинград нашел в себе величие духа. Ленинград сурово, организованно и твердо принял на себя чудовищный удар фашистских танковых и пехотных корпусов. Ленинградцы, красноармейцы, балтийские моряки отбросили их и жестко приостановили наступление.

На днях один из моих друзей прислал открытку из Ленинграда: «...настроение у нас бодрое, работаем. На кафедре у меня сквозняки, дырки в стенах. Лекции читаю. Оперирую. Вечером прихожу к сыну, приношу котлеты, кусок хлеба, вареной картошки; мы сидим в темноте в Военно-медицинской академии и смотрим в окно на черную Неву, на силуэты домов, на зарево по горизонту. Верим в скорую победу...»

Одесса остановила наступление вчетверо превосходящей по численности вражеской армии. Защитники Одессы оттянули большие силы врага, уложили на подступах к городу многие тысячи фашистских молодчиков.

Ленинград с честью выполняет свой долг перед Родиной — на подступах к нему враг захлебнулся в крови. Жребий славы и величия духа выпал теперь на Москву.

Мы, русские, часто были благодущны и беспечны. Много у нас в запасе сил и таланта, и земли, и нетронутых богатств. Не во всю силу понимали размер грозной опасности, надвигающейся на нас. Казалось, так и положено, чтобы русское солнце ясно светило над русской землей...

Черная тень легла на нашу землю. Вот поняли теперь: что жизнь, на что она мне, когда нет моей Родины?.. По-немецки мне говорить? Подогнув дрожащие колени, стоять, откидывая со страху голову перед мордастым, свирепо лающим на берлинском диалекте гитлеровским охранником, грозящим добраться кулаком до моих зубов? Потерять навсегда надежду на славу и счастье Родины, забыть навсегда священные идеи человечности и справедливости — все, все прекрасное, высокое, очищающее жизнь, ради чего мы живем... Видеть, как Пушкин полетит в костер под циничскую ругань белообрисой фашистской сволочи и пьяный гитлеровский офицер будет мочиться на гранитный камень, с которого сорван и разбит бронзовый Петр, указавший России просторы беспредельного мира?

Нет, лучше смерть! Нет, лучше смерть в бою! Нет, только победа и жизнь!

На днях я был на одном из авиационных заводов, где делают штурмовики, которых фашисты называют «черная смерть». Они были сконструированы незадолго до войны. Их конструкция и вооружение улучшаются в процессе производства. Потери наших металлургических заводов не замедляют выпуска «черной смерти», он увеличивается с каждым днем: нехватка каких-либо материалов немедленно заменяется иными, местными материалами. Здесь, на заводе, неустанное творчество: инженеры, начальники цехов, мастера, рабочие изобретают, приспособляют, выдумывают... И тут же за воротами, на аэродроме, новые и новые грозные птицы, созданные творчеством русского народа, поднимаются в воздух и с тугим звуком натянутой струны улетают на запад — в бой...

На всех наших заводах идет та же напряженная творческая, изобретательская работа. Место уходящих на фронт занимают женщины и молодежь. Перебоев нет, темпы растут. Те, от кого зависит выполнение и перевыполнение ежедневного плана, или же те, кто на ходу перестраивает производство, работают по трое или по четверо суток, не выходя из цехов. У них потемневшие от усталости лица, усталые глаза ясны и спокойны. Они знают, что еще много-много дней не будет сна и отдыха, они понимают, что в этой войне русский гений схватился на жизнь и смерть с гигантской фашистской машиной войны и русский гений одержит победу.

Красный воин должен одержать победу. Страшнее смерти позор и неволя. Зубами перегрызть хрящ вражеского горла — только так! Ни шагу назад! Ураганом бомб, огненным ураганом артиллерии, лезвиями штыков и яростью гнева разгромить гитлеровские полчища!

Умремте ж под Москвой,  
Как наши братья умирали,  
И умереть мы обещали  
И клятву верности сдержали...

Родина моя, тебе выпало трудное испытание, но ты выйдешь из него с победой, потому что ты сильна, ты молода, ты добра, добро и красоту ты несешь в своем сердце. Ты вся — в надеждах на светлое будущее, его ты строишь своими большими руками, за него умирают твои лучшие сыны. Бессмертна слава погибших за Родину. Бессмертную славу завоюют себе живущие.

18 октября 1941 года



Константин Симонов

ИЮНЬ — ДЕКАБРЬ

1

Это было 24 июня. Поезд, почему-то состоявший из дачных вагонов, отошел от темных платформ Белорусского вокзала. Горели синие фонари. К ним тогда еще не призывали. Поезд шел в Минск. Больше всего в нем ехало командиров, возвращавшихся из отпусков в свои части.

Третий день шла война, все очень спешили туда, на запад.

Рядом со мной ехал полковник-танкист, маленького роста, седеющий человек с ордемом Ленина на гимнастерке. Вместе с ним ехал на фронт его сын, не помню, кажется, его звали Мишей. Отцу разрешили в Наркомате Оборона взять шестнадцатилетнего мальчика с собой добровольцем на фронт. Они были похожи друг на друга, отец и сын, оба маленькие, коренастые, с упрямыми подбородками и серыми твердыми глазами.

Дальше Борисова поезд не пошел. Впереди были немцы, разрушенное полотно, полная неизвестность.

В лесу, под Борисовом, на берегу Березины, собралось несколько тысяч командиров и красноармейцев, возвращавшихся в свои части.

Эти части дрались впереди, но между ними и нами были немцы, неожиданно прорвавшиеся к Борисову.

Немецкие самолеты бреющим полетом, волна за волной шли над нашими головами. Они бомбили и обстреливали нас с рассвета до заката, а впереди гроыхала артиллерия. Все были из разных частей, никто не знал друг друга, не знал, что происходит кругом. Но нашелся человек, который сразу сплотил всех и поставил на свое нужное место. Душой и сердцем людей, собравшихся в лесу под Борисовом, оказался маленький полковник, ехавший со мной в поезде.

Им первым были произнесены слова: «Занять оборону». Он первый собрал вокруг себя старших командиров, подсчитал оружие, разбил людей на роты и взводы, и люди снова почувствовали себя войском.

Вдруг нашлись какие-то пушки, несколько пушек, несколько пулеметов, были посланы люди обратно в Борисов за боеприпасами.

Мы рыли окопы и щели, мы выбирали себе места и ложились с винтовками в оборону.

Тут были самые разные люди. Слева от меня лежал артиллерийский капитан и военюрист, справа — двое штатских ребят, шоферы с грузовых машин.

Я никогда не забуду сына полковника. Мальчик делал все, что было в его силах. Не снимая с плеча карабина, он бегал, выполнял поручения, доставлял еду и воду, приносил патроны и в редкие свободные секунды искоса бросал восхищенные взгляды на отца. Мальчик был доволен, что он воюет, и горд тем, что именно его отец



оказался в эту трудную минуту самым решительным из всех взрослых, одетых в военную форму людей, находившихся здесь.

Он был прав. Он мог гордиться своим отцом. Полковник вел себя так, как будто ничего не случилось, как будто у него под началом не самые разные, никогда не выдавшие друг друга люди, а кадровый полк, которым он командует уже, по крайней мере, три года. Он спокойным, глуховатым голосом отдавал приказания. В этом голосе слышалась железная нотка, и все повиновались ему. При мне несколько раз произносили вслух его фамилию, тогда я ее помнил, но потом забыл.

На следующий день я расстался с полковником и больше не видел его.

В ноябре на Карельском фронте, на Рыбачьем полуострове, к нам с большим опозданием попали наконец центральные газеты. Не помню, в какой из них на первой странице был напечатан снимок с подписью: «Командир 1-й гвардейской мотострелковой дивизии Герой Советского Союза полковник Лизюков принимает гвардейское знамя».

На снимке перед строем со знаменем в руках стоял одетый по-зимнему полковник. Маленький, коренастый, с упрямым подбородком...

Я узнал его. Да, конечно, именно он был там, в лесу, под Борисовом, в июне. И я вспомнил тогда слышанную, а потом забытую фамилию. Полковник Лизюков. Мне хотелось почему-то увидеть на снимке рядом с ним его сына, так же рядом, как они были тогда, в июне...

Все это особенно ярко вспомнилось мне именно сейчас, в эти дни декабря, когда, проехав по многим дорогам, ведущим на запад, я увидел следы отступления немцев, увидел, как их беспощадно истребляют. В эти дни, когда мы научились побеждать, мы наконец можем позволить себе вспомнить то, о чем нам было слишком тяжело вспоминать раньше.

Я вспоминаю сейчас первые тяжелые июньские и июльские дни, первые жестокие неудачи и уроки, кровавые дороги, по которым мы отступали и по которым сейчас идем обратно.

И сейчас с особенным чувством гордости и благодарности произносишь имена людей, которые тогда были душою наших войск, глядя на которых тогда, в тяжелые

дни, верилось, что это кончится, что мы победим и вернемся, непременно победим и вернемся.

Мы не знали, когда это будет, но, глядя на них, знали, что непременно будет.

Когда Русь была разорена татарским нашествием, когда ее города были сожжены, потоплены в собственной крови, народная память оставила в песнях незабываемые страницы самой черной тоски и горя. И рядом с этим во всех летописях — новгородских, суздальских, владимирских, рязанских — сохранился рассказ о рязанском богатыре Евпатии Коловрате, который, вернувшись из похода в родной город и найдя его сожженным, погнался с малой дружиной за бесчисленной татарской ратью. Догнав татар, Евпатий Коловрат перебил их великое множество и геройски погиб в неравном бою вместе со всей своей дружиной.

Кончилось татарское нашествие, была Куликова битва, была победа, но в памяти народа рядом с именами победителей, с именем Дмитрия Донского сохранилось имя Евпатия Коловрата, народного героя первых горестных дней татарского ига.

Оно сохранилось потому, что в трудные дни кровавой годины подвиг его был не только утешением, не только гордостью, но и залогом победы.

Меняются времена и враги, — я не хочу делать исторических сравнений, — но сердце народное не меняется. Оно остается все таким же мужественным в испытаниях и памятливым к тем, кто в годину этих испытаний был всех чище душою и тверже духом.

Так будет и сейчас. Имена победителей не заслонят в народной памяти имен героев июньских, июльских, августовских боев. Хорошо помню, как в дни самых тяжелых неудач мы, люди, которые должны были через газету рассказывать народу о том, что происходит на фронте, искали и во множестве находили тех, рассказ о которых вселял веру в победу. Это были армейские большевики, солдаты советской выучки, которые в самые трудные дни брали на свои плечи всю тяжесть борьбы.

Середина поля. Могилев. С восточного берега Днепра на западный был перекинут единственный деревянный мост. На нем не было ни одной пушки, ни одного зенитного пулемета. Мы переехали на западный берег, в полк, оборонявший Могилев. В этот день был тяжелый, кровопролитный бой. Полк разбил сорок немецких танков, но и сам

истек кровью. Вечером мы говорили с командиром полка полковником Кутеповым. Это был очень высокий, худой, немножко неуклюжий человек, много лет служивший в армии и все-таки имевший такой вид, будто он только вчера переделался в военное. На его обросшем, небритом и усталом, смертельно усталом лице в самые тяжелые мгновения вдруг появлялась неожиданная мягкая, детская улыбка.

Мы сказали ему про мост. Там нет ни одного зенитного пулемета, и если немцы разбомбят мост, то он с полком будет отрезан здесь, за Днепром.

— Ну и что ж, — Кутепов вдруг улыбнулся своей детской улыбкой. — Ну и что ж, — повторил он мягко и тихо, как будто говоря о чем-то самом обычном. — Пусть бомбят. Если другие отступят, мы решили тут остаться и умереть, всем полком решили. Мы уже говорили об этом.

Я до сих пор помню, как Кутепов стоит у себя на командном пункте, как к нему подбегает связной.

— Товарищ полковник, на правом фланге еще тридцать танков, — говорит он, задыхаясь.

— Что, где еще танки? — тревожно обращается к полковнику один из рядом стоявших командиров, расслышавший только слово «танки», но не расслышавший сколько.

— Танки? Да есть каких-то там три паршивеньких на правом фланге, — улыбаясь, говорит Кутепов.

Я до сих пор помню его тревожные глаза и улыбку. Тревожные глаза — потому, что на правом фланге тридцать танков и надо принимать меры. И улыбку — потому, что командир сейчас поедет на левый фланг и пусть лучше подумает, что на правом фланге не тридцать танков, а три.

Не знаю, может быть, это было неверно с военной точки зрения, но в ту минуту, посмотрев на него, я поверил, что мы непременно победим. Непременно, иначе не может быть.

2

Как переменялись фронтовые дороги! Я никогда не забуду Минского шоссе, по которому шли, бесконечно шли беженцы. Они шли в чем были, в чем вскочили с кровати, неся в руках маленькие узелки с едой, такие малень-

кие, что непонятно, что же они ели эти пять, десять, пятнадцать суток, которые шли по дорогам.

Над шоссе с визгом проносились немецкие самолеты. Теперь они так не летают. Они не смеют и не могут. Но тогда были дни, когда они летели низко, как будто хотели раздавить тебя колесами. Они бомбили и обстреливали дорогу. Тогда, не выдержав, беженцы уходили с кровавого асфальта в глубь леса и шли вдоль дороги, по обеим ее сторонам, в ста шагах от нее. На второй же день немцы поняли это. Теперь их самолеты шли не прямо над дорогой, они шли тоже немножко в стороне, по сторонам от дороги, в ста шагах от нее, и ровной полосой клали бомбы там, где, по их расчетам, двигались люди, ушедшие с дорог.

Я помню деревни, в которых нас спрашивали:

— Вы не пустите сюда немцев? А? — и заглядывали в глаза.

Спрашивали:

— Скажите, может, нам уже уезжать отсюда? А? — и снова заглядывали нам в глаза.

И было, кажется, легче умереть, чем ответить на этот вопрос.

Я не мог прежде вспоминать об этом, потому что это было слишком тяжело, но сейчас я вспоминаю об этом, потому что я прошел и проехал назад, на запад, уже по многим дорогам из тех, по которым мы когда-то уходили на восток.

По дорогам снова идут беженцы, но это уже другие люди. Они не уходят — они возвращаются. Только в дни испытаний понимаешь, что такое сила родной земли, как тянет людей на родные места, туда, откуда они ушли. Они не ждут и не ищут безопасности, они идут за нашей армией сейчас же по пятам. Идут еще тогда, когда не миновала опасность, не потухли пожары, не затихла орудийная стрельба. Они не хотят потерять ни одного дня. Они должны быть дома сегодня же вечером, вслед за бойцами, пришедшими туда сегодня утром.

Сейчас война, и военные люди знают больше всех, они должны отвечать на все вопросы, они не смеют быть «немогузнайками».

Люди, идущие по дорогам, любят спрашивать, им многое, очень многое хочется знать и непременно сегодня же, сейчас.

Они спрашивали в июне и спрашивают в декабре. Но

как переменялись эти вопросы! Я помню, как в июле мы проезжали через Шклов. Людей, шедших по дорогам, тревожила каждая машина. Вот несколько машин прошло на запад, им навстречу. Они останавливаются, они спрашивают:

— Может быть, не уходить, может быть, здесь не будет немцев?— У них в глазах снова сверкает надежда.

Но вот опять проходят военные машины на восток, и беженцы провожают их печальными глазами; они погоняют лошадей, они торопятся. Они спрашивают, куда им идти: до Рославля или дальше?

Декабрь. Снова те же дороги. И в городе Одоеве нас окружают люди, только что вернувшиеся сюда. Они спрашивают нас, когда будет взят Минск, когда будет взят Белев. У них там остались родные, они верят, что если родные еще живы, то они скоро увидят их. Они верят, что Белев непременно будет взят, их интересует только, скоро ли. Да, говорим мы, скоро. Мы тоже в это верим. Тогда они начинают спрашивать про Калугу, про Орел, про другие города.

— Когда?— повторяют они и смотрят на красноармейцев с непоколебимой верой.

И под этими взглядами наши конники невольно шпорят лошадей и рысью торопятся к заставе, ведущей из города на запад.

3

В ноябре в штабе нашей крайней северной армии, ночью, когда вполне переливалось полярное сияние, работник особого отдела, вышедший со мной на мороз покурить и подышать воздухом, вдруг, словно что-то вспомнив, радостно сказал мне:

— Вы знаете, для вас будет интересный материал. У нас есть три пленных немецких офицера.

— В каких чинах?— спросил я.

— Пока еще не знаю.

— Что, они еще в дивизии?

— Нет.

— В полку?

— Нет. Видите ли...— Мой собеседник замаялся.— Видите ли, дело в том, что они вообще не здесь, эти пленные, они еще там, в тылу у немцев. Их захватили в шестидесяти километрах в тылу, между их штабом корпуса

38

и штабом дивизии. Пятнадцать наших пограничников пошли туда и захватили. Они передали по радио, что ведут трех офицеров и перейдут вместе с пленными фронт через два-три дня. Так что нам с вами придется немного подождать.

Я сейчас вспомнил об этом случае потому, что это была не просто смелость горсточки храбрецов. Это была уверенность, которая крепла в армии из месяца в месяц. В июле мы еще не брали немцев в плен за шестьдесят километров от линии фронта. В ноябре их начали брать. И мало того, что это было сделано, главное — то, что это считалось в порядке вещей, что этому даже не особенно удивлялись.

Через три дня я увидел этих трех немецких офицеров. Их привели в заботливо захваченных с собой специально для этого валенках. Одели их в валенки не от излишнего мягкосердечия, а просто по здравому расчету — чтоб легче было довести. Они имели очень жалкий, огорошенный вид, эти три офицера из знаменитой Критской горногерманской бригады. Им еще не приходилось так воевать, и они еще не привыкли так попадать в плен. Им сказали, что к этому привыкнуть вскоре придется не только им, но и многим другим их коллегам. Они молчали не из фанфаронства, не из чувства собственного достоинства, как это бывало раньше, а просто потому, что им нечего было сказать, потому, что они были обезволены и опустошены.

Как переменялись за шесть месяцев эти солдаты «непобедимой» армии! В июле было непонятно, кто из них храбр, кто труслив. Все человеческие качества в них заглашал, перекрывал гонор — общая, повсеместная наглость захватчиков. Видя, что их не бьют и не расстреливают, они корчили из себя храбрецов. Они считали, что война кончится через две недели, что этот плен для них, так сказать, вынужденный отдых и что с ними по-человечески обращаются только от страха, оттого, что боятся их мести впоследствии.

Сейчас это исчезло. Одни из них дрожат и плачут, говорят, захлебываясь, все, что они знают, другие — таких единицы, — угрюмо молчат, замкнувшись в своем отчаянии. Армия наглецов в дни поражения переменялась.

Это естественно в войске, привыкшем к легким победам и в первый раз подвергшемся поражению.

39

Немцы отступают. Дерутся, но отступают. Огрызаются, но бегут.

На столе у генерала лежит оперативная карта. Я видел много этих карт за время войны, но как переменялось сейчас их лицо! Вы помните карты июля, карты августа, карты октября? На них были большие синие стрелы и красные полукружки. Сейчас карта выглядит иначе. На ней размашисто и твердо начертаны красные стрелы и уходящие от них синие полукружки. Немцы отступают. Все дальше и дальше от Москвы идут на запад красные стрелы, все глубже врезаются они между синих линий врага. Они дробят их и разъединяют. Все меньше и меньше синие полукружки, все чаще они дробятся на полки, батальоны, роты.

Я вижу карту, на которой нанесена оперативная обстановка. Глубоким пятидесятикилометровым клином врезались наши войска в расположение отступающих немецких дивизий. В тылу еще бродят целые немецкие полки, еще каждый день перерезаются дороги кучками автоматчиков, но дивизии идут вперед, они верят, что окружают немцев и истребят их. Я на минуту пробую представить себе эту карту в июле или в августе. Да, если бы тогда мы поглядели на нее, нам бы показалось, что здесь, на этом участке, окружены не немцы, а мы сами!

Окружающий сам в то же время в какой-то степени оказывается окруженным — это старая истина, но дело тут не только в том, сколько у кого полков и дивизий, а в том, кто наступает, кто считает себя окружающим и кто считает себя окруженным.

Произошла гораздо более важная вещь, чем взятие десяти или двадцати населенных пунктов. Произошел гигантский, великолепный перелом в психологии наших войск, в психологии наших бойцов.

Армия научилась побеждать немцев. И даже тогда, когда ее полки находятся в трудных условиях, когда чаша военных весов готова заколебаться, они все равно сейчас чувствуют себя победителями, продолжают наступать, бить врага.

И такой же перелом в обратную сторону произошел у немцев. Они чувствуют себя окруженными, они отходят, они беспрерывно пытаются выровнять линию фронта, они боятся даже горсти людей, зашедших им в тыл и твердо верящих в победу.

Полковнику доносят, что у него в тылу появилась рота немецких автоматчиков.

— Ну что ж, — говорит он, — сзади кто-нибудь из наших подойдет и уничтожит, а наше дело — вперед, вперед. — И, больше не вспоминая об этой роте, он дает приказ о дальнейшем наступлении.

Враг должен быть разгромлен и, несмотря ни на что, будет разгромлен. Это знают все наши люди, знают и, что еще важнее, чувствуют всем своим сердцем. Они гонят немцев, и они будут окружать и гнать их по дорогам и по бездорожью, по зимним полям, где не проходят машины, где проваливаются ноги, где дьявольски трудно идти, — но ведь когда ты идешь вперед, то у тебя появляется какая-то небывалая сила, второе дыхание. Мы навязываем немцам свою волю, мы становимся хозяевами положения. Они будут выходить из окружения через сожженные села, через непроходимые леса, они будут замерзать завтра сотнями там, где они сегодня замерзают десятками. Их будут убивать не только из автоматов и орудий, их будут убивать по дороге женщины и старики кольями и вилами — так, как на этих же дорогах убивали других пришельцев в 1812 году.

Пусть не рассчитывают на пощаду. Мы научились побеждать, но эта наука далась нам слишком дорогой и жестокой ценой, чтобы щадить врага.

1941



**Николай Тихонов**

**ГОРОД В БРОНЕ**

По Неве в тумане проходят корабли. Глухо звучат шаги ночного дозора: улицы стали напоминать совсем другие времена. Голос времен, как эхо, живет в пространствах ночи.

Броневик Ильича у Финляндского вокзала в свете бледного прожектора и бронзовый Киров на Новой площади врезаются в самое сердце. И проспект имени Газа говорит о непреклонном комиссаре, улица Ракова — о человеке, прошедшем жизнь, состоявшую из смертельных опасностей, во имя победы народа, проспект Огороднико-

ва — о железном путиловском рабочем, беспощадно разившем врагов народа.

Площадь Жертв Революции, молчаливая и пустынная, напоминает о великом долге каждого ленинградца быть на боевом посту в городе, где рождалась революция, бороться за свободу, честь, счастье, за будущее, как боролись они — павшие с оружием в руках, — и не бояться отдать, если нужно, жизнь за то, чтобы этот русский город был всегда русским, свободным, советским городом.

По улицам проходят обозы и пушки, проходят войска. С мужчинами рядом шагают женщины — сестры, жены. Так они пройдут до самого фронта. Фронт недалеко. И тут же под вой разрывов им скажут: довольно, вернитесь. Они ответят: мы остаемся, и останутся дружинниками. Будут выносить раненых и следить, чтобы их оружие было при них.

Город живет по-боевому. У бани женщины заинтересовались группой бородатых, серьезных людей с загорелыми, обветренными лицами.

— Откуда такие бородачи в наше время, да еще целая куча?

— Подождите, через часок все будем молодыми, — говорят, посмеиваясь, бородачи. Это партизаны пришли помыться, побриться, отдохнуть в городе.

Вот женщины, много женщин склонилось над шитьем. Почему такие серьезные у них лица, как будто они не шьют, а участвуют в сражении? Они готовят теплое белье, теплые вещи для бойцов. Все время открывается дверь, и новые и новые приносят узлы, чемоданы, пакеты с теплыми вещами, которые надо просмотреть, переделать, перешить. Зима на дворе. Наши бойцы ходят в теплой чистой одежде, в фуфайках, перешитых добрыми руками. У этих женщин не у всех родные на фронте, но у них нет деления на своего и твоего. Все фронтовые стали родными, все стали близкими.

На заводах делают боевое оружие, снаряды, на заводах работают на фронт. Со скрежетом разрывается в цехе снаряд. Мгновение замешательства. Раздается тихий, но твердый голос руководителя:

— Товарищи, фронт ждет нашей помощи!

Люди становятся к станкам. Аварийная команда начинает исправлять повреждения.

А на фронте мастера огня засекают вспышки вражеских орудий, бьющих по городу. Ненавистью пылают

сердца артиллеристов. Залп, еще залп, — конец разбойничьей батареи. Летят в сторону колеса, головы и руки немецких бандитов, думавших внести замешательство в работу завода.

Пробирается разведка. В ней все ленинградцы. Им знакома каждая дорога в этих местах. Люди сжимают оружие, как самое дорогое. Мстить, мстить врагу за все. За то, что сгорели пригородные чудные уголки, и за то, что убиты родные, истерзаны дети и женщины, за то, что в Пушкине на улице виселицы и бомбы разбили большую залу Екатерининского дворца, за то, что бронзового позолоченного Самсона, украшение петергофских фонтанов, немцы распилили на части и увезли, за все страдания, за ночные выстрелы по мирному населению — за все.

Тяжелые наши орудия бьют с фортов. И разбиваются немецкие штабы и танки, батареи и автоколонны. Скоро немецких трупов будет столько, что некогда будет их закапывать.

Высоко в небе, где так не нужна луна, все залившая своим равнодушным светом, скрываются немецкие стервятники. Они бросают бомбы. Бомбы падают в каналы, взметывая воду выше домов. Бомбы ломают деревья, убивают старую ленинградскую слониху в зоопарке, падают на дома. Дома рушатся. Бойца аварийной команды вызывают на место попадания. Он видит, что завалило щель, где укрывались жильцы дома. Он работает без устали, осторожно и умело. Один живой ребенок извлечен из-под груд мусора и земли, второй, третий, четвертый, пятого он передает молча товарищам, и те чувствуют, что руки его ослабели.

— Заработался, устал?

Нет, на его руках лежит его 11-летняя дочь. Ее убили звери, умеющие летать. Начальник команды предлагает ему отдохнуть, прямо сказать — уйти со своим горем. Единственная дочь. Он говорит: нет, он не уйдет! Он будет работать. Его дочь умерла, но есть там, под землей, другие, живые дети, их надо спасти, их можно спасти и их спасают.

Людей такого города нельзя сделать рабами. На родину нашу упало страшное, невыразимое простыми словами бедствие.

Нам много предстоит тяжелого. Надо пройти через все. Ничто не страшно человеку, стоящему за правду. Мы стоим за правду. В наш человеческий город пропустить



зверей нельзя, мы их не пропустим! Их будут истреблять безжалостно, беспощадно. С ними нет другого разговора, как разговор пульей и снарядом, танком и минометом.

Так пусть будет больше орудий, пуль, танков и минометов! Вот почему по улицам маршируют штатские люди с винтовками на плече. Они стали бойцами все до единого. Вот почему праздник мы празднуем за боевой работой. То, что добыто народной кровью и потом, не отдадим врагу. Это все надо защищать до последнего вздоха. Вот почему Ленинград темен и суров. К нему подкрался враг с ножом, чтобы перерезать горло спящему. Но он застал Ленинград бодрствующим. Горе врагу!

Какой веселый гомон бывает в Ленинграде перед Октябрьскими праздниками в мирные времена! Как светились его выпуклые, длинные, круглые огни, как играли их отсветы в каналах и в широкой Неве, сколько народу толпилось перед витринами магазинов! Детвора заполняла его скверы и парки. Долго за полночь проносились шумные трамваи, сияли окна, возвращались из театров и из гостей, встречаясь с ночной сменой идущих на заводы. Молодежь смеялась так заразительно, что самый суровый прохожий начинал невольно улыбаться. Нет, Ленинград не был холодным городом.

Это выдумали от зависти к его большим площадям и широким улицам, к его просторам и к его непрерывной деловой энергии.

Приезжие бегали на Неву в белые ночи, смотрели разведенные мосты с поднятыми, повисшими в небе стенами, любовались прекрасными лунными ночами и зимними морозами, колдовскими сумерками. Он был бесконечным. Трамвай шел по городу часами, и город не кончался. Заставы его — прежние окраины — никто бы из людей десятого года не узнал в сороковом... Так они выросли, сами стали городом, зажили богато и предствительно.

Если смотреть на Ленинград с высот Пулковских холмов весенним вечером, то по всему горизонту лежал как бы огненный пояс. Золотая полоса огней с каждым годом все ближе продвигалась к югу, все ширилась и росла.

Теперь мы узнали, каков Ленинград во мраке затемнения. Узнали, как выглядят улицы без огней и без людей ночью. Как не нужна и прямо враждебна луна над городом. Как надо жить, стиснув зубы от великой ненависти

к врагу, отказаться от всех мелочей жизни, забыть беспечную суету и взять в руки оружие.

Страна наша стала вооруженным лагерем. Ленинград — ее передовой пост. На посту часовые не спят. И Ленинград стоит, как закованный в броню часовой, и зорко всматривается в туманную ночь, в которой притаился враг, беспощадный, настойчивый, кровожадный.

7 сентября 1941 года



Леонид Соболев

ОДЕССА В БОЮ

Спокойствие и уверенность в своих действиях, ненависть к врагу — вот качества, которые в этой тяжелой, серьезной, большой войне должен развивать в себе каждый из нас. Каждый из нас знает конечный исход борьбы. Надо помнить, что спокойствие и уверенность с той же силой действуют на окружающих тебя людей, как паника и трусость. Один выдержанный человек, твердо знающий, что он хочет сделать, может спасти сотни людей, так же как погубить эти сотни может один трус или паникер.

Спокойствию и уверенности в себе можно было учиться в Одессе, о которой главным образом я буду говорить. Вот несколько примеров.

Завод, находившийся у самого порта, был сильно разрушен. Каждый день на него бросали бомбы. Каждые пять-восемь минут снаряд, свистя, бил в крышу, в стены, в дворики. Но где-то внутри, среди разваленных стен, выбитых рам, между зияющих дырами перекрытий, где-то внутри завода еще билось стойкое мужественное сердце коллектива: человек сорок рабочих — стариков и комсомольцев — днем и ночью работали на уцелевших станках. Они рассверливали трофейные фашистские минометы, подгоняя их под наши мины, ремонтировали части орудий, чинили пулеметы и винтовки, по идее инженер-капитана Когана переделывали тракторы в «танки» марки НИ («на испуг») — все это под непрерывным обстрелом, под осколками снарядов, залетающих в цех. И так — изо дня в день, долгие полтора месяца...

На боевом участке полковника Якова Ивановича Осипова, командира Первого морского полка, я видел деревья, которые навсегда остались в моей памяти. Это была агротехническая посадка, одна из тех, которые ровными зелеными бульварами стоят на приодесской равнине. Деревья, посаженные для целей мирных, здесь неожиданно приобрели важный военный смысл. Они стали линиями обороны, маскируя собой орудия, окопы, наблюдательные пункты. Одну из таких посадок, сходящуюся двумя линиями под прямым углом, занимали два батальона моряков-черноморцев осиповского полка. Батальоны были в фактическом окружении: кругом были вражеские окопы, батареи, минометы, и только узкое кукурузное поле было единственной опасной дорогой, по которой доставлялась по ночам горячая пища, боеприпасы и вода — все это ползком, нередко с боями. Две недели провели здесь моряки в непрерывных отражениях атак с разных сторон. Через две недели эта посадка сыграла свою историческую роль: именно отсюда при нашем наступлении моряки рванулись во фланг врагам, сами угрожая им мешком. Королевские войска, побросав тяжелые орудия, пулеметы и минометы, без отдыха пробежали восемь километров, вырываясь из грозящего им окружения.

Об этих двух неделях боев в посадке можно рассказывать долго. Я скажу лишь о двух деталях, и тогда все станет ясно. Первая: трупы фашистских солдат навалом, один на другом, лежали у самых окопов, ибо моряки подпускали атакующих вплотную, выдерживая без выстрела их автоматный и пулеметный огонь, только переглядываясь и поглядывая на своих командиров. Те рукой показывали: «Рано... рано... еще обождем... спокойно...» И только когда в дневной атаке можно было различить небритые, искаженные страхом подневольной атаки лица солдат, а в ночной — наверняка разглядеть силуэты, — только тогда командиры резко опускали поднятые руки, и точный беспощадный ливень пулеметов и автоматов (из которых добрая половина были трофейные) начинал косить очередную волну атакующих, добавляя новые неподвижные гребни трупов. Близость их от окопов подтверждает выдержку и спокойствие морских батальонов: до убитых было пятьдесят-шестьдесят шагов.

И вторая деталь: на другой день после наступления я видел эти деревья посадки. Высокие акации превратились в голые ошипанные кустики, все было срезано пулями и

осколками мин и снарядов, а в оставшейся зелени я не мог найти хотя бы один листок или огрызок ветки, не пробитый пулей или осколком металла. Все было посечено, продырявлено, надрезано в этой посадке, где две недели моряки осиповского полка показывали образцы спокойствия, выдержки и мужества.

На другом участке фронта, где действовали наши армейские части, я видел курганчик. Одиноким, он возвышался над плоской равниной, и смотреть на него можно было только издали, ибо он оказался впереди наших окопов, — фашисты в этом месте потеснили наши части. Там находился командир взвода разведки артиллерийского дивизиона младший лейтенант Бойченко с двумя сотнями бойцов, а рядом, в лощинке, — противотанковая батарея лейтенанта Андреева.

Впереди наших окопов они просидели шесть суток. Бойченко продолжал исправно корректировать огонь артиллерии, по ночам восстанавливая перебиваемую снарядами связь, а Андреев держал оборону и своей батареи, и курганчика. Атаки на них были по два-три раза в день. Андреев подпускал фашистов на триста метров и бил из пушек в живую стену прямой наводкой. На седьмые сутки наша пехота снова выдвинулась на рубеж перед курганчиком. Но легче не стало. Румыны решили тяжелой артиллерией уничтожить упорного наблюдателя.

В тот самый момент, когда мне рассказывали об этих шести сутках, над курганчиком Бойченко встал тяжелый столб разрыва, за ним другой, третий.

— Опять валить начали, — беспокойно сказал военком дивизиона. — Позвоните, как у них там дела...

Тяжелые снаряды закрыли своими разрывами весь курган. Телефон молчал. Потом столбы дыма и земли улеглись, и курганчик опять встал над равниной, но телефон не отвечал. Минут через двадцать (во время которых разговор у нас не клеился, — все мы посматривали на курганчик) телефон вдруг зазвонил. Бойченко передал, что все в порядке, порвали только связь и что есть новая цель: в такой-то лощине накапливается до батальона румын. Короткие команды — и сзади за нами захлопали частые плотные выстрелы наших гаубиц, и впереди, в лощинке, встали черные столбы разрывов. На девятом выстреле Бойченко сообщил, что стрельбу, пожалуй, можно прекратить, потому что в лощине лежат только те из румын,

кто уже никогда не встанет, а остальные бегут назад само-сильно.

Небольшой сторожевой катер, которым командует старший лейтенант Складар, за два с половиной месяца имел пятьдесят девять боев с фашистскими самолетами. В общей сложности на него налетало восемьдесят четыре самолета, сбросившие сто девяносто четыре бомбы. Такое лестное для маленького катера внимание объясняется тем, что сторожевые катера Черноморского флота были бельмом на глазу фашистов: катера эти конвоировали транспорты с боеприпасами и войсками, несли в море дозорную службу, предупреждая Одессу о появлении с моря бомбардировщиков, поддерживали и высаживали десанты и за это время сшибли около двадцати самолетов. Как видите, было отчего гоняться за этими катерами.

Однажды на катер лейтенанта Складара налетело сразу три четырехмоторных бомбардировщика.

— Солнце закрыли, крыльями тень мне сделали,— рассказывает Складар.— Размах крыльев у них вдвое больше катера. Думал, не отобьюсь. Только и говорю пулеметчикам: «Спокойнее, спокойнее, целься вернее, не волноваться, до самой смерти ничего не будет...» Сбросили они бомбы — семь штук пятистоток, гляжу — а один дымит. Крыло прошили... Завалился.

На другой катер налетело сразу пятнадцать бомбардировщиков. Атака была мертвой: четыре ринулись на катер в пике сразу с четырех сторон, ведя непрерывный пулеметный огонь, чтобы согнать людей с палубы. Одновременно остальные одиннадцать самолетов один за другим проходили над катером, сбрасывая бомбы. Командир катера лейтенант Тимошенко приказал бить из пулеметов по пикировщикам, а из пушек — по бомбящим самолетам.

— Минут десять они нас так промучили,— эти из пулеметов шьют, а те бомбами... Прямо вечностью это показалось. Но краснофлотцы огонь ведут нормально, гляжу, все спокойны. Потом беда — шрапнель кончилась, всю израсходовали. Ну, стали бить бронебойными. А ведь это все равно что из винтовки утку подстрелить: попади-ка, снаряд ведь осколков не дает. Однако что бы вы думали? Одному все-таки угадало бронебойным в самый мотор, и конец ему. Тогда и другие отвернули, даже не отбомбились...

И еще один пример спокойствия и уверенности в своих

силах. Была в дивизии батарея, замечательная тем, что весь ее личный состав состоял из одесситов-запасников, начиная с командира, лейтенанта Дионисия Бойко, преподавателя марксизма-ленинизма в Одесском индустриальном институте. Здесь был инженер-электрик Светушев, токарь Олехнович, ставший разведчиком,— словом, люди, которые до войны занимались в Одессе совсем не стрельбой из гаубиц. Когда потребовалось защищать родной город, все эти люди показали себя лучше многих кадровых артиллеристов.

Батарея эта однажды оказалась в тяжелом положении: что-то случилось с прикрывающей батарею пехотой, и из-за пригорка, метра в трехстах, показались атакующие румыны. Атака была совершенно неожиданной. Бойко с удовольствием утолял жажду арбузом, когда увидел на гребне пригорка королевских солдат. Он обернулся к орудиям. Артиллеристы стояли на местах, смотря на румын и ожидая его команды. И он открыл огонь из гаубиц по подбегающим солдатам. Первая волна полегла, за ней встала вторая. Легла навеки и вторая, на трупах показалась третья — цепь автоматчиков. Полупьяные, держась под руки, они шли на обреченную батарею, которую вот-вот должны были захватить. Положили и третью цепь. Не давая передышки, антонесковцы пошли четвертой атакой — и так восемь раз. Орудия раскалились, в компрессорах закипело масло, краска горела и коробилась, но люди — запасники и инженеры, одесситы,— оказались прочнее механизмов. Они непрерывно вели огонь, снаряды рвались перед самыми орудиями, угрожая осколками побить своих же,— так близко были враги. И все восемь атак были отбиты...

Вот о чем прежде всего хотелось рассказать, вернувшись в Москву в эти серьезные дни: о том, что спокойствие и уверенность всегда приведут к победе. И всем нам в эти грозные дни нужно держать себя в руках,— нужно делать свое дело точно, спокойно и уверенно, какую бы работу в Москве ты ни делал и где бы ты ни был на фронте.

Враг ждет от нас растерянности и паники. Враг надеется сломить коллективную волю советских людей. Пусть каждый из нас помнит об этих надеждах врага и пусть каждый в своем деле будет серьезен, честен, спокоен и уверен. Затыкай рот паникеру, сеющему слухи, своей рукой пристрели труса, поддержи того, у кого сдала воля к по-

беде — к победе, которая ждет нас впереди, там, в боях упорных, кровавых, грозных, в боях, где стеной стали советские люди, спокойные, уверенные в себе и в правоте своего дела.

Москва

Выступление по Всесоюзному радио  
26 октября 1941 г.



**Михаил Шолохов**

### ЛЮДИ КРАСНОЙ АРМИИ

Генерал Козлов прощается с нами и уезжает в одну из частей, чтобы на поле боя следить за ходом наступления. Мы желаем ему успеха, но и без нашего пожелания кажется совершенно очевидным, что военная удача не повернется спиной к этому генералу-крестьянину, осмотрительному и опытному, по-крестьянски хитрому и по-солдатски упорному в достижении намеченной цели.

Выхожу из землянки. До начала нашей артподготовки остается пятнадцать минут. Меня знакомят с младшим лейтенантом Наумовым, только что прибывшим с передовых позиций. Ему пришлось ползти с полкилометра под неприятельским огнем. На рукавах его гимнастерки, на груди, на коленях видны ярко-зеленые пятна раздавленной травы, но пыль он успел стряхнуть и сейчас стоит передо мной улыбающийся и спокойный, по-военному подбранный и ловкий. Ему двадцать семь лет. Два года назад он был учителем средней школы. В боях с первого дня войны. У него круглое лицо, покрытые золотистым юношеским пушком щеки, серые добрые глаза и выгоревшие на солнце белесые брови. С губ его все время не сходит застенчивая, милая улыбка. Я ловлю себя на мысли о том, что этого скромного, молодого учителя, наверное, очень любили школьники и что теперь, должно быть, так же любят красноармейцы, которым он старательно объясняет военные задачи, видимо, так же старательно, как два года назад объяснял ученикам задачи арифметические. С удивлением я замечаю, что в коротко остриженных белокурых волосах молодого лейтенанта, там, где не покрывает их каска, щедро поблескивает седина. Спрашиваю, не война

ли наградила его преждевременной сединой? Он улыбается и говорит, что в армию пришел поседевшим и теперь никакие переживания уже не смогут изменить цвета его волос.

Мы садимся на насыпь блиндажа. Разговор у нас не клеится. Мой собеседник скупко говорит о себе и оживает только тогда, когда разговор касается его товарищей. С восхищением говорит он о своем недавно погибшем друге лейтенанте Анашкине. Время от времени он прерывает речь, прислушиваясь к выстрелам наших орудий и к разрывам немецких снарядов, лежащих где-то в стороне и сзади территории штаба. Прошу его рассказать что-либо о себе. Он морщится, неохотно говорит:

— Собственно, про себя мне рассказывать нечего. Наша противотанковая батарея действует хорошо. Много мы покалечили немецких танков. Я делаю то, что все делают, а вот Анашкин — это действительно был парень! Под деревней Лучки ночью пошли мы в наступление. С рассветом обнаружили против себя пять немецких танков. Четыре бегают по полю, пятый стоит без горючего. Начал огонь. Подбили все пять танков. Немцы ведут сильный минометный огонь. Подавить их огневые точки не удается. Пехота наша залегла. Тогда Анашкин и разведчик Шкалев ползком незамеченные добрались до одного немецкого танка, влезли в него. Осмотрелся Анашкин — видит немецкую минометную батарею. 76-миллиметровое орудие на танке в исправности, снарядов достаточно. Повернул он немецкую пушку против немцев и расстрелял минометную батарею, а потом начал расстреливать немецкую пехоту. Погиб Анашкин вместе с орудийным расчетом, меняя огневую позицию.

Серые глаза моего собеседника потемнели, слегка дрогнули губы. И еще раз во время разговора заметил я волнение на его лице: неосторожно спросив о том, как часто получает он письма от своей семьи, я снова увидел потемневшие глаза и дрогнувшие губы.

— За последние три недели я послал жене шесть писем. Ответа не получил, — сказал он и, смущенно улыбувшись, попросил: — Не сможете ли вы, когда вернетесь в Москву, сообщить жене, что у меня здесь все в порядке и чтобы она написала мне по новому адресу? Наша часть сейчас переменила номер почтового ящика, может быть, поэтому я и не получаю писем.

Я с удовольствием согласился выполнить это поруче-

ние. Вскоре наш разговор был прерван начавшейся арт-подготовкой. Грохот наших батарей сотрясал землю. Отдельные выстрелы и залпы слились в сплошной гул. Немцы усилили ответный огонь, и разрывы тяжелых снарядов стали заметно приближаться. Мы сошли в блиндаж, а когда через несколько минут снова вышли на поверхность, я увидел, что саперы, строившие укрытие, не прекращали работы. Один из них, пожилой, с торчащими, как у кота, рыжими усами, деловито осматривал огромную сваленную сосну, постукивая по стволу топором, остальные дружно работали кирками и лопатами, и на глазах рос огромный холм ярко-желтой глины.

— Не хотите ли поговорить с одним из наших лучших разведчиков? Он только сегодня утром пришел из немецкого тыла, принес важные сведения. Вон он лежит под сосной, — обратился ко мне один из командиров, кивком головы указывая на лежавшего неподалеку красноармейца. Я охотно изъявил согласие, и командир сквозь гул артиллерийской канонады громко крикнул:

— Товарищ Белов!

Быстрым, неуловимо мягким движением разведчик встал на ноги, пошел к нам, на ходу опираясь на гимнастерку.

Внезапно наступила тишина. Командир посмотрел на часы, вздохнул и сказал:

— Теперь наши пошли в атаку.

Было что-то звериное в движениях, в скользкой походке разведчика Белова. Я обратил внимание на то, что под ногой его не хрустнул ни один сучок, а шел он по земле, захлавленной сосновыми ветками и сучьями, но шел так бесшумно, будто ступал по песку. И только потом, когда я узнал, что он — уроженец одной из деревень близ Муромы, исстари славящегося дремучими лесами, мне стала понятна его сноровистость в ходьбе по лесу и мягкая поступь охотника-зверовика.

В разговоре с разведчиком повторилось то же, что и с младшим лейтенантом Наумовым: разведчик неохотно говорил о себе, зато с восторгом рассказывал о своих боевых товарищах. Воистину, скромность — неотъемлемое качество всех героев, бесстрашно сражающихся за свою Родину.

Разведчик внимательно рассматривает меня коричневыми острыми глазами, улыбаясь, говорит:

— Первый раз вижу живого писателя. Читал ваши

книги, видел портреты разных писателей, а вот живого писателя вижу впервые.

Я с не меньшим интересом смотрю на человека, шестнадцать раз ходившего в тыл к немцам, ежедневно рискующего жизнью, безупречно смелого и находчивого. Представителя этой военной профессии я тоже встречаю впервые.

Он сутуловат и длиннорук. Улыбается редко, но как-то по-детски — всем лицом, и тогда становятся видны его редкие белые зубы. Шоколадные глаза его часто щурятся. Словно ночная птица, он боится дневного света, прикрывая глаза густыми ресницами. Ночью он, наверное, видит превосходно. Внимание мое привлекают его ладони: они сплошь покрыты свежими и зарубцевавшимися садинами. Догадываюсь: это от того, что ему много приходится ползать по земле. Рубашка и брюки разведчика грязны, покрыты пятнами, но эта естественная камуфляция столь хороша, что, ляг разведчик в блеклой осенней траве, и его не разглядишь в пяти шагах от себя. Он неторопливо рассказывает, время от времени перекусывая крепкими зубами сорванный стебелек травы.

— Вначале я был пулеметчиком. Взвод наш отрезали немцы. Куда ни сунемся — всюду они. Мой друг-пулеметчик вызвался в разведку. Я пошел с ним. Подползли к шоссе, залегли у моста. Долго лежали. Немецкие грузовые машины идут. Мы их считаем, записываем, что они везут. Потом подошла легковая машина и стала около моста. Немецкий офицер вышел из нее, высокий такой, в фуражке. Включился в полевой телефон, лег под машину, что-то говорит. Два солдата стоят около него. Шофер сидит за рулем. Мой товарищ — лихой парень — подмигнул мне и достал гранату. Я тоже достал гранату. Приподнялись и метнули две сразу. Всех четверых немцев уничтожили, машину испортили. Бросились мы к убитым, сорвали с офицера полевую сумку, карту взяли с какими-то отметками, часть оружия успели взять, и тут, слышим, трещит мотоцикл. Мы снова залегли в канаве. Как только мотоциклист сбавил ход возле разбитой машины, мы кинули вторую гранату. Мотоциклиста убило, а мотоцикл перевернулся два раза и заглох. Подбежал я, смотрю, мотоцикл-то целехонький. Мой дружок — очень геройский парень, а на мотоцикле ездить не умеет. Я тоже не умею, а бросать его жалко. Взяли мы его за руль и повели, — разведчик улыбается, говорит:



— Руки он мне, проклятый, оттянул, пока я его по лесу вел, а все же довели мы его до своих. На другой день прорвались из окружения и мотоцикл прикатили. Теперь на нем наш связист скачет, аж пыль идет! Вот с этого дня мне и понравилось ходить в разведку. Попросил я командира роты, он и отчислил меня в разведчики. Много раз я к немцам в гости ходил. Где идешь, где на брюхе ползешь, а иной раз лежишь несколько часов и шевельнуться нельзя. Такое наше занятие. Все больше ночью ходим, ищем, вынюхиваем, где у немцев склады боеприпасов, радиостанции, аэродромы и прочее хозяйство.

Прошу его рассказать о последнем визите к немцам. Он говорит:

— Ничего, товарищ писатель, нет интересного. Пошли мы позавчера ночью целым взводом. Проползли через немецкие окопы. Одного немца тихо прикололи, чтобы он шуму не наделал. Потом долго шли лесом. Приказ нам был рвануть один мост, построенный недавно немцами. Это километров сорок в тылу у них. Ну, еще кое-что надо было узнать. Отошли за ночь восемнадцать километров, меня взводный послал обратно с пакетом. Шел я лесной тропинкой, вдруг вижу свежий конский след. Нагнулся, вижу — подковы не наши, немецкие. Потом людские следы пошли. Четверо шли за лошадью. Один хромым на правую ногу. Проходили недавно. Догнал я их, долго шел сзади, а потом обошел стороной неподалеку и направился своим путем. Мог бы я их пострелять всех, но мне с ними в драку вязываться нельзя было. У меня пакет на руках и рисковать этим пакетом я не имел права. Дождался ночи возле немецких окопов и к утру переполз на свою сторону. Вот и все.

Некоторое время он молчит, щурит глаза и задумчиво вертит в руках сухую травинку, а потом, словно отвечая на собственные мысли, говорит:

— Я так думаю, товарищ писатель, что побьем мы немцев. Трудно наш народ рассердить, и пока он еще не рассердился по-настоящему, а вот как только рассердится, как полагается, худо будет немцам. Задавим мы их!

По пути к машине мы догоняем раненого красноармейца. Он тихо бредет к санитарной автомашине, изредка покачивается, как пьяный. Голова его забинтована, но сквозь бинт густо проступила кровь. Отвороты и полы шинели, даже сапоги его в потеках засохшей крови. Руки в крови по локти, и лицо белеет той известковой, прозрач-

ной белизной, какая приходит к человеку, потерявшему много крови.

Предлагаем ему помочь дойти до машины, но он отклоняет нашу помощь, говорит, что дойдет сам. Спрашиваем, когда он ранен. Отвечает, что час назад. Голова его забинтована по самые глазницы, и он, отвечая, высоко поднимает голову, чтобы рассмотреть того, кто с ним говорит.

— Осколком мины ранило. Каска спасла, а то бы голову на черепки побило, — тихо говорит он и даже пробует улыбнуться обескровленными синеватыми губами. — Каску осколок пробил, схватился я руками за голову — кровь густо пошла. — Он внимательно рассматривает свои руки, еще тише говорит: — Винтовку, патроны и две гранаты отдал товарищу, кое-как дополз до перевязочного пункта. — И вдруг его голос крепнет, становится громче. Повернувшись на запад, откуда доносятся взрывы мин и трескотня пулеметов, он твердо говорит: — Я еще вернусь туда. Вот подлечат меня, и я вернусь в свою часть. Я с немцами еще посчитаюсь!

Голова его высоко поднята, глаза блестят из-под повязки, и простые слова звучат торжественно, как клятва.

Мы идем по лесу. На земле лежат багряные листья — первые признаки наступающей осени. Они похожи на кровавые пятна, эти листья, и краснеют, как раны на земле моей Родины, оскверненной немецкими захватчиками.

Один из товарищей вполголоса говорит:

— Какие люди есть в Красной Армии! Вот недавно погиб смертью героя майор Войцеховский. Неподалеку отсюда, находясь на чердаке одного здания, он корректировал огонь нашей артиллерии. Шестнадцать немецких танков ворвались в село и остановились вблизи здания, где находился майор Войцеховский. Не колеблясь, он передал по телефону артиллеристам: «Немедленно огонь по мне! Здесь немецкие танки». Он настоял на этом. Все шестнадцать танков были уничтожены, угроза прорыва нашей обороны была предотвращена, погиб и Войцеховский.

Дальше идем молча. Каждый из нас думает о своем, но все мы покидаем этот лес с одной твердой верой: какие бы тяжкие испытания ни пришлось перенести Родине — она непобедима. Непобедима потому, что на защиту ее

встали миллионы простых, скромных и мужественных сынов, не щадящих в борьбе с коричневым врагом ни крови, ни самой жизни.

8 октября 1941 года



**Владимир Ставский<sup>1</sup>**

**БОЕВАЯ ОРДЕНОНОСНАЯ**

1

С глубоким и радостным волнением узнали все фронтовики, все советские патриоты о переименовании ряда дивизий в гвардейские дивизии. В боях за Родину, в боях против полчищ немецких захватчиков выросла и растет славная советская гвардия, нанося жестокие удары немцам и обращая их в бегство, наводя на них ужас.

В числе других наименована в 8-ю гвардейскую дивизию 316-я стрелковая дивизия, которой командует генерал-майор Иван Васильевич Панфилов. Указом Президиума Верховного Совета СССР дивизия награждена орденом Красного Знамени за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество.

Яркие страницы в героическую историю Красной Армии, в бессмертную эпопею защиты Родины вписали гвардейцы 8-й дивизии.

Вторая декада октября. Немецко-фашистские орды рвутся вперед. У врага — явное численное превосходство, особенно в танках. Участок дивизии исключительно важен. Здесь — одна из магистралей, автострада. Здесь железная дорога, узел большаков.

Немцы все это учитывали. На это направление они бросили три пехотные дивизии, одну мотодивизию и одну танковую дивизию, много авиации.

Основные силы немецкой группировки действовали против 316-й стрелковой дивизии. Ее боевой участок оказался во много раз больше уставных норм и не был под-

<sup>1</sup> В. Ставский погиб на фронте под Невелем в ноябре 1943 г.

готовлен к обороне. Работы по оборонительным сооружениям здесь были лишь намечены.

— Мы пришли и сели на колышки! — с усмешкой вспоминает Иван Васильевич Панфилов. — Разметка сделана, а копать еще не начинали!

Командование дивизии отчетливо представляло себе сложность обстановки.

Генерал-майор Панфилов — старый солдат, с 1915 года он на войне, был унтер-офицером и фельдфебелем царской армии, дрался с немцами на Юго-Западном фронте. В гражданскую войну — Панфилов служил в дивизии Чапаева — командовал вначале взводом, потом батальоном. Два ордена Красного Знамени горят у него на груди. В ВКП(б) вступил уже в 1920 году на фронте. Сейчас ему уже 48 лет. В коротко стриженных волосах его — широкое серебро седины. Но карие глаза удивительно молоды и свежи. Панфилов подтянут, подвижен. На смуглом, чуть скуластом лице — выражение уверенности, силы, а в часто возникающей усмешке, усмешке бывалого, видавшего всякие виды солдата, светится и природный глубокий ум, и проницательность, и неистребимо веселое лукавство.

Генерал-майор принял решение вести активную оборону, закрыть фланги, на решающих направлениях создать сильные противотанковые узлы с глубиной. И — что он считал особенно важным — создать и держать в руке сильный резерв, заградительный отряд, с тем чтобы в любой миг бросить его на опасный участок.

В борьбе против атакующих немецких танков блестяще действовали три противотанковых полка, приданных дивизии, и поддерживающий пушечный полк.

Генерал-майор Панфилов, не выпуская из рук управления, смело подчинял на время стрелковые части и подразделения артиллерийским командирам, и в данной конкретной обстановке это было единственно правильным решением.

Также правильно и своевременно закрыл он свои фланги. А когда немцы угрозой нависли на левом фланге, он быстро и плотно закрылся резервом, заградотрядом. И тотчас же создал снова хотя и меньший, но стойкий резерв, оторвав буквально по роте всюду, где только была возможность. И когда танки врага просочились в обход к командному пункту дивизии, они напоролась на организованный отпор, ничего сделать не смогли и отошли, оставив горящими несколько машин.

Пристального внимания заслуживают противотанковые узлы обороны дивизии, расположенные на решающем направлении, их значительная глубина. Это построение дало возможность наносить немцам тяжелые удары и огромные потери. Несмотря на все их численное и техническое превосходство, немцы были задержаны на несколько дней, которые нужны были командованию армии для соответствующих мероприятий.

2

8-я гвардейская дивизия молодая. Личный состав — в подавляющем большинстве — воюет впервые. Поэтому командование дивизии — и генерал-майор Панфилов, и комиссар дивизии старший батальонный комиссар Сергей Алексеевич Егоров — особое внимание обратило на изучение всего личного состава, на его подготовку. Во фронтовых условиях во всех частях и подразделениях была организована глубокая планомерная учеба.

«Воюя, учись воевать!» — эту заповедь крепко усвоили и осуществили на деле в дивизии. В частности, на фронте были проведены все учебные стрельбы.

Вместе с боевой подготовкой велась и ведется огромная политико-воспитательная работа. Командир и комиссар дивизии повседневно и неразрывно связаны со всей жизнью своих бойцов, командиров и политработников.

И в результате дивизия — все ее части, все подразделения стали на огневые рубежи крепким коллективом, сплоченным стальной волей к победе, беззаветной преданностью Родине. И они доказали это на деле.

Рота старшего лейтенанта Маслова первой столкнулась с противником. Боевое охранение отбросило разведку немцев.

Тогда противник подтянул двадцать танков и больше роты пехоты. Охранение с боями отошло в ротный узел обороны. На другой день немцы повели наступление, собрав в кулак до ста танков, подбросив на 80 грузовиках пехоту.

Старший лейтенант Маслов умело организовал оборону, замечательно использовал взвод станковых пулеметов, две пушки и два противотанковых орудия, которыми командовал младший лейтенант Иванов.

В этот день танки атаковали наш батальон прямо в

лоб. Артиллеристы расстреливали их прямой наводкой. Несколько танков загорелось.

Группа стальных чудовищ зашла слева, прорвалась к окопам, под гусеницами стали гибнуть отважные бойцы, забрасывавшие танки ручными гранатами и зажигательными бутылками. Но и танки останавливались, пылая.

Семнадцать танков было уничтожено в один этот день. Остальные в беспорядке отошли, бежали с поля боя. Но на другой день немцы снова пошли в атаку.

Рота Маслова была окружена. Глубоко и тщательно зарывшись в землю, герои отбивали все попытки врага. Они отбивались три дня. Боеприпасы и продовольствие вышли. Осталось только по пять патронов и всего четыре гранаты. Эти гранаты Маслов сберег, чтобы оставшиеся в живых могли взорвать себя, если не удастся прорваться из вражеского кольца.

На пятый день Маслов с группой красноармейцев пробился с оружием в руках к своим. Героически дрались и другие подразделения, как в эти дни, так и позднее.

Немцы бросили на позиции 8-й роты сорок танков, охватили фланги. Слева прямо в окопы ворвались танки.

Красноармеец Левкобылов, казах из Алма-Аты, колхозник, коммунист, ротный агитатор и редактор «Боевого листка», выскочил из окопа. Смуглое лицо его, прекрасные черные глаза пламенели.

— За Родину!

Пробежав с десяток шагов, он метнул гранату и сбил башенку немецкого легкого танка. Люк башни открылся. Левкобылов подбежал к танку вплотную и вторую гранату метнул прямо в люк.

Раздался взрыв. Левкобылов схватил зажигательную бутылку. В этот момент его прошла очередь из немецкого автомата. Левкобылов поднял руку с бутылкой. Гусеница вражеского танка своим последним судорожным движением раздавила героя.

Всюду пылали вражеские танки, расстрелянные нашими артиллеристами, зажженные бутылками, брошенными твердыми руками бойцов.

Но танков было еще много. Они осаждали и лезли на позиции, на окопы, обходили их.

Начальник штаба полка капитан Манаенков был на наблюдательном пункте батальона старшего лейтенанта Райкина. Отсюда они управляли боем, и тут они подверг-

лись нападению слева — трех танков, справа — немецких броневиков.

Старший лейтенант Райкин был ранен автоматчиком в руку и в правый бок.

Капитан Манаенков бросил две гранаты. Без промаха. Сзади по капитану грохнули очереди автоматчиков. Подскочив, Манаенков расстрелял группу немецких автоматчиков из своего пистолета-пулемета и забежал в сарай. Вражеский танк, подойдя вплотную, бил из пушки. Сарай загорелся.

Стреляя из автомата, капитан Манаенков выбежал из сарая и упал, пронзенный многими десятками пуль.

На правом фланге батальона занимал огневые позиции взвод станковых пулеметов. Командир взвода, грузин, лейтенант Какулия выбрал эти позиции, чтобы отсюда вести фланговый огонь по пехоте противника, которая шла вслед за танками. Какулия безмолвно пропустил танки. Потом расстрелял и уничтожил немецких солдат.

Второй эшелон немецких танков обнаружил пулеметные точки Какулии. Немцы дали шквал огня из пушек и минометов.

Расчеты всех пулеметов Какулии были выбиты.

Какулия лег за пулемет и сам стал стрелять. Он стрелял до последнего патрона. Он погиб от взрыва немецкой мины. Его навеки застывшая рука сжимала ручку станкового пулемета.

Поле впереди окопов было усеяно немецкими трупами. Атака немцев провалилась.

3

Не пересказать всех подвигов бойцов, командиров и политработников 316-й стрелковой — ныне 8-й гвардейской дивизии.

Отбивая, изматывая, уничтожая живую силу противника, дивизия ведет бой второй месяц подряд.

В самые тяжелые для себя дни дивизия не давала немецким панцирным ордам продвинуться больше чем на километр — полтора. И это — ценой потоков немецкой крови, ценой многих десятков танков.

Немецкое командование давно уже заменило одну танковую дивизию, истрепанную на этих рубежах, другой, подтянуло из глубины ряд других дивизий. А славная дивизия Панфилова по-прежнему зорко и грозно оборо-

няет дальние подступы к Москве. И в эти дни — вчера, позавчера, сегодня — гвардейцы изматывают и разят врага.

19 ноября 1941 года



Александр Фадеев

## ЕДИНЕНИЕ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ГИТЛЕРИЗМА

Фашисты называют современную войну «тотальной», то есть всеобщей войной. Это означает, что они ведут войну не только против армий, но и против всего населения. «Тотальная» война есть самая подлая из войн, направленная против женщин и детей, против мирных городов, война на истребление целых народов.

Обрушившись всей мощью своей военной машины на мирные страны, германский фашизм поработил половину Европы. Уже более десяти стран Европы подпало под пяту диких варваров. Народам этих стран грозит голод и физическое истребление. Чудовищная «теория», по которой выходит, будто немцы — это раса «господ», а все остальные люди на земле — «низшая раса», «рабы», осуществляется на теле целых народов уже как официальная государственная программа.

Особенную ненависть кровавый Гитлер и его приспешники — фашисты Италии, Венгрии, Румынии, Финляндии — питают к славянским народам. Гитлеризм объявляет славян самой низшей из рас, «переходной ступенью от человека к животному». Нет предела свирепости, с какой Гитлер и его клика расправляются с мирным населением захваченных ими славянских стран.

По «теориям» германских наций, «славянская человеческая масса, как расовый отброс, недостойна владеть своими землями, они должны отойти в руки германских господ, а славяне — собственники земель — превратиться в безземельных пролетариев». Таким образом, речь идет о захвате исконных славянских земель, о передаче их в собственность немецких помещиков, в руки итальянской знати и венгерских магнатов и о превращении славян в вечных рабов.

Гитлер и его фашистские приспешники прямо говорят

о необходимости «остановить всеми средствами плодovitость славян», «уничтожить массы славян». Этот страшный план с беспримерной жестокостью осуществляется в Польше, Чехословакии, Югославии и в захваченных гитлеровскими армиями районах СССР.

Чехословакия, одна из самых передовых и культурных стран Европы, разодрана на части. Исторические земли чешского народа превращены в германский протекторат Богемии и Моравии, Судетская область — в германскую провинцию. Крестьяне Словакии и Закарпатской Украины снова гибнут под ярмом венгерского помещика. В прекрасной Братиславе зверствуют предатели народа — Тисса, Тука и Мах, — высасывающие все народные соки на потребу своих немецких хозяев. Все продовольствие, железная руда, уголь, ценнейшая часть замечательной промышленности Чехословакии перешли в немецкие руки. Закрыты старейший в Европе Пражский университет и сотни других учебных и научных заведений. Гитлеровский пес Нейрат запретил издание 520 чешских газет. Больше ста тысяч чехов, словаков и карпато-украинцев томятся в тюрьмах и концентрационных лагерях.

Нельзя без содрогания читать обошедшие всю мировую прессу сведения о том, что германские фашисты за полтора года своего господства в Польше физически уничтожили до трех миллионов поляков. Разграблены и разрушены старинные польские города. Под развалинами домов Варшавы в результате беспримерного по жестокости террора погибло 60 тысяч человек. Польскими рабочими и крестьянами торгуют как рабами. Создан специальный «рынок» в австрийских городах Вольфсберге и Граце, где немецкие помещики и предприниматели оценивают польских рабочих и крестьян, как рабочий скот, покупают их с торгов.

Тысячи польских девушек насильственно брошены в публичные дома для германской армии, женщины и дети подвергаются самому гнусному надругательству — насильственной «стерилизации».

Польские театры, издательства закрыты. Закрыт старейший Краковский университет. В Западной Польше закрыто 8600 начальных и 430 средних школ. Снесены памятники великому Мицкевичу, книги его бессмертных творений сожжены. Исторические ценности старинных польских замков пошли на украшение вилл извергов геббельсов, герингов и риббентропов.

Югославское государство также подверглось разбойничьему разделу. Немецкие фашисты захватили Сербию, часть Словении; итальянские фашисты — Черногорию, Далмацию и другие части Словении; венгерские фашисты — области Бачка и Банат. Создав марионеточное правительство во главе с предателем народа подполковником Павличем, германский фашизм дочиста ограбил Хорватию. Югославская пшеница, мясо, рыба, лес, свинец, бокситы вывозятся в Германию. Население обречено на голод и вымирание. Полчища Гитлера зверски разрушили беззащитные югославские города, выжгли десятки сел. 80 процентов домов города Белграда необитаемы. Десятки тысяч сербов, хорватов, словенцев, черногорцев брошены в тюрьмы и концентрационные лагеря; нет конца казням, пыткам и издевательствам.

Болгарский народ, проданный Гитлеру правящей кликой изменников Филовых и Поповых, стонет под пятой германских оккупационных войск. Из страны выкачивают все, что можно. Но самое главное преступление фашистов перед болгарским народом состоит в том, что его насильно толкают на войну против своих же братьев славян, не останавливаясь перед угрозами и самой подлой провокацией.

Столь же коварный, сколь и безумный план германского фашизма — разгромить в кратчайшие сроки Советский Союз, захватить его жизненные центры, овладеть его техническими, сырьевыми и продовольственными ресурсами — уже разбился о великую силу отпора всего русского, украинского, белорусского населения и всех народов СССР. Но жестокий враг силен, он захватил ряд районов Советской Украины и Белоруссии и творит неслыханные зверства и издевательства над населением.

Теперь нет на земле ни одного славянского народа, который не подвергся бы кровавой агрессии германского фашизма. Угнетены чехи, словаки, карпато-украинцы, поляки, сербы, хорваты, черногорцы, словенцы, болгары, македонцы. Ведут смертельную борьбу за свое существование русские, украинцы, белорусы вместе с другими народами СССР.

Смертельная опасность угрожает существованию славянских народов. Речь идет о том, будет ли существовать государственная целостность и независимость славянских народов или славянские государства будут раздроблены и поделены между завоевателями. Будут ли



существовать исторически сложившиеся национальные культуры, красивые и богатые языки славянских народов или они исчезнут с лица земли? Будут ли дети славян расти свободными и счастливыми или станут извечными рабами немецких, итальянских и венгерских господ?

Победа гитлеровской Германии в этой войне несет смерть и гибель славянским народам. Спасение для себя они могут найти только в поражении гитлеровской Германии и ее союзников. Так стоит вопрос.

Народы Советского Союза и народ Англии ведут смертельную борьбу с залившими кровью мир фашистскими ордами. Этой освободительной борьбе помогают Соединенные Штаты Америки, этому сочувствует весь демократический мир, все передовое человечество.

Миролюбивые славянские народы никогда не имели завоевательных стремлений, они стали жертвой самой разнузданной агрессии воинствующего гитлеризма.

В захваченных Гитлером славянских странах и областях поднимается волна священного народного гнева, угнетенные славянские народы сплачиваются как братья и всей своей соединенной мощью восстают против гитлеризма, поддерживая Советский Союз и Великобританию.

Славянские народы не раз объединялись для отпора наглым завоевателям и выходили из борьбы с победой. На самой заре своей истории славяне отразили несметные полчища монголов и тем спасли Западную Европу от гибели.

Поляки вместе с чехами, русскими, украинцами, белорусами в битве под Грюнвальдом разгромили кровавый орден тевтонских завоевателей, предков современных фашистов.

В 1918 году украинцы, белорусы и русские с позором изгнали из пределов родной земли полчища озверелых германских интервентов.

Чехословакия, Польша и Югославия сложились как государства в результате победы над воинствующим германизмом и его союзниками, после многовековой борьбы с немецкими, венгерскими, итальянскими и иными захватчиками. И в нынешней войне славянские народы должны объединиться для победы над общим врагом. Перед опасностью уничтожения всех славян надо забыть все, что когда-либо их разъединяло.

Мощным выражением этой тяги к объединению против

общего врага явился Всеславянский митинг в Москве, проведенный 10—11 августа этого года по инициативе группы представителей славянских народов — общественных и военных деятелей, писателей и ученых.

На митинге выступили русский писатель, академик Алексей Толстой, украинский писатель, академик Александр Корнейчук, народный поэт Белоруссии Янка Купала, польский генерал Мариан Янушайтис, польская писательница Ванда Василевская, чешский ученый и общественный деятель, профессор Зденек Неedly, словацкий общественный деятель, депутат чехословацкого парламента Марек Чулен, депутат чехословацкого парламента от Закарпатской Украины Иван Локота, чехословацкий поэт, профессор Ондра Лысогорский, сербский профессор Божидар Масларич, хорватский общественный деятель Юро Салай, словенский общественный деятель журналист Иван Регент, черногорский поэт Радуде Стийенский, болгарский общественный деятель доктор А. Стоянов, македонский общественный деятель Дмитрий Влахов.

На митинге выступили также немецкие писатели Иоганнес Бехер и Фридрих Вольф с выражением солидарности лучшей части германского народа с поднявшимся на борьбу против гитлеризма передовым человечеством.

«Лучшие представители германского народа, — сказал Иоганнес Бехер, — всегда высоко ценили величайшие культурные ценности, которые славянские народы подарили человечеству: бессмертные произведения Чайковского и Пушкина, Гоголя и Толстого, Максима Горького и Мицкевича, лучшие творения болгарского, югославского и чешского искусства и литературы. В сердцах всех честных немцев нет места никакой расовой ненависти. Как бы ни старались Геббельс, этот уродливый карлик, рекламирующий себя как образец «высшей» расы, свита Гитлера, все фашистские палачи, их «расовая теория» разлетится в пыль, как и вся остальная ложь, а немецкий народ снова вздохнет полной грудью, будет дышать воздухом, очищенным от запаха фашистской гнили».

Митинг обратился с воззванием ко всем угнетенным славянам — объединиться для борьбы, священной освободительной борьбы против кровавого гитлеризма, уничтожить фашистские банды Гитлера и Муссолини, палачей славянских народов, и добиться свободы. Это стремление к объединению славянских народов не имеет ничего обще-

го со старой, реакционной идеей панславизма, которую русский царизм поддерживал и выдвигал в своих корыстных, империалистических целях.

«Мы объединяемся как равные с равными,— говорится в принятом митингом воззвании.— У нас одна задача и одна цель — разгром гитлеровских армий и уничтожение гитлеризма. У нас одно горячее, всеобъемлющее стремление — чтобы славянские, так же как и все другие, народы мирно и свободно развивались в рамках своей государственности. Мы решительно и твердо отвергаем самую идею панславизма, как насквозь реакционного течения, глубоко враждебного высоким задачам равенства народов и национального развития всех государств, которую в своих империалистических целях использовал русский царизм. Наша задача — объединенными усилиями уничтожить гнет немецкого фашизма, каких бы жертв это нам ни стоило».

Речи крупнейших общественных деятелей, писателей и ученых и их воззвание нашли глубокий, искренний отклик в сердцах всех славянских народов.

Борьба разгорается.

Никогда не будет рабом польский народ, давший миру Коперника, Шопена, Мицкевича, народ несгибаемых борцов за свободу, среди которых, как звезда, сияет славянское имя Костюшко.

Никогда не будет рабом чешский народ, давший миру пламенного Яна Гуса и Яна Жижку.

Никогда не будут рабами сербы, хорваты, словенцы, черногорцы — неустрашимые и мужественные бойцы, закаленные во многих и многих битвах за свою отчизну.

Никогда не будут рабами болгары, в течение столетий в неустанной борьбе отстаивавшие свое национальное самосознание, свою самобытную культуру.

Никогда фашистским хищникам не покорить русский народ, чья наука, искусство, литература могуче оплодотворили многовековое развитие человеческой мысли. Не покорить фашистским хищникам украинцев — народа Шевченко, не покорить им белорусского и других народов Советского Союза, на необъятных просторах которого в боях с Красной Армией уже свыше двух миллионов фашистских солдат нашли свою могилу и где найдет смерть германский фашизм.

В захваченных врагом районах Советской Украины и Белоруссии идет сейчас беспощадная народная война.

В Польше, Югославии, Закарпатской Украине, Словакии также разливается огонь партизанской войны.

По договорам между Советским Союзом и Польшей, между Советским Союзом и Чехословакией на территории СССР формируются польская и чехословацкая армии, которые плечом к плечу с Красной Армией будут бить врага, отстаивая честь и свободу своей родины.

Эта священная борьба славянских народов, являющаяся составной частью борьбы демократических стран против общего врага — гитлеризма, не может не привести к победе. Пусть же громче звучат призывом пламенные слова воззвания Всеславянского митинга:

«Братья угнетенные славяне! Пусть пламя священной борьбы могучим шквалом встанет над всеми славянскими землями, поработченными и поработцаемыми гитлеризмом!

Беспощадная месть врагу за порабощение родных земель, за разрушенные города и сожженные села, за убитых и замученных в тюрьмах и концентрационных лагерях, за слезы женщин и гибель детей, за все надругательства над нашими народами!

Братья угнетенные славяне! Враг коварен и силен. Но, соединенные вместе, мы во сто крат сильнее его. Народы Советского Союза и его Красная Армия с нами. С нами все демократические страны, с нами все передовое человечество.

Да здравствует наша победа над кровавым гитлеризмом!»

1941



Евгений Воробьев

ПОЛОВОДЬЕ В ДЕКАБРЕ

1

После кратковременного и непрочного потепления набрал силу лютый мороз.

Длинной цепочкой, тающей в тумане, шли бойцы ба-

тальяна, которым командовал лейтенант Юсупов. Шагали след в след по узкой тропке, проложенной через минное поле. По обеим сторонам лежал задымленный снег, пропахший минным порохом и гарью. Снег в рябах отметинах, проплешины чернеют там, где поземка еще не успела замести воронки. Саперы установили здесь ночью вежи — торчали воткнутые дулами в снег трофейные карабины, длинные деревянные рукоятки от немецких гранат, мины, уже обезвреженные и безопасные, и все это вперемешку с хвойными ветками.

На забыть Истры в утро ее освобождения, 11 декабря. Неужели этот вот городок называли живописным и он привлекал московских дачников сочным зеленым нарядом, пестрыми дачами? Все взорвано, сожжено педантичными минерами и факельщиками. Уцелели лишь два кирпичных здания справа от дороги, а в центре городка остался в живых дом с разбитой крышей и зеленый дощатый киоск. Сплошное пожарище и каменоломня, все превращено в прах, обломки, головешки, пепел.

Молоденький сапер с миноискателем подошел к черному квадрату и тихо сказал:

— Кажется, здесь стоял домик Чехова. Мы приезжали сюда в мае. Экскурсия...

Больше он ничего не сказал и стал прислушиваться к миноискателю. Взрыв следовал за взрывом: наши саперы продолжали свое опасное дело.

Пора бы уже показаться на горизонте золоченым куполам Воскресенского монастыря. Не такой плотный туман, и дым на горизонте опал. Вот видны стены монастыря. Но где же знакомые купола? Куда они исчезли?

Стало очевидно, что храм Новый Иерусалим обезглавлен, разрушен.

Наше командование, и в частности комдив-девять Белобородов, знало, что интенданты эсэсовской дивизии «Рейх» устроили в храме склад боеприпасов. Наши летчики получили строжайший приказ — Новый Иерусалим не бомбить, чтобы не повредить этот памятник архитектуры. Гитлеровцы же, отступая, взорвали драгоценное сооружение, отмеченное гением безвестных крепостных зодчих, а позже — Казакова и Растрелли.

Лейтенант Юсупов встретил в городке комдива Белобородова, комиссара дивизии Бронникова и группу штабных командиров. Комдив перед утром оставил командный

пункт в доме лесника, на кромке леса, подступающего с востока к городу. Комдив вошел в Истру с одной из головных рот, по тропке, которую проделали саперы из батальона Романова, соседа Юсупова...

2

Полмесяца назад наблюдательный пункт Белобородова находился еще далеко от Истры, на западной окраине Дедовска, в помещении сельского магазина. По соседству высилась давно остывшая труба текстильной фабрики. На каждый разрыв снаряда дом отзывался дребезжанием уцелевших стекол.

Рано утром 27 ноября мне посчастливилось привезти в 78-ю стрелковую дивизию радостную новость: дивизия стала девятой гвардейской, а полковнику Белобородову присвоено звание генерал-майора. «Красноармейская правда» еще печаталась, когда я ночью захватил с собой влажный оттиск первой полосы газеты.

Афанасий Павлантьевич Белобородов, черноволосый, широкоскулый, плечистый, взял в руки оттиск, остро пахнущий типографской краской, и медленно перечитывал приказ № 342 Народного Комиссара Оборона. Бронников читал через плечо комдива.

— Гвардейцы! И Ленин на знамени... Такая честь, — на лице комдива смешались счастливое волнение и озабоченность. — А мы ночью снова отошли на новый рубеж.

Прежде всего Белобородов поздравил с гвардейским званием Николая Гавриловича Докучаева. Ну как же! Командир полка Докучаев стал гвардейцем второй раз в жизни; он, рядовой Преображенского гвардейского полка, воевал еще в первую мировую войну.

В то утро командир новорожденной гвардейской дивизии как бы обрел новый запас сил, новую решимость, почувствовал новую ответственность. Заряд его энергии передавался всем, кто находился рядом...

В помещении вошел лейтенант в закопченном полушубке. Он стал в дальнем углу и безмолвно, выжидающе смотрел оттуда на комдива. Наконец тот сказал сердито:

— Не разрешаю! Можете идти. Занялись бы лучше более полезным делом!

Лейтенант в полушубке выслушал выговор, повеселел и вышел, не желая скрывать, что обрадован строгим зачетом.

Бронников объяснил мне, что решается судьба Дедовской прядильно-ткацкой фабрики. Есть строгий приказ сверху. Все подготовлено к взрыву, фугасы заложены под стену и трубы. Но комдив задержал исполнение приказа, упрямо не позволяет саперам взорвать фабрику и клянется, что не ступит назад ни шагу...

Новое донесение с передовой сильно встревожило комдива. Он наскоро собрался, кивком позвал адъютанта Власова и уехал на передовую. Бронников вздохнул: комдив не спал уже три ночи.

Фашисты наращивали силу своих ударов, и бои достигли крайнего напряжения. В Нефедьеве шел бой за каждую избу. Командир полка Суханов сидел, отрезанный от своих, на колокольне церкви в деревне Козино и корректировал огонь, вызванный им на себя.

— Понимаете, браточки? — устало, но твердо сказал комдив, стоя в окопе на околице деревни Нефедьево, наполовину захваченной противником. — Ну некуда нам отступать. Нет такой земли, куда мы можем отойти, чтобы нам не стыдно было смотреть в глаза русским людям...

Дивизия еще ни разу не отступила без приказа, а отступая, не потеряла ни одного орудия.

В минуты, когда силы людей бывали напряжены до предела и положение становилось критическим, Белобородов не уходил с передовой. Он умеет подбодрить бойцов сердечным словом. Он может отдать боевой приказ тоном отеческого совета, не по-уставному назвать Иваном Никаноровичем капитана Романова, и от этого приказ ничуть не теряет в своей категоричности и суровости. Он может сперва расцеловать геройского разведчика Нипоридзе, а затем чинно объявить ему благодарность и сообщить, что тот представлен к награде.

Вот и под Нефедьевом присутствие комдива вселило в бойцов уверенность, влило новые силы, воодушевило. Наступила минута, когда батальон Романова с кличем «Вперед, гвардейцы!» рванулся в атаку. От избы к избе покатились вал рукопашной схватки.

Утром 3 декабря Нефедьево снова полностью перешло в наши руки, были вызволены с колокольни командир полка Суханов, его адъютант и радист...

И вот фронтовая дорога вновь привела меня в дивизию в дни наступления.

Генерал Белобородов был по-прежнему в форме полковника — четыре шпалы в петлицах. Он так и не нашел времени, чтобы съездить куда-то в армейские тылы на примерку, облачиться в генеральскую форму.

Девятая гвардейская дивизия перешла в наступление в ночь на 8 декабря. Мороз достигал 26—28 градусов, накануне прошли обильные снегопады, метели. Все это было весьма кстати, потому что фашистские танки и цугмашины уже не могли двигаться напрямик по полям, как в середине ноября, когда снег в округе покрывал промерзшую землю таким тонким слоем, что темнели оголенные холмы и взгорки. Сугробы и крепкие морозы дальневосточникам на руку. Но в то же время снегопады и морозы несли с собой и для наших бойцов лишения и тяготы. Это могли бы подтвердить все те, кто под огнем, проваливаясь по пояс в снег, отбивал деревню Рождествено.

С началом наступления Белобородов и все командиры, в том числе командир полка Докучаев, богатырского роста, самый пожилой в дивизии, выглядели помолодевшими; все заново учились улыбаться, шутить.

Белобородов кричал в трубку телефона, прижимая ладонь к уху, чтобы не заглушала канонада, и поднимая при этом правую руку так, словно требовал, чтобы воюющие прекратили шум и грохот, — что за безобразие, в самом деле, не дают поговорить человеку!

— Что? Не слышишь? — комдив раскатисто засмеялся и подмигнул Бронникову, стоявшему рядом. — Когда тебя хвалю, всегда слышишь отлично. А когда ругаю, сразу глоснешь. Город пора брать, говорю. Что же тут непонятного? Не теряя времени, возьми город. Теперь понятно?..

На проводе был командир 258-го полка Суханов, а речь шла о наступлении на Истру.

После того как фашистов выбили из городка, они пытались остановить наступательный порыв наших бойцов и закрепились за рекой. Западный берег господствовал над местностью. Там, на холмах, поросших густым ельником, прятались вражеские наблюдатели, там скрывались их минометы, пушки, пулеметы. А перед лесистыми холмами простиралось открытое снежное поле.

Русло реки было сковано льдом. Вчерашние воронки уже затянуло тонким молодым ледком, а от сегодняшних шел пар.

Донесся зловещий гул, и поверх льда пошла вода. Она затопила воронки, свежие и старые. Бурное декабрьское половодье леденило все — и кровь в жилах тоже. Это выше по течению противник взорвал плотину Истринского водохранилища.

В те минуты кто-то помянул недобрый словом минеров, которые не успели взорвать плотину полмесяца назад, когда фашисты теснили дивизию на восток. Вражеские танки прошли тогда по целехонькой дамбе и устремились вдоль восточного берега реки к югу, к городу Истре, подавляя очаги сопротивления укрепленного района, угрожая дивизии окружением. Батальон из полка Коновалова еще бился на западном берегу. Командарм отдал Белобородову приказ отойти, но связной с этим приказом был убит. Дивизия в полуокружении, с оголенными флангами, удерживала Истру, пока батальон не отошел через реку.

Но тогда был ледостав, а сейчас при двадцатипятиградусном морозе белели гребешки волн — то ли пена это, то ли пороша, подмытая и унесенная водой.

Вода быстро прибывала, а шла зимняя река с таким напором, словно течение накапливало силу все долгие годы своего заточения за плотиной. Облако пара, послушное всем поворотам реки, ее излучинам, подымалось над течением, пар смешивался с дымом. Каждый разрыв мины, снаряда рождал свою маленькую снежную метель. Не успеет снег опасть, и вот уже новый разрыв взметает черный снег, пропахший порохом и горелой землей.

Ни одной, даже утлой лодки, ни одного понтона не подтащили к заснеженному берегу вечером, ночью и на следующее утро. Можно ли поставить это в вину саперам дивизии? Кто мог вообразить, что в берегах, окованных льдом, неожиданно возникнет водная преграда?

Вода стала затапливать подходившие к реке овражки, лощинки, а эти низинные места, хотя и намело туда много снега, были самыми удобными, скрытыми подходами к реке. Бойцы, спасаясь от зловредного, опасного наводнения, поневоле подымались на высотки, карабкались на оледеневшие взгорки и бугры (по дальневосточной привычке называли их сопками), им вода не угрожала. Но сухие сопки, увы, просматривались и простреливались противником. Лишь за монастырской стеной, высотой в четыре

сажени, было безопасно. Но ведь не отсиживаться нужно было, а наступать!

Бойцы из роты Кочергина пытались перейти вброд — куда там! Дно реки превратилось в ледяной каток, и каждая свежая воронка, выдолбленная снарядами во льду и залитая теперь водой, стала невидимой и смертельной западней.

А немногие бойцы, которые форсировали Истру, не смогли удержаться на том берегу, их отбросили назад.

Тогда комдив поставил эту боевую задачу перед «романовцами», так в дивизии называли бойцов первого батальона 258-го стрелкового полка, батальоном командовал Иван Никанорович Романов.

Ночь напролет комдив просидел над картой, у полевого телефона. Он координировал действия артиллеристов, саперов и всех, кто обеспечивал операцию. В этой операции была та обдуманная дерзость, тот расчетливый азарт, какие в высшей степени свойственны старому комдиву и молодому генералу Белобородову.

Он ждал и никак не мог дожидаться условной ракеты с того берега. Не было еще в его фронтовой жизни сигнала, которого он ждал бы с такой тревогой и с таким скрытым возбуждением. Тревога всегда больше, когда комдив сам не испытывает тех опасностей и невзгод, каким подвержены его бойцы и командиры.

Переправлялись кто как приспособился, на подручных средствах. Связисты догадались притащить половинки ворот и связать их проводом. Пулеметный расчет со своим «максимом» забрался на плотик из трех телеграфных столбов, скрепленных обмотками, обрывками проволоки. А самые отчаянные переправлялись вброд-вплавь, держась за плащ-палатки, туго набитые сухим сеном, за пустые бочки, за доски, за колеса, за снарядные ящики.

Нелегко дались дальневосточникам эти двести пятьдесят метров пути через оледеневшее русло реки и оледеневший берег. Тем больше обрадовали ракеты — белая и красная — с того берега, тем больше обрадовало первое благоприятное донесение, полученное от Романова!

— Держитесь, браточки, держитесь, земляки! Ай да Иван Никанорович, геройская твоя душа!.. — сказал Белобородов так, словно Романов мог услышать его с того берега.

Все раннее утро 12 декабря комдив и комиссар не уходили с берега. Белобородов вникал во все мелочи,

связанные с организацией переправы. Под его присмотром саперы сколачивали первый плот из спиленных телеграфных столбов. Бревчатый настил залили водой, лед накрепко схватил связанные бревна — на скользкий настил легче вкатить пушку. А как нужны были на том берегу пушки для стрельбы прямой наводкой!

Боец с забинтованной головой, подталкиваемый более робкими товарищами, подошел к комдиву:

— Разрешите, товарищ генерал, обратиться по причине сильного обстрела. Дальневосточники за вас беспокоятся. Чересчур опасно. Приглашаем к нам в землянку...

По-видимому, землянка эта, вырытая в крутости прибрежного холма, уцелела с осени, ее отрыли и оборудовали пулеметчики укрепленного района, которые так неудачно оборонялись здесь.

Первую полковую пушку уже удалось переправить на тот берег, дела шли на поправку, и настроение у комдива соответственно поднялось. Боец, сидевший на корточках при входе в землянку, перечитывал письмо. Выяснилось, что письмо от невесты, комдив подшучивал, неназойливо расспрашивал бойца о его мирном житье-бытье. Но настроение комдива испортилось, когда он узнал, что бойцы сидят без хлеба, что кормили их только холодной картошкой.

Бронников давно служит, дружит с Белобородовым и не помнит случая, чтобы комдив потерял самообладание даже в самые критические минуты. Но когда комдив узнал о нерасторопности (трусости?) кого-то, кто оставил бойцов без хлеба, он был вне себя.

Был, правда, случай в 258-м полку, когда бойцы двое суток не получали горячей пищи. Но тогда снарядом разбило походную кухню, тогда бойцы дрались в полукружени, а сейчас...

— Ненавижу... — Белобородов даже побледнел от негодования. — НАТОЩАК воюют герои. А кто-то дрыхнет или прячется. Смотреть ни на кого не хочу и слушать ничего не буду!

Комдив вышел из землянки, не дослушав объяснений прибежавшего туда батальонного штабиста. Кто-то оказался недостойным звания гвардейца, а Белобородов — слишком горячий патриот своей дивизии, чтобы с этим примириться.

Позже комдив вновь стоял на берегу Истры, к нему подошел начальник штаба полка и доложил, что хлеб в ба-

тальяон доставлен. А кроме того, прибыли старшины, повара и притащили термосы и бидоны. В термосах щи с мясом, в одном бидоне сладкий чай, а в другом — продукт номер шестьдесят один; в переводе с индодантского языка на русский этот продукт именуется водкой.

Комдив наблюдал за переправой, стоя у подножия заснеженного кургана, близ монастыря. Когда-то здесь произошло сражение войск молодого Петра с взбунтовавшимися стрельцами. Мы помним об этой кровавой странице русской истории прежде всего благодаря картине Сурикова «Утро стрелецкой казни». Но в то декабрьское утро никому в голову не приходило, что дивизия форсирует Истру в столь историческом месте.

Начальник дивизионной разведки Тычинин вручил комдиву захваченный его разведчиками и уже переведенный приказ командира дивизии СС «Рейх» Биттриха от 2 декабря. Фашистский генерал исчислил в часах и минутах темп наступления на Москву. Но Белобородов вместе со своими дальневосточниками властно перечеркнул все это аккуратное расписание.

Пушки, переправленные на западный берег, помогли Романову закрепиться. Саперы старшего лейтенанта Трушникова воспользовались тем, что напор воды ослабел. Они пустили в дело сваи разрушенного моста, навели переправу, и теперь уже на подмогу батальону Романова торопились новые роты. По шатким мосткам прогромычали орудийные передки, груженные снарядами, и санитарные повозки, которые тоже ехали не порожняком, а везли ящики с патронами. На радостях Белобородов называл сапера Трушникова не иначе как Толей.

Я воспользовался минутным затишьем и спросил у Михаила Васильевича Бронникова о судьбе прядильно-ткацкой фабрики, которая давно была подготовлена к взрыву и начинена минами.

Оказывается, на днях на командный пункт к Белобородову пришли из Дедовска рабочие. Они поблагодарили комдива за спасение фабрики. Уже возобновили работу! Сотканы первые метры ткани, из нее шьют обмундирование для бойцов, телогрейки, стеганые брюки, а также вещевые мешки.

Спросил я и про марш «Девятая гвардейская». Бронников сказал, что музыку пишет композитор Дунаевский. А на западном берегу Истры в те минуты звучала совсем другая музыка. Бойцы не маршировали, а ползли там по-

пластунски, перебежали от укрытия к укрытию под аккомпанемент боя.

Комдив подбадривал тех, кто принял ледяную ванну, и бойцы по его приказу переобувались, наматывали сухие портянки, сушили валенки, наскоро обсыхали у догорающих домов. Роль костра играл и немецкий танк в низинке, близ берега. В такой мороз надобно согреться также изнутри, и старшины по приказу комдива выдавали всем невольным купальщикам двойную порцию водки.

Кроме бойцов в обледеневшей одежде, которым комдив приказал греться-сушиться, все остальные торопились на запад, подгоняемые ветром наступления. И только мне предстоял путь назад, в штаб армии. Там помогли связаться по телефону с Москвой, и мне выпала печальная обязанность первому сообщить в «Комсомольскую правду» о судьбе Истры и Нового Иерусалима...

12 декабря 1941 года



**Петр Лидов**

**ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ**

**1. ТАНЯ<sup>1</sup>**

В первых числах декабря 1941 года в Петрищеве, близ города Вереи, немцы казнили восемнадцатилетнюю девушку-партизанку.

Еще не установлено, кто она и откуда родом. Незадолго до разыгравшейся в Петрищеве трагедии один из верейских партизан встретил эту девушку в лесу. Девушка назвала себя Таней. Больше местные партизаны не встречали ее, но знали, что где-то здесь, неподалеку, заодно с ними действует отважная партизанка Таня.

То было в дни наибольшей опасности для Москвы. Генеральное наступление немцев на нашу столицу, начавшееся 16 ноября, достигло к этому моменту своего пре-

<sup>1</sup> Это первый очерк о Зое Космодемьянской. Петр Лидов писал его, не зная еще подлинного имени героини. (Примеч. составителя.)

дела. Неприятелю удалось на значительную глубину охватить Москву своими клещами, выйти на рубеж канала Москва — Волга, захватить Яхрому, обстреливать Серпухов, вплотную подойти к Кашире и Зарайску. Дачные места за Голицыном и Сходней стали местами боев, а в Москве слышна была артиллерийская канонада.

Однако эти временные успехи дались врагу недешево. Войска генерала армии Г. К. Жукова оказывали ему сильнейшее сопротивление. Продвигаясь вперед, немцы несли громадные потери и к началу декабря были измотаны и обескровлены. Их ноябрьское наступление выдохнулось, а Верховное Главнокомандование Красной Армии уже готовило врагу внезапный и сокрушительный удар.

Партизаны, действовавшие в захваченных оккупантами местностях, помогали Красной Армии изматывать врага. Они выкуривали немцев из теплых изб на мороз, нарушали связь, портили дороги, нападали на мелкие группы солдат и даже на фашистские штабы, вели разведку для советских воинских частей.

Москва отбирала добровольцев-смельчаков и посылала их через фронт для помощи партизанским отрядам. Вот тогда-то в Верейском районе и появилась Таня.

Небольшая, окруженная лесом деревня Петрищеве была битком набита немецкими войсками. Здесь, пожирая сено, добытое трудами колхозников, стояла кавалерийская часть. В каждой избе было размещено по десять — двадцать солдат. Хозяева домов ютились на печке или по углам.

Немцы отобрали у колхозников все запасы продуктов. Особенно лют был состоявший при части переводчик. Он издевался над жителями больше других и бил подряд всех — и старого и малого.

Однажды ночью кто-то перерезал все провода германского полевого телефона, а вскоре была уничтожена конюшня немецкой воинской части и в ней семнадцать лошадей.

На следующий вечер партизан снова пришел в деревню. Он пробрался к конюшне, в которой находилось свыше двухсот лошадей кавалерийской части. На нем была шапка, меховая куртка, стеганые ватные штаны, валенки, а через плечо — сумка. Подойдя к конюшне, человек сунул за пазуху наган, который держал в руке, достал из сумки бутылку с бензином, полил из нее и потом нагнулся, чтобы чиркнуть спичкой.



В этот момент часовой подкрался к нему и обхватил сзади руками. Партизану удалось оттолкнуть немца и выхватить револьвер, но выстрелить он не успел. Солдат выбил у него из рук оружие и поднял тревогу.

Партизана ввели в дом, и тут разглядели, что это девушка, совсем юная, высокая, смуглая, чернобровая, с живыми темными глазами и темными стриженными, зачесанными наверх волосами.

Солдаты в возбуждении забегали взад и вперед и, как передает хозяйка дома Мария Седова, все повторяли: «Фрау партизан, фрау партизан», — что значит по-русски — женщина-партизан. Девушку раздели и били кулаками, а минут через двадцать избитую, босую, в одной сорочке и трусиках повели через все селение в дом Ворониных, где помещался штаб.

Здесь уже знали о поимке партизанки. Более того, уже была предreshена ее судьба. Татьяну еще не привели, а переводчик уже торжествующе объявил Ворониным, что завтра утром партизанку публично повесят.

И вот ввели Таню. Ей указали на нары. Против нее на столе стояли телефоны, пишущая машинка, радиоприемник и были разложены штабные бумаги.

Стали сходиться офицеры. Хозяевам было велено уйти в кухню. Старуха замешкалась, и офицер прикрикнул: «Матка, фьють!» — и подтолкнул ее в спину. Был удален, между прочим, и переводчик. Старший из офицеров сам допрашивал Татьяну на русском языке.

Сидя на кухне, Воронины все же могли слышать, что происходит в комнате.

Офицер задавал вопросы, и Таня отвечала на них без запинки, громко и дерзко.

— Кто вы? — спросил офицер.

— Не скажу.

— Это вы подожгли вчера конюшню?

— Да, я.

— Ваша цель?

— Уничтожить вас.

Пауза.

— Когда вы перешли через линию фронта?

— В пятницу.

— Вы слишком быстро дошли.

— Что ж, зевать, что ли?

Татьяну спрашивали, кто послал ее и кто был с нею. Требовали, чтобы она выдала своих друзей. Через дверь

доносились ответы: «Нет», «Не знаю», «Не скажу», «Нет». Потом в воздухе засвистели ремни и слышно было, как стегали они по телу. Через несколько минут молоденький офицерик выскочил из комнаты в кухню, уткнул голову в ладони и просидел так до конца допроса, зажмурив глаза и заткнув уши. Даже нервы фашиста не выдержали...

Четверо мужчин, сняв пояса, избивали девушку. Хозяйка насчитала двести ударов. Татьяна не издала ни одного звука. А после опять отвечала: «Нет», «Не скажу», — только голос ее звучал глуше, чем прежде.

Два часа продержали Татьяну в избе Ворониных. После допроса ее повели в дом Василия Александровича Кулика. Она шла под конвоем, по-прежнему раздетая, ступая по снегу босыми ногами.

Когда ее ввели в избу, хозяева при свете лампы увидели на лбу у нее большое иссиня-черное пятно и ссадины на ногах и руках. Она тяжело дышала, волосы ее были растрепаны и черные пряди слиплись на высоком, покрытом каплями лбу. Руки девушки были связаны сзади веревкой. Губы ее были искусаны в кровь и вздулись. Наверно, она кусала их, когда побоями хотели от нее добиться признания.

Она села на лавку. Немецкий часовой стоял у двери. Василий и Прасковья Кулик, лежа на печи, наблюдали за арестованной. Она сидела спокойно и неподвижно, потом попросила пить. Василий Кулик спустился с печи и подошел было к кадучке с водой, но часовой опередил его, схватил со стола лампу и, подойдя к Татьяне, поднес ей лампу ко рту. Он хотел этим сказать, что ее надо напоить керосином, а не водой.

Кулик стал просить за девушку. Часовой огрызнулся, но потом нехотя уступил. Она жадно выпила две большие кружки.

Вскоре солдаты, жившие в избе, окружили девушку и стали над ней издеваться. Одни шпыняли ее кулаками, другие подносили к подбородку зажженные спички, а кто-то провел по ее спине пиллой.

Хозяева просили немцев не мучить девушку, пощадить хотя бы находившихся здесь же детей. Но это не помогло.

Лишь вдоволь натешившись, солдаты ушли спать. Тогда часовой, вскинув винтовку наизготовку, велел Татьяне подняться и выйти из дома. Он шел позади нее вдоль по улице, почти вплотную приставив штык к ее спине. Так, босая, в одном белье, ходила она по снегу до тех пор, пока

ее мучитель сам не продрог и не решил, что пора вернуться под теплый кров.

Этот часовой караулил Татьяну с десяти вечера до двух часов ночи и через каждый час выводил девушку на улицу на пятнадцать — двадцать минут. Никто в точности не знает, каким еще надругательствам и мучениям подвергалась Татьяна во время этих страшных ночных прогулок...

Наконец на пост встал новый часовой. Несчастной разрешили прилечь на лавку.

Улучив минуту, Прасковья Кулик заговорила с Татьяной.

— Ты чья будешь? — спросила она.

— А вам зачем это?

— Сама-то откуда?

— Я из Москвы.

— Родители есть?

Девушка не ответила.

Она пролежала до утра без движения, ничего не сказав более и даже не застонав, хотя ноги ее были отморожены и не могли не причинять боли.

Никто не знает, спала она в эту ночь или нет и о чем думала она, окруженная злыми врагами.

Поутру солдаты начали строить посреди деревни виселицу.

Прасковья снова заговорила с девушкой:

— Позавчера — это ты была?

— Я... Немцы сгорели?

— Нет.

— Жаль. А что сгорело?

— Кони ихние сгорели. Сказывают, оружие сгорело...

В десять часов утра пришли офицеры. Старший из них снова спросил Татьяну:

— Скажите, кто вы?

Татьяна не ответила.

— Скажите, где находится Сталин?

— Сталин находится на своем посту, — ответила Татьяна.

Продолжения допроса хозяева не слышали — им велели выйти из комнаты, и впустили их обратно, когда допрос был уже окончен.

Принесли Татьянины вещи: кофточку, брюки, чулки. Тут же был ее вещевой мешок, и в нем — сахар, спички и соль. Шапка, меховая куртка, пуховая вязаная фуфайка

и валеные сапоги исчезли. Их успели поделить между собой унтер-офицеры, а варезки достались повару с офицерской кухни...

Татьяна стала одеваться, хозяева помогли ей натянуть чулки на почерневшие ноги. На грудь девушки повесили отобранные у нее бутылки с бензином и доску с надписью: «Зажигатель домов». Так ее вывели на площадь, где стояла виселица.

Место казни окружили десятеро конных с саблями наголо. Вокруг стояло больше сотни немецких солдат и несколько офицеров. Местным жителям было приказано присутствовать при казни, но их пришло немного, а некоторые из пришедших потихоньку разошлись по домам, чтобы не быть свидетелями страшного зрелища.

Под петлей, спущенной с перекладины, были поставлены один на другой два ящика. Отважную девушку палачи приподняли, поставили на ящик и накинули на шею петлю. Один из офицеров стал наводить на виселицу объектив своего «кодака» — немцы любят фотографировать казни и порки. Комендант сделал солдатам, выполнявшим обязанность палачей, знак обождать.

Татьяна воспользовалась этим и, обращаясь к колхозникам и колхозницам, крикнула громким и чистым голосом:

— Эй, товарищи! Что смотрите невесело? Будьте смелее, боритесь, бейте немцев, жгите, травите!

Стоявший рядом немец замахнулся и хотел то ли ударить ее, то ли зажать ей рот, но она оттолкнула его руку и продолжала:

— Мне не страшно умирать, товарищи. Это — счастье умереть за свой народ...

Офицер снял виселицу издали и вблизи и теперь пристраивался, чтобы сфотографировать ее сбоку. Палачи беспокойно поглядывали на коменданта, и тот крикнул офицеру:

— Абер дох шнеллер!<sup>1</sup>

Тогда Татьяна повернулась в сторону коменданта и, обращаясь к нему и к немецким солдатам, продолжала:

— Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов, всех не перевешаете. Вам отомстят за меня. Солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен, все равно победа будет за нами!

<sup>1</sup> Скорее же!

Русские люди, стоявшие на площади, плакали. Иные отвернулись и стояли спиной, чтобы не видеть того, что должно было сейчас произойти.

Палач подтянул веревку, и петля сдавила Танино горло. Но она обеими руками раздвинула петлю, приподнялась на носках и крикнула, напрягая все силы:

— Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь!

Палач уперся кованым башмаком в ящик. Ящик за скрипел по скользкому, утоптанному снегу. Верхний ящик свалился вниз и гулко стукнулся оземь. Толпа отшатнулась. Раздался чей-то вопль, и эхо повторило его на опушке леса...

Она умерла во вражьем плену на фашистской дыбе, ни единым звуком не высказав своих страданий, не выдав своих товарищей. Она приняла мученическую смерть, как героиня, как дочь великого народа, которого никому и никогда не сломить. Память о ней да живет вечно!

Площадь быстро опустела. Люди торопились по домам, и в тот день никто не выходил уже на улицу без крайней надобности. А те, кому нужно было пройти мимо виселицы, низко опускали голову и убаюкивали шаг.

Целый месяц провисело тело Татьяны, раскачиваемое ветром и осыпавшее снегом. Когда через деревню проходили немецкие части, тупые фигуры окружали эшафот и долго развлекались возле него, тыкая в тело палками и раскатисто гогоча. Потом они шли дальше, и в нескольких километрах от Петрищева их ждало новое развлечение: здесь, у здания участковой больницы, висели трупы двух повешенных немцами мальчиков. Так шли они по русской земле, залитой кровью, утыканной виселицами и вопиющей о мщении.

...В ночь под Новый год перепившиеся фашисты окружили виселицу, стащили с повешенной одежду и гнусно надругались над телом Тани. Оно висело посреди деревни еще день, исколотое и изрезанное кинжалами, а вечером 1 января переводчик распорядился спилить виселицу. Староста кликнул людей, и они выдолбили в мерзлой земле яму в стороне от деревни.

Здесь, на отшибе, стояло здание начальной школы. Немцы разорили его, содрали полы и из половиц построили в избах нары, а партами топили печи. Между этим растерзанным домом и опушкой леса, среди редких кустов была приготовлена могила. Тело Тани привезли сюда на дровнях, с обрывком веревки на шее, и положили на снег.

Глаза ее были закрыты, и на мертвом смуглом лице выделялись черные дуги бровей, длинные шелковые ресницы, сомкнутые губы да фиолетовый кровоподтек на высоком челе. Прекрасное русское лицо Тани сохранило цельность и свежесть линий. Печать глубокого покоя лежала на нем.

— Надо бы обернуть ее чем-нибудь, — сказал один из рывших могилу крестьян.

— Еще чего, — прогнусавил переводчик. — Почести ей отдавать вздумал?..

Юное тело зарыли без почестей под плакучей березой, и вьюга заваяла могильный холмик.

А вскоре пришли те, для кого Таня в темные декабрьские ночи грудью пробивала дорогу на запад.

Нападение русских было внезапно, и немцы покидали Петрищево в спешке. Если прежде они любили твердить колхозникам: «Москау — капут!» — то теперь они знаками показывали, что русские их бьют, а они, немцы, собираются в Берлин. Пока же они отходили в направлении на Дорохово.

Дойдя до соседней деревни Грибцово, немцы подожгли ее. Грибцово сгорело все целиком. Погорельцы потянулись в Петрищево искать приюта. И из других окрестных деревень, подожженных фашистами, тянулись сюда обездоленные семьи, волоча за собой на салазках закутанных плачущих детей и остатки домашнего скарба.

Лишь на другой день отступившие немцы спохватились, что Петрищево-то они и не подожгли. Из Грибцова был послан отряд в двадцать четыре человека. Этим людям приказали вернуться и сжечь Петрищево. С неохотой возвращались фрицы и думали: а что, как мы провозимся здесь, отстанем от своих да попадем в лапы к русским? И решили не возиться с поджогом, а рысцой пробежав по деревне, только переколотили палками все окна в домах и тут же скорее понеслись вдогонку за своей частью.

Хорошо, что трусливые фрицы не отважились выполнить приказание своего начальства. Хоть одна деревня в округе уцелела. И уцелели свидетели кошмарного преступления, содеянного гитлеровскими гнусами над славной партизанкой. Сохранились места, связанные с ее героическим подвигом, сохранилась и святая для русских людей могила, где покоится прах Татьяны.

Войска храброго генерала Леонида Говорова быстро прошли через Петрищево, преследуя отступающего врага на запад, к Можайску и дальше — к Гжатску и Вязьме.

Но бойцы найдут еще время прийти и сюда, чтобы до земли поклониться праху Татьяны и сказать ей душевное русское спасибо. И отцу с матерью, породившим на свет и вырастившим героиню, и учителям, воспитавшим ее, и товарищам, закалившим ее дух.

И скажет тогда любимый командир:

— Друг! Целясь в фашиста, вспомни Таню. Пусть пуля твоя полетит без промаха и отомстит за нее. Идя в атаку, вспомни Таню и не оглядывайся назад...

И бойцы поклянутся над могилой страшной клятвой. Они пойдут в бой, и с каждым из них пойдет в бой Таня.

Немеркнущая слава разнесется о ней по всей советской земле, и миллионы людей будут с любовью думать о далекой, заснеженной могилке...

## 2. КТО БЫЛА ТАНЯ?

Указом Президиума Верховного Совета СССР комсомолке-партизанке Зое Космодемьянской посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

О ее подвиге было рассказано в очерке «Таня», напечатанном в «Правде» 27 января 1942 года. Тогда еще не было известно, кто она. Ни на допросе, ни в разговоре с петрищевской крестьянкой Прасковьей Кулик девушка не назвала своего имени и лишь при встрече в лесу с одним из верейских партизан сказала, что ее зовут Таней. Но и здесь из предосторожности она скрыла свое настоящее имя.

Московский комитет комсомола установил, кто была эта девушка.

Это Зоя Анатольевна Космодемьянская, ученица 10-го класса школы № 201 Октябрьского района города Москвы.

Ей было восемнадцать лет. Она рано лишилась отца и жила с матерью Любовью Тимофеевной и братом Шуриком близ Тимирязевского парка, в доме № 7 по Александровскому проезду.

Высокая, стройная, плечистая, с живыми темными глазами и черными, коротко остриженными волосами — таким рисуют друзья ее внешний облик. Зоя была задумчива, впечатлительна, и часто вдруг густой румянец заливал ее смуглое лицо.

Мы слушаем рассказы ее школьных товарищей и учителей, читаем ее дневники, сочинения, записи, и одно поражает в ней всюду и неизменно: необычайное трудолю-

бие, настойчивость, упорство в достижении намеченной цели. Перед уроками литературы она прочитывала множество книг и выписывала понравившиеся места. Ей хуже давалась математика, и после уроков она подолгу засиживалась над учебником алгебры, терпеливо разбирая каждую формулу до тех пор, пока не усваивала ее окончательно.

Зоя избрали комсомольским групповым организатором в классе. Она предложила комсомольцам заняться обучением малограмотных домохозяек и с удивительным упорством добивалась, чтобы это начинание было доведено до конца. Ребята вначале охотно принялись за дело, но ходить нужно было далеко, и многие быстро остыли. Зоя болезненно переживала неудачу; она не могла понять, как можно отступить перед препятствием, изменить своему слову, долгу...

Русскую литературу и русскую историю Зоя любила горячо и проникновенно. Она была простой и доброй советской школьницей, хорошим товарищем и деятельной комсомолкой, но, кроме мира сверстников, у нее был и другой мир — мир любимых героев отечественной литературы и отечественной истории.

Порой друзья упрекали Зою в некоторой замкнутости — это бывало тогда, когда ее целиком поглощала только что прочитанная книга. Тогда Зоя становилась рассеянной и нелюдимой, как бы уходя в круг образов, пленивших ее своей внутренней красотой.

Великое и героическое прошлое народа, запечатленное в книгах Пушкина, Гоголя, Толстого, Белинского, Тургенева, Чернышевского, Герцена, Некрасова, было постоянно перед мысленным взором Зои. Это прошлое питало ее, формировало ее характер. Оно определило ее чаяния и порывы, оно с неудержимой силой влекло ее на подвиг за счастье своего народа.

Зоя переписывает в свою тетрадь целые страницы из «Войны и мира», ее классные работы об Илье Муромце и о Кутузове написаны с большим чувством и глубиной и удостоиваются самой высокой оценки. Ее воображение пленяет трагический и жертвенный путь Чернышевского и Шевченко, она мечтает, подобно им, служить святому народному делу.

Перед нами записная книжка, которую Зоя Космодемьянская оставила в Москве, отправляясь в поход. Сюда она заносила то, что вычитала в книгах и что было со-

звучно ее душе. Приведем несколько выписок, они помогут нам понять Зою:

«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» (Чехов).

«Быть коммунистом — значит дерзать, думать, хотеть, сметь» (Маяковский).

«Умри, но не давай поцелуя без любви» (Чернышевский).

«Ах, если бы латы и шлем мне достать,  
Я стала б отчизну свою защищать...  
Уж враг отступает пред нашим полком,  
Какое блаженство быть храбрым бойцом!»

(Теле)

«Какая любвеобильность и гуманность в «Детях солнца» Горького!» — записывает Зоя карандашиком в свою памятную книжку. И далее: «В «Отелло» — борьба человека за высокие идеалы правды, моральной чистоты, тема «Отелло» — победа настоящего, большого человеческого чувства!»

С какой-то особенной, подкупающей, детской искренностью и теплотой пишет Зоя о том, в ком воплощено горделивое вчера, бурливое сегодня и светлое завтра нашего народа — об Ильиче.

В этих записях она вся — чистая помыслами и всегда стремящаяся куда-то ввысь, к достижению лучших человеческих идеалов.

Июнь 1941 года. Последние экзамены. Зоя переходит в десятый класс, а через несколько дней начинается война. Зоя хочет стать бойцом, она уходит добровольцем в истребительный отряд.

Она прощается с матерью и говорит ей:

— Не плачь, родная. Вернусь героем или умру героем.

И вот Зоя в казарме, в большой и показавшейся ей суrowsкой комнате, перед большим столом, за которым сидит командир отряда. Он долго и испытующе вглядывается в ее лицо.

— Не бойтесь?

— Нет, не боюсь.

— В лесу, ночью, одной ведь страшно?

— Нет, ничего.

— А если врагу попадетесь, если пытать будут?

— Выдержу...

Ее уверенность подкупила командира, он принял Зою

в отряд. Вот они, латы и шлем бойца, которые грезились Зое!

Семнадцатого ноября 1941 года она послала матери последнее письмо: «Дорогая мама! Как ты сейчас живешь, как себя чувствуешь, не больна ли? Мама, если есть возможность, напиши хоть несколько строчек. Вернусь с задания, так приеду погостить домой. Твоя Зоя». А в свою книжечку занесла строку из «Гамлета»: «Прощай, прощай! И помни обо мне».

На другой день у деревни Обухово, близ Наро-Фоминска, с группой комсомольцев-партизан Зоя перешла через линию фронта на занятую противником территорию.

Две недели они жили в лесах; ночью выполняли боевые задания, а днем грелись в лесу у костра и спали, сидя на снегу, прислонившись к стволу сосны. Иных утомили трудности похода, но Зоя ни разу не пожаловалась на лишения. Она переносила их стойко и гордо.

Пищи было запасено на пять дней. Ее растянули на пятнадцать, и последние сухари уже подходили к концу. Пора было возвращаться, но Зое казалось, что она сделала мало. Она решила остаться, проникнуть в Петрицево. Она сказала товарищам:

— Пусть я там погибну, зато десяток фашистов уничтожу!..

С Зоей пошли еще двое. Но случилось так, что вскоре она осталась одна. Это не остановило ее. Одна провела она две ночи в лесу, одна пробралась в деревню к важному вражескому объекту и одна мужественно боролась против целой своры терзавших ее с безумной жестокостью фашистов. И в эти последние часы ее, наверно, не покидали и окрыляли любимые образы героев и мучеников русского народа!

Как-то Зоя написала в своей школьной тетради об Илье Муромце: «Когда его одолевает злой нахвальщик, то сама земля русская вливает в него силы». В те роковые минуты словно сама родная советская земля дала Зое могучую, невинную силу. Эту дивную силу с изумлением вынужден признать даже враг.

В наши руки попал гитлеровский унтер-офицер Карл Бейерлейн, присутствовавший при пытках, которым подверг Зою Космодемьянскую командир 332-го пехотного полка 197-й дивизии подполковник Рюдерер. В своих показаниях этот унтер, стиснув зубы, написал:

«Маленькая героиня вашего народа осталась тверда.

Она не знала, что такое предательство... Она посинела от мороза, раны ее кровоточили, но она не сказала ничего».

Зоя умерла на виселице с мыслью о великой родине. В смертный час она славилась грядущую победу.

И холм славы уже вырастает над едва приметной могилкой. Молва о храброй девушке-борце передается из уст в уста в освобожденных от фашистов деревнях. Бойцы на фронте посвящают ей свои стихи и залпы по врагу. Память о ней вселяет в советских людей новые силы. «Нам, советским людям,— пишет в редакцию «Правды» студент-историк,— много еще предстоит пережить. И если трудно придется, я погляжу на прекрасное, мужественное лицо партизанки».

Лучезарный образ Зои Космодемьянской светит далеко вокруг.

Своим подвигом она показала себя достойной тех, о ком читала, о ком мечтала, у кого училась жить.

1941



**Илья Эренбург**

**30 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА**

Под елкой — убитый немец. Он наполовину занесен снегом. Кажется, будто он, прищурясь, смотрит на восток.

Отсюда три недели тому назад немецкие офицеры разглядывали Москву в полевой бинокль. Я читаю листок «Золдатен ангрифф»: «Москва огромный город. В нем — прославленный своей восточной красотой Кремль. В Москве много больших гостиниц, театров и кафе...» Кажется, что это «гид», изданный бюро путешествий. Вероятно, немецкие офицеры уже выбирали себе гостиницу...

Они не сомневались в своей победе. Они писали, что заводы Калинина начнут работать весной 1942 года. Их штабы в Ельце, в Алексине, в Белеве обосновались прочно, надолго. На стенах портреты Гитлера, семейные фотографии и непристойные открытки, вывезенные из Парижа... Они раскладывали по шкафам архивы, посвященные боям в Югославии, и летние вещи. Вот ракетка для тенниса...

Елка с недогоревшими свечами. На ней звезда. Они пили вокруг елки водку и шампанское. Они верили в счастливую звезду своего фюрера. Они убежали, не успев даже подумать, что с ними случилось.

1941 год был для них победным. Они сожгли Белград. Они надругались над Акрополем. Они захватили Украину и Белоруссию. Они уже выбирали барабанщиков, которые пройдут по проспектам Ленинграда. Они уже спорили, кто первый снимется в Москве на Красной площади. Одиннадцать месяцев они торжествовали, но в году двенадцать месяцев, и двенадцатый оказался для немцев фатальным. Звезда фюрера потускнела.

Вот ведут в штаб пленных. Немцев не узнать. В Париже летом 1940 года я видел беспечных и наглых туристов. Осенью 1941 года в Брянском лесу я видел солдат, усталых, но дисциплинированных. Попав к нам в плен, они боялись не нас, но своего фюрера и своего ротного командира. Теперь это не те немцы. Они смотрят бессмысленными, тусклыми глазами. Они чешутся, ругаются, судорожно зевают. Солдат толкает офицера — хочет продвинуться ближе к печке. Им наплевать на расовые теории, на железные кресты, на «крестовый поход». Они говорят только о холоде, о голоде, о том, что у какого-то Рашке осколок снаряда прободал живот. Они столько просидели вместе со смертью, что пропитались трупным запахом. Это не живые. Их хочется разбудить, растолкать. Вдруг один, встряхиваясь, будто ему нужно скинуть с себя одурь, ругает Гитлера — черная, угрюмая брань кипит на его растрескавшихся губах. Немцы уносят легкое вооружение и винтовки убитых, но на дорогах тысячи машин. Одни из них забуксовали в снегу, у других не хватило бензина. Немцы, недавно кричавшие о своем превосходстве («У нас моторы»), отдавали «мерседес» за тощую лошадинку. Их моторизованная пехота наконец-то научилась ходить пешком... Брошены орудия, минометы, ящики с патронами. Это не паническое бегство, но это и не стратегический отход, это — отступление под натиском наших частей. В Волоколамске мы нашли посередине города большую виселицу: восемь повешенных, среди них молоденькая девушка. Такие же виселицы были в Калинин, в Ливнах... У себя к рождеству фашисты ставили на площадях елки, у нас они воздвигали виселицы.

Повсюду приказы — перечень проступков, за которые полагается петля. Достаточно накормить красноармейца

или дать ему гражданскую одежду, чтобы попасть на виселицу. Гитлеровцы не пытались заигрывать с населением. Они хотели одного: запугать народ. Но жители русских городов оказались неукротимыми. Многие из них уходили в соседние леса и там, несмотря на суровые морозы, ждали возвращения Красной Армии. Когда немцы взяли Наро-Фоминск, они не нашли в городе ни одного жителя. В Калининe жители не выполняли немецких приказов. Гитлеровцы загоняли женщин в сараи и там расстреливали. Один гараж подожгли — с людьми.

Я читал приказ немецкого полковника Шитника: «Чтобы произвести надлежащие разрушения, надо сжечь все дома...» Сожжен древний город Епифань. Истра, веселая Истра, хорошо знакомая москвичам, — обугленные стены и щебень. Если в Калининe, Ельце, Ливнах остались неповрежденные кварталы, то только потому, что немцы спешили убраться восвояси.

Когда приходят наши бойцы, показываются люди — из лесов, из рвов, из подвалов. Кажется, что в эти короткие зимние дни, в последние дни года, начинается весна. Строят бараки. После долгого перерыва пекут хлеб, и запах свежеепеченного хлеба веселит, как свидетельство вечной жизни. Старенькая библиотекаряша, вся в инее, прижимает к груди несколько спасенных книжек. А час спустя, обезумев от радости, пишет на обороте немецкого плаката: «Библиотека снова открыта». Вставляют стекла. Женщины помогают чинить железнодорожный путь. Из Москвы привезли конверты, крупу, сахар. С каждым днем жизнь плотнеет, становится ощутимой, реальной.

Вечером черна затемненная Москва. Но ярко горят глаза людей: Москва спасена. Москва не узнала горчайшего: плена. Не страшны теперь сирены. Улыбаясь, москвичи украшают скромные елки. Над ними сусальные звезды. И там, над домами, под звездами неба, звезды Кремля.

Канун Нового года... Мы не мерим победы на аршины и фунты. Мы не примем четвертушки победы, восьмушки свободы, половинки мира. Мы хотим свободы для себя и для всех народов. Мы хотим мира не на пять, не на десять, не на двадцать лет. Мы хотим, чтобы наши дети забыли о голосе сирен. У моего друга, красноармейца, который первым вошел в Волоколамск, жена родила в Москве — осенью. Мальчик провел уже сорок ночей в метро, а мальчику два месяца. И мой друг говорит: «Я

умру, чтобы этого больше не было...» Мы хотим, чтобы наши дети рассказывали о танках как о доисторических чудовищах. Не затем мы сажаем сады и строим заводы, чтобы каждые двадцать пять лет их уничтожали буйные кочевники. Это мы говорим, глядя на развалины Наро-Фоминска и Истры. Гитлеровцев мы уничтожим — такова наша новогодняя клятва.

1941







Леонид Леонов

### ТВОЙ БРАТ ВОЛОДЯ КУРИЛЕНКО

**Н**абатный колокол бьет на Руси. Свирипое лихо ползет по родной стране. Безмолвная пустыня остается позади него. Там кружит ворон да скулит ветер, пропахший горечью пожаращ, да шарит по развалинам многорукий иноземный вор...

Второй год от моря до моря, не смолкая ни на минуту, гремит стократное Бородино Отечественной войны. Утром шелестит газета в твоей руке, мой безвестный читатель. И вместе с тобою вся страна узнает о событиях дня, с грохотом отошедшего в историю. Еще один день, еще одна ночь беспримерной схватки с врагом миновала. С благоговейной нежностью ты читаешь про людей, которые вчера сложили свои жизни к приножью великой матери. Кажется, самые тени великих предков наших обнажают головы и склоняют свои святые знамена пред ними. Какой могучий призыв к подвигу, мужеству и мщенью заключен в громовом шелесте газетного листа!

И еще громче орудийных раскатов звучит в нем тихое и строгое, как молитва, слово героя:

— За свободу, честь и достояние твое... в любое мгновение возьми меня, родина. Все мое — последний жар дыхания, и пламя мысли, и биение сердца — тебе одной!

Многие из них уже отошли навеки к немеркнущим вершинам славы — воины, девушки и дети, женщины и старцы, принявшие на себя благородное звание воина. Нет, не устыдятся своих внуков суровые и непреклонные пращуры наши, оборонившие родную землю в годы былых лихолетий. Никогда не поредает это племя богатырей, потому что самый слух о герое родит героев. Там, в аду несмолкающего боя, стоят они плотным строем, один к одному, как звенья на стальной кольчуге Невского Александра. Весь свет дивится нынче закалке и прочности этой брони, о которую разбиваются свирепые валы вражеского нашествия. Нет такой человеческой стали нигде на Западе. И в мире нет такой. Она изготавливается только у нас.

Слава вам, сыны великой матери!

Нам знакомы тысячи знаменитых имен современников наших во всех областях мирной человеческой деятельности. Мы гордимся ими и каждого знаем в лицо. Славные машинисты и шахтеры, хирурги и сталевары, строители материальных очагов нашего счастья, изобретатели умнейших машин, мастера неслыханных рекордов, музыканты, художники, певцы... Ими, как ковром пестрых и благоуханных цветов, усеяны наши необъятные пространства. И вот мы слышали новые имена людей, которые в огне сражений или в бессонной партизанской ночи отдали себя родине. Они стоят перед нами во весь свой исполинский рост, светлее солнца, без которого никогда — ни в прошлом, ни в будущем нашем — не цвели бы такие цветы на благодатной русской земле. Воистину непобедим народ, который родил их!

Сверкающей вереницей они проходят перед лицом отечества. Опаляют разум картины их нечеловеческой отваги. Вот юноша-красноармеец заслоняет собой амбразуру пулеметного гнезда, чтоб преградить дорогу смерти и обезопасить идущих в бой товарищей. Вот сапер, когда разбило осколком его миноискатель, голыми руками, на ощупь, и в сыпучих сугробах по пояс, расчищает перед штурмом минированное поле. Вот, приколов, как реликвию, поверх бушлатов клочки нахимовского мундира,

идет в последнюю атаку севастопольская морская пехота...

Кто вырастил тебя, гордое и мужественное племя? Где ты нашло такую силу гнева и ярость такую?

Родина скорбит о павших, но забвенья никогда не поглотит памяти об этих лучших из ее детей. Грозен и прекрасен летчик Гастелло, который крылатым телом своим, как кинжалом, ударил в гущу вражеской колонны. Легендой прозвучал подвиг двадцати восьми братьев, которых сроднила смерть на подмосковном шоссе. Бессмертен образ комсомолки Зои, которую мы впервые увидели на белом снегу газетной страницы в траурной рамке. Вся страна пытливо вглядывалась в это красивое лицо русской девушки. Ни смертная мука, ни ледяная могила не смогли стереть с него выражение бесконечной решимости и прощальной улыбки милой родине... Созвездия надо бы называть именами этих людей, смертью поправших смерть!

Память народа — громадная книга, где записано все. Народ наш хорошо помнит причиненное ему горе. Не забудем ничего, даже сломленного в поле колоска. Есть у нас кому мстить, завоеватели!

Когда стихнет военная непогода, и громадная победа озарит дымные развалины мира, и восстановится биение жизни в его перебитых артериях, лучшие площади наших городов будут украшены памятниками бессмертным. И дети будут играть среди цветов у их гранитных подножий и учиться грамоте по великой заповеди, начертанной на камне:

«Любите родину свою, как мы ее любили!..»

Но еще прежде, чем историки, скульпторы и поэты найдут достойные формы для воплощения беззаветных свершений героев, а отечество оденет в бронзу их образы, следует любыми средствами сохранить в памяти хотя бы самые незначительные их живые черты. Запомни их лица, друг! Запомни навсегда эту гордую, по-орлиному склоненную к земле голову Гастелло, и хмурые, опаленные пламенем неравного боя лица двадцати восьми, и строгий профиль Зои, и честный, простой, как небо родины, взор партизана Володи Куриленко.

Мы не знали его в лицо, хотя он жил среди нас, скромно выполняя повседневную свою работу. Это обыкновенный человек наших героических будней. Трудно начертить спокойный его портрет нашими обиходными слова-

ми. Могучие воины, его овеванные славой соратники, немало рассказали о нем. Еще гремят поля войны, дорого каждое мгновение, и скупо цедятся нежные слова.

Знакомься же с ним, современник!

Вот он стоит перед тобой, Владимир Тимофеевич Куриленко, голубоглазый, русоволосый, русский парень, совсем юный. Он родился 25 декабря 1924 года. Семнадцать лет ему исполнилось в партизанском отряде, когда он умел уже не только стрелять, но и попадать в самое сердце немца. Природа одарила всем этого юношу. Он был, как тот, павший за родину в битве на Калке, великодушный Даниил, о котором с предельной и сердечной ясностью сообщил летописец: «...был он молод, и не было на нем порока с головы до пят». И если любой, наугад взятый молодой гитлеровец — законченный пример средневековой низости, Владимир Куриленко — отличный образец честного, деятельного юноши нашей эпохи.

Итак, он сын учителя на Смоленщине. Восемь лет провел он в школе. В нем рано проснулся дар организатора: он руководил ученическим комитетом, пионерским отрядом, потом комсомольской ячейкой. С малых лет его влекло к себе широкое океанское раздолье, где человек волей и выдержкой своими меряется со стихией. Но природа не поместила на Смоленщине седого и грозного океана, который грезился Володе. Все же Володя создал отряд «юных моряков», и уж, наверно, армады детских корабликов ходили по тамошней речке, и уж, конечно, адмиралом среди товарищей своих был этот статный и крепкий паренек...

Позже его в особенности влекла романтика военного дела. Хотелось ему также строить и изобретать. Он даже сердился на свою молодость, мешавшую ему поступить в Ленинградскую военно-инженерную школу. Он был принят туда 6 июня 1941 года, — все, даже самые мелкие даты важны в этой краткой и такой емкой биографии. Уже сбывалась мечта... и не сбылась, разрушенная, как миллионы других молодых мечтаний, вторжением фашистских громил. Ленинград был отрезан фронтом. Гитлеровская орда потекла на Русь. Юношеская склонность Володи к военным занятиям пригодилась; больше того — она стала потребностью дня. Такова первая страница в анкете героя.

Как быстро в военное время растут и мужают наши дети!.. Когда первые немцы появились в Володиных

местах, где каждый кустик, каждую полянку он любил с неосознанной еще детской привязанностью, он сразу занял свое место рядом со взрослыми. Видимо, и отец Володи принадлежал к той замечательной категории народных учителей, которые собственным примером своим учат молодых граждан поведению в жизни. Тимофей Куриленко встретил гитлеровских посланцев пулеметным огнем, и два сына его, Владимир и пятнадцатилетний Геннадий, помогали ему при этом.

— Учись, учись, детки, этой азбуке войны, без которой пока нельзя быть спокойным за свое счастье на земле...

Это был новый вариант старинной и любимой песни — о Трансваале, о родине, горящей в огне, и об отце, который повел своих юных сыновей бороться за свободу. Засада Тимофея Куриленко изменила направление неприятельского удара. Свернув с намеченного пути, немцы наткнулись на регулярные части Красной Армии и были искрошены. Полтораста вражеских трупов и десятки разбитых машин — вот первое наглядное пособие, которое народный учитель показал своим сыновьям.

Несколько позже, в августе 1941 года, Володя самостоятельно организует партизанский отряд из ребят своего селения. Он сам становится педагогом в этой боевой школе. И вот наступает первый скромный урок — первая встреча с завоевателями, покоровшими пол-Европы. Мальчики мужественно ложатся в засаду у дороги. Грузовая машина, громыхая железной посудой, проходит совсем близко. И вровень с нею стволы винтовок движутся в высокой траве. Ребятки хорошо знают незваных гостей: это «доильцы», сборщики молока для германской армии. Кроме молока, они отбирают яйца, хлеб, мясо, вилки и ножи, сарафаны и ведра: доброму вору все в пору!.. В особенности вон тот, что сидит поверх бидонов, знаком и ненавистен Володе. Этот выдающийся мастер гитлеровского разбоя, отлично изучивший русский язык в пределах своей грабительской деятельности, давно заслужил добрую порцию партизанского свинца.

— Огонь! — сурово произносит мальчик.

Гремит нестройный залп.

Хрипят тормоза, машина останавливается. Володя сердито кусает губы: ох, сколько промахов враз, да еще по такой мишени! Выскочив, немцы залегли под откосом, — все, кроме того, белесого, который медленно, оскалив

зубы, сползает с бидонов. Какое розовое молоко хлещет сквозь щели автомобильного кузова!.. Жаркая перепалка. Необстрелянные Володины юнцы разбегаются с поля боя. Значит, это дается не сразу... Хорошо! Оставшись один, Володя припадает к пулемету: «Вот я их!» Одиночный выстрел, очереди не последовало. Второпях растерялся и сам командир: что это, поломка пулемета? Он же сам чистил и разбирал его накануне... Полудетское замешательство: в мгновение ока надо припомнить все, что проходили на специальных занятиях в школе.

— Так почему же, почему же он не стреляет? Забыл, забыл... — шепчут губы.

Это похоже на экзамен, на грозный экзамен, где экзаменаторами — жизнь и смерть... В минуту затишья немцы вскакивают на машину. Володя снова хватается за винтовку: это проще. Ага, еще один свалился, точно нырнул в зеленую некошеную траву! А вот и вражеский офицер, согнувшись, хватается за живот.

— Смотри, не обожги себе утробы горячим русским молочком, майор!

Немецкий офицер успевает завести мотор. И только теперь Володя понял свою ошибку: он просто забыл нажать предохранитель. Машина пускается наутек. Гитлеровцев гонит животный страх перед русскими партизанами. Закусив беззубую губу, Володя посылает вдогонку длинную, не очень меткую очередь.

А вечером в укромном месте, где-нибудь в уцелевшем овине, состоялись, наверное, занятия в отряде. Никто не глядел в лицо друг другу, и с недетской серьезностью звучал басок Володи:

— Ничего, товарищи! Учимся. Однако рассмотрим все-таки причины этой неудачной операции...

Конечно, он не бранил их; он всматривался в смущенные добрые лица крестьянских детей, искал слова поддержки, чтоб разбудить в них сноровку, стойкость и великую силу к сопротивлению. В конце концов, немудрено, что случилась неудача. То была пора, когда вся страна лишь училась давать отпор внезапному врагу. Прославленная германская организованность, помноженная на массовый опыт всеевропейских убийств, примененная в гнусном деле разбоя и террора на нашей земле, казалась тогда черной и грозной силой. И Володя Куриленко знал, что этот первый урок еще пригодится им впоследствии.

Рано закончилась юность у поколения русской молодежи времен Отечественной войны. Родина поставила их в самое горячее место боя и приказала стоять насмерть. Кто бы узнал теперь в молодом и строгом командире с незастегнутой кобурой и гранатой у пояса мальчика Володю Куриленко, мечтателя и адмирала несуществующих морей? Хозяйская ответственность за судьбу страны легла на его плечи и как бы придавила их слегка. Суровая морщинка прочертилась меж бровей, тоньше и жестче стали возмужавшие губы, и еще тверже сердце, познавшее радость мщения и горечь разлуки с павшими друзьями.

В сентябре враг высылает уже крупные карательные отряды против партизанских сил, к которым присоединилась и группка Володи Куриленко. Началась лютая охота нацистов на непокорное и непокоренное население. Отряд Куриленко был окружен в деревне. Уже каратели идут по избам, но командиру удалось проскользнуть сквозь самые пальцы ночной облавы. Несколько человек из отряда попадают в плен к фашистам. Приговор им вынесен заранее. Подобно прославленным восьми волоколамским комсомольцам-мученикам, они погибают на виселице.

Прощайте, юные мореплаватели, познавшие море жизни в самую грозную штормовую ночь! Может быть, вы стали бы капитанами дальних плаваний и прокладывали новые трассы в ледяных пространствах Севера... Веревка иноземных палачей оборвала вашу мечту. Запомним: они заплатят вдесятеро. И на стальных бортах новехоньких кораблей ваши имена много раз еще обойдут все моря родины!

Каратели трудятся. Питекантропы в гестаповских мундирах убивают и жгут. Пепел и слезы, слезы и пепел — вот удел занятых врагом областей. Ничего, они — как споры ненависти, эти серые пепелинки: из каждой родится по герою. Дню всегда предшествует ночь... Партизанское движение в этом крае, кажется, совсем подавлено. Наступила черная осень 1941 года. Отступление наших армий. Первый снег кружится над поруганной землей. Знойко и тихо в этой искусственно созданной пустыне, отгороженной от мира огневой завесой разрывов. Куриленко возвращается к отцу и снова на некоторое время становится прежним Володей. Он отбивается от усталости и разочарования, что невольно крадутся в сердце: «Ни-

чего, выстоим, выдюжим! Не для того мы рождались на свет... и еще не допеты наши песни!»

Тайком он устанавливает радиоприемник — пригодилась детская любознательность. Вместе с родными в темные ночи он слушает передачи из такой близкой и такой далекой теперь осажденной Москвы. Громче, громче бейте, часы на Спасской башне: миллионы преданных сердец слушают вас в эту ночь! А чуть забрезжит утро, Володя отправляется в путь, с ломтем хлеба за пазухой. Он разносит слова правды, которые узнал ночью, по всем отдаленным местностям района. В селах знают, любят и ждут его. Куриленко становится живой газетой. Трудное и почетное дело в условиях глубокого немецкого тыла и зверских законов оккупации.

Идут месяцы. Декабрь. Могучие удары сибирских дивизий под Москвой. Эхо их разносится по всему миру, добывая глупый миф о непобедимости германских армий. Фронт снова приближается к родным Володиным местам. Скоро, совсем скоро взметнется под ногами поработителей эта измученная, расковырянная земля. А пока таись и жди своего часа, гордый мститель Смоленщины! И часто, отправляясь с добрыми вестями по тайным тропкам в самые глухие углы, к друзьям, он останавливался где-нибудь на опушке леса, этот коробейник новостей, и, прищурясь, глядел на железнодорожное полотно.

Дни прибывали. Слепил глаза крепнувший снежный наст.

Шел очередной поезд с гитлеровскими убийцами. Усердно пыхтели паровозные поршни и то ли зимний ветерок подвывал в ветвях, то ли постылая вражеская песня сочилась сквозь железную обшивку вагонов. Вражеские рожи прильнули к окнам изнутри. Любопытно было поглядеть, среди каких таких восточных просторов и немеряных русских лесов придется им сгнивать в недалеком будущем...

И, наверно, улыбался Володя, думая про себя:

«Вот новая партия немецких покойников своим ходом, в живом виде, направляется к предназначенным для них могилам. Не вернется ни один, ни один! Что же, спешите, бравые поддцы!..»

И, кстати, считал вагоны с живым и платформы с мертвым инвентарем, чтобы рассказать потом, кому следует, об этой встрече. Всякое знание полезно партизану.

...В январе не выдержало сердце. Володя уводит отца и брата в лес, в жгучую морозную неизвестность. Оказалось, там кочевал тогда отряд славного партизана товарища Ш.

Часть февраля уходит на разведку, на установление правильной связи с Красной Армией. Приходится много раз пересекать огневую линию фронта. У Владимира Куриленко накапливается богатый опыт диверсий, шлифуется мастерство партизанского действия. Ненависть к врагу — вот всенародная академия, где он получил свое военное образование. Теперь уже никакая внезапность не застанет его врасплох. Зрелость входит в его трудную и чреватую опасностями юность. Партизан всегда бьется с численно превосходящими силами противника. «Четверо против шестидесяти восьми? Ничего. Великая мать смотрит на нас. Вперед!» И отступали, только израсходовав весь огневой запас.

Какое пламя гнева нужно было хранить в себе, чтобы не заколечеть в такие бездомные, метельные партизанские ночи!

Молодой Куриленко поспевает везде. Ему хватает времени на все, точно он сторукий. Все партизанские специальности знакомы ему. Вот дополз слух о том, что в одной деревне организован полицейский отряд для борьбы с партизанами. Володе дается поручение превратить в пададь изменников родины, и он с друзьями выполняет приказ. Это он за какие-нибудь полтора месяца, сообщая с товарищами, пускает под откос пять вражеских поездов с боеприпасами и живым солдатским грузом. Это он взрывает мосты на магистралях и сообщает нашему командованию о заторах, образовавшихся на путях. И стаи наших краснокрылых птиц расклеивают дочиства скопления вражеских эшелонов...

Порою юноша дразнит судьбу, как будто не одну, а сотню жизней подарила ему родина. И тут начинается широкая, как река, песенная слава партизана.

Умей расшифровать, увидеть в недосказанных подробностях сухую газетную сводку, современник! Это стенограмма народной войны. Сердцем патриота почувствуй, глазами брата прочти эти скудные записи в партизанском дневнике. Вот некоторые из них, скромная повесть о буднях партизана:

«2.3.1942. Владимир Куриленко с товарищем А. при возвращении в лагерь наткнулся на немецкую батарею.

Пулеметным огнем скошено 2 артиллерийских расчета. Товарищ А. убит.

5.3.1942. Четверо, среди которых Владимир Куриленко, вступили в бой с 68 фашистами. Убито три оккупанта, один ранен.

30.3.1942. Партизаны нашего отряда, Владимир Куриленко и бойцы отряда особого назначения, скинули под откос поезд между станциями Л и К. Убито 250 фашистов.

10.4.1942. Крушение товарного состава на дороге С.—Л. Одновременно подорвано соседнее железнодорожное полотно. Владимир К.

13.4.1942. Подбита машина. Уничтожено 4 немца. Куриленко с товарищами.

14.4.1942. На комсомольском собрании ответственным секретарем президиума ВЛКСМ избран Владимир Куриленко.

26.4.1942. Еще один эшелон на перегоне К.—Л. спущен под откос Владимиром К. Погибло 270 немцев. Взорван паровоз и железнодорожное полотно на О. направлении».

В этих скупо обозначенных эпизодах ничего нет о стремительной дерзости, о высоком искусстве преодоления, казалось бы, непреодолимых препятствий, об особенностях партизанской жизни. Каждую минуту бодрствования или тревожного, урывками, сна находиться в окружении! И в самом кратком, почти бесцветном эпизоде от 13 апреля ничего не сказано про обстоятельства очередной схватки с противником. Приблизь к глазам эту скромную запись, современник!

Ранняя зима в том краю весна. Талая каша стояла под снегом, почернелым и истонченным, хрупким, как стеклянное кружево. Уже на возвышенностях, где днем пригревало солнышко, глубоко увязали ноги. Трое, во главе с Володей Куриленко, шли на выполнение боевой задачи. О, столько раз описанное в литературе предприятие и ни разу не описанное до конца: мост. Река встала на их пути. Слабо мерцал в сумерках синий, истончавший ледок, ксегде уже залитый водою. На задней кулисе туманного леска тревожно чернел силуэт самой цели. По зыбкому, гибельному льду, чуть схваченному вечерним морозцем, подрытники перешли реку. Оставался еще ручей; он клокотал и шумел всеми голосами весны. Пришлось перебраться вброд. К мосту подошли уже мокрые по пояс...

Спокойно и деловито закладывали кегли, когда Миша, товарищ Куриленко, сигнализировал о приближении вражеской автомашины. Жалко было упускать и эту маленькую цель. Здесь было достаточно удобное место для засады, в глубоком затоне ручья. Трое залегли в воду, только глаза, злые и зоркие глаза их, остались над поверхностью.

Мы не знаем, как тянулись эти минуты ожидания. Те, которые еще бьются с врагом на Смоленщине, расскажут потом подробнее про этот вечер. Наверно, пронзительная тишина стояла в воздухе. И, может быть, Володя спросил шепотом, чтобы шуткой поддержать товарища:

— Что, не промок, хлопец?

— Кажется, коленку замочил ненароком, — шуткой же отвечал тот. — А что?

— Ничего... Смотри не остудись. Этак и насморок можно заработать.

Ближе стеклянный хруст ледка в подмерзших колеях. Вот и свет фар показался на дороге. Кто-то шевельнулся в засаде. Желтые латунные блески пробежали зыбью по воде.

— Начнем с гранаты, хлопцы!

Трудно кидать эту чугунную игрушку закованной рукой. Но не промахнись, партизан: их больше. Взрыв — и мгновение спустя басовитое одобрительное эхо вернулось от леска к засаде Куриленко. Машину почти сошвырнуло с дороги, но она еще двигалась. «Теперь стрелять...» Четырех убили, пятерых ранили, безотказно действовал ППД. Из строений ближней МТС, где расположились немцы, уже бежали, галдя и стреляя наугад, полуодетые фигуры солдат. Обшарили, прострочили всякий кустик, черневший на берегу, но все было неподвижно: и вода, и мертвые солдаты на завоеванной ими земле, и дальний лесок, охваченный чутким безмолвием весны...

Она вступила в свои права, весна. Повеселели лужки на припеках; тонким, почти бесплотным туманцем окутались рощи. И птицы, каких еще не разогнал орудийный грохот, шумели иногда в лесных вершинах. Подступала пора великих работ на земле, и не было их — мешали фашисты. Злее становились удары исподтишка, в затылок врага. И ровно месяц спустя после памятной операции наступил отличный вечер, уже проникнутый тончайшим ароматом целомудренной русской флоры. Снова отправлялись в путь партизаны, и опять их было трое, с Кури-

ленко Володей во главе. Теперь они свою взрывчатку заложили под железнодорожное полотно и терпеливо ждали, как ждет рыболов своей добычи на громадной и безветренной реке.

Сбивчивые стуки пошли по рельсам; земля подсказала на ухо партизану:

— Пора!

Володя выждал положенное время и крутнул рукоятку заветной машинки. И тихий русский вечер по-медвежьи, раскоряко, встал на дыбы и черную когтистую лапу взрыва обрушил на вражеский эшелон. Гаркнула тишина; вагоны с их живой начинкой посыпались под откос, вдвигаясь один в другой, как спичечные коробки... И где-то невдалеке трое юношей, исполнители казни, сурово наблюдали эту страшную окрошку из трехсот фрицев.

— Люблю большую и чистую работу, — сквозь зубы процедил Владимир Куриленко и повернулся уходить.

Он был веселый в тот вечер. Легко и вольно дышалось в майском воздухе. И хорошо было чувствовать, что Родина опирается о твое надежное комсомольское плечо... Они шли молча, и необъятная жизнь лежала перед ними в дымке юношеских мечтаний. На ночь они расположились в деревне С., и никто не знал, что это была последняя ночь Володи.

В полночь деревня была охвачена кольцом карательного отряда. Началось избиение людей, не пожелавших выдать спрятанных партизан. В перестрелке был насмерть сражен друг и соратник Володи комсомолец К. Сам Куриленко, раненный в голову и живот, продолжал отстреливаться. Каратели подожгли дом. Пламя хлестнуло в окно, зазвенело стекло, черная бензиновая копоть заструилась в нежнейшем дыхании ночи. Тогда товарищ Володя, владевший языком врага, крикнул по-немецки в окно:

— В своих стреляете, негодяи! Кто, кто стреляет?

Пальба прекратилась, и в этот краткий миг передышки Куриленко и его товарищ выскочили из избы на огород, не забывая при этом унести и оружие убитого товарища.

Кое-как они дотащились до соседней деревни. Незнакомая Володе смертная слабость овладела его телом. Так вот как это бывает!.. «Ничего, крепись, партизан! Чапаю было еще труднее, когда он боролся один на один со смертью и воды Урала тянули его вниз...»

Крови становилось меньше, он уже не мог стоять,

когда добрались до деревни. Неизвестный друг запряг лошадь и положил, сколько влезет, соломы на дно телеги. Двинулись в путь медленно, чтобы не увеличивать муки раненого. Лошадь шла шагом.

— Крепись, крепись... Еще немного, Володя,— шептал А.

Откинув голову, ослабев от потери крови, Куриленко лежал в телеге. Тысячи самых красивых, самых здоровых девушек в стране без раздумья отдали бы кровь этому герою и всю жизнь потом гордились бы этой честью. Но не было никого кругом, кроме друга, бессильного помочь ему, да еще великого утреннего безмолвия. Затылок с непокорными юношескими вихрами, смоченными кровью, бился о задок телеги, и голубой взор был устремлен в бесконечно доброе небо Родины, едва начинавшее синеть в рассвете.

Он слышал все в этот час: всякий шорох утра, каждый запах, веявший с поля, треск сучка, шелест земли, разминаемой колесом, просвист птичьего крыла над самым ухом... И, уже бессильный повернуть голову, он узнавал по этим бесценным мелочам облик того, что так беззаветно и страстно любил... Боль уже прошла, но это означало приближение смерти. Только легкая и острая тоска по Родине, покидаемой навсегда, теплилась в этом молодом и холодеющем теле. Вот оборвалась и она...

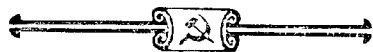
Такова последняя строка в анкете героя.

«Не долго жил, да славно умер»,— говорит русская древняя пословица. Он умер за семь месяцев до своего совершеннолетия. Для того ли Родина любовно растила тебя, Володя Куриленко, чтоб сразила тебя пуля гитлеровского подлеца? Прощай! Отряд твоего имени мстит сейчас за тебя на Смоленщине.

Не плачь о нем, современник. Копи в себе святую злобу. Но вспомни Володю Куриленко, когда ты будешь идти в атаку или почувствуешь усталость, стоя долгую военную смену у станка. Это придаст тебе ярости и силы...

На великой и страшной тризне по нашим павшим братьям мы еще вспомним, вспомним, вспомним тебя, Володя Куриленко!

1942



## Евгений Петров

### НА ЛЕВОМ ФЛАНГЕ<sup>1</sup>

В сравнительно короткий срок я проделал путь от правого фланга великого фронта до его левого фланга — от Баренцева моря до Черного.

Даже быстрый полет на аэроплане не может уменьшить впечатление от географической грандиозности этого расстояния. Организм не может сразу примириться с переменной климата. Совсем недавно я с трудом выскочил на американском вездеходе из майской мурманской вьюги, способной засыпать человека с головой, а также со всеми его записными книжками и пишущей машинкой. Теперь я пишу «где-то на Черном море», обливаясь горячим потом, хотя я родился в Одессе и имею некоторый иммунитет по части черноморской жизни. Впрочем, июнь выдался здесь исключительно жаркий — в прямом и переносном смысле этого слова. Что касается жары в прямом смысле, я не буду описывать вам ни солнца, которое, в отличие от мурманского, имеет все же привычку до утра опускаться в море, ни душных черных ночей с большими южными звездами. Вообразите себе, что я нахожусь «где-то в Калифорнии», и вам сразу все станет ясно. Что же до жары в переносном смысле, то такой человечество не знало за всю историю своего существования. Я заявляю это с полной ответственностью. Речь идет о сверхгероической обороне Севастополя, который защищается уже восьмой месяц с нечеловеческим упорством.

Сегодня пошел двадцать первый день последнего штурма, который предприняли немцы. И двадцать один день на город и передний край обороны, находящийся в непосредственной близости от города, немцы сбрасывают ежедневно столько бомб, сколько англичане сбросили однажды на Кельн, превратив его в развалины. Всего, следовательно, на Севастополь сброшено в двадцать раз больше бомб, чем на Кельн. При этом надо помнить, что Севастополь меньше Кельна раз в пятнадцать и что, кроме бомб, каждый метр обороняемой земли днем

<sup>1</sup> Очерк «На левом фланге» — последний из написанных Евгением Петровым для американского агентства «НАНА». Известный советский писатель-орденоносец, корреспондент Совинформбюро Евгений Петрович Катаев (Евгений Петров) погиб на боевом посту 2 июля 1942 г. Материал доставлен в Москву после смерти автора.



и ночью обстреливается из орудий, минометов и пулеметов. Это был очень красивый, чистенький белый город с военно-морской базой, весь в акациях и каштанах, с памятниками старины, с прекрасным институтом водолечения, с одним из лучших в мире аквариумов, где были собраны представители всех подводных обитателей Черного и Средиземного морей. Я пишу «был», потому что его нет больше. Он уничтожен, превращен в пыль. Каким-то чудом уцелели пока старинные белые колонны Графской пристани и большой бронзовый памятник Ленину.

Здесь нет тыла. Здесь есть только фронт, так как простреливается вся территория.

И город все-таки держится. Он держится наперекор всему — теории, опыту, бешеному желанию немцев взять Севастополь любой ценой. Немцы атакуют его ежедневно со всех сторон. Они сосредоточили вокруг города на небольшом фронте двенадцать лучших своих дивизий и с упорством самоубийц посылают на гибель своих солдат. Потери немцев грандиозны. Они во много раз превышают потери защитников города. Сейчас немцы пустились на хитрость. Они объявили во всеуслышание, что Севастополь — неприступная крепость. Цель их пропаганды ясна — если бы им удалось взять Севастополь, они сказали бы: «Мы взяли неприступную крепость», если они не смогут взять Севастополь, они скажут: «Мы говорили, что крепость неприступна».

Пора внести ясность в этот вопрос. Морская база Севастополь никогда, к сожалению, не была сухопутной крепостью. В этом смысле Севастополь ничем не отличается, скажем, от Сингапура. Полевые укрепления создавались вокруг города уже во время его обороны. Немцы пишут о каких-то взятых ими «железобетонных фортах». Для большей правдоподобности они даже дали им какие-то названия. Но никаких фортов они не взяли, так как их не было. В одном месте они блокировали тяжелую морскую батарею, предназначенную для стрельбы по кораблям; но и ее они не взяли. Моряки отказались капитулировать. Они решились умереть, но не поднять белого флага. Быть может, когда пишутся эти строки, немцы подкладывают под казематы аммонал и жизни патриотов остались считанные минуты. А может быть, их выручат еще товарищи отчаянной атакой. Хорошо, если бы это было так. Но вот, собственно, и все, чем могут похвастать немцы.

Вообще же сражение за Севастополь уже давно немцами проиграно. Это звучит несколько парадоксально, но это так. Еще не взяв города, немцы заплатили за него гораздо больше, чем могли заплатить, если бы действовали разумно. После взятия Керчи они обрушили на город всю освободившуюся авиацию — около тысячи самолетов. Они подготовили штурм, который теоретически невозможно отбить. Штурм начался второго июня. Пленные в один голос рассказывают, что на десятое июня германское командование назначило в Севастополе парад войск. В то время немцы еще не писали, что Севастополь «неприступная крепость».

И вот пошел двадцать первый день сплошного штурма, а город все держится и держится, как тростинка во время урагана, когда вокруг рушатся вековые дубы.

В чем секрет защитников Севастополя? Как невозможное они сделали возможным? Мне кажется, что дело тут не только в безупречном мужестве и готовности умереть, без которых вообще невозможна никакая оборона, но и в удивительном умении воевать, в замечательно верном понимании современной войны, которое проявили защитники Севастополя.

Здесь воюют не только зарывшиеся в желтую скалистую землю пехотинцы и перешедшие со своих кораблей моряки (они перенесли в блиндажи весь свой корабельный быт и стараются жить так, как будто они все еще находятся на миноносце или крейсере), не только артиллеристы, минометчики и разведчики, но и жители города. Не подумайте, что жители воюют в полном смысле слова, т. е. стреляют. Нет. Они помогают воевать. Они живут под землей. Под землей рабочие ремонтируют подбитые орудия или пулеметы, под землей пекут хлеб, укачивают детей, выпускают газету. Председатель горисполкома Борисов (человек, ставший легендарным) руководит жизнью этого подземного города, хирурги производят операции, и выступают артисты. По ночам люди собирают урожай с огородов (редиска растет здесь прямо на блиндажах) и достают воду из колодцев.

Города нет, но есть люди. Их героизм удивителен. Но еще удивительнее понимание современной войны, которое проявили руководители города, а за ними и все население. Секрет в том, что для людей, хорошо закопавшихся в землю, не страшны никакие бомбы. И вся, так сказать, тактика обороны населения заключается в умении ис-

пользовать каждый час, каждую минуту передышки. И вот этой тактикой сопротивления жители города овладели в полной мере. И именно поэтому количество жертв среди населения сравнительно невелико.

Пошел двадцать первый день штурма. Держаться становится все труднее. Возможно, что город все-таки удержится. Я уже привык верить в чудеса, потому что семь с лишним месяцев обороны Севастополя — военное чудо. Но что бы ни произошло, ясно одно: поражение немцев под Севастополем — совершившийся факт. Если Севастополь будет взят, немцы не найдут там ни одного живого солдата, офицера или моряка. Но потеряют они в три-четыре раза больше людей, чем это было до сих пор. И все равно — поражение немцев под Севастополем останется фактом.

25 июня 1942 года



## Михаил Шолохов НАУКА НЕНАВИСТИ

На войне деревья, как и люди, имеют каждое свою судьбу. Я видел огромный участок леса, срезанного огнем нашей артиллерии. В этом лесу недавно укреплялись немцы, выбитые из села С., здесь они думали задержаться, но смерть скосила их вместе с деревьями. Под поверженными стволами сосен лежали мертвые немецкие солдаты, в зеленом папоротнике гнили их изорванные в клочья тела, и смолистый аромат расщепленных снарядами сосен не мог заглушить удушливо-приторной, острой вони разлагающихся трупов. Казалось, что даже земля с бурыми, опаленными и жесткими краями воронок источает могильный запах.

Смерть величественно и безмолвно властвовала на этой поляне, созданной и взрытой нашими снарядами, и только в самом центре поляны стояла одна чудом сохранившаяся березка, и ветер раскачивал ее израненные осколками ветви и шумел в молодых, глянцевиито-клейких листках.

Мы проходили через поляну. Шедший впереди меня связной красноармеец слегка коснулся рукой ствола бе-

резы, спросил с искренним и ласковым удивлением:

— Как же ты тут уцелела, милая?..

Но если сосна гибнет от снаряда, падая, как скошенная, и на месте среза остается лишь иглистая, истекающая смолой макушка, то по-иному встречается со смертью дуб.

На провесне немецкий снаряд попал в ствол старого дуба, росшего на берегу безымянной речушки. Рваная, зияющая пробоина иссушила полдерева, но вторая половина, пригнутая разрывом к воде, весною дивно ожила и покрылась свежей листвой. И до сегодняшнего дня, наверное, нижние ветви искалеченного дуба купаются в текучей воде, а верхние все еще жадно протягивают к солнцу точеные, тугие листья...

Высокий, немного сутулый, с приподнятыми, как у коршуна, широкими плечами, лейтенант Герасимов сидел у входа в блиндаж и обстоятельно рассказывал о сегодняшнем бое, о танковой атаке противника, успешно отбитой батальоном.

Худое лицо лейтенанта было спокойно, почти бесстрастно, воспаленные глаза устало прищурены. Он говорил надтреснутым баском, изредка скрепящая крупные узловатые пальцы рук, и странно не вязался с его сильной фигурой, с энергичным, мужественным лицом этот жест, так красноречиво передающий безмолвное горе или глубокое и тягостное раздумье.

Но вдруг он умолк, и лицо его мгновенно преобразилось: смуглые щеки побледнели, под скулами, перекатываясь, заходили желваки, а пристально устремленные вперед глаза вспыхнули такой неугасимой, лютой ненавистью, что я невольно повернулся в сторону его взгляда и увидел шедших по лесу от переднего края нашей обороны трех пленных немцев и сзади — конвоировавшего их красноармейца в выгоревшей, почти белой от солнца, летней гимнастерке и сдвинутой на затылок пилотке.

Красноармеец шел медленно. Мерно раскачивалась в его руках винтовка, посверкивая на солнце жалом штыка. И так же медленно брели пленные немцы, нехотя переставляя ноги, обутые в короткие, измазанные желтой глиной сапоги.

Шагавший впереди немец — пожилой, со впалыми щеками, густо заросшими каштановой щетиной, — поравнялся с блиндажом, кинул в нашу сторону испод-

лобный, волчий взгляд, отвернулся, на ходу поправляя привешенную к поясу каску. И тогда лейтенант Герасимов порывисто вскочил, крикнул красноармейцу резким, лающим голосом:

— Ты что, на прогулке с ними? Прибавить шагу! Веди быстрее, говорят тебе!..

Он, видимо, хотел еще что-то крикнуть, но задохнулся от волнения и, круто повернувшись, быстро сбежал по ступенькам в блиндаж. Присутствовавший при разговоре политрук, отвечая на мой удивленный взгляд, вполголоса сказал:

— Ничего не поделаешь — нервы. Он в плену у немцев был, разве вы не знаете? Вы поговорите с ним как-нибудь. Он очень много пережил там и после этого живых гитлеровцев не может видеть, именно живых! На мертвых смотрит ничего, я бы сказал — даже с удовольствием, а вот пленных увидит и либо закроет глаза и сидит бледный и потный, либо повернется и уйдет. — Политрук придвинулся ко мне, перешел на шепот: — Мне с ним пришлось два раза ходить в атаку; силища у него лошадиная, и вы бы посмотрели, что он делает... Всякие виды мне приходилось выдывать, но как он орудует штыком и прикладом, знаете ли, — это страшно!

Ночью немецкая тяжелая артиллерия вела тревожащий огонь. Методически, через ровные промежутки времени, издали доносился орудийный выстрел, спустя несколько секунд над нашими головами, высоко в звездном небе, слышался железный клекот снаряда, воющий звук нарастал и удалялся, а затем где-то позади нас, в направлении дороги, по которой днем густо шли машины, подвозившие к линии фронта боеприпасы, желтой зарницей вспыхивало пламя и громово звучал разрыв.

В промежутках между выстрелами, когда в лесу устлавливалась тишина, слышно было, как тонко пели комары и несмело перекликались в соседнем болотце потревоженные стрельбой лягушки.

Мы лежали под кустом орешника, и лейтенант Герасимов, отмахиваясь от комаров сломленной веткой, неторопливо рассказывал о себе. Я передаю этот рассказ так, как мне удалось его запомнить.

— До войны работал я механиком на одном из заводов Западной Сибири. В армию призван девятого июля прошлого года. Семья у меня — жена, двое ребят, отец-

инвалид. Ну, на проводах, как полагается, жена и плакала, и напутствие сказала: «Защищай родину и нас крепко. Если понадобится — жизнь отдай, а чтобы победа была нашей». Помню, засмеялся я тогда и говорю ей: «Кто ты мне есть, жена или семейный агитатор? Я сам большой, а что касается победы, так мы ее у фашистов вместе с горлом вынем, не беспокойся!»

Отец, тот, конечно, покрепче, но без наказа и тут не обошлось: «Смотри, — говорит, — Виктор, фамилия Герасимовых — это не простая фамилия. Ты — потомственный рабочий, прадед твой еще у Строганова работал; наша фамилия сотни лет железо для родины делала, и чтобы ты на этой войне был железным. Власть-то — твоя, она тебя командиром запаса до войны держала, и должен ты врага бить крепко».

«Будет сделано, отец».

По пути на вокзал забежал в райком партии. Секретарь у нас был какой-то очень сухой, рассудочный человек... Ну, думаю, уж если жена с отцом меня на дороге агитировали, то этот вовсе спуска не даст, двинет какую-нибудь речугу на полчаса, обязательно двинет! А получилось все наоборот. «Садись, Герасимов, — говорит мой секретарь, — перед дорогой посидим минутку, по старому обычаю».

Посидели мы с ним немного, помолчали, потом он встал, и вижу — очки у него будто бы отпотели... Вот, думаю, чудеса какие нынче происходят! А секретарь и говорит: «Все ясно и понятно, товарищ Герасимов. Помню я тебя еще вот таким, лопоухим, когда ты пионерский галстук носил, помню затем комсомольцем, знаю и как коммуниста на протяжении десяти лет. Иди, бей гадов беспощадно! Парторганизация на тебя надеется». Первый раз в жизни расцеловался я со своим секретарем, и черт его знает, показался он тогда мне вовсе не таким уж сухарем, как раньше...

И до того мне тепло стало от этой его душевности, что вышел я из райкома радостный и взволнованный.

А тут еще жена развеселила. Сами понимаете, что провожать мужа на фронт никакой жене не весело; ну, и моя жена, конечно, тоже растерялась немного от горя, все хотела что-то важное сказать, а в голове у нее сквозняк получился, все мысли вылетели. И вот уже поезд тронулся, а она идет рядом с моим вагоном, руку мою из своей не выпускает и быстро так говорит:

«Смотри, Витя, береги себя, не простудись там, на фронте». — «Что ты, — говорю ей, — Надя, что ты! Ни за что не простужусь. Там климат отличный и очень даже умеренный». И горько мне было расставаться, и веселее стало от милых и глупеньких слов жены, и такое зло взяло на немцев. Ну, думаю, тронули нас, вероломные соседи, — теперь держитесь! Вколем мы вам по первое число!

Герасимов помолчал несколько минут, прислушиваясь к вспыхнувшей на переднем крае пулеметной перестрелке, потом, когда стрельба прекратилась так же внезапно, как и началась, продолжал:

— До войны на завод к нам поступали машины из Германии. При сборке, бывало, раз по пять ощупаю каждую деталь, осматриваю ее со всех сторон. Ничего не скажешь — умные руки эти машины делали. Книжки немецких писателей читал и любил и как-то привык с уважением относиться к немецкому народу. Правда, иной раз обидно становилось за то, что такой трудолюбивый и талантливый народ терпит у себя самый паскудный гитлеровский режим, но это было в конце концов их дело. Потом началась война на Западной Европе...

И вот еду я на фронт и думаю: техника у немцев сильная, армия — тоже ничего себе. Черт возьми, с таким противником даже интересно подраться и наломать ему бока. Мы-то тоже к сорок первому году были не лыком шиты. Признаться, особой честности я от этого противника не ждал, какая уж там честность, когда имеешь дело с фашизмом, но никогда не думал, что придется воевать с такой бессовестной сволочью, какой оказалась армия Гитлера. Ну, да об этом после...

В конце июля наша часть прибыла на фронт. В бой вступили двадцать седьмого рано утром. Сначала, в новинку-то, было страшновато малость. Минометами сильно они нас одолевали, но к вечеру освоились мы немного и дали им по зубам, выбили из одной деревушки. В этом же бою захватили мы группу, человек в пятнадцать, пленных. Помню как сейчас привели их, испуганных, бледных; бойцы мои к тому времени остыли от боя, и вот каждый из них тащит пленным все, что может: кто — котелок щей, кто табаку или папирос, кто чаем угощает. По спинам их похлопывают, «камрадами» называют: за что, мол, воюете, камрады?..

А один боец-кадровик смотрел-смотрел на эту тро-

гательную картину и говорит: «Слюни вы распустили с этими «друзьями». Здесь они все камрады, а вы бы посмотрели, что эти камрады делают там, за линией фронта, и как она с нашими ранеными и мирным населением обрывается». Сказал, словно ушат холодной воды на нас вылил, и ушел.

Вскоре перешли мы в наступление и тут действительно насмотрелись... Сожженные дотла деревни, сотни расстрелянных женщин, детей, стариков, изуродованные трупы попавших в плен красноармейцев, изнасилованные и зверски убитые женщины, девушки и девочки-подростки...

Особенно одна осталась у меня в памяти: ей было лет одиннадцать, она, как видно, шла в школу; немцы поймали ее, затащили на огород, изнасиловали и убили. Она лежала в помятой картофельной ботве, маленькая девочка, почти ребенок, а кругом валялись залитые кровью ученические тетради и учебники... Лицо ее было страшно изрублено тесаком, в руке она сжимала раскрытую школьную сумку. Мы накрыли тело плащ-палаткой и стояли молча. Потом бойцы так же молча разошлись, а я стоял и, помню, как иступленный, шептал: «Барков, Половинкин. Физическая география. Учебник для неполной средней и средней школы». Это я прочитал на одном из учебников, валявшихся там же, в траве, а учебник этот мне знаком. Моя дочь тоже училась в пятом классе.

Это было неподалеку от Ружина. А около Сквиры в овраге мы наткнулись на место казни, где мучили захваченных в плен красноармейцев. Приходилось вам бывать в мясных лавках? Ну, вот так примерно выглядело это место... На ветвях деревьев, росших по оврагу, висели окровавленные туловища, без рук, без ног, со снятой до половины кожей... Отдельной кучей было свалено на дне оврага восемь человек убитых. Там нельзя было понять, кому из замученных что принадлежит, лежала просто куча крупно нарубленного мяса, а сверху — стопкой, как надвинутые одна на другую тарелки, — восемь красноармейских пилоток...

Вы думаете, можно рассказать словами обо всем, что пришлось видеть? Нельзя! Нет таких слов. Это надо видеть самому. И вообще, хватит об этом! — Лейтенант Герасимов надолго умолк.

— Можно здесь закурить? — спросил я его.

— Можно. Курите в руку, — охрипшим голосом ответил он.

И, закурив, продолжал:

— Вы понимаете, что мы озверели, насмотревшись на все, что творили фашисты, да иначе и не могло быть. Все мы поняли, что имеем дело не с людьми, а с какими-то осатаневшими от крови собачьими выродками. Оказалось, что они с такой же тщательностью, с какой когда-то делали станки и машины, теперь убивают, насилуют и казнят наших людей. Потом мы снова отступали, но дрались как черти!

В моей роте почти все бойцы были сибиряки. Однако украинскую землю мы защищали прямо-таки отчаянно. Много моих земляков погибло на Украине, а фашистов мы положили там еще больше. Что ж, мы отходили, но духу им давали неплохо.

С жадностью затягиваясь папиросой, лейтенант Герасимов сказал уже несколько иным, смягченным тоном:

— Хорошая земля на Украине, и природа там чудесная! Каждое село и деревушка казались нам родными, может быть, потому, что не скупясь проливали мы там свою кровь, а кровь ведь, как говорят, роднит... И вот оставляешь какое-нибудь село, а сердце щемит и щемит, как проклятое. Жалко было, просто до боли жалко! Уходим и в глаза друг другу не глядим.

...Не думал я тогда, что придется побывать у фашистов в плену, однако пришлось. В сентябре я был первый раз ранен, но остался в строю. А двадцать первого, в бою под Денисовкой, Полтавской области, я был ранен вторично и взят в плен.

Немецкие танки прорвались на нашем левом фланге, следом за ними потекла пехота. Мы с боем выходили из окружения. В этот день моя рота понесла очень большие потери. Два раза мы отбили танковые атаки противника, сожгли и подбили шесть танков и одну бронемашину, уложили на кукурузном поле человек сто двадцать гитлеровцев, а потом они подтянули минометные батареи, и мы вынуждены были оставить высоту, которую держали с полудня до четырех часов. С утра было жарко. В небе ни облачка, а солнце палило так, что буквально нечем было дышать. Мины ложились страшно густо, и, помню, пить хотелось до того, что у бойцов губы чернели от жажды, а я подавал команду каким-то чужим, окончательно осипшим голосом. Мы перебежали по ложине, когда впереди меня разорвалась мина. Кажется, я успел увидеть столб черной земли и пыли, и это — все. Осколок ми-

ны пробил мою каску, второй попал в правое плечо.

Не помню, сколько я пролежал без сознания, но очнулся от топота чьих-то ног. Приподнял голову и увидел, что лежу не на том месте, где упал. Гимнастерки на мне нет, а плечо наспех кем-то перевязано. Нет и каски на голове. Голова тоже кем-то перевязана, но бинт не закреплен, кончик его висит у меня на груди. Мгновенно я подумал, что мои бойцы тащили меня и на ходу перевязали, и я надеялся увидеть своих, когда с трудом поднял голову. Но ко мне бежали не свои, а немцы. Это топот их ног вернул мне сознание. Я увидел их очень отчетливо, как в хорошем кино. Я пошарил вокруг руками. Около меня не было оружия: ни нагана, ни винтовки, даже гранаты не было. Планшетку и оружие кто-то из наших снял с меня.

«Вот и смерть», — подумал я. О чем я еще думал в этот момент? Если вам это для будущего романа, так напишите что-нибудь от себя, а я тогда ничего не успел подумать. Немцы были уже очень близко, и мне не захотелось умирать лежа. Просто я не хотел, не мог умереть лежа, понятно? Я собрал все силы и встал на колени, касаясь руками земли. Когда они подбежали ко мне, я уже стоял на ногах. Стоял и качался, и ужасно боялся, что вот сейчас опять упаду и они меня заколют лежащего. Ни одного лица я не помню. Они стояли вокруг меня, что-то говорили и смеялись. Я сказал: «Ну, убивайте, сволочи! Убивайте, а то сейчас упаду». Один из них ударил меня прикладом по шее, я упал, но тотчас снова встал. Они засмеялись, и один из них махнул рукой — иди, мол, вперед. Я пошел. Все лицо у меня было в засохшей крови, из раны на голове все еще бежала кровь, очень теплая и липкая, плечо болело, и я не мог поднять правую руку. Помню, что мне очень хотелось лечь и никуда не идти, но я все же шел.

Нет, я вовсе не хотел умирать и тем более — оставаться в плену. С великим трудом преодолевая головокружение и тошноту, я шел — значит, я был жив и мог еще действовать. Ох, как меня томила жажда! Во рту у меня спеклось, и все время, пока мои ноги шли, перед глазами колыхалась какая-то черная штора. Я был почти без сознания, но шел и думал: «Как только напьюсь и чуточку отдохну — убегу!»

На опушке рощи нас всех, попавших в плен, собрали и построили. Все это были бойцы соседней части. Из наше-

го полка я угадал только двух красноармейцев третьей роты. Большинство пленных было ранено. Немецкий лейтенант на плохом русском языке спросил, есть ли среди нас комиссары и командиры. Все молчали. Тогда он приказал: «Комиссары и офицеры идут два шага вперед». Никто из строя не вышел.

Лейтенант медленно прошел перед строем и отобрал человек шестнадцать по виду похожих на евреев. У каждого он спрашивал: «Юде?» — и, не дожидаясь ответа, приказывал выходить из строя. Среди отобранных им были и евреи, и армяне, и просто русские, но смуглые лицом и черноволосые. Всех их отвели немного в сторону и расстреляли на наших глазах из автоматов. Потом нас наспех обыскали и отобрали бумажники и все, что было из личных вещей. Я никогда не носил партбилета в бумажнике, боялся потерять; он был у меня во внутреннем кармане брюк, и его при обыске не нашли. Все же человек — удивительное создание: я твердо знал, что жизнь моя — на волоске, что если меня не убьют при попытке к бегству, то все равно убьют по дороге, так как от сильной потери крови я едва ли мог бы идти наравне с остальными, но когда обыск кончился и партбилет остался при мне, я так обрадовался, что даже про жажду забыл!

Нас построили в походную колонну и погнали на запад. По сторонам дороги шел довольно сильный конвой и ехали человек десять немецких мотоциклистов. Гнали нас быстрым шагом, и силы мои приходили к концу. Два раза я падал, вставал и шел, потому что знал, что, если пролежу лишнюю минуту и колонна пройдет, меня пристрелят там же, на дороге. Так произошло с шедшим впереди меня сержантом. Он был ранен в ногу и с трудом шел, стоная, иногда даже вскрикивая от боли. Прошли с километр, и тут он громко сказал:

— Нет, не могу. Прощайте, товарищи! — и сел среди дороги.

Его попытались на ходу поднять, поставить на ноги, но он снова опускался на землю. Как во сне, помню его очень бледное молодое лицо, нахмуренные брови и мокрые от слез глаза... Колонна прошла. Он остался позади. Я оглянулся и увидел, как мотоциклист подъехал к нему вплотную, не слезая с седла, вынул из кобуры пистолет, приставил к уху сержанта и выстрелил. Пока дошли до речки, фашисты пристрелили еще нескольких отстававших красноармейцев.

И вот уже вижу речку, разрушенный мост и грузовую машину, застрявшую сбоку переезда, и тут падаю вниз лицом. Потерял ли я сознание? Нет, не потерял. Я лежал, протянувшись во весь рост, во рту у меня было полно пыли, я скрипел от ярости зубами, и песок хрустел у меня на зубах, но подняться я не мог. Мимо меня шагали мои товарищи. Один из них тихо сказал: «Вставай же, а то убьют!» Я стал пальцами раздирать себе рот, давить глаза, чтобы боль помогла мне подняться...

А колонна уже прошла, и я слышал, как шуршат колеса подъезжающего ко мне мотоцикла. И все-таки я встал! Не оглядываясь на мотоциклиста, качаясь как пьяный, я заставил себя догнать колонну и пристроился к задним рядам. Проходившие через речку немецкие танки и автомашины взмутили воду, но мы пили ее, эту коричневою теплую жижу, и она казалась нам слаще самой хорошей ключевой воды. Я намочил голову и плечо. Это меня очень освежило, и ко мне вернулись силы. Теперь-то я мог идти в надежде, что не упаду и не останусь лежать на дороге...

Только отошли от речки, как по пути нам встретилась колонна средних немецких танков. Они двигались нам навстречу. Водитель головного танка, рассмотрев, что мы — пленные, дал полный газ и на всем ходу врезался в нашу колонну. Передние ряды были смяты и раздавлены гусеницами. Пешие конвойные и мотоциклисты с хохотом наблюдали эту картину, что-то орали высунувшимся из люков танкистам и размахивали руками. Потом снова построили нас и погнали сбоку дороги. Веселые люди, ничего не скажешь...

В этот вечер и ночью я не пытался бежать, так как понял, что уйти не смогу, потому что очень ослабел от потери крови, да и охраняли нас строго, и всякая попытка к бегству наверняка закончилась бы неудачей. Но как проклинал я себя впоследствии за то, что не предпринял этой попытки! Утром нас гнали через одну деревню, в которой стояла немецкая часть. Немецкие пехотинцы высыпали на улицу посмотреть на нас. Конвой заставил нас бежать через всю деревню рысью. Надо же было унижить нас в глазах подходившей к фронту немецкой части. И мы бежали. Кто падал или отставал, в того немедленно стреляли. К вечеру мы были уже в лагере для военнопленных.

Двор какой-то МТС был густо огорожен колючей про-

волокой. Внутри плечом к плечу стояли пленные. Нас сдали охране лагеря, и те прикладами винтовок загнали нас за огорожу. Сказать, что этот лагерь был адом,— значит ничего не сказать. Уборной не было. Люди испражнялись здесь же и стояли и лежали в грязи и в зловонной жиже. Наиболее ослабевшие вообще уже не вставали. Воду и пищу давали раз в сутки. Кружку воды и горсть сырого проса или прелого подсолнуха, вот и все. Иной день совсем забывали что-либо дать...

Дня через два пошли сильные дожди. Грязь в лагере растолкли так, что бродили в ней по колено. Утром от намокших людей шел пар, словно от лошадей, а дождь лил не переставая... Каждую ночь умирало по несколько десятков человек. Все мы слабели от недоедания с каждым днем. Меня вдобавок мучили раны.

На шестые сутки я почувствовал, что у меня еще сильнее заболело плечо и рана на голове. Началось нагноение. Потом появился дурной запах. Рядом с лагерем были колхозные конюшни, в которых лежали тяжело раненные красноармейцы. Утром я обратился к унтеру из охраны и попросил разрешения обратиться к врачу, который, как сказали мне, был при раненых. Унтер хорошо говорил по-русски. Он ответил: «Иди, русский, к своему врачу. Он немедленно окажет тебе помощь».

Тогда я не понял насмешки и, обрадованный, побрел к конюшне.

Военврач третьего ранга встретил меня у входа. Это был уже конченный человек. Худой до изнеможения, измученный, он был уже полусумасшедшим от всего, что ему пришлось пережить. Раненые лежали на навозных подстилках и задыхались от дикого зловония, наполнявшего конюшню. У большинства в ранах кишели черви, и те из раненых, которые могли, выковыривали их из ран пальцами и палочками... Тут же лежала груда умерших пленных, их не успевали убирать.

«Видели? — спросил у меня врач.— Чем же я могу вам помочь? У меня нет ни одного бинта, ничего нет! Идите отсюда, ради бога, идите! А бинты ваши сорвите и присыпьте раны золой. Вот здесь у двери — свежая зола».

Я так и сделал. Унтер встретил меня у входа, широко улыбаясь. «Ну как? О, у ваших солдат превосходный врач! Оказал он вам помощь?» Я хотел молча пройти мимо него, но он ударил меня кулаком в лицо, крикнул:

«Ты не хочешь отвечать, скотина?!» Я упал, и он долго бил меня ногами в грудь и в голову. Бил до тех пор, пока не устал. Этого фашиста я не забуду до самой смерти, нет, не забуду! Он и после бил меня не раз. Как только увидит сквозь проволоку меня, приказывает выйти и начинает бить, молча, сосредоточенно...

Вы спрашиваете, как я выжил?

До войны, когда я еще не был механиком, а работал грузчиком на Каме, я на разгрузке носил по два куля соли, в каждом — по центнеру. Силенка была, не жаловался, к тому же вообще организм у меня здоровый, но главное — это то, что не хотел я умирать, воля к сопротивлению была сильна. Я должен был вернуться в строй бойцов за родину, и я вернул, чтобы мстить врагам до конца!

Из этого лагеря, который являлся как бы распределительным, меня перевели в другой лагерь, находившийся километрах в ста от первого. Там все было так же устроено, как и в распределительном: высокие столбы, обнесенные колючей проволокой, ни навеса над головой, ничего. Кормили так же, но изредка вместо сырого проса давали по кружке вареного гнилого зерна или же втаскивали в лагерь трупы издохших лошадей, предоставляя пленным самим делить эту падаль. Чтобы не умереть с голоду, мы ели — и умирали сотнями... Вдобавок ко всему в октябре наступили холода, беспрестанно шли дожди, по утрам были заморозки. Мы жестоко страдали от холода. С умершего красноармейца мне удалось снять гимнастерку и шинель. Но и это не спасало от холода, а к голоду мы уже привыкли...

Стерегли нас разжиревшие от грабежей солдаты. Все они по характеру были сделаны на одну колодку. Наша охрана на подбор состояла из отъявленных мерзавцев. Как они, к примеру, развлекались: утром к проволоке подходит какой-нибудь ефрейтор и говорит через переводчика:

«Сейчас раздача пищи. Раздача будет происходить с левой стороны».

Ефрейтор уходит. У левой стороны огорожи толпятся все, кто в состоянии стоять на ногах. Ждем час, два, три. Сотни дрожащих, живых скелетов стоят на пронизывающем ветру... Стоят и ждут.

И вдруг на противоположной стороне быстро появляются охранники. Они бросают через проволоку куски нарубленной конины. Вся толпа, понукаемая голодом, ша-



рахається туди, окола кусков измазанной в грязи конины идет свалка...

Охранники хохочут во все горло, а затем резко звучит длинная пулеметная очередь. Крики и стоны. Пленные отбегают к левой стороне огорожи, а на земле остаются убитые и раненые... Высокий обер-лейтенант — начальник лагеря — подходит с переводчиком к проволоке. Обер-лейтенант, еле сдерживаясь от смеха, говорит:

«При раздаче пищи произошли возмутительные беспорядки. Если это повторится, я прикажу вас, русских свиней, расстреливать беспощадно! Убрать убитых и раненых!» Гитлеровские солдаты, толпящиеся позади начальника лагеря, просто помирают от смеху. Им по душе «остроумная» выходка их начальника.

Мы молча вытаскиваем из лагеря убитых, хороним их неподалеку, в овраге... Били и в этом лагере кулаками, палками, прикладами. Били так просто, от скуки или для развлечения. Раны мои затянулись, потом, наверное, от вечной сырости и побоев, снова открылись и болели нестерпимо. Но я все еще жил и не терял надежды на избавление... Спали мы прямо в грязи, не было ни соломенных подстилок, ничего. Собьемся в тесную кучу, лежим. Всю ночь идет тихая возня: зябнут те, которые лежат на самом низу, в грязи, зябнут и те, которые находятся сверху. Это был не сон, а горькая мука.

Так шли дни, словно в тяжком сне. С каждым днем я слабел все более. Теперь меня мог бы свалить на землю и ребенок. Иногда я с ужасом смотрел на свои обтянутые одной кожей, высохшие руки, думал: «Как же я уйду отсюда?» Вот когда я проклинал себя за то, что не попытался бежать в первые же дни. Что ж, если бы убили тогда, не мучился бы так страшно теперь.

Пришла зима. Мы разгребали снег, спали на мерзлой земле. Все меньше становилось нас в лагере... Наконец, было объявлено, что через несколько дней нас отправят на работу. Все ожили. У каждого проснулась надежда, хоть слабая, но надежда, что, может быть, удастся бежать.

В эту ночь было тихо, но морозно. Перед рассветом мы услышали орудейный гул. Все вокруг меня зашевелились. А когда гул повторился, вдруг кто-то громко сказал:

— Товарищи, наши наступают!

И тут произошло что-то невообразимое: весь лагерь поднялся на ноги, как по команде! Встали даже те, которые не поднимались по нескольку дней. Вокруг слы-

шался горячий шепот и подавленные рыдания... Кто-то плакал рядом со мной по-женски, навзрыд... Я тоже... я тоже... — прерывающимся голосом быстро проговорил лейтенант Герасимов и умолк на минуту, но затем, овладев собой, продолжал уже спокойнее: — У меня тоже катились по щекам слезы и замерзали на ветру... Кто-то слабым голосом запел «Интернационал», мы подхватили тонкими, скрипучими голосами. Часовые открыли стрельбу по нас из пулеметов и автоматов, раздалась команда: «Лежать!» Я лежал, вдавив тело в снег, и плакал как ребенок. Но это были слезы не только радости, но и гордости за наш народ. Фашисты могли убить нас, безоружных и обессиленных от голода, могли замучить, но сломить наш дух не могли, и никогда не сломят! Не на тех напали, это я прямо скажу.

Мне не удалось в ту ночь дослушать рассказ лейтенанта Герасимова. Его срочно вызвали в штаб части. Но через несколько дней мы снова встретились. В землянке пахло плесенью и сосновой смолой. Лейтенант сидел на скамье согнувшись, положив на колени огромные кисти рук со скрещенными пальцами. Глядя на него, невольно я подумал, что это там, в лагере для военнопленных, он привык сидеть вот так, скрестив пальцы, часами молчать и тягостно, бесплодно думать...

— Вы спрашиваете, как мне удалось бежать? Сейчас расскажу. Вскоре после того, как услышали мы ночью орудейный гул, нас отправили на работу по строительству укреплений. Морозы сменились оттепелью. Шли дожди. Нас гнали на север от лагеря. Снова было то же, что и вначале: истощенные люди падали, их пристреливали и бросали на дороге...

Впрочем, одного унтер застрелил за то, что он на ходу взял с земли мерзлую картофелину. Мы шли через картофельное поле. Старшина по фамилии Гончар, украинец по национальности, поднял эту проклятую картофелину и хотел спрятать ее. Унтер заметил. Ни слова не говоря, он подошел к Гончару и выстрелил ему в затылок. Колонну остановили, построили. «Все это — собственность германского государства», — сказал унтер, широко поводя вокруг рукой. — Всякий из вас, кто самовольно что-либо возьмет, будет убит».

В деревне, через которую мы проходили, женщины,

увидев нас, стали бросать нам куски хлеба, печеный картофель. Кое-кто из наших успел поднять, остальным не удалось: конвой открыл стрельбу по окнам, а нам приказано было идти быстрее. Но ребяташки — бесстрашный народ, они выбегали за несколько кварталов вперед, прямо на дорогу клали хлеб, и мы подбирали его. Мне досталась большая вареная картофелина. Разделили ее пополам с соседом, съели с кожурой. В жизни я не ел более вкусного картофеля!

Укрепления строились в лесу. Немцы значительно усилили охрану, выдали нам лопаты. Нет, не строить им укрепления, а разрушать я хотел.

В этот же день перед вечером я решил: вылез из ямы, которую мы рыли, взял лопату в левую руку, подошел к охраннику... До этого я заметил, что остальные немцы находятся у рва и, кроме этого, какой наблюдал за нашей группой, поблизости никого из охраны не было.

— У меня сломалась лопата... вот посмотрите, — бормотал я, приближаясь к солдату. На какой-то миг мелькнула у меня мысль, что, если не хватит сил и я не свалю его с первого удара, — я погиб. Часовой, видимо, что-то заметил в выражении моего лица. Он сделал движение плечом, снимая ремень автомата, и тогда я нанес удар лопатой ему по лицу. Я не мог ударить его по голове, на нем была каска. Силы у меня все же хватило, немец без крика запрокинулся навзничь.

В руках у меня автомат и три обоймы. Бегу! И тут-то оказалось, что бегать я не могу. Нет сил, и баста! Остановился, перевел дух и снова еле-еле потрусил рысцой. За оврагом лес был гуще, и я стремился туда. Уже не помню, сколько раз падал, вставал, снова падал... Но с каждой минутой уходил все дальше. Всклипывая и задыхаясь от усталости, пробирался я по чаще на той стороне холма, когда далеко сзади застучали очереди автоматов и послышался крик. Теперь поймать меня было не легко.

Приближались сумерки. Но если бы немцы сумели напасть на мой след и приблизиться, только последний патрон я приберег бы для себя. Эта мысль меня ободрила, я пошел тише и осторожнее.

Ночевал в лесу. Какая-то деревня была от меня в полукилометре, но я побоялся идти туда, опасаясь нарваться на немцев.

На другой день меня подобрали партизаны. Недели

две я отлеживался у них в землянке, окреп и набрался сил. Вначале они относились ко мне с некоторым подозрением, несмотря на то, что я достал из-под подкладки шинели кое-как зашитый мною в лагере партбилет и показал им. Потом, когда я стал принимать участие в их операциях, отношение ко мне сразу изменилось. Еще там открыл я счет убитым мною фашистам, тщательно ведя его до сих пор, и цифра помаленьку подвигается к сотне.

В январе партизаны провели меня через линию фронта. Около месяца пролежал в госпитале. Удалили из плеча осколок мины, а добытый в лагерях ревматизм и все остальные недуги буду залечивать после войны. Из госпиталя отпустили меня домой на поправку. Пожил дома неделю, а больше не мог. Затосковал, и все тут! Как там ни говори, а мое место здесь до конца.

Прошались мы у входа в землянку. Задумчиво глядя на залитую ярким солнечным светом просеку, лейтенант Герасимов говорил:

— ...И воевать научились по-настоящему, и ненавидеть, и любить. На таком оселке, как война, все чувства отлично оттачиваются. Казалось бы, любовь и ненависть никак нельзя поставить рядышком; знаете, как это говорится: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань», — а вот у нас они впряжены и здорово тянут! Тяжко я ненавижу фашистов за все, что они причинили моей родине и мне лично, и в то же время всем сердцем люблю свой народ и не хочу, чтобы ему пришлось страдать под фашистским игмом. Вот это-то и заставляет меня, да и всех нас, драться с таким ожесточением, именно эти два чувства, воплощенные в действие, и приведут к нам победу. И если любовь к родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть всегда мы носим на кончиках штыков. Извините, если это замысловато сказано, но я так думаю, — закончил лейтенант Герасимов и впервые за время нашего знакомства улыбнулся простой и милой, ребяческой улыбкой.

А я впервые заметил, что у этого тридцатидвухлетнего лейтенанта, надломленного пережитыми лишениями, но все еще сильного и крепкого, как дуб, ослепительно белые от седины виски. И так чиста была эта добытая большими

страданиями седина, что белая нитка паутины, прилипшая к пилотке лейтенанта, исчезала, коснувшись виска, и рассмотреть ее было невозможно, как я ни старался.

1942



**Борис Полевой**

### **В ПАРТИЗАНСКОМ КРАЕ**

Пароль — смерть нацистам. Внизу под крылом самолета медленно плывет темная, плотно окутанная синим сумраком летней ночи земля. Изредка блеснет на ней извилина маленькой речки, тускло, как рыба чешуя, сверкают затянутые туманом болотца. И снова ровная, непроглядная тьма, лишенная каких бы то ни было земных ориентиров. Но летчик Петр Иовлев каким-то особым чутьем, шестым чувством пилота угадывает приближение линии фронта. Самолет начинает круто набирать высоту и, достигнув своего потолка, с приглушенным мотором, почти планируя, продолжает бесшумно скользить вперед. И все же немцы нас заметили. Как красные ракеты, потянулись к нам снизу очереди снарядов автоматических зениток, ночь засверкала бисером трассирующих пуль, и близкие разрывы несколько раз встряхнули самолет.

Но немцы опоздали. Линия фронта осталась позади. Самолет резко переменяет курс и на заре, сделав несколько осторожных кругов, приземлился на просторной и пустынной лесной поляне, обрамленной со всех сторон высокими и стройными елями.

Пустынной — это только так показалось. Из глубины леса за нами наблюдали десятки настороженных, внимательных глаз, за кустами чувствовалось шевеление, наконец, откуда-то из глубины леса хрипловатый голос спрашивает:

— Кто?

— Свои.

— Пароль?

— Смерть нацистам.

Резкий свист раздается в лесу. Лес ожил. Со всех сторон к самолету бегут пестро одетые загорелые люди с винтовками и автоматами в руках, с пистолетами, заткнутыми за пояс, с гранатами, торчащими из карманов.

Эти суровые, закаленные в лесных битвах люди рады, как дети, прибытию советских людей оттуда, из-за линии фронта, с «Большой земли». Они обнимают нас, жмут нам руки, задают нам десятки вопросов и тут же жадно развертывают привезенные нами свежие газеты. Потом сквозь толпу к нам пробивается высокий широкоплечий партизан, с голым черепом и огромной курчавой седеющей бородой. Он целует каждого из нас со щеки на щеку и радушно говорит:

— Поздравляю с благополучным прибытием в нашу партизанскую сторону.

Партизанская сторона. Так зовут здесь этот обширный край, находящийся в глубоком тылу немецких войск и включающий в себя свыше 600 селений и поселков. Немецкие войска ворвались сюда еще в октябре прошлого года. Они прошли по этим местам как орды современных гуннов, опустошая все на своем пути, сжигая и уничтожая то, что нельзя было разграбить и унести с собой; груды угля на месте деревень и безымянными могилами у дорог отмечен их путь. Когда фронт отодвинулся далеко на восток к Москве, в глубоком тылу немецких армий возникло и стало действовать много партизанских отрядов. Сначала они действовали робко, сидели в лесах, совершали налеты на мелкие немецкие колонны. Но когда немцы, истекавшие под Москвой кровью, оттянули туда свои резервы, а партизанские отряды накопили боевой опыт, вооружились трофейным оружием и выросли в крупные боевые единицы, в тылу у немцев развернулась настоящая народная война.

На вооружении у партизан появились не только ружья и гранаты, но и автоматы, пулеметы, минометы, противотанковая и даже полевая артиллерия. Все это трофейное, отбитое у немцев. Все это отлично служит партизанам в борьбе с гитлеровцами. Отряды по-прежнему сохраняют свою партизанскую тактику. Главным оружием их является внезапность, маневренность, умение выбирать местность для нападения. Но масштаб их операций изменился, выросли и задачи, которые ставят перед собой партизаны. Теперь, взаимодействуя с частями Красной Армии, они держат под контролем важнейшие немецкие коммуникации, нападают на марши, на вражеские роты и батальоны, дают им настоящий бой, обращают их в бегство и часто уничтожают совсем. В январе отряды стали нападать на немцев и в их собственных логовах. Они атако-

вывали немецкие гарнизоны, освобождая от врагов деревни, села, целые поселки. Территория, очищенная от немцев, росла, группы освобожденных селений сливаются между собой. Так далеко за линией фронта в глубоком немецком тылу образовалась эта замечательная партизанская сторона — обширный советский район, где люди живут по советским законам, свято хранят советские порядки, куда не смеет ступить нога фашистского завоевателя.

На трофейной немецкой штабной квадратной машине, которую партизаны называют сундуком, мы едем с товарищем Никоном по селениям партизанской стороны. Этот живой, веселый, очень общительный человек, в недавнем прошлом агроном-селекционер, а сейчас — командир крупнейшего в партизанской стороне отряда, за голову которого немцы назначили 45 тысяч марок премии, село рассказывает:

— При немцах тут не было ни школ, ни больниц. Ни одно предприятие не работало, ни один магазин не торговал. Пустыня. Я уж не говорю о библиотеках, избах-читальнях. Немцы тем и прославились, что как куда в новое место являлись — первое дело кур ловить да книжки жечь. Но ведь на здоровом теле раны заживают быстро. И хоть мы от «Большой земли» далековато живем, хоть и фронт нас отделяет, но жизнь все-таки наладили.

Мы заходим с ним в школу, где молоденькая учительница экзаменует 12-летних малышей, которые при появлении Никона встают и приветливо ему улыбаются. Заезжаем в кустарные мастерские, работающие на полный ход, где ремонтируется трофейное оружие, в чистенькую больницу. Здесь в особой палате лежат раненые партизаны. Эта комната убрана с особой любовью, на окнах большие домашние растения. Крестьянки принесли их из своих домов, чтобы порадовать партизан. На столиках возле коек свежие букеты ландышей. Старенькая женщина-врач принимает больных крестьян. Товарищ Никон показывает на нее:

— Храбрый человек. Зимой во время боев из-под огня раненых партизан на саночках вывозила. Сама была ранена.

Клуб в районном центре немцы сожгли, но перед отступлением работники клуба успели закопать в землю киноаппаратуру и несколько фильмов. И вот сейчас

кино, расположившееся в просторном, разукрашенном хвоей сарае, показывает картины «Александр Невский», «Ленин в Октябре» и старый американский фильм Чарли Чаплина «Новые времена».

Телефонная связь восстановлена. Радиоузел работает. А вот газет нет.

— Бумаги нет, — с сожалением говорит Никон. — Сначала откопали типографию и было наладили выпуск. Бумагу у населения собрали, у кого что было: у кого оберточной, у кого почтовой, у кого тетрадки. Ну и выходила газетка маленькая-маленькая. Сейчас кончилась бумага. Вот что вместо газеты выпускаем.

И он показывает на стоящую посреди площади черную классную доску, на которой мелом выписаны важнейшие сообщения из последней сводки Совинформбюро, заметка о налетах англичан на Бремен. Маленький белокурый паренек как раз в этот момент старательно, мелкими буквами, стараясь экономить место, выписывал на доску краткое изложение речи Рузвельта. А за спиной его уже стояла целая толпа народу, обычная толпа, отличающаяся разве только тем, что почти все в ней, от седобородого старца до 15-летнего школьника, были вооружены кто пистолетом, кто гранатой, кто ножом от немецкой винтовки.

По пути в партизанский отряд Никона мы заезжаем в маленькую лесную деревеньку Мамоново. На пороге одной из хат нас встречает высокая крестьянка, строго повязанная черным платком, с немолодым суровым лицом и плотно сжатыми губами. Командир партизанского отряда с уважением жмет ей руку.

— «Партизанская мать» зовем мы ее, — рекомендует он. И вот в чистой горенке за самоваром он рассказывает историю этой женщины, обычной, ничем до войны не примечательной крестьянки. Когда немцы заняли ее деревню и многие семьи колхозников ушли в лес, она осталась дома, не успела уйти, да и, как она сама говорила, не очень верила в рассказы о немецких зверствах. Она осталась с дочерью Клавдией, девушкой лет 15-ти, учившейся в восьмом классе, и 12-летним сынишкой Петей. И вот настал страшный день, когда немцы заняли деревню. Сначала они занимались ловлей кур, гусей, поросят. Вечером вломились в магазин сельской кооперации, разграбили его, перепились. Пьяная ватага солдат ворвалась в хату колхозницы. Немцы схватили Клав-

дию, потащили ее с собой. Девушка отбивалась. Она ударила по физиономии рыжего немецкого ефрейтора, плюнула в лицо другому. Ефрейтор вынул парабеллум и хладнокровно застрелил ее на глазах матери. Бросившийся на выручку сестры Петя был ранен.

Ночью пожилая крестьянка с раненым сыном на руках явилась в лес, в партизанский отряд, и осталась в нем. Всю трудную зиму она прожила с партизанами, деля с ними тяжести боевой жизни. Она варила им обед, стирала, чинила одежду, ходила в разведку, и вместе с ней так же храбро ходил в разведку ее сын Петя. Его и сейчас нет дома. Он лучший разведчик в отряде Никона.

В отряд мы приехали уже под вечер. Несмотря на то, что командира каждый партизан хорошо знал в лицо, на опушке леса нас задержал патруль, и пожилой бородатый человек, направив на нас немецкий автомат, потребовал пароль.

— Смерть нацистам, — ответил Никон, очень довольный строгостью своего патруля, и пояснил: — У нас дисциплина суровая, нельзя иначе — немец кругом.

Отряд мы застали на учении. Группами по 15—20 человек партизаны занимались. Одна группа возилась у двух пулеметов, другая окапывалась. И вдруг бросилась в глаза страшная несуразность. В центре одной из групп стоял высокий коренастый человек в полной форме немецкого ефрейтора и показывал внимательно слушающим партизанам, как надо действовать трофейным минометом. Видя мое недоумение, Никон пояснил:

— Это Ганс, наш немец. Он зимой к нам приехал на паре коней и привез несколько винтовок, пулемет с лентами и еще что-то и сдался. Не хочу, говорит, воевать против вас, хочу с вами. Испытали мы его. Видим, верно, за нас. Сейчас он у нас пулеметчик, и какой пулеметчик. Сколько он немцев перебил — не счесть. А сейчас, вот видите, инструктором по трофейному оружию. А в другом отряде есть Зигфрид — тоже немец. Этот к нам пришел и с собой связанного ефрейтора приволок.

Мы знакомимся с Гансом. Он немножко уже научился говорить по-русски. Грустно покачав головой, он говорит:

— Мне жаль мой народ, который все еще идет за Гитлером. Русские, англичане, американцы — это гора. Кто пытается головой разбить гору, тот разбивает голову...

С последними лучами солнца наш самолет взмывает с лесной площадки, с тем чтобы затемно миновать линию фронта. Партизанская сторона остается далеко позади. Но долго еще мысленно остаешься в ней, в этой стороне суровых отважных людей, свято хранящих в тылу немецких войск советские законы и традиции, помогающих Красной Армии ударами с тыла по немецким войскам, рвущих жилы немецких коммуникаций, в стороне, где люди борются, умирают, но никогда не будут рабами нацистов.

6 июля 1942 года



Александр Фадеев

ДЕТИ

Ленинградцы и прежде всего ленинградские женщины могут гордиться тем, что в условиях блокады они сохранили детей. Значительная часть детей была эвакуирована из Ленинграда — речь идет не о них. Речь идет о тех маленьких ленинградцах, которые прошли все тяготы и лишения вместе со своим городом.

В Ленинграде была создана широкая сеть детских домов, которым голодный город отдавал лучшее из того, что имел. За три месяца я побывал во многих детских домах в Ленинграде. Но еще чаще, присев на скамейке где-нибудь в городском скверике или в парке в Лесном, я, не замечаемый детьми, часами наблюдал за их играми и разговорами. В апреле, когда я впервые увидел ленинградских детей, они уже вышли из самого трудного периода своей жизни, но печать тяжелой зимы еще лежала на их лицах и сказывалась в их играх. Это сказывалось в том, что многие дети играли в одиночку, и в том, что даже в коллективную игру дети играли молча, с серьезными лицами. Я видел лица детей, полные такой взрослой серьезности, видел детские глаза, исполненные такой думы и грусти, что эти лица и эти глаза могут сказать больше, чем все рассказы об ужасах голода.

В июле таких детей было уже немного, главным образом из числа сирот, родители которых погибли совсем недавно. У подавляющего большинства детей вид был вполне здоровый, и по своему поведению, по характеру

игр, по смеху и веселости они не отличались от всяких других нормальных детей.

Это результат великого святого труда ленинградских женщин, многие из которых добровольно посвятили свои силы делу спасения и воспитания детей. Рядовая ленинградская женщина проявила здесь столько материнской любви и самоотверженности, что перед величием ее подвига можно преклониться. Ленинградцы знают примеры исключительного мужества и героизма, проявленного женщинами — работницами детских домов во время опасности.

Утром в Красногвардейском районе начался интенсивный артиллерийский обстрел участка, где расположены ясли № 165. Заведующая яслями Голуткина Лидия Дмитриевна вместе с сестрой-воспитательницей Российской и санитаркой Анисифоровой под огнем стали выносить детей в укрытие. Обстрел был так силен и опасность, угрожающая детям, была настолько велика, что женщины, чтобы успеть снести всех детей в укрытие, сваливали их по нескольку человек в одеяло и так кучками и выносили. Артиллерийским снарядом выбило все рамы и внутренние перегородки тех домиков, в которых были расположены ясли. Но все дети — их было 170 — были спасены.

Сестра-воспитательница Российская лишь после того, как все дети были укрыты, попросила разрешения пройти к своему собственному дому, где находились трое ее детей. Приближаясь к дому, она увидела, что он горит. На помощь детям Российской пришли другие советские люди и вынесли их из огня.

Я не преувеличу, когда скажу, что я видел сотни женщин, молодых и старых, показавших такое знание детской души и такой педагогический талант, какие могут сравниться со знаниями и талантами величайших педагогов мира.

Я предоставляю слово одной из них.

«Двадцать четвертого февраля 1942 года в суровых условиях блокированного Ленинграда начинает свою жизнь наш дошкольный детский дом № 38 Куйбышевского района.

У нас сто детей. Недавно, совсем недавно перед нами стояли печальные сгорбленные дети. Все как один жалась к печке и, как птенчики, убирала свои головки в плечики и воротники, спустив рукава халатиков ниже кистей рук, с плачем отвоёвывая себе место у печки.

Дети часами могли сидеть молча. Наш план работы первого дня оказался неудачным. Детей раздражала музыка, она им была не нужна. Детей раздражала и улыбка взрослых. Это ярко выразила Лерочка, семи лет. На вопрос воспитательницы, почему она такая скучная, Лерочка резко ответила: «А почему вы улыбаетесь?» Лерочка стояла у печи, прижавшись к ней животиком, грудью и лицом, крепко зажимая уши ручками. Она не хотела слышать музыки. Музыка нарушала мысли Лерочки. Мы убедились, что многого недодумали, весь наш настрой, музыка, новые игрушки — все только усиливало переживания детей.

Резкий общий упадок был выражен не только во внешних проявлениях детей, это было выражено во всей их психофизической деятельности, все их нервировало, все затрудняло. Застегнуть халат не может — лицо морщит. Нужно передвинуть стул с места на место — и вдруг слезы. Коля, взяв стул в руки, хочет его перенести, но ему мешают Витя, стоящий у стола. Коля двигает стул ему под ноги. Витя начинает плакать. Коля видит его слезы, но они его не трогают, он и сам плачет. Ему трудно было и стул переставить, ему так же трудно и говорить.

Девочка Эмма сидит и горько плачет. Эмме пять лет. Причину ее слез мы не можем выяснить, она просто молчит и на вопросы взрослых бурно реагирует — все толкает от себя и мычит: «м-м-м»... А позже узнаем, что ей трудно зашнуровать ботинки, и она плачет, но не просит помощи. У детей младшей и средней группы все просьбы и требования выражаются в форме слез, капризов, хныканья, как будто дети никогда не умели говорить.

Мы долго боролись с тем, чтобы дети без слез шли мыться. Дети плакали, обманывали, ссорились и прятались от воспитателя, объясняя это тем, что вода холодная. Валя тоже плачет, объясняет это тем, что она чистая. Она сквозь слезы говорит: «Меня мама не каждый день мыла, я совсем чистая». Шамиль из средней группы после сна сел за стол, и только вместе со стулом можно было его перенести к умывальнику. Исключительно бурную реакцию проявили дети, когда была организована первая баня в детдоме. Все малыши как один криком кричали, не желая купаться. Коля кричит: «Мылом не хочу мыться, не буду мыться!» Валя: «Мне холодно, не буду мыться!»

Дети очень долго не хотели снимать с себя рейтузы,

валенки, платки и шапки, хотя в помещении было тепло. Дети украдкой ложились в постель в верхнем платье, в чулках, в рейтузах. Трудно было отучить детей от привычки спать под одеялом, закрываясь с головой, в позе спящего котенка. Странная поза, излюбленная у детей, — лицо в подушку, и вся тяжесть туловища держится на согнутых коленях, попка кверху. «Так теплее», — говорят дети.

Больно было видеть детей за столом, как они ели. Суп они ели в два приема: вначале бульон, а потом все содержимое супа.

Кашу и кисель они намазывали на хлеб. Хлеб крошили на микроскопические кусочки и прятали их в спичечные коробки. Хлеб дети могли оставлять как самую лакомую пищу и есть его после третьего блюда и наслаждались тем, что кусочек хлеба ели часами, рассматривая этот кусочек, словно какую-нибудь диковину. Никакие убеждения, никакие обещания не влияли на детей до тех пор, пока они не окрепли.

Но были случаи, когда дети прятали хлеб и по другой причине. Лерочка обычно и своей нормы не поедает — оставляет на столе и часто отдает детям. И вдруг она спрятала кусок хлеба. Лерочка сама огорчена своим поступком, она обещает больше этого не делать. Она говорит: «Я хотела вспомнить мамочку, мы всегда очень поздно в постельке кушали хлеб. Мама нарочно поздно его выкупала, и я хотела сделать, как мамочка. Я люблю свою мамочку, я хочу о ней вспоминать».

Лорик пришел к нам на второй день после смерти мамы. Ребенок физически не слабый, но его страдания, его печаль ярко выражены во всем его поведении. Лорик не отказывается ни от каких занятий, но нужно видеть, как трудно ему сосредоточиться, как ему не хочется думать по заданию, ведь он живет своими мыслями, а задание педагога мешает ему думать о своей маме. Лорик никому не говорит о маленькой пудренице, которую он приспособил для медальона и носит на тесемочке на шее. Одиннадцать дней Лорик прятал ее, и вот в бане он не знал, как ее уберечь, куда спрятать, он бережно держал эту вещь, смутился страшно, когда заметил, что я наблюдаю за ним. Я ничего ему не сказала, не спросила ни о чем. Сам Лорик раскрыл мне свою тайну: «У меня моя мама, я берегу ее, — шепотом сказал он мне. — Я сам это сделал, сам тесемочку привязал». Он открыл крышку

круглой пудреницы, посмотрел, крепко поцеловал и не успокаивался, пока не увидел сам место, где будет храниться эта пудреница, пока он вымоется в бане. После этого случая Лорик стал более откровенным. В этот же день он подробно все рассказал и о смерти мамы, и о смерти тети, и о том, почему не хотел никому показывать портрет. «Я хотел только один... только один... — и больше не нашел слов сказать. — Этот портрет мне сама мама дала перед смертью». И у Лорика на глаза навертываются слезы.

Одиннадцать дней страданий, воспоминаний о маме не давали проявиться богатейшим его качествам логичной речи, богатому разнообразному творчеству, исключительной способности к рисованию. Лорик стало легче после того, как он открыл свою тайну, он ожил, сам берет материалы, быстро увлекается работой и увлекает товарищей.

Леня, семи лет, отказывается снимать вязаный колпак, даже не колпак, а бесформенную шапку, которая сползает ниже ушей и уродует его. Мы долго не могли узнать причины, почему Лене нравится эта шапка. Причина оказалась та же — Леня хранил ее как память об умершем брате. Леня говорит: «Я берегу ее, это память мне от брата, и картинки тоже я берегу. Они у меня спрятаны, а когда мне скучно, я их вынимаю и смотрю».

Женя, шести лет, пришел в детский дом и в этот же день показал всем портрет мамы и мелкие фотоснимки ее же, но сказал: «Рассказывать не буду, пускай папа рассказывает». Женя скучает, долго не засыпает, лежит с открытыми глазами молча. Ночью просит няню поднести свет, чтобы посмотреть на портрет мамы. На вопрос няни, почему он не спит, Женя отвечает: «Я думаю все о маме. А вот Вова (его младший брат, трех лет) спит, он, наверное, забыл про маму. Разрешите мне к Вовочке на кроватку лечь, тогда я засну, а так я до утра не засну. Я сам не хочу думать, а все думаю да думаю».

Лера — девочка глубоких и устойчивых переживаний. Лишенная полноценной семьи (отец уже до войны имел другую семью и навещал Лерочку лишь изредка), она была страстно привязана к матери. Тридцатилетняя женщина, нежно любившая дочь, увлекавшаяся рисованием, пляской, рукоделием, сделалась для Леры идеалом всего прекрасного. Горе своей потери девочка переживает чрезвычайно тяжело и упорно. Она болезненно цепляется за все, что хотя бы немногим напоминает ей мать и былую



жизнь дома. Проникается симпатией к тем людям, которые случайно назовут ее так, как называла мать. Может целый день рисовать: она занималась этим с мамой.

С ребятами Лера скрытна, замкнута, ко многим относится с пренебрежением, подмечая их недостатки и давая им прозвища: «Я презираю Леню, он ест так противно, да и вообще мямля какая-то, просто петух бесхвостый». Или: «Этот Боря ходит, как крадется, он по шкафам лазает, а говорит так, что ничего не поймешь... крыса». С избранными взрослыми Лера любит поговорить и рассказать про свои переживания. Она сообразительна и наблюдательна. Ее рассуждения и рассказы всегда последовательны и логичны. Ее рисунки и аппликативные работы оригинальны по замыслу. В своих эмоциях Лера сильна и страстна. Она способна утром поколотить девочку, которая мешала ей спать ночью.

Но Лера честна и в своих поступках всегда сознается, причем их обосновывает — не в оправдание себе, а скорее желая сама выяснить причину. Она сильна и страстна не только в злом, но и в хорошем. Это милая девочка, с большими вдумчивыми, полными печали серыми глазами. Она дичилась нас первое время, пряталась в угол, опустив головку, что-то переживала про себя, но никому ничего не говорила. Но после того, как она поделилась своим горем в первый раз, ей стало легче. На Леру легко влиять лаской, разумной беседой.

Вот перед нами чудный мальчик, его имя Эрик. Дети и взрослые любят его за исключительную нежность, которую он проявляет ко всем. Но Эрик не любит никаких занятий. Он говорит: «Что-то не хочется» или «Я плохо себя чувствую». Молчаливый, он часто подходит к окну или выходит на балкон. Его взоры сейчас же устремляются на противоположный дом, откуда его привели и где он потерял маму. Однажды во время дневного сна Эрик, закрывшись с головой, тихо плачет. Воспитательница встревожена — не болен ли ребенок, но Эрик объясняет: «Я вспомнил, как у нас мама умерла, мне жалко ее, она ушла за хлебом рано утром и целый день до ночи не возвращалась, а дома было холодно. Мы лежали в кровати вместе с братом, мы все слушали — не идет ли мама. Как только хлопнет дверь, так и думаем, что это наша мамочка идет. Стало темно, а мама наша все не шла, а когда она вошла, то упала на пол. Я побежал через дом и там достал воды, и дал маме воды, а она не пьет. Я ее

на кровать притащил, она очень тяжелая, а потом соседки сказали, что она умерла. Я так испугался, но я не плакал, а сейчас не могу, мне ее очень жаль».

Я привел здесь эти отрывки из официального отчета заведующей детским домом № 38 для того, чтобы показать, какой высоты понимания детской психики и любви к детям достигли лучшие женщины Ленинграда, посвятившие себя делу спасения детей-сирот и делу их воспитания. Я должен сказать здесь, что детский дом № 38 примечателен именно тем, что через него прошли в подавляющем большинстве дети, оставшиеся без родителей, и что к тому времени, когда этот отчет попал мне в руки, все эти дети были уже нормальными детьми!

В то же время этот официальный отчет заведующей детским домом № 38 является одним из тех великих и страшных счетов, которые наш народ должен предъявить и предъявит врагу. Пусть позор преступления против жизни, счастья и души наших детей навеки ляжет проклятием на головы убийц. Вся подлая животная жизнь всех этих гитлеров и герингов и сотен тысяч и миллионов немцев, развращенных ими и доведенных ими до последней степени вырождения и зверства, не стоит единой слезинки нашего ребенка. За каждую эту слезинку они должны заплатить и заплатят потоками своей черной крови.

А в памяти человечества навеки сохранится прекрасный и величественный облик ленинградской женщины-матери как символ великой и бессмертной всечеловеческой любви, которая — придет время! — будет господствовать над всем миром.

1942



## Алексей Сурков

### ЗЕМЛЯ ПОД ПЕПЛОМ

В квадратные проемы окопных бойниц, как в пустые глазницы, просвечивает пегое небо ранней осени. То выглянет из-за облаков яркое, негреющее солнце, то

запляшет по жухлой траве морозящий мелкий дождь. Впереди на высоком берегу Волги — Ржев. Мутная, дымная пелена застилает город. В прорывах мглы — черные, обгорелые дома. По фронту, опоясывающему город пологой дугой, как пламя по сухому хворосту, пробегает гул автоматной трескотни, винтовочной перестрелки, четкие и строгие пулеметные очереди. Перестрелка то усиливается, то на короткое время замирает. Методически бьет артиллерия. С воем пролетают мины и, взрываясь, поднимают столбы дыма и праха. Самолеты — наши и немецкие — висят в небе круглые сутки.

Когда на минуту смолкает густой ворчащий бас переднего края, люди слышат над своими головами знакомое курлыкание журавлей, отлетающих в теплые края. В эту осень, как и год назад, особенно тревожна их прощальная песня. До неузнаваемости изменилась земля, медленно плывущая под легкими журавлиными крыльями. Поредели рощи, изувеченные снарядами и бомбами. Бесприютностью запустения веет от полей, заполненных буйными джунглями бурого сорняка. И на десятки километров кругом, доколе достает зоркий птичий глаз, на желтых нитках дорог лежат под перелом угрюмые печища сожженных деревьев. Ни дома, ни сарая, ни бани, ни житницы. Холодный северный ветер гудит меж черными ветвями мертвых деревьев.

Под серым холодным пеплом лежит искони русская тверская земля, оскверненная, попранная стопой гитлеровских орд. Они еще недавно бесчинствовали здесь, эти жадные до крови, глумливые, ненавистные пришельцы. Долгих десять месяцев звучала на этих посадах чужая речь. Еще совсем недавно по этим дорогам немецкие автоматчики в темно-зеленых касках, похожих на чугунные котлы, гнали в полон, в Германию, плачущих русских женщин и девушек.

Совсем недавно... Кажется, что на зеленых листочках подорожника, на широких зонтах лопуха еще не обсохли горькие слезы полонянок. Семьсот лет минуло со времени Батыева нашествия. Мир изменился, люди изменились. Впервые на этой земле за себя, за дедов, за прадедов своих они взглянули в будущее ясным, светлым взглядом строителей человеческого счастья. Люди разучились сгибать спину перед злой волей... Читая книги о нашествиях диких завоевателей, они представляли

прошлое как страшную сказку, как безвозвратно ушедший кошмар.

В октябре прошлого года эта страшная сказка повторилась. Немецкая неволя оказалась страшнее монгольской. Русские люди, от четырехлетнего мальчика Жени Грушко до восьмидесятилетнего Харитона Ермиловича Затылкина, будут до смертного часа помнить эти десять месяцев немецкого ига.

Недаром пожилая колхозница, вернувшаяся из-под Старицы на свое пепелище в деревню Плотниково, поднимая кулаки вслед летящему между облаков «мессершмитту», кричала охрипшим от причитаний голосом:

— Долетаешься, долетаешься, проклятый! Поймают тебя, поймают... За все тебе будет, за все!

Несколько дней обходили мы еще не остывшие пепелища ржевских деревень, толковали с теми, кто выжил, пройдя сквозь десятимесячную муку немецкого плена. Люди еще не успели прийти в себя. Еще кровоточат неза рубцевавшиеся раны сердца. Только обмолвись словом «немец», как все начинают рассказывать страшное, еще год тому назад казавшееся невероятным.

Группа выдринских колхозников — стариков, старух и молодых — в ожидании наряда на работы толпится у дома правления колхоза. При помощи красноармейцев убрали зерновые. Теперь надо торопиться до дождей обмолотить — сдать государству, получить на трудодни... Лица у людей бледные, со следами недавно исчезнувших голодных отеков. Наперебой рассказывают, как он, немецкий «новый порядок».

— Меня за зиму шесть раз с малыши из избы в избы перегоняли. По семь семей в одной избе жили. А они, как баре, в наших избах развалились. Глумятся. Куражатся. Чуть слово скажи — палкой по загорбку, а то и хуже.

— Сколько от нас людей под Зубцов согнали — не сосчитать! Там уж людям совсем гибель подошла. В голоде, в холоде зиму перезимовали. Если четверть живыми вернется — слава богу... Они на нас как на пúсто смотрели. Собаке от них было больше почета, чем русскому человеку.

— Порядок у него известный был: еще не успел порог переступить, уж глазами по углам шарит — где сундуки стоят, где одежда какая висит. Под метелку все забирали. Хватают и между собой вздорят, кому что. На игрушки ребячьи и на те посягали, ненавистные.

Нахапают и давай у нас же в избах тонкие доски с переборок отирать, ящики сбивать да наше добро в них упрятывать, посылки ладить...

— Объели нас за зиму начисто, как саранча. Картошку съели. Капусту съели. Хлеб у нас повыгребли. Ни на дворе, ни на житнице ни синь пороха не оставили. А как пришла весна, словно в насмешку объявили — сейте, огороды копайте! Такие щедрые да тороватые стали — лошадей, говорят, у нас воинских берите в подмогу. Знали ведь, подлые, что нечем нам засеяться, нечего на огороды садить, вот в издевку и прикинулись добрыми...

— Пленных они наших мучили — страшно вспомнить. На дворе зимой мороз лютый, а они пленных гонят раздетых, разутых. У иного одни портянки на ногах намотаны, а кой и вовсе босиком по черствому снегу идет, бедняжка... Сами пленных не кормили и нам не давали. У нас хоть и у самих есть нечего было, а как увидишь таких-то несчастных, последнюю лепешку жмыховую у ребят своих возьмешь и бежишь на улицу. Так на-поди — не смей подавать, не смей подходить. Чуть что, прикладом по голове или по спине конвойный немец засветит. А огрызнешься — и застрелит ни за здорово живешь. Климова вон старуха сунулась было огрызнуться. В нее штук десять из автомата залепил один белобрысый...

— Никакой нам воли не было — ни на жизнь, ни на смерть. Все в ихних руках. Шагу шагнуть от дому не давали.

Из толпы вышел пожилой колхозник, молча слушающий разговор словоохотливых соседок.

— Вот именно, ни шагу шагнуть... Это хуже чем в крепостном праве. Видишь, вон, за оврагом, за речкой, пепелище лежит. Там деревня Глебово была. Я сам глебовский, а дочки мои сюда, в Выдрино, замуж выданы. До Глебова рукой подать, а я десять месяцев не знал, что с моими дочками.

Комендант еще в прошлом году собрал нас и через переводчика стал строгие наказания давать. Ежели кто немецкому солдату грубит — смерть. Ежели кто пленных красноармейцев прячет — смерть. Ежели кто разведчикам красным про немцев будет рассказывать — смерть. Ежели кто от своего дому дальше двухсот метров отойдет — смерть. Послушали мы — невеселое дело! Куда шаг ни ступи, везде — смерть. Нигде нам от немца жизни не

видно... С зимы я каждое утро на задворки выходил, глядел на Выдрино — ежели над крышами у дочек дым поднимается — значит, живы они. И они тоже на нашу трубу посматривали... Вроде как беспроволочный телеграф получался.

— Вот они, немцы, культурными считались. А культура у них какая-то неладная. Остудят в избе, и все зябнут. Велят круглые сутки печи топить. И жарить до тех пор, пока пожар не случится. Ты им говоришь — почто зря дрова изводить, лучше двери в сени закройте... Гневаются, того гляди, тумака дадут — «молчи, матка!» — и опять велят за дровами идти.

— А когда они, бесстыжие, при женщинах голиком раздеваются, в корыте плещутся, когда они за столом воздух портят, когда они под себя в избе ходят, — это культура по-ихнему называется?

— Опять же на девок и молодых, как жеребцы стоялые, набрасываются... Каторжная ихняя культура, бесстыжая... Неужели они и у себя дома такие?

Председатель колхоза выходит из избы и медленно, раздельно ударяет шкворнем по висящей под обожженным деревом ржавой немецкой каске. Бригады отправляются на ток, на молотью.

Заходим наугад в соседнюю избу. В избе, кроме хозяйки, старой Акулины Ивановны Морозовой и ее одиннадцатилетнего востроглазого внука Тольки, никого нет. Стукоча ухватами, Акулина Ивановна рассказывает грустную повесть о несчастьях своей семьи. Одну дочку с семейством под Зубцов немцы согнали — ни слуху ни духу уже много месяцев, — может, пропали все. Жила со снохой — Толькиной матерью — да двумя внуками. Сноху и внука старшего, шестнадцатилетнего, убило насмерть... Так и остались на белом свете — старая да малый. Одна отрада, что свои пришли — не дадут пропасть.

Изба еще сохраняла все вещественные признаки немецкой «культуры». В стенах торчат огромные гвозди — следы только что убранных нар. Нары делали из разобранных перегородок. Ни стола, ни шкафа, ни стула, ни табуретки. Все растащено, сожжено, истреблено. Стены и потолок густо оклеены немецкими газетами. В углу валяется захватанный иллюстрированный юмористический журнальчик густопорнографического пошиба. По стенам наклеены вырезанные из журналов

фотографии и картинки, изображающие голых женщин. В простенке между окнами — нарисованный от руки бумажный занавес, на манер театрального. Потянешь за шнурок — занавес скручивается, и под ним на стене порнографический рисунок. Над этим сооружением надпись на немецком языке: «Художественная выставка». От этой «выставки», от всего «оформления» избы веет вызывающим тошноту духом арийской культуры, смердящей псиной прусской казармы.

Так они и живут на войне — воруют, мучают, насильничают, а в перерывах между актами своего «исторического предназначения» пускают тягучие слюни перед настенными «художественными выставками» и пишут своим Гретхен, Анхен, Минхен паточно-сентиментальные письма.

Насколько неизмеримо выше, чище, благороднее и человечнее их эта неграмотная русская крестьянка, гремящая у печи остатками жалкой утвари!

Печальная деревенская улица. Закопченные печи над грудями головешек и серой золы. Избы и сараи, насквозь пробитые снарядами. Вон там, в углу избы, до сих пор поблескивает донце неразорвавшегося снаряда. Неуютное осеннее небо. Пушки кричат. Журавли курлычут. Самолеты жужжат, как осенние мухи. Знакомая музыка войны. Но, заглушая эту, отодвинувшуюся на юго-запад музыку смерти и разрушения, доносятся до слуха другие звуки. Неумирающий, неистребимый человеческий труд вступает в свои хозяйские права.

Деловито погромыхивает на колхозном току привод конной молотилки. За неимением лошадей по кругу ходят люди, ожившие, повеселевшие, готовые не только привод крутить, а хоть десятипудовые камни ворочать. По золотому посадку ржаных снопов весело, в лад ударяют звонкие кленовые и березовые цепи. Ребята-подростки поочередно крутят ручки веялок, и на серые дерюги стекает по желобам крупное наливное зерно. В поле, за гумнами, женская бригада пахарей ведет по бесконечным бороздам влажные отвалы медного желтого суглинка, торопясь поднять позднюю зябь под яровые. Оттуда, с поля, доносится подхваченная ветром задорная девичья частушка:

Немец рыжий, конопатый  
Бегал по полю с лопатой.  
Милый взял железный крюк,  
Прописал ему цурюк...

Едва успев перевести дух после пережитого и пострадавшего, деревня очищается, прихорашивается. Седой дед, привстав на завалинку, прилаживает фанеру к пустой оконной раме. Мальчишки стаскивают на задворки ржавую рухлядь немецких консервных банок, разбросанных по всей деревне. Из просторной избы, у прогона, молоденькая курносая санитарка медсанбата выметает мусор — обрывки немецких газет и журналов, огрызки, заношенные пилотки с черно-бело-красными кокардами, рваные погоны. Она сгребает этот мусор кучкой в широком проулке и зажигает его. Едкий желтый дым стелется низко над увядающей травой. Над центром костра выбивается тонкий веселый язык пламени. Серый пепел кружится над костром. Ветер подхватывает его и несет на юго-запад, к Ржеву.

В огне очищается от немецкой мерзости многострадальная, оживающая после десятимесячного оцепенения тверская земля. Горька она, выжженная, покрытая пеплом, обильно политая слезами и кровью. И оттого ступающие по ней люди остро, до слез на глазах, до спазм в горле ощущают волнуемую радость возвращения. Оттого из глаз колхозницы, роющей в черных головах на родном пепелище, просвечивает сквозь слезы, как солнечный луч сквозь мелкую сетку осеннего дождя, радость жизни, начинаемой заново.

Крепок русский корень. Глубоко в земле сидит.

Район Ржева  
Октябрь 1942 г.



## Константин Симонов ДНИ И НОЧИ

Тот, кто был здесь, никогда этого не забудет. Когда через много лет мы начнем вспоминать и наши уста произнесут слово «война», то перед глазами встанет Сталинград, вспышки ракет и зарево пожарищ, в ушах снова возникнет тяжелый бесконечный грохот бомбежки. Мы почуем удушливый запах гари, услышим сухое громыхание перегоревшего кровельного железа.

Немцы осаждают Сталинград. Но когда здесь говорят «Сталинград», то под этим словом понимают не центр

города, не Ленинскую улицу и даже не его окраины,— под этим понимают всю огромную, шестидесятипятикилометровую полосу вдоль Волги, весь город с его предместьями, с заводскими площадками, с рабочими городками. Это — много городков, создавших один город, который опоясал собой целую излучину Волги. Но этот город уже не тот, каким мы видели его с волжских пароходов. В нем нет поднимающихся веселой толпой в гору белых домов, нет легких волжских пристаней, нет набережных с бегущими вдоль Волги рядами купален, киосков, домиков. Теперь это город дымный и серый, над которым день и ночь пляшет огонь и вьется пепел. Это город-солдат, опаленный в бою, с твердынями самодельных бастионов, с камнями героических развалин.

И Волга под Сталинградом — это не та Волга, которую мы видели когда-то, с глубокой и тихой водой, с широкими солнечными плесами, с вереницей бегущих пароходов, с целыми улицами сосновых плотов, с караванами барж. Ее набережные изрыты воронками, в ее воду падают бомбы, поднимая тяжелые водяные столбы. Взад и вперед через нее идут к осажденному городу грузные паромы и легкие лодки. Над ней брякает оружие, и окровавленные бинты раненых видны над темной водой.

Днем в городе то здесь, то там полыхают дома, ночью дымное зарево охватывает горизонт. Гул бомбежки и артиллерийской канонады день и ночь стоит над содрогающейся землей. В городе давно уже нет безопасных мест, но за эти дни осады здесь привыкли к отсутствию безопасности. В городе пожары. Многих улиц уже не существует. Еще оставшиеся в городе женщины и дети ютятся в подвалах, роют пещеры в спускающихся к Волге оврагах. Уже месяц штурмуют немцы город, уже месяц хотят овладеть им во что бы то ни стало. На улицах валяются обломки сбитых бомбардировщиков, в воздухе рвутся снаряды зениток, но бомбежка не прекращается ни на час. Осаждающие стараются сделать из этого города ад.

Да, здесь трудно жить, здесь небо горит над головой и земля содрогается под ногами. Опаленные трупы женщин и детей, сожженных фашистами на одном из пароходов, взывая к мести, лежат на прибрежном волжском песке.

Да, здесь трудно жить, больше того: здесь невозможно жить в бездействии. Но жить сражаясь — так жить здесь

можно, так жить здесь нужно, и так жить мы будем, отстаивая этот город среди огня, дыма и крови. И если смерть у нас над головой, то слава рядом с нами: она стала нам сестрой среди развалин жилищ и плача осиротевших детей.

Вечер. Мы стоим на окраине. Впереди расстилается поле боя. Дымящиеся холмы, горящие улицы. Как всегда на юге, начинает быстро темнеть. Все заволакивается иссиня-черной дымкой, которую разрывают огненные стрелы гвардейских минометных батарей. Обозначая передний край, по огромному кольцу взлетают в небо белые сигнальные немецкие ракеты. Ночь не прерывает боя. Тяжелый грохот: немецкие бомбардировщики опять обрушили бомбы на город за нашей спиной. Гул самолетов минуту назад прошел над нашими головами с запада на восток, теперь он слышен с востока на запад. На запад прошли наши. Вот они развесили над немецкими позициями цепь желтых светящихся «фонарей», и разрывы бомб ложатся на освещенную ими землю.

Четверть часа относительной тишины — относительной потому, что все время продолжает слышаться глухая канонада на севере и юге, сухое потрескивание автоматов впереди. Но здесь это называют тишиной, потому что другой тишины здесь уже давно нет, а что-нибудь надо же называть тишиной!

В такие минуты разом вспоминаются все картины, прошедшие перед тобой за эти дни и ночи, лица людей, то усталые, то разгоряченные, их бессонные яростные глаза.

Мы переправлялись через Волгу вечером. Пятна пожаров становились уже совсем красными на черном вечернем небе. Самоходный паром, на котором мы переезжали, был перегружен: на нем было пять машин с боеприпасами, рота красноармейцев, несколько девушек из медсанбата. Паром шел под прикрытием дымовых завес, но переправа казалась все-таки долгой. Рядом со мной на краю парома сидела двадцатилетняя военфельдшер девушка-украинка по фамилии Щепеня, с причудливым именем Виктория. Она переезжала туда, в Сталинград, уже четвертый или пятый раз.

Здесь, в осаде, обычные правила эвакуации раненых изменились: санитарные учреждения уже негде было размещать в этом горящем городе; фельдшеры и санитарки, собрав раненых, прямо с передовых сами везли их

через город, погружали на лодки, на паромы, а перевезя на ту сторону, возвращались обратно за новыми ранеными, ждавшими их помощи. Виктория и мой спутник, редактор «Красной звезды» Вадимов, оказались земляками. Половину пути они оба наперебой вспоминали Днепропетровск, свой родной город, и чувствовалось, что в сердцах своих они не отдали его немцам и никогда не отдадут, что этот город, что бы ни случилось, есть и всегда будет их городом.

Паром уже приближался к сталинградскому берегу.

— А все-таки каждый раз немножко страшно выходить,— вдруг сказала Виктория.— Вот меня уже два раза ранили, один раз тяжело, а я все не верила, что умру, потому что я же еще не жила совсем, совсем жизни не видела. Как же я вдруг умру?

У нее в эту минуту были большие грустные глаза. Я понял, что это правда: очень страшно в двадцать лет быть уже два раза раненой, уже пятнадцать месяцев воевать и пятый раз ехать сюда, в Сталинград. Еще так много впереди — вся жизнь, любовь, может быть, даже первый поцелуй, кто знает! И вот ночь, сплошной грохот, горящий город впереди, и двадцатилетняя девушка едет туда в пятый раз. А ехать надо, хотя и страшно. И через пятнадцать минут она пройдет среди горящих домов и где-то на одной из окраинных улиц, среди развалин, под жужжание осколков, будет подбирать раненых и повезет их обратно, и если перевезет, то вновь вернется сюда, в шестой раз.

Вот уже пристань, крутой подъем в гору и этот страшный запах спаленного жилья. Небо черное, но остовы домов еще черней. Их изуродованные карнизы, наполовину обломленные стены врезаются в небо, и, когда далекая вспышка бомбы делает небо на минуту красным, развалины домов кажутся зубцами крепости.

Да это и есть крепость. В одном подземелье работает штаб. Здесь, под землей, обычная штабная сутолока. Выстукивают свои точки и тире бледные от бессонницы телеграфистки и, запыленные, запорошенные, как снегом, обвалившейся штукатуркой, проходят торопливым шагом офицеры связи. Только в их донесениях фигурируют уже не нумерованные высоты, не холмы и рубежи обороны, а названия улиц, предместий, поселков, иногда даже домов.

Штаб и узел связи спрятаны глубоко под землю.

Это мозг обороны, и он не должен быть подвергнут случайностям. Люди устали, у всех тяжелые, бессонные глаза и свинцовые лица. Я пробую закурить, но спички одна за другой мгновенно потухают — здесь, в подземелье, мало кислорода.

Ночь. Мы почти на ощупь едем на разбитом «газике» из штаба к одному из командных пунктов. Среди вереницы разбитых и сожженных домов один целый. Из ворот, гроыхая, выезжают скрипучие подводы, груженные хлебом: в этом уцелевшем доме пекарня. Город живет, живет — что бы ни было. Подводы едут по улицам, скрипя и вдруг останавливаясь, когда впереди, где-то на следующем углу, вспыхивает ослепительный разрыв мины.

Утро. Над головой ровный голубой квадрат неба. В одном из недостроенных заводских зданий расположился штаб бригады. Улица, уходящая на север, в сторону немцев, простреливается вдоль минометным огнем. И там, где когда-то, может быть, стоял милиционер, указывая, где можно и где не должно переходить улицу, теперь под прикрытием обломков стены стоит автоматчик, показывая место, где улица спускается под уклон и где можно переходить невидимо для немцев, не обнаруживая расположения штаба. Час назад здесь убило автоматчика. Теперь здесь стоит новый и по-прежнему на своем опасном посту «регулирует движение».

Уже совсем светло. Сегодня солнечный день. Время близится к полудню. Мы сидим на наблюдательном пункте в мягких плюшевых креслах, потому что наблюдательный пункт расположен на пятом этаже в хорошо обставленной инженерской квартире. На полу стоят снятые с подоконников горшки с цветами, на подоконнике укреплен стереотруба. Впрочем, стереотруба здесь для более дальнего наблюдения, так называемые передовые позиции отсюда видны простым глазом. Вот вдоль крайних домов поселка идут немецкие машины, вот проскочил мотоциклист, вот идут пешие немцы. Нескольких разрывов наших мин. Одна машина останавливается посреди улицы, другая, заметавшись, прижимается к домам поселка. Сейчас же с ответным завыванием через наши головы в соседний дом ударяют немецкие мины.

Я отхожу от окна к стоящему посреди комнаты столу. На нем в вазочке засохшие цветы, книжки, разбросанные

ученические тетради. На одной аккуратно, по линейкам, детской рукой выведено слово «сочинение». Да, как и во многих других, в этом доме, в этой квартире жизнь оборвалась на полуслове. Но она должна продолжаться, и она будет продолжаться, потому что именно для этого ведь дерутся и умирают здесь, среди развалин и пожарищ, наши бойцы.

Еще один день, еще одна ночь. Улицы города стали еще пустынее, но сердце его бьется. Мы подъезжаем к воротам завода. Рабочие-дружинники, в пальто и кожанках, перепоясанных ремнями, похожие на красногвардейцев восемнадцатого года, строго проверяют документы. И вот мы сидим в одном из подземных помещений. Все, кто остался охранять территорию завода и его цехи — директор, дежурные, пожарники и рабочие самообороны, — все на своих местах.

В городе нет теперь просто жителей — в нем остались только защитники. И что бы ни было, сколько бы заводы ни вывезли станков, цех всегда остается цехом, и старые рабочие, отдавшие заводу лучшую часть своей жизни, оберегают до конца, до последней человеческой возможности эти цехи, в которых выбиты стекла и еще пахнет дымом от только что потушенных пожаров.

— Мы здесь еще не все отметили, — кивает директор на доску с планом заводской территории, где угольниками и кружочками аккуратно отмечены бесчисленные попадания бомб и снарядов.

Он начинает рассказывать о том, как несколько дней назад немецкие танки прорвали оборону и устремились к заводу. Надо было чем-то срочно, до ночи, помочь бойцам и заткнуть прорыв. Директор вызвал к себе начальника ремонтного цеха. Он приказал в течение часа выпустить из ремонта те несколько танков, которые были уже почти готовы. Люди, сумевшие своими руками починить танки, сумели в эту рискованную минуту сесть в них и стать танкистами.

Тут же, на заводской площадке, из числа ополченцев — рабочих и приемщиков — было сформировано несколько танковых экипажей; они сели в танки и, прогрохотав по пустому двору, прямо через заводские ворота поехали в бой. Они были первыми, кто оказался на пути прорвавшихся немцев у каменного моста через узкую речку. Их и немцев разделял огромный овраг, через который танки могли пройти только по мосту, и как раз на этом

мосту немецкую танковую колонну встретили заводские танки.

Завязалась артиллерийская дуэль. Тем временем немецкие автоматчики стали переправляться через овраг. В эти часы завод против немецкой пехоты выставил свою, заводскую, — вслед за танками у оврага появились два отряда ополченцев. Одним из этих отрядов командовали начальник милиции Костюченко и заведующий кафедрой механического института Панченко, другим управляли мастер инструментального цеха Попов и старый сталевар Кривулин. На обрывистых скатах оврага завязался бой, часто переходивший в рукопашную. В этих схватках погибли старые рабочие завода: Кондратьев, Иванов, Володин, Симонов, Момотов, Фомин и другие, имена которых сейчас повторяют на заводе.

Окраины заводского поселка преобразились. На улицах, выходящих к оврагу, появились баррикады. В дело пошло все: котельное железо, броневые плиты, корпуса разобранных танков. Как в гражданскую войну, жены подносили мужьям патроны и девушки прямо из цехов шли на передовые и, перевязав раненых, отаскивали их в тыл... Многие погибли в тот день, но этой ценой рабочие-ополченцы и бойцы задержали немцев до ночи, когда к месту прорыва подошли новые части.

Пустынны заводские дворы. Ветер свистит в разбитых окнах. И когда близко разрывается мина, на асфальт со всех сторон сыплются остатки стекол. Но завод дерется так же, как дерется весь город. И если к бомбам, к минам, к пулям, к опасности вообще можно привыкнуть, то, значит, здесь к ней привыкли. Привыкли так, как нигде.

Мы едем по мосту через один из городских оврагов. Я никогда не забуду этой картины. Овраг далеко тянется влево и вправо, и весь он кишит, как муравейник, весь он изрыт пещерами. В нем вырыты целые улицы. Пещеры накрыты обгорелыми досками, тряпьем — женщины ставили сюда все, чем можно закрыть от дождя и ветра своих птенцов. Трудно сказать словами, как горько видеть вместо улиц и перекрестков, вместо шумного города ряды этих печальных человеческих гнезд.

Опять окраина — так называемые передовые. Обломки сметенных с лица земли домов, невысокие холмы, взрытые минами. Мы неожиданно встречаем здесь человека —



одного из четверых, которым с месяц назад газеты посвящали целые передовицы. Тогда они сожгли пятнадцать немецких танков, эти четверо бронебойщиков — Александр Беликов, Петр Самойлов, Иван Олейников и вот этот, Петр Болото, который сейчас неожиданно оказался здесь, перед нами. Хотя, в сущности, почему неожиданно? Такой человек, как он, и должен был оказаться здесь, в Сталинграде. Именно такие, как он, защищают сегодня город. И именно потому, что у него такие защитники, город держится вот уже целый месяц, вопреки всему, среди развалин, огня и крови.

У Петра Болото крепкая, коренастая фигура, открытое лицо с прищуренными, с хитринкой глазами. Вспоминая о бое, в котором они подбили пятнадцать танков, он вдруг улыбается и говорит:

— Когда на меня первый танк шел, я уже думал — конец света наступил, ей-богу. А потом ближе танк подошел и загорелся, и уже вышло не мне, а ему конец. И между прочим, знаете, я за тот бой сигарок пять скрутил и скурил до конца. Ну, может быть, не до конца — врать не буду, — но все-таки скрутил пять сигарок. В бою так: ружье отодвинешь и закуришь, когда время позволяет. Курить в бою можно, только промахиваться нельзя. А то промахнешься и уже не закуришь — вот какое дело.

Петр Болото улыбается спокойной улыбкой человека, уверенного в правоте своих взглядов на солдатскую жизнь, в которой иногда можно отдохнуть и перекурить, но в которой нельзя промахнуться.

Разные люди защищают Сталинград. Но у многих, у очень многих есть эта широкая, уверенная улыбка, как у Петра Болото, есть спокойные, твердые, не промахивающиеся солдатские руки. И поэтому город дерется, дерется даже тогда, когда то в одном, то в другом месте это кажется почти невозможным.

Набережная, вернее, то, что осталось от нее — остовы сгоревших машин, обломки выброшенных на берег барж, уцелевшие покосившиеся домишки. Жаркий полдень. Солнце заволокло сплошным дымом. Сегодня с утра немцы опять бомбят город. Один за другим на глазах пикируют самолеты. Все небо в зенитных разрывах: оно похоже на пятнистую серо-голубую шкуру какого-то зверя. С визгом кружатся истребители. Над головой, не прекращаясь ни на минуту, идут бои. Город решил защищаться любой ценой, и если эта цена дорога и подвиги

людей жестоки, а страдания их неслыханны, то с этим ничего не поделаешь: борьба идет не на жизнь, а на смерть.

Тихо плескаясь, волжская вода выносит на песок к нашим ногам обгоревшее бревно. На нем лежит утопленная, обхватив его опаленными скрюченными пальцами. Я не знаю, откуда принесли ее волны. Может быть, это одна из тех, кто погиб на пароходе, может быть, одна из погибших во время пожара на пристанях. Лицо ее искажено: муки перед смертью были, должно быть, невероятными. Это сделал враг, сделал на наших глазах. И пусть потом он не просит пощады ни у одного из тех, кто это видел. После Сталинграда мы его не пощадим.

24 сентября 1942 года



**Алексей Толстой**

### САМООТВЕРЖЕННОСТЬ

Мы слишком мало и недостаточно по-новому пишем о созидательной работе в тылу, а то, что пишем, не всегда раскрывает все те глубокие изменения, которые произошли и происходят в нашей стране.

Глубоко изменилась за время войны психология Красной Армии. В борьбе с жестоким и сильным противником человек на фронте стал нравственно чище, серьезнее, проще и глубже. Мы знаем из прошлого, что войны решаются одними или несколькими генеральными сражениями. Они были состязаниями военного таланта главнокомандующих и храбрости народов. Перед Бородинским боем русские солдаты надели чистые рубахи. Этот день решил судьбу Наполеона, — его непобедимая армия разбилась о широкую грудь русского солдата.

В нынешней небывалой войне солдату Красной Армии мало надеть чистую рубаху перед боем, — ему пришлось душу свою набело вымыть в трех кровях, в трех щелоках непрекращающейся битвы на трехтысячестерстном фронте. Чиста и сурова душа воина Красной Армии. Он много видит, много чувствует и много думает. Он видит, что фашистский солдат никогда русскому не смотрит в глаза, — для него русский презренное существо. А что такое фашист — мы узнали, все они детоубийцы, растлители, мародеры, надменные дураки, связавшие себя с Гитлером

круговой порукой страшного преступления; разумного и доброго в них нет, а есть зло, и они сознательно хотят делать злое. Таких людей нужно бить до тех пор, пока у них «материнское молоко на губах не покажется...». Тогда только у немецкого солдата прояснит. Так как же я ниже немца? И русский человек хочет чувствовать себя таким, чтобы себя уважать. А уважать себя в такую тяжелую годину очень важно. Думает он: в прошлом, в чем я поступил неправильно, дурно, криво, слабодушно? В том-то и том-то. Не быть больше этому, ходишь, брат, перед смертью, будь светел, будь заботлив к другу, товарищу, будь добр к милой Родине своей,— значит: бейся с фашистами без оглядки, мсти ему за все, не щади себя, чтобы убить его...

Воин Красной Армии хочет, чтобы впредь не повторялось то, что он считает неправильным и дурным. Путь к жизни ведет только через победу. После победы начнется большая жизнь, и жить нужно будет по-новому, лучшему, как подобает человеку, перешедшему через эту войну и эту победу и выросшему на десять голов.

От этой выросшей нравственной силы советский воин делает такие отважные дела, что рассказы о них летят по эфирным волнам и телеграфным проводам по всему миру; за границей, разворачивая газету, люди приободряются: здорово русские бьют немцев, удивительный народ эти русские, загадочный народ. У нас — в деревне ли, в городке ли — близкие люди, прочтя в письме с фронта или в газете с портретом героя о нем, о его отважных делах, показывают письмо или газету людям, и люди слушают, вздыхая от полноты души, и начинают ласково говорить о герое, и ласково зовут его по имени, и вспоминают, как он — давно ли — вот тут ходил, и ждут, терпеливо ждут возвращения его с вестью о победе.

Любовью к ушедшим на фронт живет весь тыл; им, героям, передована вся сила мщения народа за свои страдания, за горе, и лишения, и разорение; в тыловой работе, на заводах и полях, им, героям, хочет подражать молодежь; в них, в красных героев, уничтожающих фашистскую сволочь, играют малые ребята.

Весь наш тыл живет, равняясь по нравственной высоте Красной Армии: люди борются за металл, за уголь, за хлеб, за хлопок, за картошку, за производство оружия и военных машин с таким же упорством, самопожертвованием, с отдачей всего себя, как это делает Красная Ар-

мия. Тыловой труд — будничный, незамысловатый, в нем не кровь льется, но пот, в нем не наносят жгучих или смертельных ран; но не меньше нужно величия души, чтобы день за днем, ночь за ночью, преодолевая изнеможение, отдавая все силы, вооружить и снабжать Красную Армию, веря священной всенародной верой, что победит и отомстит она разорителям Родины нашей.

Здесь мне хочется сказать о том, что я видел своими глазами в Узбекистане. Передо мной — цифры, показывающие, что сделано там за год войны. Каждая цифра дышит жизнью, под цифрой скрыт самоотверженный труд. Объем выполненных земляных работ по строительству оросительной сети за этот год выражается цифрой в двадцать пять миллионов кубометров вынудой земли. Это значит, что сотни тысяч колхозников, по инициативе узбекского правительства и также по своей инициативе, вооруженные кетменами — тяжелыми мотыгами, в зимние месяцы, когда пронзительный ветер поднимает колючую пыль, или валит мокрый снег по колено, или на недели залаживает дождь из туч, ползущих по земле,—копали и выкидывали липкую землю, прокладывая трассу канала, строили плотины, шлюзы, расчищали арьки; эти люди работали, как всегда, босяком, в халатах, раскрытых на груди, спали на земле — и титаническим трудом своим добились поставленного задания: на увеличенной за этот год на двести тридцать тысяч гектаров площади посеяно и собрано в три раза больше зерна, чем за прошлый год. Узбекистан отказался от завоза хлеба из Сибири и сам грузит свой хлеб фронту. Впервые в истории этой страны посеяно много тысяч гектаров свеклы, и сейчас заканчивается постройка ряда свеклосахарных заводов. Узбекистан даст сахар фронту. За время войны туда эвакуировано больше сотни крупных военных заводов и появилась необходимость обеспечить их местным углем и нефтью, чтоб освободить железные дороги от завоза того и другого. Эта задача выполнена. Уголь добывается из открытых котлованов, куда подведена построенная за эту же зиму железная дорога; нефть, несмотря на авторитетное утверждение одного академика, что нефти там быть не может, обнаружена, и уже добывается, и добыча ее растет.

Но главное богатство — человек. За человека, за свободный труд, за землю его ведется борьба с истребителями человека. Вы едете по райскому саду Ферганской долины,

где дымящиеся после полива, окаймленные прямо-угольниками шелковичных деревьев сероватые поля зеленеют ровными рядами хлопка, и всюду бегут, блестят под солнцем благодатные ручьи студеной горной воды по искусственным руслам,— и вам хочется благословить жизнь, создавшую человека. Вот он — узбек в июньский полдень, в шестьдесят градусов жары, в ватном халате, раскрытом на загорелой груди, с черными босыми ногами, с розой, заложенной за ухо, под тюбетейку, подымает над головой взмахом жилистых рук тяжелый кетмень и опускает его в широкую борозду земли между двумя полными воды канавками. Вот он, подогнув халат, идет за плугом в воде выше колена по сверкающей заводи рисового поля. Вот он — белобородый, с головой, обвязанной платком,— стоит, опираясь на библейский посох на склоне холма, где пасутся бараны. Вот он — смуглый, как персик, с тенью усов под прямым носом, с глазами, черными и блестящими, но скромными, потому что мать его учила быть скромным,— стоит у заводского станка среди московских белокурых девушек. Вот он — в тихий вечерний час сидит на корточках у глиняной стены своего дома и будто слушает, как у его ног слабо журчит вода в арыке. Вот он — на собрании почетных и знатных стариков, поднявшись с ковра, подзывает сына своего, разворачивает шелковый платок, достает нож и говорит сыну отрывистым и сердитым голосом: «Иди и убей фашиста, я хочу увидеть кровь врага на этом ноже».

Крепнет наш советский тыл,— крепнет и набирает силы, непреклонно создавая условия для нашей победы.

1941 г.



Леонид Леонов

НЕИЗВЕСТНОМУ АМЕРИКАНСКОМУ ДРУГУ

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Мой добрый друг!

Я не знаю твоего имени. Наверное, мы не встретимся с тобою никогда. Пустыни, более непроходимые, чем во

времена Цезаря и Колумба, разделяют нас. Завеса сплошного огня и стального ливня стоит сегодня на главных магистралях земли. Завтра, когда схлынет эта большая ночь, нам долго придется восстанавливать разбитые очаги цивилизации. Мы начнем стареть. Необъятные пространства, которыми мы владели в мечтах юности, будут постепенно мельчать, ограничиваться пределами родного города, потом дома и сада, где резвятся наши внуки, и, наконец, могилы.

Но мы не чужие. Капли воды в Волге, Темзе и Миссисипи сродни друг другу. Они соприкасаются в небе. Кто бы ты ни был — врач, инженер, ученый, литератор, как я,— мы вместе крутим могучее колесо прогресса. Сам Геракл не сдвинет его в одиночку. Я слышу твое дыхание рядом с собою, я вижу умную работу твоих рук и мысли. Одни и те же звезды смотрят на нас. В громадном океане вечности нас разделяют лишь секунды. Мы — современники.

Грозное несчастье вломилось в наши стены. Оглянись, милый друг. Искусственно созданные пустыни лежат на месте знаменитых садов земли. Черная птица кружит в небе, как тысячи лет назад, и садится на лоб поверженного человека. Она клюет глаз, читавший Данте и Шекспира. Бездомные дети бродят на этих гиблых просторах и жуют лебеду, выросшую на крови их матерей. Все гуще пахнет горелой человечиною в мире. Пожар в разгаре. Небо, в которое ты смотришь, пища, которую ты ешь, цветы, которых ты касаешься,— все покрыто ядовитой копотью. Основательны опасенья, что человеческая культура будет погребена, как Геркуланум, под этим черным пеплом. Война.

Бывают даты, которых не празднуют. Вдовы надевают траур в такие дни, и листья на деревьях выглядят жестяными, как на кладбищенском венке. Прошло три года этой войны. Облика ее не могли представить себе даже самые мрачные фантасты,— им материалом для воображения служила наивная потасовка 1914 года. С тех пор была изобретена тотальная война, и дело истребления поставлено на прочную материальную основу. Немыслимо перечислить черные достижения этих лет. Обеспечено все, чего веками страдания и труда добился род людской. Затоптаны все заповеди земли, охранявшие моральную гигиену мира. Война еще не кончена.

В такую пору надо говорить прямо и грубо,— это умнее и честнее перед нашими детьми. Речь идет о главном. Мы позволили возникнуть Гитлеру на земле... Будущий историк с суровостью следователя назовет вслух виновников происходящих злодеяний. Ты думаешь, там будут только имена Гитлера и его помощников, замысливших порабощение мира? Петитом там будут обозначены тысячи имен его вольных и невольных пособников — красноречивых молчаливиков, изысканных скептиков, государственных эгоистов и пилатов всех оттенков. Там будут приведены и некоторые географические названия — Испания и Женева, Абиссиния и Мюнхен. Там будут фонетически расшифрованы грязные имена Петена и Лавала, омывших руки в крови своей страны. Может быть, даже целый фильм будет приложен к этому обвинительному акту — фильм о последовательном возвышении Гитлера: как возникал убийца, и как неторопливо точил он топор на глазах у почтенной публики, и как он взмахнул топором над Европой в первый раз, и как непонятные капли красного вещества полетели во все стороны от удара, и как мир вытер эти брызги с лица и постарался не догадаться, какого рода была та жидкость.

Люди, когда они идут в одну сторону,— попутчики и друзья. Когда они отдают силы, жизнь и достояние за великое дело,— становятся братьями. И если громадное преступление безнаказанно совершается перед ними,— они сообщники. Протестовать против этого неминуемого приговора можно только сегодня, пока судья не сел за стол,— протестовать только делом и только сообща.

Милый друг, со школьной скамьи мы со страхом поглядывали на седую древность, где кажется, самые чернила летописцев были разведены кровью. Наш детский разум подавляли образы хотя бы Тимура, Александра, Каракаллы... Позже детский страх сменился почтенностью расстояния и романтическим великодушием поэтов. Наш юношеский гнев и взрослую осторожность парализовала мнимая безопасность нынешнего существования. Ужас запечатленного факта окутывался легкой дымкой мифа. Ведь это было так давно, еще до Галилея и Дарвина, до Менделеева и Эдисона. Мы даже немножко презирали их, этих провинциальных вояк, ближайших правнуков неандертальца и кроманьонца!..

Так вот, все эти бородатые мужчины с зазубренным

мечом в руке, эти миропотрясатели, джихангиры,— как их называли на Востоке,— все они были только кустари, самоучки истребления. Что Тимур, растоптавший конницей семь тысяч детей, выставленных в открытом поле; или Александр, распявший две тысячи человек при взятии Нового Тира; или Василий Болгароктон, ослепивший в поученье побежденным сто пятьдесят тысяч пленных болгар; или Каракалла, осудивший на смерть всю Александрию? Сколько жителей было в этой большой старинной деревне?

Мир услышал имя Гитлера. Рекорды Диоклетиана, Альбы, Чингиса биты. На смену неумелым простакам, вымазаным в крови, пришли новые варвары, с университетским дипломом, докторанты военного разбоя, академики массовых убийств. В стране, где однажды на горькое благо человечества был изобретен порох (во Фрейбурге, верно, еще стоит монумент тому черному Бартольду!), теперь родилась идея, которую трудно описать вполне корректными словами. Отныне им принадлежат,— вопят они,— земля и небо, наши города и машины, наши дома, и семьи, и наши дети, наше будущее, наше — все. Поработить людей, забыть все, долой homo sapiens, да здравствует покорное человеческое существо, которое отныне будет разводить рыжий арийский пастух. Этот новый вид двуногого домашнего животного будет работать, взирая на бич хозяина, драться за его интересы — с теми, кто еще не лег добровольно под ярмо, уныло жрать свой травяной корм и спать в обширном хлеву, в который должна обратиться Европа. И пусть ему не хватает времени на любовь, на познание, на мышление — эти неиссякаемые источники его радости, его горя, его божественных трагедий. В этом будет заключаться «счастье» преобразованной нордической Европы.

Была пора — русский поэт Александр Блок в 1918-м кричал о времени:

...когда свирепый гуин  
В карманах трупов будет шарить,  
Жечь города, и в церковь гнать табун,  
И мясо белых братьев жарить!—

и мы принимали этот пророческий образ за поэтическую метафору. «Этого не бывает...» Нет, бывает! Мертвые Шекспир и Данте не смогут нас защищать от живого Гитлера. И время это пришло.

Хоругви предков — какие бы величественные слова ни были начертаны на их ветхих полотнищах — не защитят тебя от пикирующего бомбардировщика. Смотри, красно-мордые гитлеровские апостолы, с руками по локоты в сукровице, уже взялись за переустройство Европы. И не такими уж неприступными оказались наши прославленные цитадели гуманизма. Политые лигроином, книги горят отлично, а толуол неплохо действует под фундаментами наших храмов. Гитлер идет на штурм мира. Вена и Прага, Варшава и Белград, Афины и Париж... — вот преодоленные ступени штурмовой лестницы, по которой варвар лезет на наши с тобою стены. Он уже приблизился на расстояние руки; смотри ему в глаза, в них нет пощады. Топор с пропеллерной скоростью свистит и вьется в его руке. Холодок этого вращения ложится на твое лицо. И если бы не Россия, он был бы сейчас на самом верху цитадели.

Прости мне эти мрачные картины незнакомой тебе действительности. Мне приятнее было бы рассказать, как еще несколько лет назад мы без устали строили у себя материальные базы человеческого благосостояния. Наши юноши и девушки хотели прокладывать дороги, воздвигать заводы и театры, проникать в тайны мироздания, побеждать неизлечимые болезни, изобретать механизмы и создавать ценности, из которых образуются стройные коралловые острова цивилизаций. Они стремились обогатить и расширить великое культурное наследство, подаренное нам предками. Они мечтали о золотом веке мира... Их мечта разбилась под дубиной дикаря. Военная непогода заволокла безоблачное небо нашей родины. В самое пекло войны была поставлена наша молодежь и даже там не утратила своей гордой и прекрасной веры в Человека.

Они-то крепко знают, что в этой схватке победят правда и добро. Орлиная русская слава царит над молодежью моей страны. Какими великанами оказались наши вчера еще незаметные люди? Они возмужали за эти годы, — страдания умножают мудрость. Они постигли необъятное значение этой воистину Народной войны. Они дерутся за родину так, как никто, нигде и никогда не дрался: вспомните черную осень 1941 года!.. Они ненавидят врага ненавистью, которой можно плавить сталь, — ненавистью, когда уже не чувствуется ни боль, ни лишения. Пламя гнева их растет ежеминутно, — все новое

горючее доставляют для него гитлеровские прохвосты, ибо безмерны злодеяния этих громил. Все меркнет перед ними — утонченная жестокость европейского средневековья и свирепая изобретательность заплочных мастеров Азии. Нет такого мучения, какое не было бы причинено нашим людям этими нелюдьми.

Может быть, тебе не видно всего этого издалека? Чужое горе всегда маленькое. Может быть, ты все-таки думаешь, что воды в Темзе и Миссисипи протекают за единицу времени больше, чем крови и слез в Европе? Может быть, ты не слышал про Лидице? Может быть, тебе кажутся преувеличенными газетные описания всех этих палацеских ухищрений?.. Я помогу тебе поверить. Сообщи мне адрес, и я пошлю тебе фотографии расстрелянных, замученных, сожженных. Ты увидишь ребятишек с расколотыми черепами, женщин с разорванной утробой, девственниц с вырезанной после надругательства грудью, обугленных стариков, никому не причинивших зла, спины раненых, где упражнялись на досуге резчики по человеческому мясу... Ты увидишь испепеленные деревни и раскрошенные города, маленькие братские могилы, где под каждым крестиком лежат сотни, пирамиды исковерканных безумием трупов... Керченский ров, наконец, если выдержат твои очи, увидишь ты! Ты увидишь самое милое на свете, самое человеческое лицо Зои Космодемьянской, после того как она, вынута из петли, целый месяц пролежала в своей ледяной могиле. Ты увидишь, как вешают гирляндой молодых и славных русских парней, которые дрались и за тебя, мой добрый друг, как порют русских крестьян, не пожелавших склонить своей гордой славянской головы перед завоевателями, как выглядит девушка, которую осквернила гитлеровская рота... Оставь у себя эти документы. Сложи их вместе с теми выцветшими за четверть века снимками героев Ютландского боя и Марнской битвы. Сохрани их как наглядное пособие для твоих детей, когда станешь учить их любви к родине, вере в Человека и готовности погибнуть за них любой гибелью.

Не жалости и не сочувствия мы ждем от тебя. Только справедливости. И еще: чтобы ты хорошо подумал над всем этим в наступившую крайнюю минуту.

После разрушения Тира Навуходоносором (573 г. до н. э.) было высечено там на камне, что «осталась только голая скала, где рыбаки сушили свои сети». Иероним

горько сказал о своей родине, Паннонии, что после войны «не осталось там ничего, кроме земли да неба». Теперь эти описания пригодны для областей, стократно больших. Гостем или туристом приезжая к нам, ты посетил, конечно, и Ясную Поляну с могилой великого старика, и киевские соборы; ты щелкал своим кодаком, наверно, и Новоиерусалимский храм на Истре, и прозрачные роши петергофских фонтанов. Их больше нет. Все, что не влезло в объемистый карман этих фашистских туристов, было уничтожено на месте яростью нового Аттилы.

Нерадиво берегли мы нашу цивилизацию: не сумели даже обезопасить ее от падающих бомб. Слишком верили в ее святость и прочность. Когда наше радио передавало легкую, порой — легчайшую музыку, с нацистских станций откровенно гремела медь грубых солдатских маршей. Бог войны примерял свои доспехи, которые мы слишком рано сочли за утиль. Моя страна говорила об этом не раз, — мир не умел или не хотел слышать. Не ссылайтесь же впоследствии, что никто не предупредил вас о грядущих несчастьях!

Есть такие граждане мира, которые полагают, что если они местожительствоуют далеко от вулкана, то до них не доползет беда. В стремлении изолироваться от всеобщего горя они подвергают риску не только жизнь свою, но и репутацию. Самые хитроумные пройдохи юриспруденции не придумали пока оправдания джентльмену, равнодушно созерцающему, как топчут ребенка или насилуют женщину... Условно, из вежливости, назовем это пока выжидательной осторожностью Запада. Однако не сомнительная ли это мудрость — ждать, пока утомится убийца, или притупится его топор, или иссякнут его жертвы? Больше того — пока на протяжении двух с половиной тысяч километров длится жесточайший Верден, оснащенный новейшими орудиями истребления, эти почтенные умы подсчитывают количества танков, какими они будут располагать летом сорок пятого года и осенью пятьдесят шестого. Прогнозы вселяют в них животворящий оптимизм, как будто врага могут утратить или остановить подобные математические декларации. Наши эксперты не сомневаются, кстати, что к зиме 1997 года количество этих железных ящеров достигнет гомерических чисел. Армады старых железных птиц, поржавевших от безделья и не снесших ни одного яйца на вражеские арсеналы, закроют своими крыльями

целые материки. Но не случится ли что-нибудь неожиданное и чрезвычайное до наступления той обманчиво-благоразумной даты?

Пьяному море по колено, а безумцу не страшен и океан. Никто не превосходил в хитрости безумца. Береги своих детей, милый друг. Послушай, как они плачут в Европе. Все дети мира плачут на одном языке. Великие беды легко перешагивают через любые проливы. Французы тоже надеялись, что их спасет комфортабельная железобетонная канава на северо-восточной границе, линия Мажино, оборудованная всеми военными удобствами!

Я люблю моих современников, тружеников земли! Я благодарен этим людям уже за то, что не один я перед лицом врага, который им также не может быть другом. Я уважаю их деятельную, искательную мысль, их творческое беспокойство, их прошлое, полное героев и мудрецов. Мне дороги их отличные театры, их обсерватории, где пальцами лучей они считают светила, их университеты, где по граммам выплавляется бесценное знание человека, их стадионы, парки, лаборатории, самые города их. Они умеют все — делать чудовищные машины, послушные легчайшему прикосновению руки, создавать великолепные произведения искусства, которые — как цветы, что роняет, шествуя по вечности, Человек! Все это под ударом сейчас.

Скажи тем, которые думают пересидеть в своих убежищах, что они не уцелеют. Война взойдет к ним и возьмет их за горло, как и тебя. Она превратит в щебень все, чем ты гордился в твоих городах, развеет пеплом создания твоих искусств, в каменную муку обратит твои святыни. Едкая гарь Европы еще не ест тебе глаза?.. Гитлер вступит в твою страну, как в громадный универмаг, где можно не платить и даже получать подать за произведенную им погромную работу! Если он на Смоленщине отбирал скудный ширпотреб у русского мужика, почему бы ему не поживиться сокровищами американских музеев? Его давняя мечта — походным маршем прогуляться по британским островам. Новый Иов, ты сядешь посреди смрадных развалин, в гноище раскаяния, с единой душой да с телом!

Скажи сомневающемуся соседу, что война ворвется к нему в щель, выволочет за волосы жену его и детей его передумит у него на глазах. Оглянись на Белоруссию, Югославию, Украину. Если там девушек, не достигших

совершеннолетия, гонят кнутом в солдатские бордели, почему же они думают, что Гитлер пощадит их мать, сестру или дочь? Если русских и еврейских детей он кидает в печь, или пробует на них остроту штыка, или проверяет меткость своего автомата, какая сила сможет защитить твоего ребенка от зверя? Война — безглазое и сторукое чудовище, и каждая рука шарит свою добычу... Прежде чем он заплачет слезами Иеремии, посоветуй ему купить «Майн кампф»: там начертана его участь.

В этой войне, в которую рано или поздно ты вольешь свою гневную мощь, нужно победить любым усилием. Безумец не страшен, если своевременно взяться за него. Непобедимых нет.

Русские солдаты под Москвой видели этих каналов в декабре прошлого года: они бежали с нормальной для застигнутого вора резвостью... Победу нужно начинать немедленно и с главного: убивать убийц, поднявших руку на священные права Человека. Потом нужно истребить и самый микроб войны, который еще гнездится кое-где в древних фанабериях европейских народов. С некоторого времени перерывы между войнами существуют только для того, чтобы народы поострей отточили сабли. Развитие промышленности все более укорачивает эти антракты между великими вселенскими бойнями. Их размеры возрастают в геометрических прогрессиях, обусловленных расширением технических возможностей. Александр Македонский, идя на завоевание мира, перевел через Геллеспонт 35 000 воинов в трусиках и с короткими мечами. Нынешняя война начинается с вторжения десятков миллионов людей, многих тысяч боевых машин, с бомбежек и истребления самого неприкосновенного фонда — наших матерей и малюток. Нужно заглянуть в самый корень этого основного недуга Земли. Нужно клинически проследить кровавую родословную последних войн и найти их первую прама-терь, имя которой Несправедливость, и убить ее в ее гнездове.

Мой добрый друг, подумай о происходящем вокруг. Вот сыновья героев 1914—1918 годов ложатся на кости своих отцов, не успевшие истлеть на полях сражений. Какие гарантии у тебя, что и твой голубоглазый мальчик, соскользнув с злодейского штыка, не упадет на кости деда?

Цивилизации гибнут, как и люди. Бездне нет предела. Помни, потухают и звезды.

Мы, Россия, произнесли свое слово: Освобождение. Мы отдаем все, что имеем, делу победы. Еще не родилось искусство, чтобы соразмерно рассказать об отваге наших армий. Они отдадут жизнь за самое главное, чему и ты себя считаешь другом.

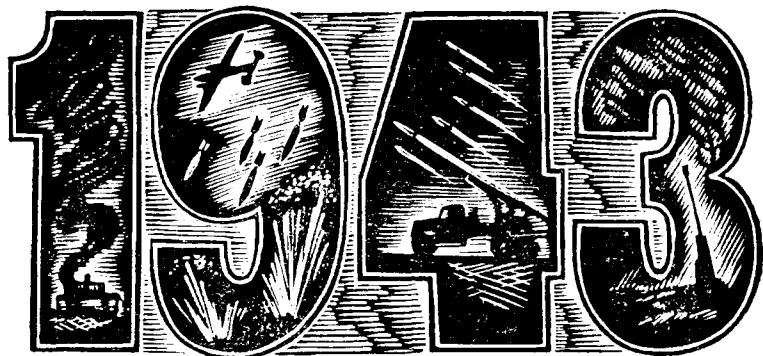
Но... *Amicus cognoscitur amore, more, ore, re*<sup>1</sup>.  
Я опускаю это письмо в почтовый ящик мира.  
Дойдет ли оно?

Август 1942 года

<sup>1</sup> Друг познается по любви, по нраву, по лицу, по делу (*лат.*).







Леонид Леонов

НЕИЗВЕСТНОМУ АМЕРИКАНСКОМУ ДРУГУ

ПИСЬМО ВТОРОЕ

**М**ой добрый друг!

Здесь заключено публичное признание моего бессилия. Я никогда не создам этого рассказа. Скорбную мою повесть надо писать на меди: бумагу прожигали бы слова об этих двух безвестных женщинах. Я не знаю ни национальности их, ни имен. Вернее, я теряюсь, какие из семи тысяч я должен выбрать, чтобы не оскорбить памяти остальных членов этого страшного братства.

Ты без труда представишь себе этих двух героинь ненаписанной повести, мой неизвестный американский друг: пятилетнюю девочку и ее мать. Маленькая была совсем как твоя дочка, которую ты ласкал еще сегодня утром, отправляясь на работу. Ее мать также очень похожа на твою милую и красивую жену, только одета беднее и у нее очень усталое лицо, потому что жить в городе, занятом немецкой армией, несколько труднее, чем под безоблачным небом Америки. Они помещались в крохотном, с бальзаминами на окнах домике, у которого

отстрелили снарядом угол в недавнем городском бою. Починить его было некому, так как отец, рядовой русский солдат, ушел со своим полком, чтобы где-то на далеком рубеже без сна и усталости отбиваться от беды, грозящей всему цивилизованному человечеству.

Фронт был отодвинут в глубь страны, и грохот русских пушек, этот гневный голос родины, перестал быть слышен в тихом городке. Наступила великая тоска и в ней один предзимний, еще бесснежный денек. Мороз скрепил землю, подернув лужицы стрелчатым ледком. Всем нам в детстве одинаково нравилось ступать по этому хрусткому стеклышку и вслушиваться в веселую музыку зимы. Когда в одно бессолнечное утро девочка попросилась на улицу, мать одела ее потеплее и выпустила с наказом не отходить далеко от дома; сама она собралась тем временем заделать пробойну в стене.

Ставши у ворот, маленькая боязливо улыбалась всему, что видела. Она бессознательно хотела задобрить громадную недобрую тишину, обступившую городок. Никто не замечал присмирившего ребенка: все были заняты своим делом. Порхали воробьи, и шумел за облаками самолет. Сменные немецкие караулы чеканно направлялись к своим постам. Изредка робкая снежинка падала из пасмурного неба, и, подставив ей ладонь, девочка следила, как та превращалась сперва в прозрачную капельку, потом — в ничто. У маленькой не было ее пестрых, любовно связанных бабушкой перчаток. Ночью случился обыск, а у немецкого солдата, приходившего за трофеями, видимо, имелась девочка такого же возраста в Германии.

Шум в конце улицы привлек внимание ребенка. Объемистый автобус с фальшивыми нарисованными окнами остановился невдалеке. Сняв рукавицы и подняв капот, шофер мирно копался в моторе. Шеренга немецких пехотинцев, как бы скучая и с примкнутыми штыками, двигалась сюда, и в центре полукольца плелись безоружные местные жители, человек сорок, с узелками, старые и малые. Некоторые застегивались на ходу, потому что их внезапно выгнали из дому. Годных к войне между ними не было, грудных несли на руках. Это походило на невод, который по мелкой воде тянут рыбаки. Шествие приблизилось, впереди шли дети.

Все выглядело вполне обыденно. И хотя все понемножку о чем-то догадывались, никто не плакал из страха вызвать добавочную злобу у этих равнодушных солдат. Видимо, всем этим людям предстояло ехать куда-то во имя ж и з н е н н ы х германских интересов, — и нашей маленькой в том числе! Ей очень нравилось ездить в автомобиле, хотя только раз в жизни она испытала это наслаждение. Установился обычай в нынешней России катать детей по первомайским улицам в грузовиках, разукрашенных цветами и флагами; обычно при этом дети пели тоненькими голосками... Кстати, девочка поискала глазами в кучке ребят свою подружку. Маленькая еще не знала, что ее, контуженную при занятии городка, закопали прошлым вечером в вишеннике, за соседским амбаром.

Скоро мертвая петля облавы захлестнула и домик с балъзаминами, возле которого стояла моя пятилетняя героиня. Комплект был набран, и раздалась команда. Козырнув, шофер обошел сзади и открыл высоко над колесами толстую двустворчатую дверь. Людей стали поочередно сажать внутрь фургона; слабым или неловким охотно помогали немецкие солдаты. Одна древняя русская старушка, не шибко доверяя машинам и прочим изобретениям антихриста, украдкой покрестилась при этом. Девочка удивилась не тому, что внутренность машины была обшита гладким металлом, — ее огорчило отсутствие окон, без которых ребенку немислимо удовольствие прогулки. Она ничего не поняла и потом, когда худой и ужасно длинный солдат под руки, как русские носят самовар, понес ее к остальным, уже погруженным детям, она только улыбнулась ему на всякий случай, чтобы не уронил. В ту же минуту на крыльцо выскочила, с руками по локоть в глине, ее простоволосая мать.

Она вырвала ребенка и закричала, потому что видела накануне этот знаменитый автобус в работе. Она кричала, неистово распахнув рот, во всю силу материнской боли, и это очень удивительно, если не был слышен в Америке этот несказанный вопль. Она так кричала, что ни один из патрульных даже не посмел ударить ее прикладом, когда она рванулась и побежала с дочкой наугад, и запнулась, и упала, и лежала в чудовищной надежде, что ее почтут за мертвую или не заметят в суматохе. Но маленькая не знала, она силилась поднять мать за руку и все твердила: «Мамочка, ты не бойся... я поеду с тобой, мамочка». Она повторяла это и тогда, когда ее вторично

понесли в цинковую коробку фургона. Но тогда вдруг заплакали и закричали все от жалости к маленькой, а громче всех — дети. Это был беспорядок, противный нацистскому духу, и, чтоб прекратить скандал в зародыше, в автобус поднялся хорошо выбритый ефрейтор с большим фабричным тюбиком, что хранился в его походной сумке. Одновременно в его правой руке появилась узкая, на тонком стержне, кисть, вроде тех, что употребляют для гуммиарабика. Из тюбика выползла черная змейка пасты, несколько густой, но, видимо, более удобной в перевозке. Протискиваясь в тесноте среди детей, военный смазывал этим лекарством против крика губы сразу затихавших ребят. Порой, для верности, он без промаха вводил свой помазок в ноздри ребенка, этот косяк смерти, и, как скошенная трава, дети клонились и опускались к ногам обезумевших взрослых. Наверно, у него имелось специальное образование, так ловко он совершал свою черную процедуру. Крики затихли, и солдатам уже не составило труда отнести и вдвинуть на пол камеры, в этот людской штабель, потерявшую сознание мать.

Дверь закрыли на автоматический запор, шофер поднялся на сиденье и завел мотор, но машина не сразу отправилась на место назначения. Офицер стал закуривать, солдаты стояли «вольно». Все опять выглядело крайне мирно, ничто не нарушало тишины: ни шумливые краснодарские воробьи, ни — почему бы это? — даже треск выхлопной трубы. И хотя машина по-прежнему стояла на месте, время от времени как-то странно кренился кузов, точно самый металл содрогался от роли, предназначенной ему дьяволом. Когда папироска докурилась и прекратились эти судорожные колыхания, офицер дал знак, и машина поплыла по подмерзшим грязям за город. Там имелся глубокий противотанковый ров, куда германские городские власти ежедневно сваливали свою продукцию... Теперь, после возвращения Красной Армии на временно покинутые места, эти длинные могилы раскопаны, и любители сильных ощущений могут осмотреть фотографии завоевательных успехов Гитлера.

Это краткое либретто темы, способной целые материки поднять в атаку, я безвозмездно дарю Голливуду. Даже в неумелых руках у него получится впечатляющий кинодокумент. Жаль, что его не успели поместить в той

запаянной железной коробке с изделиями нашей цивилизации — посылке в века, что закопана под нью-йоркской Всемирной выставкой, чтобы потомки всесторонне ознакомились с действительностью их недавних предков. Хорошо было бы также показать этот боевик многочисленным союзным армиям, которые терпеливо, не первый год, ждут приказа о генеральном наступлении против главного изверга всех веков и поколений.

Конечно, встретятся неминуемые трудности при постановке. Вашей актрисе, Америка, трудно будет воспроизвести смертный крик матери, да и вряд ли пленка выдержит его. Режиссеру и зрителю покажутся экзотически невероятными как самый инвентарь происшествия, так и перечисленные мною вкратце детали. И хотя я вовсе не собирался писать корреспонденцию из ада, я полагаю необходимым, однако, перевести на англосаксонские наречия название этого невиданного транспортного средства, изобретенного в Германии для отправки в вечность: душегубка... Это дизельный закрытый восьмитонный грузовик, изнутри обшитый листами надежного металла, который невозможно ни прокусить, ни процарапать ногтями. Отработанные газы мотора нагнетаются в это герметически закупоренное пространство непосредственно через трубку с защитной от засорения решеткой. Горячая сгущенная окись углерода, СО, немедленно наполняет камеру и быстро поглощается гемоглобином крови заключенных там жертв. Отравление начинается с удушья и головокружения, — не стоит приводить остальных симптомов при смертельных случаях, а это приспособление создано специально для смерти. Это вряд ли и потребует в проектируемом нами фильме. Впрочем, в классических немецких исследованиях по токсикологии Винца, Шмидеберга и Кункеля подробно разработана вся симптоматика этого дела.

Таким образом, достижения германской науки пригодились сегодня негодяям, которым Германия вверила свою национальную судьбу. И когда Геббельс вопит со своих радиостанций о немецкой культуре, он, видимо, требует от своих будущих жертв, чтобы они до последнего дыхания сохраняли почтительное изумление перед сверкающей аппаратурой палача. Рационализация человекоистребления и дешевизна его доведены до баснословного предела. Знаменитые яды истории:

демонский напиток Борджиа или «лейстеровский насморк» елизаветинского министра, или изящная, как музыка Моцарта, отравка маркизы Бренвилле и самая бледная аква тофана, что продавалась в средние века в пузырьках с изображением святого Николая, — все это дорогостоящие забавы для мелкого, индивидуального пользования. Сама Локуста, которую тоже с запозданием догадались казнить только при Гальбе, почернела бы от профессиональной зависти к Гитлеру, который отбросы дизель-мотора, окись углерода, включил на вооружение германской армии.

Эта механическая кольмага гибели, что путешествует по просторам оккупированных областей России, обслуживается специальным отрядом, зондеркомандой, из двухсот человек. Должность свою они исполняют не в патологическом иступлении боя, а спокойной рукой и с сознанием большого государственного поручения. У них ведется учетный журнал с точными графами, куда заносится как дата и способ уничтожения, так и пол, национальность, возраст и количество уничтоженных за сутки жертв. Не верится, что у этих черных бухгалтеров смерти тоже были мамы, которые ласкали их в детстве, и, пряча свои лица, достойные Гои, просили у неба счастьяшка для своих рычащих ублюдков... Обширный штат зондеркоманды вполне окупается размерами ее деятельности. И верно, при максимальной емкости кузова в восемьдесят живых единиц, при дозировке смертной порции в десять минут, дольше которой не выдерживает самый прочный молотобоец, плюс двадцать минут на обратный рейс, включая разгрузку, — а машина действует и на ходу! — пропускную способность одного такого автобуса можно довести до полутора тысяч покойников в сутки. Таким образом, дивизион подобных агрегатов даже при умеренной, но бесперебойной работе может в месяц опустошить цветущую площадь с двухмиллионным населением.

Представь себе этих людей хозяевами земли и содрогнись за своих любимых!

Народ мой словом и делом проклял этот подлейший замысел дьявола. Народу моему ясно, что, если бы не было пушек мира, следовало бы голыми руками расшвырять это бронированное гнездо убийц. И я люблю мать мою Россию за то, что ум и сердце ее не разъединены с ее волей и силой... за то, что, гордая своей правотой,

она идет впереди всех народов на штурм пристанища зла. Видишь ли ты ее, когда она без устали сокрушает обвиняемого ее ноги дракона? Кровь всемирного подвига катится по ее лицу, и кто в мире назовет мне лицо красивой? Вот почему сегодня Родина моя становится духовной родиной всех, кто верит в торжество правды на земле!

К вечным звездам люди всегда приходили через суровые испытания, но в такую бездну еще ни разу не заглядывал человек. Уже мы не замечаем ни весны, ни полдня. Реки расплавленной стали текут навстречу рекам крови. Никто не удивится, если хлеб, смолотый из завтрашнего урожая, окажется красным и горчей пороха на вкус. Самое железо корчится от боли на полях России, но не русский человек. При равных условиях, в библейские времена, Иезекиили с огненным обличьем на устах нарождались в народе. Во все времена появлялись они и благовестили людям, эти колокола подлинного гуманизма. Ты помнишь Льва Толстого, который крикнул миру: «Не могу молчать!», или Золя с его пламенным «Обвиняю!», или Барбюса и Горького. Миллионноголосое эхо подхватывало их призыв, и подлая коммерция себялюбия уступала дорогу совести, и надолго становился чище воздух мира... Ты помнишь и чтить русского человека, Федора Достоевского, чьи книги в раззолоченных ризах стоят на твоих книжных полках! Этот человек нетерпеливо замахивался на самое Провидение, однажды заприметив слезинку обиженного ребенка. Что же сказали бы они теперь, эти непреклонные правдоносцы, зайдя в детские лазареты, где лежат наши маленькие, тельцем своим познавшие неустройство земли, пряча культишки под одеялом, стыдясь за взрослых, не сумевших оберечь их от ярости громилы? Они подивились бы человеческой породе, в которой и горячее пламя тысяч детских глаз не выплывило гневной набатной меди!

Каждый отец есть отец всех детей земли, и наоборот. Ты отвечаешь за ребенка, живущего на чужом материке... Вот правда, без усвоения которой никогда не выздороветь нашей планете. Остановить в размахе быструю и решительную руку убийцы — вот неотложный долг всех отцов на земле. Иначе к чему наши академии и могучие заводы, седины праведников и глубокомыслие государственных мудрецов? Или мы затем храним все это, чтоб пощекотать больное и осторожное тщеславье

наше? Эта страшная язва Европы, фашизм, так же противоестественна на организме нашей цивилизации, как если бы чешуйчатый хвост пращура просунулся между фалдами профессорского скюртука. Можно ли смотреть на звезды из обсерваторий, пол которых затоплен кровью? Тогда признаемся в великой лжи всего, что с такой двуличной и надменной важностью человечество творило до сегодня. Может быть, и сами мы только размалеванные дикари в сравнении с теми красивыми и совершенными людьми, что завтра осудят моих современников за допущение на землю страшнейшей из болезней.

Нет, неправда это! Прекрасна жизнь, вопреки сквернящим ее злодеям. Прекрасны дети и женщины наши, сады и библиотеки, медом мудрости налитые до краев. Человек еще подымется во весь рост, и это будет содержанием поэм, более значительных, чем сказания о Давиде и Геракле. Народ мой верит в это, ценит локоть и близость друзей — и тех, что пойдут вместе с ним наказать дикаря в его логове, и тех, кто с опасностью для жизни подносит патроны к месту боя. И никакой клевете не разъединит этих соратников, благородных в своих исторических устремлениях и спаянных кровью совместного подвига. Их породнили пламена Варшавы и Белграда, руины Сталинграда и Ковентри... Термитным составом выжжены на пространных Европы имена изобретателей тотальной войны. Когда один из них, перечислив преимущества ночных рейдов на мирные города, предупреждал народы, если бы они посмели ответить тем же оружием: «Горе тому, кто проиграет тотальную войну!» — в тот день подсудимый сам произнес себе приговор.

И вот он начинает приводиться в исполнение. Мы проникнуты нетерпеливым ожиданием победы. Самый колос старается расти быстрее, чтоб содействовать ее приближению. Цвет западных наций одевается в хаки. Железные ящеры, урча, сползают с конвейеров: уже им не хватает стойл на родных материках. Владыки океанов неторопливо сходят со стапелей во мглу ночи. Стаи железных птиц, более грозных, чем птицы Апокалипсиса, крылом к крылу покрывают равнины. И когда мысленно созерцаешь сумму стали, людей и резервов у свободлюбивых стран, глубоко веришь, что и горы не устоят перед натиском этого материализованного гнева.

Я не умею разгадать логику зреющего в недрах ваших

генеральных штабов великого плана разрушения фашизма. Я простой человек, который пишет черным по белому для миллионов своего народа. Может быть, я не прав, но только мне всегда казалось, что злодей, который в цинковой коробке травит окисью углерода пятилетнюю девочку, заслуживает немедленного удара не в пятку, а в грудь и лицо. Конечно, все дороги ведут в Рим, все же кратчайшее расстояние между двумя точками есть прямая...

Итак, дело за вами, американские друзья! Честная дружба, которою стныне будет жить планета, создается сегодня — на полях совместного боя. Именно здесь познается величие характера и историческая поступь передовых наций.

Из затемненной Москвы я отчетливо вижу твоё жилище и стол, за которым ты сидишь. Тебе подаёт ужин жена, и пятилетняя дочка на твоих коленях торопится поведать о событиях дня. Ночь движет стрелки на циферблате, и красивый, ярко освещенный город шумит за твоим окном... Покойной ночи, мой неизвестный американский друг! Поцелуй свою милую дочку и расскажи ей про русского солдата, который в эту самую ночь, сквозь смерть и грохот, в одиночку и по эвклидовой прямой, движется на запад — за всех маленьких в мире!

1943 год



**Всеволод Вишневский**

### БИТВА НА НЕВЕ

Ночь на 12 января... По заснеженным дорогам идут и идут войска, исчезая во мраке, в лесах. Двигаются автоколонны. Дальнобойные батареи заняли фронт от Ладожского озера до Ленинграда. Жерла устремлены на Шлиссельбург, на Московскую Дубровку, на Синявино. Мерцают кое-где огоньки. Мчатся с последними распоряжениями офицеры связи. Балтийским морякам артиллеристам приказ о наступлении был объявлен рано утром. Темно, холодно. При скупом свете керосинки сверкают только молодые горячие глаза. Краткое вступление... «Город Ленина ждет. Он вправе требовать такого удара,

чтобы немецкую блокаду к чертям сорвать и дух немецкий вообще выветрить из окрестностей».

На артиллеристов ложится задача очень большого значения. Сложные инженерные узлы, вся эта сеть немецких дотов, дзотов, траншей, укреплений, карьеров, батарей, затянута вокруг Ленинграда, должна быть пробита! Артиллеристы-балтийцы выделяют сотни своих моряков и в ряды гвардейской пехоты. На аэродромах готовятся летчики. Балтика в историческом бою будет биться везде, и биться с таким напором, что он в памяти людской останется.

Дивизии на исходных рубежах. Все тихо, незримо. Сотни и сотни орудий, расставленных скрытно и умело, ждут. Утро. Глаза всех впелись в стрелку часов. Ну, ну?... 9 часов 30 минут, и загрохотали орудия. Артиллерия — «бог войны». Весьма свирепый и могучий бог, ничего не скажешь. Это металлургия Ленинграда, металлургия страны объясняла Гитлеру, что такое война против СССР.

Били многие калибры. От малых тьякалок до пушек-гигантов, снаряды которых покрепче авиабомб весом в тонну.

Дымом стало завлакивать горизонт. Наблюдатели впелись в эту бурю стену, сквозь которую пробивались огни разрывов. Гул, гул, сплошной гул, а порой выбрасывало черные гейзеры дыма.

Орудия накалились. Пузырилась краска. Потом она стала гореть. Орудия были белого маскировочного цвета, — они стали бурыми, черными. От них волнами несло горячий воздух. Артиллеристы, работали, не прекращая и не снижая темпов. Через руки проходили сотни пудов металла, сотни бросков, толчков, резких напряжений всех мышц. Люди обливались потом на морозе, сбрасывали ватники, бушлаты. Показались знакомые тельняшки и крепкие мускулы.

Стоял сложный смешанный гул, треск и грохот. В него вторгался львиный рык пушек. Немцы отвечали. Местами от обработки артиллерии чернел снег.

Бомбардировщики и штурмовики конвейером ныряли, пикировали прямо на немецкие позиции. Всеми овладела горячка боя. Сносились целые немецкие узлы сопротивления. На некоторых участках ошеломленные, оглохшие фрицы побежали спасаться во вторую линию. Артиллеристы добрались и туда...

В назначенный час двинулась пехота. Исходной точкой был на нашем участке знаменитый рубеж балтийских моряков на Неве: здесь все бойцы за редкую отвагу поголовно орденоносцы. Здесь в знак упорства, в знак неукротимости духа еще осенью моряки, взяв немецкий опорный узел, воткнули в глубину окопа русскую винтовку и на штык ее — матросскую тельняшку, полосатую, бело-синюю. Всю зиму немцы хотели сбить моряков с этого рубежа. Не смогли.

Теперь на этом участке и начался удар. Как шли, если бы вы видели, как шли ленинградские полки! По льду, среди разрывов — полыньи вокруг — лица, обращенные прямо к врагу, — и по морозу, в голубеющее небо клич: «За Ленинград!» Штыком и гранатой по сопротивляющимся фрицам!

Артиллеристы армии и артиллеристы-балтийцы перенесли огонь в глубину. Раскаленный металлический вал покотился дальше.

Бой в современной войне не решается одним броском. Завязалась борьба. Невские селения, электростанции, торфяные разрезды, склады — все было превращено немцами в крепостные сооружения, в фортификации разных видов.

На батареях переходили к методической стрельбе, потом вновь применяли огневые налеты. Так били орудия балтийских артиллеристов Тарасова, Потехина, Жука, Барбакадзе, Лезотова, Симакина и других. Всех не назовешь. Работали все — больные, раненые, девушки-связистки, писари. Никто в стороне быть не мог. Это за Ленинград! За всех родных, близких, столько перестрадавших... Все, что было в силах человеческих, сделано было в этом напряженнейшем долгом бою. Ночь сменилась утром. Стоял 17-градусный мороз. Утомленные непрерывной тревогой и стрельбой, люди не отдыхали. Ленинград — честные, доблестные рабочие и работницы, инженеры и техники оборонных заводов — давал нам новый боезапас. Его выгружали по ночам у батарей. Мы не знали нужды в снарядах.

Бой длился сутки за сутками. Разрушались и истреблялись немецкие узлы один за другим, десяток за вторым, за третьим. Долгими ночами висели желтые мертвенные ракеты над лесами Невы. С озера в штурмовые атаки пошли храбрецы-лыжники. Немецкая оборона дала ряд трещин. Она стала разваливаться на куски.

Бойцы Ленинграда с упорством неопишным двигались вперед и вперед. Артиллеристы продолжали свою работу.

С Невы везли раненых стрелков — героев штурмового удара. Один майор спросил: «Где моряки?» Расцеловал их, закопченных, утомленных и радостных: «Ну, черти, и огонь вы дали! Ну и дали!»

Наблюдательные пункты сообщали новость за новостью. Наши штурмуют Шлиссельбург. Взято много опорных пунктов. Гонят пленных.

Огонь переносился все дальше. Впереди, по железнодорожным веткам, уже шли саперы, железнодорожные рабочие. Немцы огрызались, по ночам подтягивая железнодорожные батареи. Их засыпали огнем и выметали с их позиций. Вспыхивали новые пожары в немецком тылу. По ночам над нашими головами, почти задевая за телеграфные столбы, пролетали наши ночники-бомбардировщики — держать немцев, не давать им ни минуты передышки. К станциям в ближнем немецком тылу подвозили резервы. Их накрывали сразу форсированными артиллерийскими ударами. И в снегах оставались сотни трупов.

Артиллеристы Балтики во много раз перекрыли в этой битве уставные нормативы.

Бой принимал все больший размах. Из роты в роту, с батареи на батарею бежал слух: «Пробились, соединились!»

О, много еще мы будем говорить об этой битве. Но это потом. Сейчас бой продолжается. В радости своей ленинградцы обращают первую мысль свою к фронту. Чем они сегодня помогли ему? Чем его порадовали? Чем отдарить бойцов, которые идут сквозь болота и леса, по пояс в снегу, под огнем?

Поможем фронту всем, что только мы можем сделать. Будем громить, опрокидывать врага. Гнать его, гнать до края могилы, впихнуть туда поглубже, утрамбовать, засыпать, утрамбовать еще, еще и еще. Ненависти, воли и силы у Ленинграда хватит! Мы сполна за все расчитаемся с Гитлером. Расчет уже начат!

20 января 1943 года



## Евгений Кригер

### ОТВЕТ СТАЛИНГРАДА

Когда-нибудь в далеком будущем историки снова и снова вернутся к изучению поразительного явления в области военного искусства — обороне Сталинграда в 1942 году. Они ничего не смогут понять, если не примут в расчет один фактор, не поддающийся графическому изображению на картах и схемах.

В те дни Советская страна находилась под угрозой небывалой, зловещей. Немцы под Сталинградом, в самом Сталинграде, немцы на горных перевалах Кавказа, в калмыцких степях, на подступах к нефти, немцы рвутся к Астрахани, заносят окровавленный меч над великой русской рекой, грозят перерубить гигантскую, питающую фронт артерию — Волгу. У всех на сердце великое слово: Сталинград. И в нем для миллионов людей и тревога, и гордость, и боль, и суровая прочная слава — на века, для потомков.

Изучая карту сталинградской обороны, будущие военные исследователи увидят, что все преимущества были на стороне гитлеровской армии. Множество сухопутных дорог для подвоза войск и боеприпасов к линии фронта (в то время как у защитников города одна переправа — через Волгу), обширная территория для маневра (у нас же позиции узкой полосой вытянуты вдоль берега Волги, втиснуты в каменную тесноту города и на многих участках расположены ниже немецких позиций). И, наконец, появление под стенами города колоссальных сухопутных и воздушных сил против немногочисленного в первые дни сталинградского гарнизона.

Все это, вместе взятое, покажет историкам, что в подобных случаях защитить город было невысказано и самый факт успешной обороны в течение многих месяцев противоречит обычному представлению о человеческих возможностях.

И ничего не поймут добросовестные и точные исследователи, если забудут о самом важном факторе — о свойствах русских людей, о нравственной силе советского человека.

В Сталинграде, как и всюду, на всех фронтах, ядро армии, ядро обороны составляли люди, родившиеся после Октября и воспитанные революцией, подвигами партии и народа. Многие из них, зарывшись с винтовками

в разрушенный немецкими бомбами камень, помнили железные ночи Тракторостроя, Магнитки, Кузнецка, бураны в степи, ледяной ветер, от которого дыхание застывало во рту и кожа трескалась на руках, помнили оркестры, игравшие марши в буранах, труд комсомольцев-бетонщиков, арматурщиков, гнавших бетон днем и ночью, чтобы заводы были построены к сроку на Волге, на Урале, в Сибири.

Сталинград — город нашей молодости. Молодые заводы, молодые сады на левом берегу Волги, новые школы и институты, новые улицы. Я видел юношей и стариков, плакавших при виде горящего города, в котором многое было создано их руками.

Нож войны гитлеровцы вонзили в живое тело города. Молодой танкист, бывший учитель, рассказывал мне: он видел девочку, заваленную грудой камней на третьем этаже здания. Ее нельзя было вытащить. При малейшей попытке высвободить ее камень задавил бы девочку насмерть. Учитель видел хирурга, приступившего к чудовищной операции. Чтобы спасти девочке жизнь, нужно было отсечь ей зажатую камнем ногу. У девочки уже не было сил кричать: несколько часов она висела над дымящейся улицей. Внезапно хирург прервал операцию: немцы добились ребенка осколком.

Среди развалин, взывающих о мщении, в оцепенении города, раздавленного войной, в пламени и в дыму вдруг возникает детский хор. Взвываясь за руки, дети танцуют. Это невысказано. Тот, кто видел это, вздрагивал, будто глаза его поразила острая, резкая боль. Но это каменный хор — чудом сохранившаяся, исцарапанная осколками, опаленная пожаром скульптурная группа: дети танцуют. Все, что осталось от площади. Этого я не забуду.

Таким мы видели Сталинград не одну ночь и не один день. Пламя войны терзало его многие недели, и уже не хватало в сердце горечи, чтобы до конца осознать нечеловеческую муку людей Сталинграда. И боль становилась злобой, сухой и едкой, как порох, брошенный на обнаженную рану. И самые простые обыкновенные люди становились тогда солдатами невиданной обороны.

Много степных дорог вело с запада к городу, в район немецкой осады. Неделями, месяцами Гитлер гнал по этим дорогам войска, машины, снаряды, резервы, а у защитников Сталинграда была одна переправа, един-



ственный путь к городу — через Волгу, в дыму, под бомбами и снарядами, под пулеметным огнем. Но одна русская переправа стоила многих немецких дорог. Город держался. По вздыбленной взрывами реке к нему пробирались волжские баржи с резервами, с боеприпасами, люди на берегу выстраивались в цепь, в реве и грохоте бомбардировок перебрасывались с руки мины, снаряды до самой линии боя, где люди срослись с камнем, и камень стал тверже, гнулись и ломались об него зубья вражеской военной машины.

Защитники Сталинграда, начиная от волжских лодочников на переправе до командиров дивизий и армий, дрались там, где драться было уже невозможно, стояли там, где выстоять было невыносимо, сражались в грудах камня, размолотого немецкими бомбами, изгрызенного немецкими танками, обращенного в пыль немецкими машинами и снарядами. Они решили, что не уйдут, хотя бы на их головы свалился весь ад войны, и они не ушли.

Гитлеровские военные обозреватели называли это «бессмысленной храбростью русских». Гитлеровцы считали, что Сталинград более не может обороняться. На узкие кварталы города они сбрасывали не только бомбы, они сбрасывали листовки, обращенные к гвардейцам генерала Родимцева, к солдатам генерала Чуйкова, и в листовках изображали схему их окружения грандиозными силами немцев и убеждали, что сопротивление бесполезно, нужно прекратить борьбу, сохранить себе жизнь и сдаться.

Солдаты знали своих генералов. Они понимали, что немцы хотят посеять в лагере осажденных эпидемию страха. Солдаты топтали листовки ногами и снова бросались в атаку.

Тогда немцы решили довершить свой удар новым штурмом. Они начали штурмовать волю, психику, нравственную силу защитников города.

В небе ни на минуту не умолкал вой фашистских самолетов. Бомбардировщики появлялись с первыми лучами солнца и уходили только с темнотой. В один из самых трудных дней обороны они сбросили на узкий участок шириной в полтора километра две тысячи тонн бомб. Это — 1850 самолето-вылетов, 1850 ударов парового молота по хрупкому камню, в котором — люди. Взять измором нервы русского человека, долбить и долбить,

ибо даже капля воды, падая непрерывно в течение многих и многих часов, может пробить человеческий череп и добраться до мозга.

Вслед за бомбардировкой гитлеровцы вводили в проломы свои танки, и перемолотый бомбами камень хрустел под стальными гусеницами, как во время пытки хрустят на дыбе человеческие кости.

Не было еще сражения, которое длилось бы непрерывно из часа в час, из минуты в минуту, неделями, месяцами. Такое сражение выдержали защитники волжского города.

В августе у германских генералов не было и тени сомнения в том, что Сталинград скоро, через несколько дней, будет немецким. Но еще в ноябре корреспондент «Берлинер берзенцайтунг» писал угрюмо:

«Борьба мирового значения, происходящая вокруг Сталинграда, оказалась огромным, решающим сражением. Участникам борьбы за Сталинград известны лишь ее отдельные ужасные детали, они не могут оценить ее во всем объеме и предвидеть ее конец. Если среди многих тысяч найдется Гойя, то пусть кисть его когда-либо изобразит потомкам все ужасы этой уличной борьбы. У тех, кто переживет сражение, перенапрягая все свои чувства, этот ад останется навсегда в памяти, как если бы он был выжжен каленым железом. Только позднее будут зарегистрированы характерные признаки этой войны, не имеющей прецедентов в истории войн, и будет создано тактическое учение об уличной борьбе, которая нигде еще не происходила в таких масштабах, с участием всех средств технической войны и в течение такого продолжительного времени. Впервые в истории современный город удерживается войсками вплоть до разрушения последней стены. Брюссель и Париж капитулировали. Даже Варшава согласилась на капитуляцию. Но этот противник не жалеет собственной город и не сдается, несмотря на тяжелые условия обороны».

Так писал гитлеровский корреспондент.

Фашистам хотелось бы, чтобы, «жалеея собственный город», русские отдали его на растерзание фашизму. Но русские действительно жалели свой город, и они спасали его, они отстояли его, хотя, согласно «классической» военной теории, это невероятно, чудовищно.

Бой шел вплотную, как рукопашная схватка, где люди хватают друг друга за горло и душат. Но рукопашная схватка длится в окопе минутами, здесь она продолжа-

лась месяцами. Бой шел в подвалах, на лестничных клетках, в оврагах, на высоких курганах, на крышах домов, в садах, во дворах — тесно было войне в Сталинграде. Люди вросли в камень, слились с городом в одно целое, и камни города стали живыми. В них слышались шорохи, человеческое дыхание, стук закладываемой обоймы.

Удержать Сталинград невозможно, но советские воины Сталинград удержали.

Как объяснить это?

Я помню слова начальника штаба 62-й армии, которую возглавлял генерал-лейтенант Чуйков. Начальник штаба работал в землянке, вырытой на самом берегу Волги. Он кашлял так, что больно было смотреть на него. Я думал, что он болен, и пожалел его, и сказал ему об этом, и он рассмеялся. Через полчаса я тоже стал кашлять, и тогда уже полковник пожалел меня и улыбнулся, и я понял, что кашель вызывается взрывными газами от немецких снарядов и бомб.

Начальник штаба трудился невозмутимо и обстоятельно, как в московском своем кабинете, приказания по телефону отдавал вполголоса, давая тем самым понять своим подчиненным, что все в порядке, обстановка для работы нормальная. И в тот день я запомнил его слова:

— Если бы три недели назад мне сказали, что сегодня мы будем в Сталинграде, я бы не поверил. Прижатые к Волге, без возможности маневра, с одной переправой... Нет, не поверил бы.

В то утро, когда происходил этот разговор, гитлеровцы бросили на поселок завода «Красный Октябрь» 130 танков с пехотой и автоматчиками. Бой развернулся в полутора километрах от землянки, в которой беседовал со мной полковник. Он продолжал:

— Кто может гарантировать, что через двадцать минут здесь не появятся немецкие танки и всем нам придется карабкаться на эти прибрежные кручи, чтобы выскочить, если до этого нас не прихлопнут? Это не только возможно, более чем вероятно. Тем не менее этого не будет.

Я спросил:

— Вы уверены, что вам удастся продержаться?

Глядя на меня воспаленными от бессонницы глазами, полковник быстро ответил:

— Теперь да.

— Но ведь теперь вам труднее в тысячу раз, чем прежде, чем неделю, месяц назад.

— Да. Но теперь-то мы и узнали как следует наших солдат. Никто из них не хочет ни уходить, ни сдаваться. И они не уйдут, они верят в победу.

— Здесь?

— Да, — ответил полковник, — именно в этом положении и стоит верить в победу.

— Вы надеетесь на чудо? — спросил я.

Полковник усмехнулся.

— В советском военном лексиконе такого понятия нет. Мы надеемся на себя.

Вот что поражало всегда в Сталинграде. У солдат обороны даже в самые страшные дни не было чувства обреченности. Если немцы снова и снова переходили в наступление, — чем им ответить? Атакой! Так они действовали.

Когда-нибудь наши потомки увидят в обновленном солнечном городе бережно охраняемые руины домов, где держались гвардейцы генерал-майора Родимцева, бросаясь в атаку в тот час, когда немцы уже считали их мертвыми. Взводами они гнали немецкие роты, батальонами гнали немецкие дивизии, и городские кварталы, овраги, высоты трижды переходили из рук в руки. Гитлеровцы считали это бессмысленной храбростью русских. Смысл русской храбрости открылся врагам, когда их погнали от Сталинграда. Красноармейцы умели смотреть дальше и видеть больше, чем теоретики в фашистских штабах. Они знали, что рано или поздно их поведут в наступление. Это придавало им силы и в обороне.

Я ни разу не видел среди сталинградских бойцов людей с печатью уныния на лице, хотя были моменты, когда пасть духом могли бы самые сильные. Сами же гитлеровцы, несмотря на преимущества своего положения, вопили, что попали в ад. Теперь этот ад в памяти любых агрессоров действительно «останется навсегда, как если бы он был выжжен каленым железом».

Я помню день, когда народы мира — в Европе и за океаном — услышали сообщение, потрясшее умы, опрокинувшее обычное представление о возможном и невозможном, затмившее все, что знали в истории войн о доблести солдат и мудрости полководцев.

Русские под Сталинградом перешли в наступление. Далеким наблюдателям это казалось невероятным. Считалось, что даже оборона Сталинграда есть чудо и советские войска, державшие подступы к Волге,

пережили тот предел сверхмерного напряжения, за которым силы человеческие исчерпываются. Большого от человека, самого отважного, самого стойкого, ждать нельзя. И вот, прижатые к Волге, окруженные, стиснутые со всех сторон дивизии Сталинградского фронта в полном взаимодействии с другими войсками Красной Армии переходят от обороны к решительному наступлению, берут гитлеровцев в кольцо, грозят раздавить всю армию фельдмаршала фон Паулюса.

Кто мог думать тогда, что внезапным и точно рассчитанным ударом советские войска выгнут стальную дугу немецкого окружения и муки Сталинграда превратят в победу Сталинграда, зажмут вражескую армию в тисках тройного окружения, заставят гитлеровцев зарыться в землю, голодать, питаться кониной и, наконец, предъявив предложение о капитуляции, получив отказ, начнут планомерное уничтожение всех германских войск в районе измученного Сталинграда.

В тяжелые дни, осенью 1942 года, это казалось настолько невероятным, как если бы залитая лавой Помпея восстала из огненной своей гробницы и в страшной жажде возмездия поглотила Везувий.

С первого дня обороны советские солдаты верили, что рано или поздно их поведут в наступление. Вот почему не было видно угрюмых людей в Сталинграде, в дымящихся расщелинах между камнями, где и дышать почти невозможно, а люди там дрались; на прибрежном песке, где оборонялись бойцы генерала Родимцева, хотя песок не может быть крепостью; на переправе, где лодочники и капитаны стали солдатами невиданной битвы; в толще города, где рушились стены домов и камни становились щебнем и пылью, а советские люди оставались стоять против десятков и сотен танков противника.

Четверть века, прожитая с ленинской истиной в сердцах миллионов людей, стала и здесь гранитом на берегах русской Волги. Доблестная мысль снова, как год назад под Москвой, взлетела над войсками зовом к наступлению и победе. Когда не советские, а фашистские армии стали гибнуть под Сталинградом, выяснилось, что именно на этом участке фронта разыгралась решительная борьба не только между советскими и немецкими солдатами, но между гитлеровским генеральным штабом и генеральным штабом Красной Армии. И советский генеральный штаб победил. Победила железная выдержка. В самые

страшные для всей страны дни подготовлялся в полной тайне неожиданный и роковой для немцев удар. Это — победа советской военной мысли, советского плана войны. Это — победа ленинской партии, ее стратегического гения, ее веры в народ, ее несгибаемой воли к победе.

Настал час, когда сквозь бешеный рев берлинского радио, предвещавшего близость триумфального для гитлеровской Германии конца войны, сквозь тревожную переключку радиостанций Европы и Америки, вопрошавших о судьбе Сталинграда, сквозь грохот пушек германской осадной артиллерии, над душераздирающим гулом волжской битвы прозвучало:

— Вперед!

И гитлеровцы, окружавшие Сталинград, сами стали трижды окруженными, и гитлеровские генералы попали в плен вместе со своими голодными, оборванными, ошалевшими от страха солдатами, и страх от берегов Волги проник в далекую Германию, просочился во все немецкие дома, сковал оловянные сердца фашистских «фюреров», маленьких и больших, и самое острое жало зонзил в сердце бесноватого Гитлера.

Сталинград стал страшен Гитлеру, потому что Гитлер считал его преддверием к полной своей победе над Советской страной и был убежден, что нет таких сил, которые способны были бы помочь русским в обороне волжского города.

Военные обозреватели многих стран предвещали неминуемое падение Сталинграда. Там, за океаном, мало кто мог думать, что десятки немецких дивизий завоюют от страха, спасаясь от встречного штурма, зароятся в землю, падут духом, потеряют волю к сопротивлению, увидев, как измученный, окровавленный город всей своей нетленной человеческой силой поднимается навстречу убийцам и заносит над ними тяжелый меч возмездия.

Окруженным под Сталинградом гитлеровским армиям предъявляется ультиматум о сдаче. В назначенный ультиматумом час, секунда в секунду, повинувшись едва заметному движению часовой стрелки, сотни советских батарей открывают огонь, сотни советских бомбардировщиков, истребителей, штурмовиков занимают фронт в небе, главенствуют.

На советской суше и в советском небе у Волги осуществляется доблестное «Вперед!». Это — ноябрь

1942 года. Поднятые из-под земли руки: гитлеровских солдат вытаскивают за шиворот из подвалов. Просунутые через проломы в стенах белые флаги: гитлеровские генералы сдаются в плен вместе со своими штабами. Монокли еще блестят у них под бровями, но в глазах свет потух.

Пленный фельдмаршал фон Паулюс предъявляет свои документы.

Кончено.

Гитлеровцы хотели победно промаршировать через Волгу. Мы помним, как они прошли через Волгу — одинокая, колченогая фигура пленного в соломенных чунях плетется по льду.

Тишина.

Мир, пораженный стойкостью Сталинграда, ждал объяснения того, что казалось чудом. Люди, сотворившие чудо, ответили всему человечеству:

— Это наша воля, наша вера в победу.

*Февраль 1943 года*



**Михаил Шолохов**

### ПИСЬМО АМЕРИКАНСКИМ ДРУЗЬЯМ

Вот скоро уже два года, как мы ведем войну — войну жестокую и тяжелую. О том, что нам удалось остановить и отбросить врага, вы знаете. Вы, может быть, недостаточно знаете, с какими трудностями для каждого из нас связана эта война. А мне хотелось бы, чтобы наши друзья знали об этом.

В качестве военного корреспондента я был на Южном, Юго-Западном и Западном фронтах. Сейчас я пишу роман «Они сражались за Родину». В нем я хочу показать тяжесть борьбы людей за свою свободу. Пока же роман недописан, я хочу обратиться к вам не как писатель, а просто как гражданин союзной вам страны.

В судьбу каждого из нас война вошла всей тяжестью, какую несет с собой попытка одной нации начисто уничтожить, поглотить другую. События фронта, события тотальной войны в жизни каждого из нас оставили свой нестираемый след. Я потерял свою семидесятилетнюю мать, убитую бомбой, брошенной с немецкого самолета, когда немцы бомбили станицу, не имевшую

никакого стратегического значения, осуществляя свой разбойничий расчет: они попросту хотели разогнать население, чтобы люди не могли увести в степи скот от надвигавшейся немецкой армии. Мой дом, библиотека разрушены немецкими минами. Я потерял уже много друзей — и по профессии, и моих земляков — на фронте. Долгое время я был в разлуке с семьей. Мой сын тяжело заболел за это время, и я не имел возможности помочь семье. Но ведь в конце концов это личные беды, личное горе каждого из нас. Из этих тяжестей складывается всенародное, общее бедствие, которое терпят люди с приходом в их жизнь войны. Личное наше горе не может заслонить от нас мучений нашего народа, о которых ни один писатель, ни один художник не сумели еще рассказать миру.

Ведь надо помнить, что огромные пространства нашей земли, сотни тысяч наших людей захвачены врагом, самым жестоким из тех, что знала история. Предания древности рассказывали нам о кровопролитных нашествиях гуннов, монголов и других диких племен. Все это бледнеет перед тем, что творят немецкие фашисты в войне с нами. Я видел своими глазами дочиста сожженные станицы, хутора моих земляков — героев моих книг, видел сирот, видел людей, лишенных крова и счастья, страшно изуродованные трупы, тысячи искалеченных жизней. Все это принесли в нашу страну гитлеровцы по приказу своего одержимого манией крови вождя.

Эту же судьбу гитлеризм готсвит всем странам мира — и вашей стране, и вашему дому, и вашей жизни.

Мы хотим, чтобы вы трезво взглянули вперед. Мы очень ценим вашу дружескую, бескорыстную помощь. Мы знаем и ценим меру ваших усилий, трудностей, которые связаны с производством и особенно с доставкой ваших грузов в нашу страну. Я сам видел ваши грузовики в донских степях, ваши прекрасные самолеты в схватках с теми, которые бомбили наши станицы. Нет человека у нас, который не ощущал бы вашей дружеской поддержки.

Но я хочу обратиться к вам очень прямо, так, как нас научила говорить война. Наша страна, наш народ изранены войной. Схватка еще лишь разгорается. И мы хотим видеть наших друзей бок о бок с нами в бою. Мы зовем вас в бой. Мы предлагаем вам не просто дружбу наших народов, а дружбу солдат.

Если территория не позволит нам драться в буквальном смысле слова рядом, мы хотим знать, что в спину врагу, вторгнувшемуся в нашу землю, обращены мощные удары ваших армий.

Мы знаем огромный эффект бомбардировки вашей авиацией промышленных центров нашего общего врага. Но война — тогда война, когда в ней участвуют все силы. Враг перед нами коварный, сильный и ненавидящий наш и ваш народы насмерть. Нельзя из этой войны выйти, не запачкав рук. Она требует пота и крови. Иначе она возьмет их втрое больше. Последствия колебаний могут быть непоправимы. Вы еще не видели крови ваших близких на пороге вашего дома. Я видел это, и потому я имею право говорить с вами так прямо.

1943



Андрей Платонов

ДЕВУШКА РОЗА

В рославльской тюрьме, сожженной фашистами вместе с узниками, на стенах казематов еще можно прочесть краткие надписи погибших людей. «17 августа день именин. Сижу в одиночке, голодный, 200 граммов хлеба и 1 литр баланды, вот тебе и пир богатый. 1927 года рождения. Семенов». Другой узник добавил к этому еще одно слово, обозначившее судьбу Семенова: «Расстрелян». В соседнем каземате заключенный обращался к своей матери:

Не плачь, моя милая мама,  
Не плачь, не рыдай, не грусти.  
Одна ты пробудешь недолго  
На этом ужасном пути...  
Сижу за решеткой в темнице сырой,  
И только лишь бог один знает —  
К тебе мои мысли несутся волной,  
И сердце слезой заливают.

Он не подписал своего имени. Оно ему было уже не нужно, потому что он терял жизнь и уходил от нас в вечное забвение.

184

В углу того же каземата была надпись, нацарапанная, должно быть, ногтем: «Здесь сидел Злов». Это была самая краткая и скромная повесть человека: жил на свете и томился некий Злов, потом его расстреляли на хозяйственном дворе в рославльской тюрьме, облили труп бензином и сожгли, чтобы ничего не осталось от человека, кроме горсти известкового пепла от его костей, который бесследно смешается с землей и исчезнет в безымянном почвенном прахе.

Возле надписи Злова были начертаны слова неизвестной Розы: «Мне хочется остаться жить. Жизнь — это рай, а жить нельзя, я умру! Я Роза».

Она — Роза. Имя ее было написано острием булавки или ногтем на темно-синей краске стены; от сырости и старости в окраске появились очертания таинственных стран и морей — туманных стран свободы, в которые проникали отсюда своим воображением узники, всматриваясь в сумрак тюремной стены.

Кто же была эта узница Роза и где она теперь — здесь ли, на хозяйственном дворе тюрьмы, упала она без дыхания или судьба вновь ее благословила жить на свободе русской земли и опять она с нами — в раю жизни, как говорила о жизни сама Роза? И кто такой был Злов? Он ничего не сказал о себе и лишь отметил на тюремной стене, что жил такой на свете человек.

Следов существования Злова мы найти не сумели, но Роза и среди мучеников оказалась мученицей, поэтому судьба ее осталась в памяти у немногих спасшихся от гибели людей. Узники, которых выводили на двор для расстрела, утешали себя воспоминанием о Розе: она уже была однажды на расстреле, и после расстрела она пала на землю, но осталась живой; поверх ее тела положили трупы других павших людей, потом обложили мертвых соломой, облили бензином и предали умерших сожжению; Роза не была тогда мертва, две пули лишь неопасно повредили кожу на ее теле, и она, укрытая сверху мертвыми, не сотлела в огне, она убереглась и опаматовалась, а в сумрачное время ночи выбралась из-под мертвых и ушла на волю через развалины тюремной ограды, обрушенной авиабомбой. Но днем Розу опять взяли в городе фашисты и отвели в тюрьму. И она опять стала жить в заключении, вторично ожидая свою смерть.

185

Кто видел Розу, тот говорил, что она была красива собою и настолько хороша, словно ее нарочно выдумали тоскующие, грустные люди себе на радость и утешение. У Розы были тонкие, выющиеся волосы темного цвета и большие младенческие серые глаза, освещенные изнутри доверчивой душой, а лицо у нее было милое, пухлое от тюрьмы и голода, но нежное и чистое. Сама же вся Роза была небольшая, однако крепкая, как мальчик, и умелая на руку, она могла шить платья и раньше работала электромонтером; только делать ей теперь нечего было, кроме как терпеть свою беду; ей сравнялось девятнадцать лет, и на вид она не казалась старше, потому что умела одолевать свое горе и не давала ему старить и калечить себя,— она хотела жить.

Второй раз ждала Роза своей смерти в рославльской тюрьме, но не дождалась ее: немцы помиловали Розу, они поняли, что если убить человека один раз, то более с ним нечего делать и властвовать над ним уже нельзя; без господства же немцу жить неинтересно и невыгодно, ему нужно, чтоб человек существовал при нем, но существовал вполжизни,— чтоб ум у человека стал глупостью, а сердце билось не от радости, а от робости — из боязни умереть, когда велено жить.

Розу вызвали на допрос к следователю. Следователь был уверен, что она все знает о городе Рославле и о русской жизни, словно Роза была всею советской властью. Роза всего не знала, а что знала, про то сказать не могла. Она пила у следователя мюнхенское пиво, ела подогретые сосиски и надевала новое платье. Так называл свое угощение следователь, обращаясь к своим подручным, которых заключенные называли «мастерами того света». Для Розы приносили пивную бутылку, наполненную песком, и били ее этой бутылкой по груди и животу, чтобы в ней замерло навсегда ее будущее материнство; потом Розу стегали гибкими железными прутьями; обжигают тело до костей, и когда у нее заходило дыхание, а сознание уже дремало, тогда Розу «одевали в новое платье»: ее туго пеленали жестким черным электрическим проводом, утопив его в мышцы и меж ребер, так что кровь и прохладная предсмертная влага выступала наружу из тела узницы; потом Розу уносили обратно в одиночку и там оставляли на цементном полу; она всех утомляла — и следователя, и «мастеров того света».

Что же нужно было врагам делать дальше? Живая

русская девчонка им не подчинялась; можно было бы ее мгновенно убить, но владеть мертвецами было бессмысленно.

Своею жизнью, равно и смертью, эта русская Роза подвергала сомнению и критике весь смысл войны, власти, господства и «новой организации» человечества. Такое волшебство не может быть терпимо — разве бесцельно и напрасно легли в землю солдаты?

Немецкий военный следователь задумывался в рославльской тюрьме. Над кем разрешено будет властвовать, когда германский народ останется жить в одиночестве на большом кладбище всех прочих народов?

Следователь утратил свое доброе деловое настроение и позвал к себе «скорого Ганса», прозванного скорым за мгновенную исполнительность. Иоганн Фохт прежде долго жил в Советском Союзе, он хорошо знал русский язык. Следователь велел «скорому Гансу» принести сначала водки, а затем спросил у него — как надо организовать человека, чтобы он не жил, но и не умер.

— Пустьяк дело! — сразу понял и ответил Ганс.

Следователь выпил, настроение его стало легким, и он велел Гансу сходить к Розе в камеру и проверить — живая она или умерла.

Ганс сходил и вернулся. Он доложил, что Роза дышит, спит и во сне улыбается, и добавил свое мнение:

— А смеяться ей не полагается!..

Следователь согласился, что смеяться Розе не полагается, жить ей тоже не надо, но убивать ее также вредно, потому что будет убыток в живой рабочей силе и мало будет назидания для остального населения. Следователь считал, что нужно бы из Розы сделать постоянный живой пример для устрашения населения, образец ужасной муки для всех непокорных; мертвые же не могут нести такой полезной службы, они вызывают лишь сочувствие живых и склоняют их к бесстрашию.

— Полжизни ей надо дать! — сказал «скорый Ганс». — Я из нее полудурку сделаю...

— Это что полудурка? — спросил следователь.

— Это я ее по темени,— показал себе на голову Ганс,— я ее по материнскому родничку надавлю рукой, а в руку возьму предметы по потребности.

— Роза скончает жизнь,— сказал следователь.

— Отдышитесь,— убедительно произнес «скорый Ганс»,— я ее умелой рукой, я ее до смерти не допущу...

«Он будет фюрер малого масштаба», — подумал следователь о Гансе и велел ему действовать.

Наутро Розу выпустили из тюрьмы. Она вышла оттуда в нищем платье, обветшалом еще от первых, давних побоев, и босая, потому что башмаки ее пропали в тюремной кладовой... Была уже осень, но Роза не чувствовала осенней прохладной поры: она шла по Рославлю с блаженной робкой улыбкой на прекрасном открытом лице, но взор ее был смутный и равнодушный, и глаза ее сонно глядели на свет. Роза видела теперь все правильно, как и прежде, — она видела землю, дома и людей; только она не понимала, что это означает, и сердце ее было сдавлено неподвижным страхом перед каждым явлением.

Иногда Роза чувствовала, что она видит долгий сон, и в слабом, неуверенном воспоминании представляла другой мир, где все было ей понятно и не страшно. А сейчас она из боязни улыбалась всем людям и предметам, томимая своим онемевшим рассудком. Ей захотелось проснуться, она сделала резкое движение, она побежала, но сновидение шло вместе с нею и окостеневший разум ее не пробудился.

Роза вошла в чужой дом. Там была в горнице старая женщина, молившаяся на икону богородицы.

— А где Роза? — спросила Роза, она смутно желала увидеть самое себя живой и здоровой, не помня теперь, кто она сама.

— Какая тут тебе Роза? — сердито сказала старая хозяйка.

— Она Роза была, — с беспомощной кротостью произнесла Роза.

Старуха поглядела на гостью.

— Была, а теперь, стало быть, нету... У фашистов спроси твою Розу — там всему народу счет ведут, чтоб меньше его было.

— Ты сердитая, злая старуха! — здраво сказала Роза. — Роза живая была, а потом она в поле ушла и скоро уж вернется.

Старуха всмотрелась в нищую гостью и попросила ее:

— А ну, сядь, посиди со мной, дочка.

Роза покорно осталась; старуха подошла к ней и опробовала одежду на Розе.

— Эх ты, побирушка! — сказала она и заплакала, имея свое, другое горе, а Роза ей только напомнила о нем.

Старуха раздела Розу, отмыла ее от тюремной грязи и перевязала раны, а потом обрядила ее, как невесту, в свое старое девичье платье, обула ее в прюнелевые башмаки и накормила чем могла.

Роза ничему не обрадовалась и к вечеру ушла из дому доброй старухи. Она пошла к выходу из города Рославля, но не могла найти ему конца и без рассудка ходила по улицам.

Ночью патруль отвел Розу в комендатуру. В комендатуре осведомились о Розе и наутро освободили ее, сняв с нее красивое платье и прюнелевые башмаки; взамен же ей дали надеть ветошь, что была на одной арестованной. Дознаться, кто одел и обул Розу, в комендатуре не могли — Роза была безответна.

На следующую ночь Розу опять привели в комендатуру. Теперь она была в пальто, с теплым платком на голове и посвежела лицом от воздуха и питания. В городе явно баловали и любили Розу оставшиеся люди, как героическую истину, привлекающую внимание к себе все обездоленные, павшие надеждой сердца.

Сама Роза об этом ничего не ведала, она хотела лишь уйти из города вдаль, в голубое небо, начинавшееся, как она видела, недалеко за городом. Там было чисто и просторно, там далеко видно, и та Роза, которую она с трудом и тоскою вспоминала, та Роза ходит в том краю, там она догонит ее, возьмет ее за руку, и та Роза уведет ее отсюда туда, где она была прежде, где у нее никогда не болела голова и не томилось сердце в разлуке с теми, кто есть на свете, но кого она сейчас забыла и не может узнать.

Роза просила прохожих увести ее в поле, она не помнила туда дорогу, но прохожие в ответ вели ее к себе, угощали, успокаивали и укладывали отдыхать. Роза слушалась всех, она исполняла просьбу каждого человека, а потом опять просила, чтоб ее проводили за руку в чистое поле, где просторно и далеко видно, как на небе.

Один маленький мальчик послушался Розы; он взял ее за руку и вывел в поле, на шоссе на дорогу. Далее Роза пошла одна. Дойдя до контрольного поста на дороге, где стояли двое немецких часовых, Роза остановилась возле них.

— Скорый Ганс, ты опять меня убьешь? — спросила Роза.

— Полудурка! — по-русски сказал один немец, а другой ударил ложем автомата Розу по спине.

Тогда Роза побежала от них прочь; она побежала в поле, заросшее бурьяном, и бежала долго. Немцы смотрели ей вслед и удивлялись, что так далеко ушла от них и все еще жива полудурка, — там был заминированный плацдарм. Потом они увидели мгновенное сияние, свет гибели полудурки Розы.

1943 год



## Константин Симонов

### ПЕСНЯ

На Кубани стояли дождливые осенние дни. Дороги, по которым прокатилось, проехало неисчислимое количество колес, стали почти непроходимыми, машины то буксовали в грязи, то с треском подпрыгивали на кочках и колдобинах. Армия отступала, шли бои, но немецкие танковые колонны каждый день прорывались в тыл, то на одну, то на другую дорогу, и обозы, тыловые учреждения, госпитали каждый день меняли свои места, откочевывали все глубже и глубже на юг.

В пять часов вечера на передовых, у разбитого снарядам сарая, остановилась старенькая санитарная летучка — дребезжащая расшатанная машина с дырявым брезентовым верхом. Из летучки вылезла ее хозяйка — военфельдшер Маруся, которую, впрочем, никто в дивизии по имени не называл, а все звали Малышкой, потому, должно быть, что она и в самом деле была настоящая малышка — семнадцатилетняя курносая девчонка с тонким, детским голосом и руками и ногами такими маленькими, что, казалось, на них во всей армии не подберешь подходящей пары перчаток или сапог.

Малышка соскочила с машины и, как всегда торопливо и отчетливо, стараясь придать своему хорошему лицу строгое выражение, спросила:

— Ну, где раненые?

Санитар, отодвинув разбитую створку двери, повел

Малышку внутрь сарая. Там, на грязной соломе, лежали семь тяжелораненых. Малышка вошла, посмотрела, сказала: «Ну, вот, сейчас я вас отвезу», — и потом еще что-то ласковое, что она всегда говорила раненым, а в это время ее привычный взгляд незаметно скользил с одного раненого на другого. Лица у всех были бледные, солома местами промокла от крови. Трое лежали с перебитыми ногами, двое были ранены в живот и в грудь, один в голову. Малышка физически, всем телом вспомнила ту дорогу, которую она только сейчас проделала из медсанбата, — двадцать километров страшных рытвин и ухабов, — и представила себе опять эти толчки и падения уже не на своем теле, а вот на этих кровотокающих, израненных телах, лежавших перед ней на земле. При этой мысли она даже поморщилась, словно от боли, но сейчас же вспомнила свои обязанности, как она их понимала, и на ее лицо вернулась обычная добрая улыбка, с которой она вот уже полгода вытаскивала из огня раненых, перевязывала их, увозила в тыл.

Сначала они с санитаром перенесли тех, кто был ранен в ноги, — их положили в кузов впереди, ближе к кабине. Потом перетащили еще троих. Теперь в летучке уже не оставалось места, и седьмого некуда было положить. Он полусидел у стенки сарая и то открывал глаза, то снова закрывал их, словно впадая в забытие. Малышка в последний раз вошла в сарай. Этого седьмого раненого приходилось оставить до следующей летучки. Но, когда она вошла и сделала шаг к нему, с тем чтобы сказать ему об этом, он, видимо, понял это так, как будто его сейчас тоже возьмут, и неуловимым движением, попытается приподняться, потянулся навстречу. Малышка встретила его взгляд — мучительный, терпеливый, такой ожидающий, что, несмотря ни на что, казалось невозможным оставить его здесь.

— Вы можете сидеть в кабине, а? — спросила она. — Сидя ехать можете?

— Могу, — сказал раненый и снова закрыл глаза.

Малышка вдвоем с санитаром вывела его из сарая, пропуская свою голову в кабину под мышку, дотащила его до машины и усадила в кабине на свое место.

— А вы, товарищ военфельдшер? — спросил шофер.

И раненый, почувствовав в этих словах шофера упрек себе, тоже тихо спросил:

— А вы где?



— А я на крыле, — сказала Малышка весело.

— Свалитесь, — угрюмо заметил шофер.

— Не свалюсь, — ответила Малышка и в доказательство этого, немедленно захлопнув за раненым дверцу, легла на крыло, вытянув ноги на подножку и крепко схватившись одной рукой за кабину, а другой за край крыла.

— Товарищ военфельдшер... — начал снова шофер.

Но Малышка крикнула, чтобы он ехал, тем строгим, не допускающим возражений голосом, который появлялся у нее тогда, когда дело касалось раненых и когда не понимали, что она, Малышка, лучше кого бы то ни было знает, что нужно делать для того, чтобы раненым было лучше.

Летучка тронулась. Сегодня с полудня дождь перестал, и дороги с чуть подсохшей грязью были особенно скользкие. На рытвинах летучка, как утка, перевалилась с боку на бок, вылетала из колеи и подпрыгивала с треском, который болью отдавался в ушах Малышки. Она чувствовала, как в этот момент в кузове раненых приподнимало и ударяло о дно машины. Два или три раза она сама чуть не свалилась на ухабах, но, уцепившись за крыло и все-таки удержавшись, сама себе улыбалась той улыбкой, которая у нее всегда появлялась после пережитой опасности.

К хуторку, где располагался санбат, подъехали уже перед самой темнотой. Малышка, соскочив с крыла, подбежала к знакомой хате, но около хаты, к ее удивлению, не было ни одной машины, не было заметно обычной суеты. Она вошла в хату: там было пусто. В следующей было тоже пусто. Только хозяйка безучастно стояла у кровати, перевертывая то на одну, то на другую сторону промокший от крови тюфяк.

— Уехали? — спросила Малышка.

— Да, — сказала хозяйка. — Вот уже час, как уехали. Сообщение какое-то к ним пришло: они все сложили быстро и уехали.

Малышка вернулась к своей летучке и, откинув брезент, заглянула внутрь кузова.

— Что, выгружаемся, сестрица? — спросил усатый казак, раненный в голову и в лицо и перевязанный так, что из-под бинтов торчали только одни его лохматые седые усы.

— Нет, милый, — ответила Малышка. — Нет, пока не

выгружаемся. Уехал отсюда медсанбат. Мы прямо в госпиталь поедем.

— А далеко это, сестрица? — спросил раненный в живот, лежавший навзничь, и застонал.

— А ты зря языком не болтай, — сердито сказал ему усатый. — Сколько будет, столько и поедем.

И Малышка поняла, что усатый рассердился не на вопрос «далеко ли», а на то, что раненый стопет при ней, при Малышке. У нее дрожали руки не от холода, а от усталости, от того, что всю дорогу приходилось так крепко цепляться за крыло, чтобы не упасть.

— Замерзли, сестрица? — спросил усатый.

— Нет, — сказала Малышка.

— А то мы потеснимся, садитесь к нам в кузов.

— Нет, — сказала Малышка. — Я ничего... Поедем поскорей.

Она снова легла на крыло, и машина двинулась. Было уже совсем темно. До госпиталя осталось еще двадцать километров. Дорога становилась все хуже и хуже. Где-то далеко слева виднелись вспышки орудийных выстрелов. Мотор два раза глох, шофер вылезал и, чертыхаясь, возился с карбюратором. Малышка не слезала с крыла во время остановок: ей казалось, что вот так, как сейчас, она продержится, а если слезет, то ее онемевшие пальцы не смогут снова ухватиться за крыло. По ее расчетам, машина уже проехала километров пятнадцать, когда начался дождь. Ветер бил навстречу, и дождь валил сплошной косой стеной, заливая лицо и глаза. Крыло стало скользким, и ей много раз казалось, что вот-вот она свалится.

Наконец они добрались до села. Когда шофер выключил мотор, Малышке почудилось что-то недоброе в той тишине, которая стояла в селе. Она соскочила с машины и, по колено проваливаясь в грязь, побежала к дому, где она как-то была у начальника госпиталя. Около дома стояла доверху груженная полупторка, у которой возились двое красноармейцев, пытаясь еще что-то втиснуть в кузов.

— Здесь госпиталь? — спросила Малышка.

— Был здесь, — сказал красноармеец. — Уехал два часа назад. Вот последние медикаменты грузим.

— И никого, кроме вас, нет? — спросила Малышка.

— Никого.

— А куда уехали?

Красноармеец назвал село, отстоящее на сорок километров отсюда.

— Никого тут? Ни врача ни одного, никого? — еще раз спросила Малышка.

— Нет. Вот нас задержали тут, чтобы направляли мы, кто будет приезжать.

Малышка побрела к летучке. Пять минут назад ей казалось, что вот-вот сейчас все это кончится, сейчас они приедут. Еще вот пригорок, еще поворот, еще несколько домов — и раненные будут уже в госпитале. А теперь еще сорок километров, — еще столько же, сколько они проехали.

Она подошла к летучке, посветила внутрь фонариком и произнесла:

— Товарищи...

— Что, сестрица? — сказал старый казак тоном, в котором чувствовалось, что он понимает, что придется ехать дальше.

— Уехал госпиталь, — сказала Малышка упавшим голосом. — Еще сорок километров до него ехать. Ну, как вы? Ничего вам, а? Потерпите?

В ответ послышался стон. Теперь застонали сразу двое. На этот раз усатый не прикрикнул на них. Видимо, он почувствовал, что стонут оттого, что нет уже больше сил человеческих.

— Дотерпим, — сказал он. — Дотерпим. Ты откуда сама-то, дочка?

— Из-под Каменской, — сказала Малышка.

— Значит, песни казачьи знаешь?

— Знаю, — сказала Малышка, удивленная этим вопросом, который, казалось ей, не имел никакого отношения к тому, дотерпят они или не дотерпят.

— «Скакал казак через долину, через манджурские края...» знаешь песню? — спросил усатый.

— Знаю.

— Ну вот, ты вези нас, а мы ее петь будем, пока не доедешь. Чтобы стонов этих самых не слышать было, песни играть будем. Поняла? А ты нам тоже подпевай.

— Хорошо, — сказала девушка.

Она легла на крыло, машина тронулась, и сквозь всплески воды и грязи и гудение мотора она услышала, как в кузове сначала один, потом два, потом три голоса затянули песню:

Скакал казак через долину,  
Через манджурские края.  
Скакал он, всадник одинокий,  
Блестит колечко на руке...

Дорога становилась просто страшной. Машина подпрыгивала на каждом шагу. Казалось, что вот-вот она сейчас перевернется в какую-нибудь яму. Дождь превратился в ливень, перед фарами летела сплошная стена воды. Но в кузове продолжали петь:

Она дарила, говорила,  
Что через год буду твоя.  
...Вот год прошел. Казак стрелю  
В село родное поскакал...

Незаметно для себя она начала подпевать. И когда она запела тоже, то почувствовала, что, наверное, им в кузове в самом деле легче оттого, что они поют, и, наверное, если кто-нибудь и стонет, то другие не слышат.

Через десять километров машина стала. Шофер снова начал прочищать карбюратор. Малышка слезла с крыла и заглянула в кузов. Теперь, когда мотор не шумел, песня казалась особенно громкой и сильной. Ее выводили во весь голос, старательно, — так, словно ничего другого, кроме песни, не было в эту минуту на свете.

Навстречу шла ему старушка  
И стала речи говорить...—

заводил усатый хриплым и сильным голосом.

— Тебе казачка изменила,  
Другому счастье отдала...—

подтягивали все остальные.

Малышка снова засветила свой фонарик. Луч света скользнул по лицам певших. У одного стояли в глазах слезы.

— Загаси, чего на нас смотреть, — сказал усатый. — Давай лучше подтягивай.

Заглушая стоны, песня звучала все сильнее и сильнее, покрывая шум барабанившего по мокрому брезенту дождя.

— Поехали! — крикнул шофер.

Машина тронулась.

Глубокий ночью, когда на окраине станицы санитары вместе с Малышкой подошли к летучке, чтобы наконец выгрузить раненных, из кузова все еще лилась песня...

Ее затягивали снова и снова. Голоса стали тише, двое или трое совсем молчали, должно быть, потеряв сознание, но остальные пели:

Напрасно ты, казак, стремишься,  
Напрасно мучаешь коня.  
Казак свернул коня налево,  
Во чисто поле поскакал...

— До свидания, сестрица,— сказал усатый, когда его осторожно клали на носилки.— Значит, под Каменской живешь? После войны приеду сына за тебя сватать.

Он был весь мокрый, даже усы, намоченные дождем, по-запорожски обвисли вниз. Но в последний момент Малышке показалось, что его забинтованное лицо улыбнулось озорной, почти мальчишеской улыбкой.

Она заснула не раздеваясь в приемном покое, присев на корточках на полу у печки. Ей снилось, что по долине скачет казак, а она едет в своей летучке и никак не может догнать его, а летучка подпрыгивает, и Малышка вздрагивала во сне.

— Замучилась, бедная,— сказал проходивший врач.

Вдвоем с санитаром они стащили с нее промокшие сапоги и, положив под нее одну шинель, накрыли ее другой.

А шофер, который был настоящим шофером, и, уже приехав, все-таки не мог успокоиться, не узнав, что такое с проклятым карбюратором, сидел в хате вместе с шоферами, исправлял карбюратор и говорил:

— Восемьдесят километров проехали. Ну, Малышка, ясно,— она и черта заставит ехать, если для раненых нужно,— одним словом,— сестра милосердия.

1943 год



**Александр Фадеев**

**БЕССМЕРТИЕ**

«Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной, многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь:

196

беспрекословно выполнять любое задание, данное мне старшим товарищем;

хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в «Молодой гвардии»!

Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть тридцати шахтеров-героев. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебания.

Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей.

Кровь за кровь! Смерть за смерть!»

Эту клятву на верность Родине и борьбу до последнего вздоха за ее освобождение от гитлеровских захватчиков дали члены подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» в городе Краснодоне, Ворошиловградской области. Они давали ее осенью 1942 года, стоя друг против друга в маленькой горенке, когда пронзительный осенний ветер завывал над порабощенной и опустошенной землей Донбасса. Маленький городок лежал, затаившись во тьме, в горняцких домах стояли фашисты, одни продажные шкуры-полицейские да заплочных дел мастера из гестапо в эту темную ночь обшаривали квартиры граждан и зверствовали в своих застенках.

Старшему из тех, кто давал клятву, было девятнадцать лет, а главному организатору и вдохновителю Олегу Кошевому — шестнадцать.

Сурова и неприятна открытая донецкая степь, особенно поздней осенью или зимой, под леденящим ветром, когда смерзается комьями черная земля. Но это наша кровная Советская земля, заселенная могучим и славным угольным племенем, дающая энергию, свет и тепло нашей великой Родине. За свободу этой земли в гражданскую войну сражались лучшие ее сыны во главе с Климом Ворошиловым и Александром Пархоменко. Она породила прекрасное стахановское движение. Советский человек глубоко проник в недра донецкой земли, и по неприятному лицу ее выросли мощные заводы — гордость нашей технической мысли, залитые светом социалистические города, наши школы, клубы, театры, где расцветал и раскрывался во всю свою духовную

197

силу великий советский человек. И вот эту землю топтал враг. Он шел по ней, как смерч, как чума, ввергая во тьму города, превращая школы, больницы, клубы, детские ясли в казармы для постоя солдат, в конюшни, в застенки гестапо.

Огонь, веревка, пуля и топор — эти страшные орудия смерти стали постоянными спутниками жизни советских людей. Советские люди были обречены на мучения, невыносимые с точки зрения человеческого разума и совести. Достаточно сказать, что в городском парке города Краснодона фашисты живьем зарыли в землю тридцать шахтеров за отказ явиться на регистрацию на «биржу труда». Когда город был освобожден Красной Армией и начал отрываться погибших, они так и стояли в земле: сначала обнажились головы, потом плечи, туловища, руки.

Ни в чем не повинные люди вынуждены были уходить из родных мест, скрываться. Рушились семьи. «Я распрощалась с папой, слезы ручьями потекли из глаз, — рассказывает Валя Борц — член организации «Молодая гвардия». — Какой-то неведомый голос, казалось, шептал: «Ты его видишь в последний раз». Он пошел, а я стояла до тех пор, пока он не скрылся из виду. Сегодня еще этот человек имел семью, угол, приют, детей, а теперь он, как бездомная собака, должен скитаться. А сколько замучено, расстреляно!»

Молодежь, всякими способами уклонявшуюся от регистрации, хватала насильно и угоняли на рабский труд в Германию. Поистине душераздирающие сцены можно было видеть в эти дни на улицах городка. Грубые окрики и брань полицейских сливались с рыданием отцов и матерей, от которых насильно отрывали дочерей и сыновей.

И страшным ядом лжи, распространяемой гнусными фашистскими газетенками и листовками о падении Москвы и Ленинграда, о гибели советского строя, стремился враг разложить душу советских людей.

Это была наша молодежь — та самая, которая растет, воспитывается в советской школе, пионерскими отрядами, комсомольскими организациями. Враг стремился истребить в ней дух свободы, радость творчества и труда, привитые советским строем. И в ответ на это юный советский человек гордо поднял свою голову.

Вольная советская песня! Она сроднилась с советской молодежью, она всегда звенит в душе ее.

«Один раз идем мы с Володей в Свердловку к бабушке. Было совсем тепло. Летают над головами самолеты. Идем степью. Никого кругом. Мы запели: «Спят курганы темные... Вышел в степь донецкую парень молодой». Потом Володя говорит:

— Я знаю, где наши войска находятся.

Он мне начал рассказывать сводку. Я бросилась к Володе и начала его обнимать».

Эти простые строки воспоминаний сестры Володи Осьмухина нельзя читать без волнения. Непосредственными руководителями «Молодой гвардии» были Кошевой Олег Васильевич, 1926 года рождения, член ВЛКСМ с 1940 года, Земнухов Иван Александрович, 1923 года рождения, член ВЛКСМ с 1941 года. Вскоре патриоты привлекают в свои ряды новых членов организации — Ивана Туркенича, Степана Сафонова, Любу Шевцову, Ульяну Громову, Анатолия Попова, Николая Сумского, Володю Осьмухина, Валю Борц и других. Олег Кошевой был избран комиссаром. Командиром штаб утвердил Туркенича Ивана Васильевича, члена ВЛКСМ с 1940 года.

И эта молодежь, не ведавшая старого строя и, естественно, не проходившая опыта подполья, в течение нескольких месяцев срывает все мероприятия фашистских поработителей и вдохновляет на сопротивление врагу население города Краснодона и окружающих поселков — Изварина, Первомайки, Семейкина, где создаются ответвления организации. Организация разрастается до семидесяти человек, потом насчитывает уже свыше ста — детей шахтеров, крестьян и служащих.

«Молодая гвардия» сотнями и тысячами распространяет листовки — на базарах, в кино, в клубе. Листовки обнаруживаются на здании полиции, даже в карманах полицейских. «Молодая гвардия» устанавливает четыре радиоприемника и ежедневно информирует население о сводках Информбюро.

В условиях подполья происходит прием в ряды комсомола новых членов, на руки выдаются временные удостоверения, принимаются членские взносы. По мере приближения советских войск готовится вооруженное восстание и самыми различными путями добывается оружие.

В это время ударные группы проводят диверсионные и террористические акты.

В ночь с 7 на 8 ноября группа Ивана Туркенича повесила двух полицейских. На груди повешенных оставили плакаты: «Такая участь ждет каждого продажного пса».

9 ноября группа Анатолия Попова на дороге Гундоровка — Герасимовка уничтожает легковую машину с тремя высшими гитлеровскими офицерами.

15 ноября группа Виктора Петрова освобождает из концентрационного лагеря в хуторе Волчанске 75 бойцов и командиров Красной Армии.

В начале декабря группа Мошкова на дороге Краснодон — Свердловск сжигает три автомашины с бензином.

Через несколько дней после этой операции группа Тюленина совершает на дороге Краснодон — Ровеньки вооруженное нападение на охрану, которая гнала 500 голов скота, отобранного у жителей. Уничтожает охрану, скот разгоняет по степи.

Члены «Молодой гвардии», устроившиеся по заданию штаба в оккупационные учреждения и на предприятия, умелыми маневрами тормозят их работу. Сергей Левашов, работая шофером в гараже, выводит из строя одну за другой три машины. Юрий Виценовский устраивает на шахте несколько аварий.

В ночь с 5 на 6 декабря отважная тройка молодогвардейцев — Люба Шевцова, Сергей Тюленин и Виктор Лукьянченко проводят блестящую операцию по поджогу «биржи труда». Уничтожением «биржи труда» со всеми документами молодогвардейцы спасли несколько тысяч советских людей от угона в фашистскую Германию.

В ночь с 6 на 7 ноября члены организации вывешивают на зданиях школы, бывшего райпотребсоюза, больницы и на самом высоком дереве городского парка красные флаги. «Когда я увидела на школе флаг,— рассказывает жительница города Краснодона М. А. Литвинова,— невольная радость, гордость охватили меня. Разбудила детей и быстренько побежала через дорогу к Мухиной. Ее я застала стоящей в нижнем белье на подоконнике, слезы ручьями расползались по ее худым щекам. Она сказала: «Марья Алексеевна, ведь это сделано для нас, советских людей. О нас помнят, мы нашими не забыты».

Организация была раскрыта полицией потому, что она вовлекла в свои ряды слишком широкий круг молодежи, среди которой оказались и менее стойкие люди. Но во время страшных пыток, которым подвергли членов

«Молодой гвардии» озверевшие враги, с невиданной силой раскрылся нравственный облик юных патриотов, облик такой духовной красоты, что он будет вдохновлять еще многие и многие поколения.

Олег Кошевой. Несмотря на свою молодость, это великодушный организатор. Мечтательность соединилась в нем с исключительной практичностью и деловитостью. Он был вдохновителем и инициатором ряда героических мероприятий. Высокий, широкоплечий, он весь дышал силой и здоровьем и не раз сам был участником смелых вылазок против врага. Будучи арестован, он бесил гестаповцев непоколебимым презрением к ним. Его жгли раскаленным железом, запускали в тело иголки, но стойкость и воля не покидали его. После каждого допроса в его волосах появлялись седые пряди. На казнь он шел совершенно седой.

Иван Земнухов — один из наиболее образованных, начитанных членов «Молодой гвардии», автор ряда замечательных листовок. Внешне нескладный, но сильный духом, он пользовался всеобщей любовью и авторитетом. Он славился как оратор, любил стихи и сам писал их (как, впрочем, писал их и Олег Кошевой, и многие другие члены «Молодой гвардии»). Иван Земнухов подвергался в застенках самым зверским пыткам и истязаниям. Его подвешивали в петле через специальный блок к потолку, отливали водой, когда он лишался чувств, и снова подвешивали. По три раза в день били плетью из электрических проводов. Полиция упорно добивалась от него показаний, но не добились ничего. 15 января он был вместе с другими товарищами сброшен в шурф шахты № 5.

Сергей Тюленин. Это маленький, подвижный, стремительный юноша-подросток, вспыльчивый, с задорным характером, смелый до отчаянности. Он участвовал во многих самых отчаянных предприятиях и лично уничтожил немало врагов. «Это был человек дела,— характеризуют его оставшиеся в живых товарищи.— Не любил хвастунов, болтунов и бездельников. Он говорил: «Ты лучше сделай, и о твоих делах пускай расскажут люди».

Сергей Тюленин был не только сам подвергнут жестоким пыткам, при нем пытали его старую мать. Но как и его товарищи, Сергей Тюленин был стоек до конца.

Вот как характеризует четвертого члена штаба «Молодой гвардии» — Ульяну Громову Мария Андреевна Борц, учительница из Краснодона: «Это была девушка высокого роста, стройная брюнетка с вьющимися волосами и красивыми чертами лица. Ее черные, пронизывающие глаза поражали своей серьезностью и умом... Это была серьезная, толковая, умная и развитая девушка. Она не горячилась, как другие, и не сыпала проклятий по адресу истязателей... «Они думают удержать свою власть посредством террора,— говорила она.— Глупые люди! Разве можно колесо истории повернуть назад...»

Девочки попросили ее прочесть «Демона». Она сказала: «С удовольствием! Я «Демона» люблю. Какое это замечательное произведение! Подумайте только, он восстал против самого бога!» В камере стало совсем темно. Она приятным, мелодичным голосом начала читать... Вдруг тишину вечерних сумерек пронизал дикий вопль. Громова перестала читать и сказала: «Начинается!» Стоны и крики все усиливались. В камере была гробовая тишина. Так продолжалось несколько минут. Громова, обращаясь к нам, твердым голосом прочла:

Сыны снегов, сыны славян,  
Зачем вы мужеством упали?  
Зачем? Погибнет ваш тиран,  
Как все тираны погибали.

Ульяну Громову подвергли нечеловеческим пыткам. Ее подвешивали за волосы, вырезали ей на спине пятиконечную звезду, прижигали тело каленым железом и раны присыпали солью, сажали на раскаленную плиту. Но и перед самой смертью она не пала духом и при помощи шифра «Молодой гвардии» выстукивала через стены ободряющие слова друзьям: «Ребята! Не падайте духом! Наши идут. Крепитесь. Час освобождения близок. Наши идут. Наши идут...»

Ее подруга Любовь Шевцова по заданию штаба работала в качестве разведчицы. Она установила связь с подпольщиками Ворошиловграда и ежемесячно по несколько раз посещала этот город, проявляя исключительную находчивость и смелость. Одевшись в лучшую платье, изображая «ненавистницу» Советской власти, дочь крупного промышленника, она проникала в среду вражеских офицеров и похищала важные документы. Шевцову пытали дольше всех. Ничего не добившись,

городская полиция отправила ее в уездное отделение жандармерии Ровенек. Там ей загоняли под ногти иголки, на спине вырезали звезду. Человек исключительной жизнерадостности и силы духа, она, возвращаясь в камеру после мучений, назло палачам пела песни. Однажды во время пыток, заслышав шум советского самолета, она вдруг засмеялась и сказала: «Наши голосок подают».

7 февраля 1943 года Люба Шевцова была расстреляна.

Так, до конца сдержав свою клятву, погибло большинство членов организации «Молодая гвардия», в живых осталось всего несколько человек. С любимой песней Владимира Ильича «Замучен тяжелой неволей» шли они на казнь.

«Молодая гвардия» — это не одиночное исключительное явление на территории, захваченной фашистскими оккупантами. Везде и повсюду борется гордый советский человек. И хотя члены боевой организации «Молодая гвардия» погибли в борьбе, они бессмертны, потому что их духовные черты есть черты нового советского человека, черты народа страны социализма.

Вечная память и слава юным молодогвардейцам — героическим сынам бессмертного советского народа!

15 сентября 1943 года



## Сергей Борзенко

### ДЕСАНТ В КРЫМ

Ночью редактор армейской газеты, в которой я работал, вызвал всех литературных сотрудников к себе на квартиру.

— Все подготовлено к операции. Кто из вас хочет добровольно отправиться в десант? — спросил он, по обыкновению нахмурившись.

Я согласился<sup>1</sup> и утром с работником редакции майором

<sup>1</sup> Автор этого очерка за личные подвиги во время захвата плацдарма на крымском берегу был удостоен звания Героя Советского Союза. (Примеч. составителя.)

Семиохинным уехал в Тамань, в Новороссийскую дивизию, которая должна была первой форсировать Керченский пролив.

Приехали мы к началу митинга. В Таманском яру находился полк, имевший уже опыт десантной высадки в Новороссийской бухте.

Полк выстроился в каре. На правом фланге стоял приданный ему отдельный батальон морской пехоты капитана Николая Белякова.

После митинга, на котором торжественно в строю была принята клятва — не щадить жизни во имя победы, все вернулись на свои квартиры, но через два часа стало известно, что из-за сильного ветра операция откладывается.

Ночевал я с Ваней Семиохинным в семье Поповых. Гостеприимная хозяйка Александра Максимовна угощала нас немецким эрзац-кофе и плоскими пирогами с тыквой — чисто украинским кушаньем.

Ваня, не скрывая своего восхищения, смотрел на красивую Галочку, дочь Александры Максимовны, и искренне удивлялся, как немцы не увезли ее с собой. Оказывается, несколько девушек прятались во дворе, в яме, накрытой стогом соломы. Они жили там свыше месяца, по ночам получая еду и воду. Сидя в яме, девушки слышали, как во двор заходили солдаты, как за каменным забором по узкоколейке проходили эшелоны, в которых фашисты увозили невольниц, слышали их плач и крики. В день бегства оккупантов через пролив Галочка услышала причитания матери. В соседних дворах гитлеровцы поджигали солому. Надо было иметь не девичье мужество, чтобы в такой момент оставаться в яме.

Как только стемнело, хозяева ушли ночевать в блиндаж, построенный у них во дворе немцами. Каждую ночь, несмотря на холод, они уходили туда. Бабушка уснула на своем обычном месте под столом, уверенная, что там она в полной безопасности от снарядов и бомб. Мы с Ваней легли на чистую мягкую постель, но долго не могли заснуть. Через каждые десять минут с Керченского полуострова прилетал тяжелый снаряд. Снаряды рвались между портом и церковью — недалеко от нашего дома. Один упал на улице, два во дворе, осыпав крышу и стены дома осколками.

Утром я пошел на берег. Ветер гнал по морю бело-гривые волны. У пристани из воды торчали пулеметы затонувшего сторожевого катера, труба какого-то

сейнера. Несколько мотоботов, выброшенных на берег, напоминали огромных рыб.

Освещенный солнцем неприятельский берег был хорошо виден. Немцы вели пристрелку своих отмелей. Ветер валил с ног. Пуститься в такую погоду через пролив было безумием. Операция откладывалась. Так продолжалось несколько суток.

Тридцать первого октября на обрывистом берегу я встретил командующего фронтом генерала армии И. Е. Петрова. Около часа, не отрываясь, смотрел он на море. Лицо его покраснело от ветра. Море бушевало еще сильнее, чем в предыдущие дни. Темнота наступала раньше обычного. Мне подумалось, что ждать дольше нельзя и, несмотря на непогоду, командующий отдаст приказ — отправиться в десант. Я пошел в морской батальон капитана Белякова. Батальон стоял, выстроившись во дворе школы, готовый к погрузке на суда.

Совсем стемнело, когда мы спустились к пристани. Наш батальон грузился первым. Я решил отправиться с Беляковым и спустился в мотобот, в котором должен был ехать. В мотоботе уже сидели автоматчики и связисты, на носу стояла 45-миллиметровая пушка и станковый пулемет. Мотобот мог взять сорок пять человек, но в самый последний момент нам добавили еще пятнадцать. Я оглядел тех, с кем меня сейчас соединила судьба. Все это были русские моряки, из которых каждый был готов умереть за родину.

В двенадцатом часу ночи отчалили от пристани. Мотобот был явно перегружен. Когда кто-то из рядовых попытался пройти по борту, возмущенный старшина крикнул:

— Эй, ты, осторожнее ходи, а то мотобот перевернешь.

Наша эскадра вышла в море. В ушах долго звучал напутственный крик оставшихся на берегу товарищей:

— Счастливого плавания!

Накрывшись плащ-палатками, с мешками за плечами, в которых лежали патроны и неприкосновенный запас пищи, бойцы сидели в мотоботах, которые тащили на буксире бронекатера, на гребных баркасах и даже на плотках, поставленных на пустые железные бочки. Дул сильный северный ветер, было холодно, и люди старались не шевелиться, сохраняя в стеганках и шинелях тепло. Рядом со мной сидел мой связной, двадцатилетний паренек из Сталинграда Ваня Сидоренко.

Как только вышли в море, запахло спиртом. Матросы стали прикладываться к неприкосновенному запасу.

— Хлебом! — предложил мне Сидоренко, отвинчивая крышку фляги.

— Да, но ведь водка нам пригодится на том берегу.

— А вдруг нас побьют раньше, чем мы доберемся до того берега. Пропадет водка.

Довод оказался резонным, и мы сделали по несколько глотков.

Миновали красный и зеленый огоньки на песчаном острове Тузла и резко повернули на запад. Волны, ударяя в борт, начали заливать мотобот. Пришлось выливать воду. Вычерпывали ее шапками и котелками. Все дрожали, были мокры с головы до ног. У неприятельского берега по небу и морю шарил прожектор: очевидно, фашистов донимали наши ночные самолеты. Вдруг в кромешной темноте раздались один за другим три ярких взрыва. Три катера напоролось на морские мины.

Кто-то крикнул:

— Осторожней, идем через минное поле...

Мы продолжали двигаться вперед. Несколько раз посматривал я на часы. Время тянулось медленно. Никто не разговаривал, в голове была одна мысль — скорей бы начался бой.

Без четверти пять лучи прожекторов, до того лениво пробегавшие по волнам, осветили нас и задержались на судах. Я увидел десятки катеров и мотоботов, идущих рядом. Свет слепил глаза. Нас обнаружили.

В этот момент вдали, потрясая небо и море, грянул страшный гром. На неприятельском берегу рвались клубы огня. Это началась артиллерийская подготовка. Наши тяжелые пушки с Таманского полуострова били по береговым укреплениям фашистов. Снаряды, нагнетая воздух, летели через наши головы. Бронекатера отцепили мотоботы, заработали моторы, и мы пошли своим ходом.

Снаряды зажгли на берегу несколько строений и стогов сена. Пламя пожаров послужило ориентирами, ибо в такой темени было легко заблудиться, пристать не туда, куда надо. Суда двигались на огонь. Снова вспыхнули прожекторы. Немцы начали стрелять осветительными снарядами, бросать сотни ракет. В их дрожащем свете мы увидели высокие уютные берега и белые домики. Хотелось как можно лучше рассмотреть берег, на котором

предстояло драться. Два мотобота с бойцами, которые должны были высаживаться первыми, были подожжены снарядами в двухстах метрах от берега. В отсветах зловещего пламени мы видели, как люди бросались в черную воду. Снаряды рвались вокруг, поднимая столбы холодной воды, обдавая людей колючими брызгами. Страшным казалось бурное море, до самого дна освещенное разрывами.

Наш мотобот оказался первым и полным ходом пошел к берегу. Разорвавшийся в середине снаряд вывел из строя один мотор. Но загоревшийся мотобот продолжал идти. Его как бы увлекал вперед гудящий парус огня. Пламя сжигало ресницы и брови, но податься было некуда. Те, кто оказался подальше от огня, протягивали вперед озябшие руки.

В мотобот уперлась огненная струя: крупнокалиберный пулемет бил трассирующими пулями. Люди стояли плотно, плечом к плечу. Даже убитые продолжали стоять с лицами, обращенными к врагу. Несколько малокалиберных снарядов разорвалось в мотоботе. Умирающие медленно оседали вниз.

Я поднялся на борт и, сделав трехметровый прыжок, прыгнул на крымскую землю. Мотобот врезался в песок. Морская пехота стала прыгать в воду. С невероятной быстротой выгрузили пушку и пулемет. После мотобота на земле было очень просторно.

Перед нами оказался дот, из которого бил крупнокалиберный пулемет. Я видел, как к нему бросился Беляков, прижался к стене, сунул в амбразуру противотанковую гранату.

Я подался вправо. Бойцы падали на песок перед колючей проволокой. Между ними рвались сотни снарядов. Мы раскрывали рты, чтобы сбереечь барабанные перепонки и не оглохнуть. Острый и опасный, как бритва, луч прожектора осветил нас. Моряки увидели мои погоны — я был среди них старший по званию, — крикнули:

— Что теперь, товарищ майор?

— Саперы, ко мне!

Как из-под земли, появилось шесть саперов.

— Резать проволоку.

— Подорвемся. Мины...

Но я и сам знал, что к каждой нитке подвязаны толовые заряды, чуть дернешь, и сразу — взрыв.

— Черт с ними. Если взорвемся, то вместе.



Присутствие старшего офицера ободрило саперов. Они сработали ювелирно. Прошло несколько минут, проход был проделан. Теперь кому-то надо было рвануться вперед, увлечь за собой. Это было трудно сделать, ибо, лежа перед проволокой, можно было на пять минут прожить дольше. В упор по нашей группе прямой наводкой была пушка, рядом я узнал Цибизова — командира роты автоматчиков, слышал, как Беляков посылал кого-то заткнуть пушке глотку.

Вдруг я увидел золотоволосую, синеглазую девушку. Она поднялась во весь рост и, закружившись в каком-то дивном танце, обогнала нас.

— Вперед! Здесь нет мин. Видите, я танцую.

Этот танец в свете прожекторов и взрывов потрясал. Я перебрал автомат через плечо, бросился к ней, спросил ее фамилию.

— А идите вы к черту, — ответила девушка, не различая моих погон, повернувшись назад, насмешливо крикнула: — Братишки, тушуетесь... Мозоли на животах натрете, ползая по земле...

Какой моряк мог допустить, чтобы девушка была впереди него в атаке?

Несколько человек все же взорвались на минах.

В это время над головами у нас прошел маленький самолет. Самолет снижался на прожектор, стреляя из пулемета. Я различил на крыльях красные звезды. Свет погас. Справа и слева гудели такие же самолеты, и я подумал, как вовремя они прилетели. Это были самолеты из женского авиационного полка Е. Бершанской. Я знал, что среди них находится самолет, пилотируемый маленькой черненькой девочкой — Мариной Чечневой.

Все бросились вперед, пробиваясь через огненную метель трассирующих пуль.

У мыса ударил луч второго прожектора, осветил дорогу, вишневые деревья, каменные домики поселка. Оттуда строчили пулеметы и автоматчики. У нас почему-то никто не стрелял.

— Огонь! — закричал я не своим голосом.

Моментально затрещали наши автоматы, и мы увидели бегущих и убитых на нашем пути врагов.

— Вперед! За родину! — закричали моряки, врываясь в поселок, забрасывая гранатами дома, в которых засели гитлеровцы. Победный клич этот, подхваченный всеми бойцами, поражал оккупантов так же, как огонь. Гит-

леровцы стреляли из окон, чердаков и подвалов, но первая, самая страшная линия прибрежных дотов, колючей проволоки и минных полей уже была обойдена. Доты мы атаковали с тыла и перебили там всех сопро-тивляющихся.

Бой шел на улицах. Начинало светать, и я увидел пехоту, высаживавшуюся правее нас.

— Вперед, на высоты! — сорвавшимся голосом кричал человек, в котором я узнал командира стрелкового батальона Петра Жукова.

Высоты, вырисовывающиеся при свете ракет, казались, у самого моря, на самом деле были за поселком, в трехстах метрах от берега. Пехота устремилась на высоты.

И тут я вспомнил, что я корреспондент, что моя задача написать пятьдесят строк в номер, что газета не будет печататься до получения моей заметки. Вся армия, все сто пятьдесят тысяч человек должны перебираться через пролив, и им интересно знать, как это происходит.

Я, вместе со своим связным Ваней Сидоренко, вскочил в первый попавшийся дом. На столе стояли недопитые бутылки вина. Я отодвинул их и в несколько минут написал первую корреспонденцию. В ней упомянул офицеров Николая Белякова, Петра Дейкала, Платона Цикаридзе, Ивана Цибизова, Петра Жукова, которых видел храбро дерущимися в момент высадки и которым впоследствии правительство присвоило звание Героя Советского Союза.

Было важно дать знать читателям-бойцам, что мы не погибли, а зацепились за Керченский полуостров и продолжаем вести борьбу. Корреспонденция «Наши войска ворвались в Крым» оканчивалась словами: «Впереди жестокие бои за расширение плацдарма».

Едва я закончил писать, как в дом попал снаряд. Камни обрушились на голову, ослепительные искры, радужные круги и темные пятна заходили перед глазами. Тело почувствовало смертельную усталость, пол ушел из-под ног. Я потерял сознание. Ваня Сидоренко влил мне в рот несколько капель водки и привел в чувство.

Завернув корреспонденцию, чтобы она не промокла в воде, в противоипритную палатку, мы со связным бросились к берегу.

Там, под сильным неприятельским огнем, разгружался

последний мотобот. Я посадил в него связного и ужаснулся. Около сотни наших судов, не подойдя к берегу из-за сильного артиллерийского огня противника, повернули обратно к Тамани. Несколько судов горело.

Мотобот отошел. Я пробежал на высоты и, оглянувшись, увидел, как два снаряда зажгли мотобот. Команда, сбивая пламя, упорно уводила судно от берега.

Я добежал до группы бойцов, атакующих огромный дот, издали похожий на курган. Пулемет уже был разбит гранатой, два автомата стреляли из амбразуры. Я с одним красноармейцем забежал с тыльной стороны дота. На бетонной лестнице показался фашистский офицер, выстрелил в упор из автомата, убил красноармейца, пулями сбил с меня фуражку, с кожей сорвал прядку волос. Если бы я не отклонился, вся очередь вошла бы мне в голову. Я дернул за спусковой крючок своего ППД, но выстрела не последовало. Диск уже был пуст. Раздумывать было некогда. Со всей силой с хода я ударил носком солдатского сапога врага по голове. Он качнулся, уронил автомат, но я уже не помнил себя от ярости. В руках был наган. Раздался выстрел, офицер упал. На шее его висел новенький железный крест, я сорвал его и сунул в карман на память.

Пятнадцать лет я играл в футбол и хоккей и ни капельки не жалею потраченного на это времени. Стоило пятнадцать лет заниматься спортом, чтобы в такой момент ловкостью спасти жизнь, убить хитрого и сильного врага.

Вместе с красноармейцами я вошел внутрь дота. Здесь был у немцев командный пункт с прекрасным обзором моря. На столе валялись документы, игральные карты, письма, фотографии женщин, коробки сигар.

На столе дребезжал телефон. Я снял трубку. Властный старческий голос торопливо спрашивал по-немецки, что случилось.

— Мы уже здесь, — крикнул я в трубку по-русски.

Из-под кроватей матросы выволокли двух насмерть перепуганных офицеров. Они сказали, что ждали наш десант, но не в такую бурную ночь и не в Эльтиген, один из своих крупнейших опорных пунктов. В обороне здесь находилась портовая команда и один батальон 98-й немецкой пехотной дивизии.

С командиром роты автоматчиков Цибизовым мы прошли по всему фронту слева направо мимо десятков уже

обезвреженных дотов, видели десятки захваченных пушек, штабеля снарядов к ним. С пушек были сняты замки. Перед глазами простирался простор бесконечно милой степи. Свистел серебряный осенний ветер. Был день, но в небе почему-то еще стояла призрачная луна.

У моста по дороге в Камыш-Бурун я встретил капитана Белякова. Батальон его, хотя и не полностью высадившийся, развивал успех. Были взяты ряд курганов и господствующая на местности высота. По всему полю бежали немцы. Я с восторгом глядел на курганы — немых свидетелей давних лет.

— Сейчас я возьму Камыш-Бурун, — сказал Беляков, вытирая чистым носовым платком вспотевший лоб.

— Постой, какую тебе поставили задачу?

— Дойти до дамбы.

— На этом ограничимся... Нас здесь не больше пятисот человек. Не стоит расплывать силы.

Беляков и его заместитель по политической части капитан Рыбаков решили занять оборону. Благо поблизости оказались прошлогодние окопы, которые матросы быстро углубили и привели в порядок.

Самолет сбросил вымпел. В записке просили сообщить обстановку и спрашивали, где командир дивизии — полковник Гладков.

Штаб дивизии с нами не высадился, не высадились также командиры полков. Где находился командир дивизии, мы не знали.

К девяти часам утра с Камыш-Буруна гитлеровцы подвезли семнадцать автомашин с автоматчиками и пошли в атаку на узком участке роты капитана Андрея Мирошника, впоследствии Героя Советского Союза. Вся наша передняя линия кипела от минометных и артиллерийских разрывов. Сотни снарядов беспрерывно рвались среди окопов. Жужжали осколки, выкашивая бурьян. Азарт боя был настолько велик, что тяжелораненые ограничивались перевязкой и продолжали сражаться. Красноармеец Петр Зноба, раненный в грудь, убил восемь фашистов и заявил, что скорее умрет, чем покинет сражающихся товарищей. Первая атака была отбита. Потеряв много убитых и не подбирая трупы, враги отошли на исходный рубеж.

Через час подошли двенадцать танков и семь «фердинандов».

— Ну, после холодной морской воды начнется горячая

банка, — заметил Рыбаков. — Сейчас мы их поматросим и забросим.

— Чем больше опасности, тем больше славы, — ответил ему лейтенант Федор Калинин, комсорг батальона, заменивший утонувшего начальника штаба.

Не задерживаясь, грозные машины ринулись в атаку. За ними в полный рост шли автоматчики, горланя какую-то песню. Немцы наступали в стык между морским батальоном и батальоном Жукова. Их было в два раза больше, чем нас.

Танки двигались, словно огромные ящерицы, волоча за собой хвосты пыли. Настала тишина. Я слышал, как тикали часы. Посмотрел на циферблат — было десять минут одиннадцатого.

Одновременно раздался два выстрела, будто наспех хлестнули бичом. Стреляли две 45-миллиметровые пушки нашего десанта. Один танк вспыхнул и помчался в сторону, пытаясь сбить разгоравшееся на нем пламя. Его подбил наводчик Кидацкий. Он боялся потерять хоть одно мгновение и посылал снаряд за снарядом. Разнес крупнокалиберный пулемет, уничтожил несколько автоматчиков. «Фердинанд» разбил Кадицкому пушку. Второе орудие тоже было разбито. Уцелевшие артиллеристы взялись за винтовки.

Бой с танками повела пехота. На младшего сержанта Михаила Хряпа и красноармейца Степана Рубанова шли четыре танка. Было что-то злое и трусливое, я бы сказал, крысиное в этих серых машинах. Два бойца мужественно пропустили их через свой окоп и автоматным огнем уложили около 40 автоматчиков, следовавших за машинами. Если бы эти бойцы не выдержали, побежали, их наверняка убили бы, но они сражались и стали победителями.

Все видели разумный их подвиг. Бойцы Букель и Дубковский из противотанковых ружей подожгли по одному танку. Рядовой Николай Кривенко уничтожил танк противотанковой гранатой. Как нигде, проявилась в этом бою молодость, сила, страстная жажда жизни. Десантники уничтожали танки, не умирая сами.

Над нами пронеслись звенья краснозвездных штурмовиков. С бреющего полета они расстреливали вражескую пехоту, танки и пушки.

Артиллерия с Таманского полуострова непрерывно била через пролив шириной в восемнадцать километров

по скоплениям гитлеровцев. Но контратаки не прекращались ни на минуту. Ценою любых потерь немцы хотели сбросить нас в море.

Во втором часу дня в цепь к нам приполз бородатый Андроник Сафаро — связной из штаба полка. Узнав, что я корреспондент, он сказал, что обо мне беспокоится начальник штаба полка майор Дмитрий Ковешников и заместитель командира полка по политчасти майор Абрам Мовшович, они послали его разыскать меня. Сафаро сказал, что руководство всей операцией взял на себя Ковешников. Я знал его по штурму Новороссийска. Это был настоящий герой, высокообразованный, талантливый и бесстрашный офицер. Ковешникова знала вся армия. Командующий и рядовые солдаты любили и берегли его. Небольшого роста, с неприметным лицом, он был красив в бою мужественной красотой, и как-то так получалось всегда, что он становился душой сражения, в котором ему приходилось участвовать.

Воспользовавшись очередным налетом авиации, когда огонь немцев несколько затухал, мы с Андроником бросились бежать к поселку.

Штаб находился в темном подвале дома, крыша которого была снесена взрывом. В воздухе стоял сладкий и нежный аромат поздних осенних цветов, источаемый сеном, на котором лежали раненые.

Ковешников, склонившись над рацией, просил у командующего огня. Кодовые таблицы утонули в море, и разговор велся открытым текстом.

— Я «муравей» — Ковешников. Дайте огня. Цель — сто тридцать девять. Атакуют танки. Атакуют танки. Дайте огня, дайте огня. Я «муравей» — Ковешников. Прием.

Цель 139. Я только что вернулся оттуда, видел все своими глазами, сел к снарядному ящику и принялся писать корреспонденцию. Не успел ее окончить, как часовой сообщил, что к нам полным ходом идет торпедный катер. Я запечатал корреспонденцию в конверт, надписал адрес и бегом бросился на берег. Там творилось что-то невообразимое. Около пятидесяти пушек обстреливали судно и берег, к которому оно стремилось пристать. После каждого разрыва тысячи прожорливых чаек с криком бросались в воду, вытаскивая клювами глушеную рыбу. Многие птицы гибли от осколков, и волны сотнями выбрасывали их на прибрежный песок.

И все-таки катер подошел. С него сбросили несколько ящиков патронов.

— Как тут у вас дела? — спросил старший по званию на катере, высокий и молодой капитан-лейтенант, прижимая к раненой щеке мокрый от крови платок.

— Нужна помощь: люди и боеприпасы, вода и пища.

— Гладков с вами?

— Гладкова нет.

— Может быть, он утонул или убит?

— Не знаю... Не сможете ли вы передать в редакцию мою корреспонденцию?

— С большим удовольствием. Это будет документ, подтверждающий, что мы были на Крымском берегу... Значит, вы и есть тот самый корреспондент. В сегодняшней газете напечатана ваша заметка.

— Дайте мне газету!

— У меня ее нет. Осталась на той стороне.

— Кто же отправляется в десант без свежей газеты?

Эх вы!

Никогда в жизни мне не хотелось так прочесть свою заметку, как сейчас; было радостно сознавать, что задание мною выполнено. Было приятно за Сидоренко, добравшегося-таки до редакции.

— Закуривайте. — Капитан-лейтенант открыл шелкнущий серебряный портсигар, прочел надпись на нем и нахмурился.

— Я не курю.

— Все равно возьмите, у вас, наверное, хреново с табаком.

Моряк сунул мне в руки портсигар, набитый влажными папиросами, и, взяв мою корреспонденцию, положил ее за пазуху.

Катер отошел и полетел, как стрела, но метров через триста в него попал снаряд. Судно накренилось набок и стало тонуть. Три моряка поспешно спустили на воду резиновую лодку, но и в нее попал снаряд. Напрасно я ждал, что кто-нибудь выплывет. Все были убиты или утонули. Я достал портсигар. На крышке бросилась в глаза свежая гравировка: «Дорогому Володечке в день нашей свадьбы. От Иры. 13.V — 1941 г.». В подвале Ковешников беспрерывно требовал огня. Артиллерия с Таманского полуострова работала на всю свою мощь. Тяжелый снаряд разнес один танк, и Ковешников по радио передал артиллеристам благодарность от героической пехоты.

Но огонь артиллерии мало-помалу затухал и, наконец, прекратился совсем.

В штаб со всех сторон все больше приходило сведений об убитых офицерах, о нехватке гранат и патронов, о разбитых минометах и пулеметах. В разрушенных сараях, прилегающих к штабу, появлялось все больше раненых. После кровопролитного боя были сданы один за другим три господствующих холма.

— Бросайте свою писанину, идите на правый фланг, вы отвечаете за него головой, наравне с командиром батальона, — приказал мне Мовшович.

Я пошел через кладбище, откуда хорошо виден был левый фланг, на котором с пятьюдесятью бойцами дрался раненый в руку подполковник Иван Константинович Расторгуев. На него шли семь танков с автоматчиками на броне. Их встретил со своим батальоном и уничтожил будущий Герой Советского Союза майор Александр Клинковский.

По дороге все больше встречалось отходящих красноармейцев.

— Куда вы? Хотите, чтобы вас всех перетопили, как щенят!

Они возвращались со мной, ложились в переднюю цепь, сливаясь с цветом земли. Прошедшие мимо, как только выходили на гребень, с которого виднелось море, сами возвращались назад: отступить было некуда.

Время тянулось страшно медленно. Все ждали наступления ночи.

Фашисты усилили нажим. В центре нашей обороны просочились автоматчики. Два танка подошли на расстояние ста метров к командному пункту. Весь наш пятачок простреливался ружейным огнем со всех сторон. Положение было критическое. Казалось, было все потеряно, кроме чести. Кто-то предложил послать последнюю радиogramму — умираем, но не сдаемся. Напряжение боя достигло высшего предела.

И тогда Мовшович, решительный и бледный, собрал всех командиров и повел их в офицерскую контратаку. Шли без шинелей, при всех орденах, во весь рост, не кланяясь ни осколкам, ни пулям, навстречу атакующим оккупантам. Их было раз в десять больше, с ними были танки и «фердинанды», а у нас по десятку патронов на брата.

На душе было удивительно спокойно. Чуда не могло

быть. Каждый это знал и хотел как можно дороже отдать свою жизнь.

Стреляли из автоматов одиночными выстрелами, без промаха, наверняка. Враги падали и почему-то напоминали разбросанные по полю кучи навоза. И как бы в подтверждение моих мыслей матрос, идущий рядом, сказал:

— Пришли на нашу землю, чтобы лечь в нее, удобрить своими трупами.

— Вперед, храбрым помогает счастье! — узнал я крик Мовшовича. Обрадовался — значит, он пока жив.

И вдруг молодой голос запел торжественно:

Широка страна моя родная...

Пел раненый лейтенант комсомолец Женя Малов. Кровь из разбитой головы заливала его лицо, по которому осколок прошелся раньше, чем бритва. Песню тотчас подержала вся цепь. Я, никогда в жизни не певший, и то присоединился к хору. Не знаю, как кого, но меня песня убеждала, что мы не умрем, враг не выдержит и побежит. Закатывалось солнце, и все наши ордена и медали казались как бы сделанными из чистого золота.

Расстояние между нами и фашистами неумолимо сужалось. Все силы свои развернули они в чистом поле — и танки, и самоходные орудия, и минометы, и пехоту. И тут после долгого перерыва вновь заработала артиллерия с Тамани. Она накрыла врагов дождем осколков, но это было только начало возмездия. Двадцать один штурмовик с бреющего полета добавил огня. А мы все приближались, идя за своим огненным валом.

Враги стали поспешно отходить, десантники устремились за ними, подхватывая брошенные немецкие автоматы и винтовки и стреляя из них. В воздухе упорно боролись приторно-сладковатая пороховая вонь и тонкий запах запоздалых осенних цветов.

В одном месте нас накрыла немецкая артиллерия. Пришлось залечь. Впереди сутулился кустик полыни. Я сломал веточку, растер ее между пальцами, и, надо сознаться, никогда мне не казалось, что так хорошо пахнет полынь. Трудно расстаться с этим благоуханным запахом навсегда.

Прилетели два самолета, сбросили дымовую завесу, словно туманом затянувшую берег. Быстро темнело.

Увлечшись боем, ни мы, ни противник не заметили, как к берегу подошли наши суда. Прибыл командир дивизии со своим штабом, а с ним десять орудий и тысяча пятьсот активных штыков. Выслушав Ковешникова, полковник Гладков бросил прибывших на врага. Гитлеровцы, видевшие перед этим истекающие кровью остатки десанта, готовились только переждать артналет, чтобы окончательно раздавить нас, но вдруг увидели перед собой массу свежих, устремленных вперед солдат. Они никак не могли понять такого превращения и, обескураженные, не принимая боя, отошли на свои утренние позиции.

Девятнадцать танковых атак, поддержанных двумя полками пехоты, были героически отбиты десантом в первый день высадки.

Я вернулся в штаб. С появлением командира дивизии и подкрепления все вздохнули с облегчением, вспомнили, что можно утолить жажду, съесть по сухарю, выпить по глотку водки. В штабе оказалось «Знамя Родины» с моей заметкой. В кожаных мешках с боеприпасами, сухарями и водой, сброшенными самолетами, оказалось несколько тюков газет.

Обо всем виденном и пережитом я написал очерк под заглавием «День первый». Доставить его в редакцию взялся раненный в ногу и эвакуировавшийся в тыл капитан Николай Ельцов. Пакет был вручен ему. Многие офицеры дали ему открытки с просьбой переслать их на почту. Потом авторы этих посланий рассказывали друг другу: содержание открыток было мирным и нежным, как будто посылались они не с фронта, а с мирных дач. Никто ни единого слова не написал о пережитом.

Тревожная ночь прошла быстро. Но нам все же удалось забыться часа на два на полу, закрывшись с головой шинелями и тесно прижавшись друг к другу. Мы раскрывали глаза при взрывах, сотрясающих дом, и тут же вновь засыпали. Сквозь сон я слышал, как неумолимый Ковешников отдавал команды.

Утром я шел на наблюдательный пункт морского батальона и видел, как над Таманью в розовом небе занималось веселое солнце нового дня. Наблюдательный пункт помещался в усадьбе, окруженной каменным белым забором. Здесь я снова встретил Галину Петрову. Я сразу узнал девушку, которая, выскочив из мотобота, полезла через колючую проволоку на минное поле. Тогда я потерял ее из виду и не смог записать ее фамилию.

И вот здесь встретил ее, перевязывающей раны морякам.

За ночь Беляков полностью восстановил положение, заставив немцев спуститься в противотанковый ров, густо ошетилившийся ежами. На переднем крае со вчерашнего вечера в снаряженной воронке лежал раненый Цибизов. Два моряка пытались вынести его, но были ранены. Тогда командир роты добродушный, смуглолицый украинец Петр Дейкало выдвинул вперед своих снайперов, и они уничтожили оккупантов, мешавших своим огнем подобраться к раненому лейтенанту. Через час Цибизова вынесли, и я увидел его, когда Петрова пеленала его бинтами.

Цибизов был смертельно ранен. Он узнал меня, попросил:

— Напишите в «Красный флот», чтобы все моряки могли прочесть про моих ребят.— Лейтенант задыхался, с трудом выговаривал слова.— Напишите про краснофлотца Отари Киргаева, он в первую минуту боя перебил из автомата прислугу прожектора... Ослепил фрицев...

Я разговорился с Петровой. Она была комсомолка из Николаева, и я рассказал ей, как мы — группа армейских корреспондентов — последними оставляли ее родной город.

— Из Крыма совсем близко до Николаева и до Одессы,— сказала девушка, и в ее словах прозвучала полная уверенность, что мы скоро возьмем эти города. Это была наша последняя встреча. Она отличилась в боях, была убита, и правительство присвоило ей посмертно звание Героя Советского Союза.

Появились вражеские самолеты. Они снизились и, делая медленные коршуны круги, выглядывали добычу. Семь раз они бомбили наши боевые порядки, но вреда причинили мало.

Несколько часов в чистом, безоблачном небе длились воздушные бои, за которыми с волнением наблюдали десантники. Два «мессершмитта» и один «юнкерс» комками огня разбились о советский берег Крыма.

К Белякову пришел Мовшович, в сумке у него лежали политдонесения частей.

— Вот хорошо, что я тебя увидел, на вот, читай,— он подал мне листок бумаги, на котором было написано:

«Из сегодняшней газеты мы узнали, что в десанте находится корреспондент. Он, видимо, вчера был на правом фланге и описал их действия. Но ведь и мы на

левом тоже воевали. Наши бойцы очень просят — если т. Борзенко еще живой, пускай приходит к нам и опишет наш героизм».

— Сходи к ним, старик, там у них тихо, ты ведь сам видел, что весь удар фашисты наносят по нашему правому крылу.

Я пошел. Но так как в первый день у гитлеровцев на правом фланге ничего не вышло, они на второй день нанесли удар по левому флангу.

Как и в первый день, в десять часов утра пошли в атаку пехота и танки врага.

За полчаса до атаки бойцам принесли сброшенные самолетом воззвания Военного Совета армии. Политработники на полях воззваний приписывали победные сводки Информбюро. Воззвание подымало дух бойцов, вдохновляло их на подвиг.

Двенадцати танкам удалось прорваться сквозь наши боевые порядки. Они с грохотом прошли через окопы, раздавив несколько человек. Но вражеская пехота отстала от машин, ее отсекли и заставили залечь.

Первую стремительную атаку гитлеровцев сорвали, принудили все начать сначала.

Я видел, как прошел «фердинанд», а сзади раненый боец, приподнявшись на локте, швырнул в него гранату, силясь попасть в отверстие для выбрасывания стреляных гильз, находящееся позади. Первая граната разорвалась на броне, не причинив вреда, но вторая попала в дыру, и самоходная пушка взорвалась; танк, ползший за «фердинандом», раздавил смельчака гусеницами. Этот неизвестный солдат был человеком во всем значении этого замечательного слова.

За каждой отбитой атакой немедленно начиналась новая.

Как и в первый день, крепко помогали нам авиация и артиллерия Таманского полуострова. Тяжелые снаряды рвались среди танков, самолеты буквально косили атакующих врагов.

После того как первая попытка отжать нас от моря ударами с флангов провалилась, фашисты сделали отчаянное усилие прорваться в стык, расколоть нашу оборону надвое, но мы этого ждали. Бойцы встретили их убийственным огнем и к концу дня, сами неоднократно переходя в контратаку, отбили четырнадцать немецких атак.

Красноармеец Цховребов ворвался в окоп, застрелил четырех фашистов и, будучи сам ранен, пятого зарубил лопатой.

Я отправился разыскивать Цховребова и нашел его на операционном столе в санбате, помещавшемся в разбитой школе. Операция уже была закончена, но влетевший в окно маленький осколок разорвавшегося вблизи снаряда снова ранил героя, который лишь крепко выругался при этом. Хирург, даже не удивившись, вновь принялся штопать живое тело человека, сцепившего зубы от боли, так как не было ни хлороформа, ни морфия.

В детстве мать рассказывала мне сказки об исполинах, глубоко запавшие в душу. Здесь я увидел их — это были советские солдаты.

К вечеру перед нашими боевыми порядками залег эсэсовский полк с оружием в руках, но это уже были не солдаты, а мертвецы.

Настала ночь. К берегу стали подходить немецкие катера, рассчитывавшие, что мы примем их за своих. Два успели причалить. Высадившиеся оккупанты сбились в кучу, стали кричать, чтобы их взяли обратно, и были немедленно расстреляны пулеметным огнем. Остальные суда, обозленно обстреляв поселок из крупнокалиберных пулеметов, ушли в море и там до рассвета вели бой с нашими катерами, не пуская их к десанту.

Всю ночь при свете маленькой коптилки писал я корреспонденцию о дне втором. На полу в сене спал разведчик Виктор Котельников. Он храпел на весь подвал и дышал так, что пришлось подалеже убрать коптилку, чтобы она не погасла. Эту корреспонденцию, посланную мной, нашли среди документов убитого майора Кушнира. Тело его волны вынесли на Таманский берег. Очевидно, он погиб на мотоботе, напоравшемся на мину. Корреспонденцию, доставленную мертвецом, отправили в редакцию, и она была напечатана.

На третий день боев я узнал, что в поселке есть жители — мать и дочь Мирошники — остатки некогда большой рабочей семьи. Пошел разыскивать их, но нашел не сразу.

В домах царил беспорядок. На столах валялась битая посуда, постели были разбросаны; всюду лежал пух. Видно, гитлеровцы поднимали жителей внезапно, выгнали их, не дав собраться, грабили дома, вспарывали перины и подушки, отыскивая в них золото.

Мирошники встретили меня приветливо, угостили солеными помидорами, хорошей керченской сельдью и дождевой водой. С жадностью набросился я на воду, она показалась мне вкуснее всех напитков, которые приходилось когда-либо пить. В поселке не было пресной воды, и десантники утоляли жажду соленой и мутной влагой, от которой еще больше хотелось пить. А здесь в пыльной бутылке, вытащенной из погреба, плескалась прозрачная и чистая вода, собранная по каплям в редкие дождливые дни. Я пил медленно, наслаждаясь каждым глотком.

Девятнадцатого октября эсэсовцы начали поголовную эвакуацию населения из Крыма. Мирошники спрашивали в погреб и таким образом избежали рабства. Со слезами на глазах Екатерина Михайловна Мирошник рассказывала, что в последних числах октября гестаповцы возле крепости Еникале расстреляли свыше четырнадцати тысяч женщин и детей — жителей Новороссийска и Таманского полуострова, наотрез отказавшихся следовать в фашистскую неволю. Она рассказывала о знаменитых катакомбах, открытых несколько тысячелетий назад, недалеко от Керчи у Царева Кургана и Аджим-Ушкая. В этом огромном, на десятки километров, подземном городе спасались от оккупантов десятки тысяч советских людей. Их выкуривали газами, люди умирали, но не выходили.

Семь месяцев жили несколько тысяч подростков, детей и женщин под землей без солнца и свежего воздуха. Воду собирали по каплям со стен. Все они умерли от голода — предпочли смерть рабству. У мыса Такел наскочила на мель баржа с советскими девушками. Оккупанты взорвали ее вместе с живым грузом.

Старая женщина передала слова офицера, жившего у нее на квартире и убитого нами. Офицер этот цинично заявлял:

— Командующий войсками в Крыму, генерал Маттенклотт, скорее расстреляет сто тысяч населения, чем даст Красной Армии их освободить.

Моряк Абрамкин, выслушав слова женщины, воскликнул:

— Надо спешить освободить наших близких.

Надо спешить. Мне кажется, это одно из главных требований войны.

Дослушать женщину нам не удалось. Налетели бом-

бардировщики, начали бомбить и обстреливать из пулеметов наш пятак. Мирошники бросились в погреб. Разорвавшаяся во дворе бомба убила обеих женщин. Похоронили их в братской могиле, словно солдат.

Весь день бомбардировщики не давали нам покоя. Я шел с Беляковым в морской батальон, и они заставили нас целый час лежать в противотанковом рву. Прижавшись к теневой стороне, он рассказывал мне об Архангельске — своей родине, о том, как он рвался к Черному Морю и как сейчас тоскует о беломорских берегах. Тринадцать лет Беляков прослужил в Красной Армии, командовал взводом, ротой, был начальником штаба батальона, которым сейчас командовал.

Лежа в своей канаве, мы видели, как во время очередного налета немецкой авиации наш штурмовик «Ильюшин-2» пошел на лобовой таран и сбил атакующий его «мессершмитт». Оба самолета комками желтого пламени упали на нашу территорию.

Бойцы похоронили своих летчиков у моря и сложили над могилой памятник из белых известковых камней.

Имена летчиков — Борис Володов и Василий Быков. Оба были коммунисты. Первый из города Куйбышева — ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, второй — парторг эскадрильи, уроженец Ивановской области.

Как и первые два, третий день прошел в атаках немецких танков и пехоты. Во время одной из атак, когда танки подошли к домикам поселка на нашем левом фланге, мне пришлось быть на командном пункте командира дивизии. Его исключительная выдержка и хладнокровие передаются всем окружающим его командирам и от них — бойцам.

Полковник Гладков считал операцию удачной с точки зрения ее замысла, взаимодействия различных родов оружия, а также предварительной подготовки. Он сказал то, чего никто не знал.

— Наш десант отвлекающий. Мы ловко одурачили немцев. Они сосредоточили против нас лучшие свои войска. А завтра ночью, севернее Керчи, с полуострова Чушка высадятся наши главные силы. Ширина пролива там всего четыре километра.

Уверенность в своих силах, в своем превосходстве над противником — вот характерная черта командира дивизии и его десантников.

Как-то ефрейтор Александр Полтавцев сказал мне: — Мое стрелковое отделение оказалось сильнее четырех танков.

То же самое могли сказать командиры всех отделений.

Днем к берегу подплыли восемь бронекатеров с пехотой. Катера шли развернутым строем, как на маневрах, прикрываясь дымовой завесой, пущенной самолетом. Один катер фашисты подожгли, но команда не покинула его, а продолжала до последнего своего дыхания вести огонь по врагу.

Как только затих обстрел, я пошел на берег. Убитые лежали на песке. Их шевелила волна, и они переворачивались, словно живые.

Весь день десантники вели бой, похожий на предыдущие бои. К вечеру они отбили семнадцатую танковую атаку противника. Наступила темнота, а с ней и затишье. Ночью в штабе я, как всегда, писал на краешке стола. Несколько офицеров спали на охапке душистого сена. На полу валялась куча железных крестов, снятых с убитых немцев. Часовой, стоявший в углу, наступал ногой на эти кресты.

— «Величие» Германии под сапогом у красноармейца, — сказал Ковешников, улыбаясь.

— Почитать бы сейчас хорошую книгу.

— Я нашел среди развалин тетрадь — поинтереснее любого романа будет. — Мичман Бекмесов вытащил из шинели толстую тетрадь, исписанную аккуратным почерком, и стал читать ее вслух. — Дневник Татьяны Кузнецовой, работавшей бухгалтером в поселке при немцах.

Русская девушка писала о том, как оккупанты убили ее мечту об образовании, о профессии, о счастливой жизни. Перед нами словно живой встал отец девушки.

«Папа очень хорошо знает, что труд на немцев — измена. А вот же месит каждый день бетон, идущий на укрепления. Если бы не я, он покончил бы самоубийством». «Как я раньше завидовала своим подругам красавицам и как благодарю сейчас судьбу, что родилась дурнушкой и до сих пор не приглянулась ни одному немцу, — читал Бекмесов. — Когда-то наши девушки много пели, и я пела с ними, а сейчас все замолкли, и не столько потому, что запрещают оккупанты, а потому, что не могут петь соловьи в подвале».



— Дайте мне этот дневник,— попросил я мичмана.

— Ни за что на свете. После войны я обязательно найду эту Таню и женюсь на ней,— ответил Бекмесов.

Вскоре мы услышали на нашем берегу отдаленный грохот и увидели за Керчью оружейные сполохи. А еще через несколько дней прочли в газетах о высадке основного десанта, о том, что захвачены населенные пункты: Маяк, Баксы, Аджим-Ушкай. Войска получили возможность через пролив переправляться днем.

У Гладкова был жар, температура 39,5°. Но он не ложился в постель. Когда врач требовал, чтобы он лег, полковник говорил:

— Самое страшное для солдата умереть в кровати.

Так как подкрепления больше не было, мы стали ждать выхода к нам основного десанта. С надеждой смотрели ночами на север, где под самыми звездами металось дикое пламя пожаров.

Наступил канун праздника 26-й годовщины Октябрьской революции. Было холодно, на море бушевала буря. Противник непрерывно обстреливал кромку берега и переднюю линию наших окопов. Быстро стемнело. Черные тучи клубились у самой земли. Мы ждали атаки каждую минуту.

Наступил день праздника. С утра враги открыли бешеный огонь, стреляли сотни орудий со всех сторон. Гибли даже развалины. В укрытиях санбата собралось много раненых.

Этой ночью вернулся мокрый с головы до ног Ваня Сидоренко — мой связной. Он шел на катере, который взорвался на mine. Связной проплыл два километра в ледяной воде. Он не мог говорить, взял листок бумаги, дрожащей рукой написал на нем:

«Сегодня освобожден Киев!»

Я ему налил стакан водки из своего неприкосновенного запаса, взятого еще в Тамани, но переодеться было не во что. Мокрая одежда высохла на его теле.

...Так проходили дни за днями. Каждый день мы теряли кого-нибудь, ставшего уже родным и близким. Инструктор политотдела армии майор Павленко хоронил убитых. Он был самым занятым человеком в десанте.

В ночь на семнадцатые сутки я услышал разговор на переднем крае.

— Когда-нибудь после войны пойдём мы с тобой,

Петров, в кино смотреть «Сражение за Крым» и увидим там неизгладимые в памяти картины боев нашего десанта, развалины рыбацкого поселка Эльтиген...

Бойцы сидели в окопе и, осторожно покуривая в руках, разговаривали о том, что ждет их после войны.

— Почему вы курите, ведь противник близко? — спросил я строго.

— Греем ноги,— шутливо ответили мне.

В темноте очень плохо видны лица разговаривающих. Но я знал — передо мной герои. Каждый уже отличился в десанте, убил фашистов, внес свой пай в дело изгнания оккупантов с нашей земли.

— А я так думаю, Хачатурян, что про наш десант песни петь будут, стихи сочинять будут. Наш народ любит героев,— сказал один боец другому.

Хачатурян — знакомая фамилия. Солдат этот из противотанкового ружья выстрелом почти в упор подбил немецкий танк. Я подошел ближе.

— А помнишь первый день? — спросил Хачатурян.— У меня, когда фрицы пошли в девятнадцатую атаку, остался всего один патрон и ружье было горячее, как огонь. Но я знал, что нас не оставят в беде. И сейчас у меня патронов хватит на сто танков...— Боец помолчал.— А сердца и на двести хватит.

Хачатурян подал заявление с просьбой принять его в кандидаты партии. К заявлению командир его приложил боевую характеристику, в которой сказано: «Участвовал в десанте на Крымское побережье». Это документ, подтверждающий героизм.

Десант поднял людей в их собственных глазах на голову выше. Каждый увидел, на какой героизм он способен. Отделение старшего сержанта Николая Мельникова отбило контратаку взвода гитлеровских автоматчиков. Отделение не давало оккупантам сблизиться на расстояние действительного огня их автоматов и раз пятнадцать заставляло врагов залечь. Как только они поднимались, отделение встречало их залповым огнем, которого фашисты боятся больше всего. Эти люди прошли сквозь огонь и воду, и каждый стоит довоенного взвода.

Всю ночь я провел на переднем крае в окопе Хачатуряна, слушал плач детей и женщин, скрип телег, на которых гитлеровцы увозили последних жителей из ближайших поселков. По горизонту пылали пожары. Мы смотрели

на север, видели орудийные сполохи основного десанта и думали, что день нашего соединения близок.

Пули со свистом проносились над нами, но мы не могли отказать себе в удовольствии помечтать о первых днях мира после окончательного разгрома оккупантов. И я согласился со своим собеседником, что хорошо было бы после войны вновь увидеть, хоть на экране, только что пережитые шестнадцать дней.

Как хорошо было бы увидеть вновь темный подвал, в котором в первый день десанта находился наш штаб, увидеть капитана Полтавцева с шестью бойцами, отбивающего у гряды камней последнюю атаку гитлеровцев, увидеть все то, что пережито и стало достоянием истории.

Был семнадцатый день боев. Семнадцатый день, не утихая, бушевал здесь ураган огня. В одном открытом месте санитары подняли на носилки раненого. Врагам были хорошо видны и носилки, и люди с красными крестами на рукавах, но они открыли по раненому огонь из двух минометных батарей.

В поселке нет ни одного целого дома, ни одного дерева, все разрушено крупновской артиллерией. Под ногами валяются осколки. Их больше, чем опавших осенних листьев. Но люди уже надежно зарылись в землю и почти не несут потерь.

Танки, «фердинанды», авиацию, дальнобойную артиллерию — все обрушили оккупанты против десантников. Они хотели утопить нас в море, но наши бойцы поджигали танки, гранатами взрывали «фердинандов», и обломки «мессершмиттов» валяются среди мусора и развалин. Много фашистов привлек наш десант, дал возможность высадиться нашим основным силам.

Они решили блокировать нас с моря. Каждую ночь восемь хорошо вооруженных самоходных барж выходили в море, становились против нашего берега, пытаясь не пропустить к нам мотоботы с Таманского полуострова. Уходя утром, баржи жестоко обстреливали наш берег.

Это надоело десантникам. Артиллеристы лейтенанта Владимира Сороки подбили одну баржу. Вторую баржу из противотанкового ружья поджег бронейщик Александр Коровин. Дымящуюся баржу немцы едва утащили на буксире.

Блокада не удалась. В воздухе царят наши самолеты.

Ежедневно на парашютах нам сбрасывают боеприпасы, продовольствие, газеты. Жаль только — нет писем.

Ночью мне передали радиogramму. Редактор катогорически требовал моего возвращения в Тамань. Но на чем вернуться? Я пошел на нашу примитивную пристань к стармонаху. Он сказал, что никакой надежды на приход судов сегодня нет.

И все же шесть мотоботов с боем прорвались мимо быстроходных барж и торпедных фашистских катеров. Маневрируя среди разрывов, они пристали к берегу и сбросили ящики с боеприпасами. О подходе мотоботов мне позвонил в блиндаж Ковешников. Я попрощался со всеми офицерами. Сердце болезненно сжалось. Так не хотелось расставаться с людьми, которые стали близкими, как братья. С койки поднялся раненый Мовшович, накинул шинель, пошел меня провожать.

Мы остановились у кладбища, на высоте.

— Береги, Сергей, свою голову.— Он меня обнял, поцеловал в губы.

— Едем со мной,— попросил я его.— Ты ведь едва стоишь на ногах.

— Нет, мое место здесь. Я ведь комиссар, и мне не положено покидать поле боя. Впереди еще не один бой.

Мы еще раз поцеловались, и я побежал по тропинке, пригибаясь под пулями. Внизу оглянулся. Высокий Мовшович стоял на фоне неба и глядел мне вслед. Над ним летели трассирующие пули.

Я добежал к мотоботам, когда они уже отчаливали. Прыгнул на один из них, бросил последний взгляд на берег. Я связан с этим клочком земли навеки и, если выживу, буду вспоминать его всю жизнь, и он будет мне часто сниться. На море клубился сильный туман, била высокая волна. Немецкие суда обстреливали нас, но преследовать не решились.

Мы шли кильватерной колонной — друг за другом, наш мотобот — первым. Сотни чаек преследовали нас своим криком, словно чуя добычу. И вдруг нас стал обгонять задний мотобот. Люди на нем приветственно махали руками. Да и как не радоваться — невдалеке была Тамань, там можно было поесть и поспать.

Раздался потрясающий взрыв. До самого неба взметнулся веер черного пламени, и хлопья сажи медленно опустились на волны. Тысячи чаек с криком бросились

в воду на глушеную рыбу, а нам показалось, что они кинулись на необыкновенно взбухшие человеческие трупы, плавающие повсюду среди обломков.

— Говорят, чайки носятся над минными полями и ждут, пока на них не взорвется несчастный корабль,— сказал старшина мотобота. Это были первые слова, произнесенные в гробовом молчании.

Ухватившись за обломки, в море держались три человека, но они не кричали, не звали на помощь, а обезумевшими глазами смотрели вокруг, как бы не понимая того, что случилось.

Мотобот двигался к ним, и тут все увидели сотни рогулек, торчащих из воды, закричали:

— Мины, взорвемся!

Стало страшно. Но кто-то разглядел, что рогульки были всего-навсего немецкими ручными гранатами с деревянными ручками, погруженное тело их поддерживалось рукояткой, торчащей на четверть из воды. Очевидно, на мотоботе был ящик этих гранат.

Мы вытащили трех человек. Вдруг кто-то заметил вдалеке несколько раз взметнувшуюся руку.

— Человек, живой человек!

Мотобот осторожно пошел туда. На носу сидели два моряка, зорко всматриваясь в воду, чтобы, не дай бог, не напороться снова на мину. Ведь каждый в момент взрыва видел, как из воды показались несколько железных шаров и снова погрузились в море. Команда мотобота вытащила на борт раненого матроса.

Он оглядел всех нас и сказал:

— Подбросило меня на сто метров кверху, потом пошел на пятьдесят метров в глубину, ударился ногами о дно, выругался, вынырнул на поверхность, гляжу — одни щепки.

Все невольно улыбнулись. Матрос засмеялся от всей души. На минуту выглянуло солнце, и в его лучах вода стала изумрудно-зеленой.

Миновав минные поля и несколько гряд подводных камней, мы добрались до пристани Кротков. «Черт возьми, как хороша все-таки земля. И море и небо с ней несравнимы», — подумал я, вступив на берег.

1943



## Илья Эренбург

### ДУША РОССИИ

Два года тому назад я писал: «Сожмем крепче зубы. Немцы в Киеве — эта мысль кормит нашу ненависть. Мы освободим Киев. Вражеская кровь смое вражеский след. Как птица древних феникс, Киев восстанет из пепла».

Шли долгие и горькие месяцы. Немцы двигались в глубь России. Они дошли до Нальчика, до Сталинграда. Военные обозреватели различных стран гадали, куда пойдут завоеватели: на Ирак или на Индию. Владелец гостиницы в Бад-Киссингене подал заявление о предоставлении ему санаториев Боржома. Кассельские курсы подготавливали зондерфюреров для Башкирии. В финансовых отделах немецких газет указывалось, что «азовские заводы Ф. Круппа» к 1945 году станут на ноги и ошастливят держателей акций. Великая гражданская скорбь камнем лежала в те дни на груди каждого из нас. Среди салютов победы мы не забываем пережитого, мы и не забудем его: оно для нас и горе, и мудрость, и ключ духовной бодрости.

Ночами носятся над миром волны радио — длинные, средние, короткие. Они давно отвыкли от щебета мирных дней. В них клекот, в них все те же слова: контратаки, узлы сопротивления, рокадные дороги, переправы. Теперь на сорока языках они говорят об одном: немцы отступают. Военные обозреватели больше не вспоминают про Ирак. Они смотрят на Днестр, на Буг, на Двину. Зондерфюреры, обученные для устрашения башкиров, включены в маршевые батальоны. Мариупольские акции стали ничего не стоящими бумажками. Владелец гостиницы в Бад-Киссингене, обезумев, кричит своей жене: «Ты увидишь — они придут сюда...» По южной степи мечутся немецкие дивизии. Феникс Киев восстал из пепла.

Как это случилось, спрашивает изумленный мир. Мы были в самой гуще событий, мы жили от сводки до сводки, мы сражались и работали, нам некогда было размышлять. Мы знаем, что мы выплыли. Мы знаем, что перед нами зеленый берег победы. Но попытаемся на минуту отойти в сторону, взглянуть на себя глазами истории.

Мы часто говорим и пишем об ослаблении немецкой армии. Мы знаем, что у Гитлера иссякают резервы, что воздушные бомбардировки разрушают его тыл, что два года жестоких боев в России надломили его пехоту. Мы знаем также, что не было подлинных идеалов у армии мешочников и куроедов, что одна дисциплина не может в трудные минуты заменить душевного горения, что гитлеровский солдат внутренне ослаб и созрел для гибели. Но разве в одних гитлеровцах дело? Подумаем о другом: о возросшей силе нашей армии.

Война сложна, темна и густа, как непроходимый лес. Она не похожа на ее описания, она и проще и сложнее. Ее чувствуют, но не всегда понимают ее участники. Ее понимают, но не чувствуют позднейшие исследователи. Вероятно, историк, правильно оценив все значение переправы через Днепр, представит эту переправу иной: он невольно приведет ее в порядок. Он приоденет бойцов, побреет утомленных переходами сержантов, смахнет пыль с гимнастеров офицеров. Он вряд ли увидит людей у костра, которые смутно думают о своих родных избах и которые говорят, что повар заладил кашу и что хорошо бы испечь картошку. Потомки меньше всего себе представят, что именно эти люди без понтонов ринулись на правый берег одной из самых широких рек Европы. Что касается участников войны, эти знают, как выглядит война. Они знают, что четыреста километров с боями — не парад. Они знают, что воюют не только роты, батальоны, полки, но и люди с отдельной биографией, теплой, как клубок шерсти, что каждый боец привязан к родине своей нитью. Но участникам войны нелегко осознать историческое значение происходящего: с них хватит и высоких волнений сегодняшнего дня.

Иностранцы часто рассуждают, почему наше государство устояло в трагические дни сорок первого и сорок второго? Все знают теперь, как сильна была германская армия, как тщательно готовилась Германия к своим разбойным походам. Судьба Франции с ее боевыми традициями, с неоспоримым мужеством ее свободолюбивого и воинственного народа у всех в памяти. Гитлер покорил Европу. Я не говорю об английских островах. Но мы не были отделены от Германии морем, не было у нас и гор. Мы задержали захватчика своей грудью, и вот иностранцы спорят: в чем разгадка? Одни говорят: в природе русского мужества, в традиционной вынос-

ливости русского солдата, в величине и естественных богатствах России, в том, что России никто никогда не завоевывал. Другие возражают: изменились времена. Штык, даже русский, бессилён против «тигров». В эпоху моторов одно пространство не может спасти народ. Они говорят: если Россия выстояла, то в этом заслуга ее структуры, особенного патриотизма ее народа, кровной заинтересованности каждого гражданина в судьбе государства. Они прибавляют к слову «Россия» другое слово: «советская».

Правы и те и другие. Во время войны перед нами встало прошлое, оно соединилось с настоящим и будущим. Мы до конца поняли органическую связь России и Октябрьской революции. Мы поняли, что революция дважды спасла Россию: в 1917 году и в 1941. Не будь революции, Россия могла бы потерять свою государственную независимость, изменить своей исторической миссии. Но Октябрьская революция не случайно родилась в России. Она вытекала из всех чаяний русского народа. Ее значение перерастает государственные границы, и ее недаром называют самым большим событием двадцатого века, но корни ее уходят в русскую историю, и нельзя оторвать ее от русского характера, даже от русского пейзажа.

Бойцы у костра, на правом берегу Днепра, конечно, сыновья русских солдат давнего времени. Они сохранили и любовь к родной земле, и отвагу, и смекалку, и выносливость дедов. Но есть в них нечто новое, рожденное революцией: они не только солдаты, они граждане.

Передо мной секретное донесение командира Судетской дивизии генерал-лейтенанта Деттлинга. Записка озаглавлена: «Настроение местного населения». Вот что пишет немецкий генерал: «Подавляющее большинство населения не верит в победу немцев... В некоторых населенных пунктах отмечались попытки многих жителей установить контакт с оставшимися приверженцами советского строя... Молодежь обоего пола, получившая образование, настроена почти исключительно просоветски. Она недоверчиво относится к нашей пропаганде. Эти молодые люди с семилетним и выше образованием ставят после докладов вопросы, позволяющие сделать заключение об их высоком умственном уровне. Обычно для маскировки они прикидываются простачками.

Воздействовать на них чрезвычайно трудно. Они читают еще сохранившуюся советскую литературу. Эта молодежь сильнее всего любит Россию и опасается, что Германия превратит их родину в немецкую колонию... Молодые люди чувствуют себя с начала немецкой оккупации лишенными будущего. Они всегда указывают, что в Советском Союзе молодежи было очень хорошо, так как для нее делалось все возможное и ей было обеспечено большое будущее».

Вряд ли генерал-лейтенант Детлинг составил бы такую записку в 1916 году. Был и прежде патриотизм. Была и прежде отвага. Но юноши и девушки, крестьяне Смоленской губернии во времена царя, во времена сословий и каст не могли мечтать о «большом будущем». Партизан двенадцатого года один наполеоновский офицер назвал «смутным духом русской земли». Не разум — сердце подсказало крепостным этой эпохи верный путь, и они пошли с вилами на захватчиков. Их подвиги оправданы историей, внуки тех крепостных стали хозяевами величайшей в мире державы. Но героев «Молодой гвардии» вел разум. Они смотрели сверху на немецких офицеров. Олег Кошевой знал, что он представитель высокого человеческого общества, которое борется с вооруженными варварами. Такова роль Октября.

Советский Союз воюет не только как огромное государство, он воюет как истинная демократия: войну ведет народ, для которого держава — это собственный двор. Я видал немало немецких генералов. Я думаю, что их можно распознать даже в бане: это порода, как порода заводчик Крупп или помещик из Восточной Пруссии. Таких генералов разводят, они раса среди арийской расы. Кто же их бьет? Под Киевом генерал-лейтенанта Детлинга разбил генерал-лейтенант Черняховский. Ему тридцать шесть лет. Сын железнодорожного служащего из Умани, он с детства грыз науку, как камень. Это человек большой культуры, его выделяют ум, знания, талант, а не порода. Он один из многих генералов свободного и демократического государства. Я вспоминаю боевых полковников, которые в начале войны были лейтенантами, учителей, агрономов, механиков, на груди которых я видел суворовские ордена. Мы можем сказать, что германскую армию теперь гонит армия, обогащенная боевым опытом, руководимая умелыми офицерами, и мы

можем также сказать, что врагов гонит народ, который двадцать шесть лет тому назад взял в свои руки вожжи державы.

Все знают, что одним из объяснений наших побед остается необычайная работа военной промышленности. Вспомним о трудностях. Сталинград, Харьков, Днепр-петровск, Воронеж, Ростов, Донбасс были заняты врагом. Заводы возникали среди пустырей. Степи Восточной России — это не Детройт. Наши рабочие вынесли все лишения, недоедали, недосыпали, но они дали армии танки, самолеты, оружие. Заводы родились вчера, но не вчера родились рабочие: это люди, созданные советским государством, это не рабы Круппа, это творцы, и творческий дух помог им в страшные месяцы.

Почему армянин Петросян, пойманный немцами, обливаясь кровью, нашел в себе силы, чтобы перебить палачей и дойти до своих? Что помогло грузину Гахокидзе уничтожать врагов на последнем клочке севастьяпольской земли? Отчего узбек Каюм Рахманов не пожалел своей жизни, защищая Ленинград? Отчего погиб еврей Паперник на подступах к Москве? Был Октябрь. В его очистительной буре родилась новая Россия, мать для всех народов. Вчерашние «инородцы» стали гражданами, строителями государства, и когда на их родину напали немцы, они пошли в бой, разноязычные, разноликие, с единым чувством в сердце.

Я не хочу сказать, что до войны мы достигли всего. Четверть века для истории — короткий час. Мы многого не успели сделать. В нашем обществе были не только наши лучшие замыслы, но и наши недостатки. В годы войны мы многое меняли на ходу. Мы увидели, что нам часто не хватает дисциплины, организации, личной инициативы, чувства ответственности. Мы поняли, что наши дети нуждаются в более крепких основах морали, что нужно в них глубже воспитывать человеческое достоинство, патриотизм, верность, рыцарские чувства, уважение к старости и заботу о слабых. Но, поняв наши недочеты, мы в огне испытаний увидели, сколь высока была наша жизнь, построенная на равенстве и труде. Война не только разорила нашу страну, она закалила и душевно возвысила людей. Вернувшись к мирному труду, они не забудут о передуманном и перечувствованном. Они внесут в будни мудрость и героизм военных лет. Они помогут создать то общество, которое будет выражением

мыслей и чувствований много испытавшего советского народа.

Нам облегчит труд историческая перспектива, которая стала теперь достоянием каждого. Не отказываясь от идеалов будущего, мы научились черпать силы в прошлом. Мы осознали все значение наследства, оставленного нам предками. Мы не хотим ни отрицать огульно прошлое, ни принимать его, как нечто непогрешимое. Мы учимся на военном гении Суворова, но не на государственном самодурстве Павла. Немецкие фашисты любят говорить о традициях. Но что они взяли из прошлого немецкого народа? Свободолюбие Шиллера? Разум Гете? Нет. Попытки нюрнбергских палачей, суеверные рассказы алхимиков, зверства диких германцев и муштру фельдфебелей Фридриха. Каждый народ берет в своем прошлом то, что соответствует его духовному уровню, его жизни, его идеалам. Для нас прошлое — это Пушкин, а не Бенкендорф, Кутузов, а не Аракчеев, декабристы, а не Салтычиха, Плеханов и Горький, а не Пуришкевич и охотничьи рядцы. Октябрьская революция помогла нам осознать историю России, сделать из далекого прошлого источник вдохновения.

Победы Красной Армии позволяют нам уже различить в смутном предрассветном тумане тот великий праздник победы, о котором в самые тяжелые часы нам сказал глава нашего государства.

Каким будет мир после войны? Эта мысль теперь уже приходит к нам в редкие минуты передышки между битвами, переходами и военными трудами. Фашисты принесли столько зла нам и всей Европе, столько разрушений, столько страданий, что иногда сердце охватывает беспросветная скорбь. Мы видим, что сожжены школы, ясли, музеи, просторные светлые дома, с трудом построенные нашим поколением. Мы видим, как коровы заменили похищенные гитлеровцами тракторы. Мы видим, как попорчены дорогие нам идеалы братства, человеческого достоинства, свободы. Мы видим письма рабынь из Германии, фотографии фашистских изуверств, одичание, затемнение века. Воображение легко продолжает картину: зона пустыни захватывает Париж, виноградники Греции, нарядные села Дании, заводы Бельгии — всю Европу. Повсюду тот же пепел, в который вырядилась земля, бурьян, прозванный нашими крестьянами «немецким посевом», пытки, унижение человека, попрание

разума, справедливости, гуманности. Как сможет восстать земля из мертвых? И порой малодушие закрадывается в сердце: не откинута ли человечество варварством фашизма далеко назад?

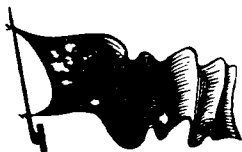
Я не хочу ничего приукрашивать. Я знаю, как трудно будет восстановить и разрушенные города и душевное равновесие людей, прошедших годы под властью изуверов. И все же я бодро смотрю в будущее: правда побеждает на поле боя, она победит и на лесах человеческого строительства. Мы научились еще сильнее ценить свободу — после деспотии гитлеровцев, после гестапо, «бургомистров», доносов и всего попрания человеческого начала, принесенного фашистами. Есть только одни пределы у свободы: свобода другого и счастье родины. В самоограничении война — залог того, что свобода восторжествует.

Мы поняли магическую силу труда, недаром мы им клялись в наших самых заветных клятвах. Труд свободного гражданина не проклятье, не иго, это высокое творчество. Нелегко будет поднять из небытия города и села, но люди, которые не жалели своей крови, чтобы защитить родину, не пожалеют и пота. Я видел в сожженных деревнях стариков, которые помогали солдаткам отстраивать хаты. Здесь порука нашего грядущего счастья. Мы сумеем пристыдить себялюбие: ему не место рядом с могилами героев.

Казалось, испепелены идеи братства, но нет, они восстанут с новой силой. Я осмеливаюсь это говорить в дни, когда фашистские полчища творят свое черное дело. Гитлеровцы провозгласили себя «народом господ». В ответ поднялось национальное достоинство всех народов мира. Оно должно не погубить идею братства, а оживить ее, дать ей плоть. Сибиряк понимает горе Греции, украинец знает, что переживает Франция, белорусскому крестьянину близки муки норвежского рыбака. Идея братства стала телесней, осязательней. Красная Армия в глазах всех народов стала армией свободы. Об ее подвигах с надеждой говорят и в поработанной Франции и в далекой Америке. Отразив удары хищной Германии, она спасла не только свободу нашей родины, она спасла свободу мира. В этом залог торжества идей братства и гуманности, и мне видится вдалеке мир, просветленный горем, в котором воссияет добро. Наш народ показал свои воинские добродетели,

и теперь все народы знают, что Советский Союз, его армия несут измученному миру мир. Мы говорим об этом среди пепелищ Украины и Белоруссии, с израненным сердцем: кто не потерял брата, сына, друга? Мы говорим это, приподнятые сознанием нашей силы и нашей правоты.

1943



Николай Тихонов

ПОВЕДА!

1

**К**огда ленинградцы встречали новый, сорок четвертый, год, они понимающе улыбались друг другу, говоря о новом счастье и новых успехах. Прежде всего они подразумевали под этим освобождение родного города от блокады и разгром немцев под Ленинградом. Затянувшаяся блокада с ее унылыми обстрелами, с ее печальными жертвами заставляла ленинградцев работать с какой-то иступленной энергией, готовя тот час, когда Ленинград подымется для решительного боя.

Час этот был неизвестен, но все знали, что он близок, все хотели этого, но в оживленной сутолоке, в рабочем упорстве каждого дня никто не говорил об этом открыто. Правда, январь месяц для Ленинграда полон особого значения, потому что в прошлом году он был ознаменован таким громадным событием, как прорыв блокады.

В январе сорок четвертого года картина города ничем не выдавала подготовки к новому удару по немцам. Усилившийся обстрел говорил о нервозности врага, о том, что

он мечется в тревоге. Напрасно из Берлина кричали, что ленинградский вал немецкой обороны неприступен и можно спать спокойно, — немцы не спали.

Пленные, захваченные разведкой, показывали, что получен приказ, несмотря на глубоко эшелонированную сеть укреплений, еще усилить ее на переднем крае, выстроив на участке каждого батальона по два новых больших дзота, перегруппировать артиллерию.

## 2

Пока в городе занимались уборкой свежевыпавшего снега, расчищали трамвайные пути, объявляли новые нормы соревнований заводских бригад, на фронте все зашевелилось. Все чувствовали, что что-то приближается.

И в учебных занятиях, и в беседах по текущему моменту ощущалось то сдержанное нетерпение, какое всегда рождается вокруг события, которого все ждут и о котором условились не говорить.

Генерал, приехавший с другого фронта, слушая доклад о немецких укреплениях, сказал просто:

— Да, это серьезная линия, это очень сильная, очень сложная линия. Вот мы ее и кончим!

Бронебойщик, поглядывая в сторону немецких окопов, на вопрос, какая разница между «тигром» и другими тяжелыми немецкими танками, ответил не сразу, а подумав и с уверенностью знатока: «Разница такая — «тигры» горят дольше!»

Но и военные и городские люди посматривали с опаской на погоду. Погоды не было. Вместо мороза расползлась какая-то слякоть. И незамерзшая Нева, и лужи на улицах, и мелкий тонкий лед на заливе заставляли людей хмуро морщиться и бормотать всякие неприятные слова насчет небесного хозяйства.

Наконец в сумрачных рощах за Ораниенбаумом, под Пулковской высотой, на предгородской равнине перед Пушкиным — всюду началось оживление. Были командиры и солдаты, командированные в город по служебным надобностям с той стороны залива, и они узнали, что им надо возвращаться немедленно в свои части.

Но, к их глубокому горю, залив представлял мешанину из снега и льда. По этой мешанине не шли мелкие суда, идти пешком — смертельная опасность.

И все-таки люди пошли. Они шли по льду, который качался под ногами, они торопились во что бы то ни стало добраться до того берега, где их товарищи уже готовились к бою. Пришлось вернуться с дороги. Залив не пропустил. Я видел одного командира. Он метался между Лисьим Носом и городом, не зная, что предпринять. Но он не мог оставаться в Ленинграде. Два с половиной года он дрался на своем бронепоезде, и мысль, что сейчас бронепоезд уйдет в бой без него, сводила его с ума. Таких, как он, смельчаков, бросившихся в опасный путь по заливу, было много. Какова была их радость, когда они узнали, что можно попасть к себе: кому по воздуху, кому на специальных судах. Они уезжали счастливые, они торопились в бой, как на праздник.

Это было всеобщее огромное воодушевление. Я видел молодого лейтенанта, который говорил восторженно: «Больше нас ничто не остановит. Я это чувствую всем сердцем и могу подтвердить чем хотите. Я лично буду драться так, что вы обо мне услышите!»

Возбуждение проникло на передовые. Артиллеристы и саперы, снайперы и танкисты — все готовились, все проверяли оружие и снаряжение, хотя и так все было проверено не раз. Генералы обошли весь передний край под минометным обстрелом. Единое чувство наступления охватило войска. Цельность этого большого чувства была удивительна. Больше нельзя терпеть немца под Ленинградом. Враг созрел для гибели. Но он не отдаст ни одной траншеи без упорного сопротивления. Сила встретит силу. Но сила ленинградцев должна побороть вражескую.

## 3

Весь город был ошеломлен гигантским гулом, который, как смерч, пронесся над Ленинградом. Много стрельбы слышали за осадой ленинградцы, но такого ошеломляющего, грозного, растущего грохота они еще не слышали. Некоторые пешеходы на улицах стали осторожно коситься по сторонам, ища, куда падают снаряды. Но снаряды не падали. Тогда стало ясно — это стреляем мы, это наши снаряды поднимают на воздух немецкие укрепления.

Весь город пришел в возбуждение. Люди поняли, что то, о чем они думали непрерывно, началось. А голос



ленинградских орудий ширился по всей дуге фронта. Били орудия на передовой, били тяжелые орудия из глубины, били корабли, били форты, говорил Кронштадт.

Разрывы немецких снарядов, падавших на южные окраины города, не были страшны в этих волнах грохота, превращавшегося в бурю возмездия. Тонны металла рвали бивали немецкие доты, превращали в лом пушки, рвали на части пехоту, обрушивали блиндажи, сравнивали с землей траншеи. Куски разорванной проволоки взлетали к небу. Рвались мины на минных полях. Черные тучи дыма застилали горизонт.

Что чувствовали уцелевшие гитлеровцы, оглушенные и обезумевшие от ужаса, прижавшиеся к стенкам окопов и укрытий, нас не интересует. Но когда поднялась первая цепь наших автоматчиков, перед которыми еще клубились дымы наших разрывов, она, эта цепь, рванулась вперед с такой неудержимой силой, что немцы побежали перед нею. Автоматчики шли во весь рост.

— Красиво идут! — говорили про них наблюдатели.

Гвардейцы Симоняка поддержали свою гвардейскую славу. Воскрес дух героев прорыва блокады. Войска генерал-майора Трубачева, бравшие Шлиссельбург, бывшие белофиннов на Вуоксе в свое время, войска генерал-майора Якутовича, генерал-майора Фадеева — все бывалые воины Ленинградского фронта начали историческую битву, разгром немецкой орды, которой уже не могли помочь никакие укрепления.

Артиллеристы получали приказы передвинуть позиции вперед, на юг, на три, на пять, на семь километров. Два с половиной года стояли иные орудия на одном и том же рубеже, передвигаясь только вдоль него, и, получив такой приказ, люди на руках переносили орудия, задыхаясь от гордости и радости.

Есть нечто заколдованное в том ничьем пространстве, которое годами лежало между позициями нашими и немецкими. На этой темной от воронок земле, среди минных полей и проволочных преград прокладывали себе путь только разведчики. Враг жил, именно жил, там у себя в блиндажах, точно он и впрямь решил больше не уходить отсюда. И в молчании этого настороженного, пристрелянного пространства, казалось, нельзя выпрямиться, нельзя идти как хочешь, нельзя преодолеть его одним стремительным ударом.

И вдруг это случилось. Сразу рухнула таинственность этого пространства и этих первых неприятельских окопов. В блиндажи врага полетели гранаты, и когда атакующие оглянулись в пылу атаки, увидели пройденные три линии окопов. Четвертая линия окопов встретила атакующих нестройным огнем.

Опомнившись, немцы стали драться яростно, драться до конца. Да им и некуда было податься теперь. Удары сыпались на них со всех сторон. Уже зарево стало над Петергофом и Стрельной. Уже у Ропши появились наши танки. Уже Дудергофская гора встала перед нашими вплотную. И пошло разрастаться великое сражение под Ленинградом.

Священные руины Петергофа, Павловска, Пушкина, Гатчины явились перед победоносными ленинградскими войсками, чтобы всей надрывающей душу трагичностью своих обвалов, пробоин, обожженных и разбитых стен звать к отмщению. Даже тот солдат и офицер, который никогда не видел их великолепия в мирной жизни, и тот не мог удержаться от волнения при виде того, во что обратили варвары наследие нашего прошлого.

Поваленные деревья вековых парков лежали, как мертвые великаны. Обрывки старинной парчи, бархата и шелка носил ветер над дымом пожарищ. Картины и фарфор, растоптанные сапогами гитлеровцев, лежали в грязи разбитых аллей. Статуи без голов валялись в кустарнике. Огонь пожирал остатки домов. Горело вокруг все, что могло гореть.

Пустыня, заваленная трупами, разбитыми пушками и машинами; пустыня, где возвышались груды щебня и мусора, присыпанные снежком; пустыня, где не было ни одного живого существа, окружала наших бойцов. В подвалах домов, за пустыми стенами, зиявшими дырами, еще отсиживались смертники-фашисты, которые не успели бежать. Их кончали и шли дальше.

Кругом были немецкие доты, траншеи, блиндажи, пулеметные точки. Глубина обороны уже не пугала атакующих. Сколько бы километров ни тянулась эта чудовищная полоса, — все равно она была обречена.

День за днем развертывалась битва, уходя все дальше и дальше на юг. Немцы пробовали еще стрелять по городу,

но это были последние разбойничьи выстрелы. Через час-два тяжелые желтые дула замолкали навсегда. Через несколько дней они уже стояли на Дворцовой площади, и ленинградцы смотрели на эти чудовища, что терзали своими снарядами живое тело города. И вот они в плену, угрюмые, молчаливые, зловещие.

А в это время на другом фланге двинулись новые полки, загремела новая канонада. В этой страшной местности, что была ареной непрерывных сражений, среди незамерзших болот, среди торфяных ям и канав, повитых дымом торфяного пожара, начался штурм немецких укреплений. Было время, когда ленинградцы верили, что с падением неприступной Мги кончатся все бедствия блокады. Маленькая, затерянная в болотах станция стала символом борьбы за Ленинград. Совсем по-другому произошел прорыв блокады, но Мга завоевала себе навсегда мрачную известность упорностью и яростью боев. Тысячи немецких трупов утонули в ее болотах. Сотни тысяч снарядов резали болотные кустарники и кочки. Речушка Мойка, никому не известная, текла кровью в дни осенних боев этого года. На берегу нашей гордой Невы засели немцы, и даже после прорыва блокады их позиции от Арбузова до покрытого сотнями тысяч осколков маленького предместного редута на окраине села Ивановского разрезали наши войска, стоявшие по ту сторону реки Тосно и на северном берегу Мойки.

И вот пала Мга. Зашатались все доты по реке Тосно, и старый противотанковый ров за рекой увидел, как бегут немцы отсюда, где они зубами держались за каждый клочок земли. Мы узнаем позднее подробности этих боев, но теперь известно, что немцев нет больше на Неве, нет больше на всем пространстве от Шлиссельбурга до Тосно, нет их и дальше, а битва продолжается и уходит на запад, на юго-запад, на юг.

5

Все дальше и дальше уходила битва от Ленинграда, и все глуше слышался грохот стрельбы и наконец исчез в отдалении. И тогда ленинградцы услышали радио, которое объявляло приказ войскам Ленинградского фронта. Это было 27 января. Этот день войдет в историю города, в историю народа, в историю Великой Отечественной войны, в историю мировой борьбы с фашизмом.

242

Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника. В восемь часов вечера толпы ленинградцев вышли на улицы, на площади, на набережные. Кто передаст их состояние? Кто расскажет, что они пережили в эту минуту? Нет слов, чтобы изобразить их волнение. Все накопленное за годы испытаний, все пережитое воскресло и пронеслось перед ними, как ряд видений, страшных, невероятных, мрачных, грозных. И все это исчезло в ослепительном блеске ракет и громе исторического салюта. Триста двадцать четыре орудия ударили в честь великой победы, в честь великого города.

Люди плакали и смеялись от радости, люди смотрели сверкающими глазами, как в блеске салюта возникал из тьмы город всей своей непобедимой громадой. И шпиль Петропавловского собора, и форты старой крепости, набережные, Адмиралтейство, Исаакий, и корабли на Неве, Невский — все просторы города освещались молниями торжествующей радости.

«Мужественные и стойкие ленинградцы! — говорилось в приказе. — Вместе с войсками Ленинградского фронта вы отстояли наш родной город. Своим героическим трудом и стальной выдержкой, преодолевая все трудности и мучения блокады, вы ковали оружие победы над врагом, отдавая для дела победы все свои силы. От имени войск Ленинградского фронта поздравляю вас со знаменательным днем великой победы под Ленинградом». И стояли подписи тех, кто был впереди войск, бравших победу, — Говоров, Жданов, Кузнецов, Соловьев, Гусев.

Так оно и было! И с этого часа начинается другой период жизни города, когда историк берет перо и начинает писать по порядку всю историю законченной трагической эпопеи. Она уже в прошлом, но это прошлое еще вчера дышало всем полымем борьбы, и еще всюду в городе свежие шрамы и следы этой битвы, не знавшей равных в истории.

Наступает тишина восстановления. Но в ушах еще отзвуки всех бесчисленных выстрелов, в глазах еще картины невиданных подвигов, в сердце горестные воспоминания, подымающие человека на новые труды, на новые подвиги во имя жизни, во имя дальнейшей борьбы, во имя окончательной победы.

27 января 1944 года! Никогда не забудут тебя ленин-

243

градцы. И каким бы ни был пасмурным этот зимний день над Невой, он всегда будет сияющим днем для жителей великого города.

6

Сейчас вспоминается все с самого первого дня, когда разорваны были пути, связывавшие Ленинград со страной, и пароходам некуда было плыть, и поездам некуда было уходить.

Но сейчас радость не приходит одна. И волна нашего наступления возвращает нам эти пути один за другим. Уже свободна Северная дорога, и через Кириши-Мгу поезд может идти в Ленинград, и свободна Нева, можно готовиться к весенней навигации, можно плыть от Ладоги до залива, не думая об опасности и не боясь ничего. И наконец открывается путь, самое название которого наполняет торжеством сердце: Октябрьская железная дорога очищена от немецких захватчиков.

Она, эта дорога, еще изрыта взрывами, мосты лежат в обломках, станции в руинах, шпалы сброшены с насыпи, рельсы пошли на доты и надолбы, — но это ничего не значит. Есть свободный путь! Загудят паровозные голоса у стен, пахнущих свежим деревом, новые рельсы будут гнуться под тяжелыми составами и пассажирскими поездами, бегущими по старой, родной, прекрасной дороге от берегов реки Москвы, от Московского моря к берегам Невы, к берегам Балтики.

И ленинградцы воскресят свой славный экспресс — «Красная стрела». Русские люди возьмутся за восстановление так же рьяно, как они брались за освобождение родной земли от заклятого врага.

И будет исключительной силы событием для ленинградцев, когда они придут на Октябрьский вокзал встречать первый прямой поезд Москва — Ленинград. Сколько объятий, сколько восклицаний, сколько восторга и бесконечной радости.

Друзья обнимутся, как боевые товарищи. И по улицам, по которым никогда не проходил ни один враг, пройдут москвичи и ленинградцы, чтобы показать всему миру свое великое братство, проверенное страшными испытаниями, из которых они вышли победителями.

1944 г.

## КОНСТАНТИН ФЕДИН

### ЛЕНИНГРАДКА

Распространенное представление о русском характере, исполненном широты воображения, горячности, которая соединяется с мечтательностью и с пренебрежением внешними формами, — такое представление о русской натуре ленинградец дополнял и по виду даже опровергал устойчивостью вкусов, предпочтением строгих форм, дисциплиной, исполнительностью, почти педантизмом. Он, конечно, тоже был русской натурой, однако он доказывал, что рядом с широтой этой натуре свойственна целеустремленность, рядом с мечтательностью — самодисциплина, рядом с горячностью — постоянство привязанностей. Ленинградец расширял своею сущностью понятие о русском. Многого нельзя было бы уяснить в нашем характере без того, чем проявился он в петербургской, ленинградской культурно-исторической оправе.

Существо ленинградского патриотизма раскрылось в том, что он оказался глубоко русским и в то же время советским. Ленинград дал пример того, как бьется русский за землю отцов и как защищает советский человек родину своих революционных идей, свою новейшую историю. Строгий, дисциплинированный, суховатый, почти педантичный, ленинградец в войне против фашистов показал себя горячей, кипучей, фантастической натурой. Страсть — вот что обнаружил ленинградец прежде всех своих иных качеств, — страсть человека, от природы лишённого способности покориться воле врага. Пройдя огонь испытаний, патриотизм Ленинграда не утратил особой ленинградской окраски, но раскрыл свою природу как одну из самых страстных черт русского характера — готовность на любые жертвы ради отчизны.

Мое свидание с Ленинградом подходило к концу, и я был рад, что в последний день пребывания там встретился с человеком, которого я мог бы назвать настоящим ленинградцем.

Это была молодая женщина, главный хранитель петергофских дворцов-музеев. Чуть-чуть посмеиваясь над собою и одновременно с пылким порывом, она рассказала мне о своем посещении Петергофа после того, как оттуда были изгнаны немцы.

Сначала ее никто не хотел брать туда, где только что было поле кровавого боя, — зачем? Кому охота брать на себя ответственность за какую-то судьбу, когда в военном деле за каждый шаг спрашивают ответа? Но в конце концов упорной, не отступающей ни перед чем женщине удается уговорить каких-то офицеров, что именно ей необходимо раньше всех приехать в Новый Петергоф и немедленно увидеть дворцы, которым она отдавала себя целиком, которые она любила больше, чем собственность, чем близких, чем самое себя. Ей говорят, что машина не пойдет в Петергоф, а направляется в Гатчину, куда отодвинулся фронт. Она отвечает, что по пути. Ее нельзя переубедить. Она ничего не хочет слышать. Она уже сидит в машине.

Ее довозят до развилки дорог Гатчина — Петергоф. Автомобиль уходит. Она остается одна в необъятном снежном поле, рябом от взрытой снарядами земли. Она оглядывается. Исковерканные грузовики, разбитая пушка, зарядные ящики колесами вверх. Вон лежит убитый немец лицом в грунт. Ветер шевелит отросшими волосами на его шаровидном затылке. Проходит машина, другая, третья — все на Гатчину. В Петергоф не едет никто: это — тыл, оказавшийся в стороне от главной дороги войны. Вчера он был центром сражения, сегодня он никому не нужен. Женщина идет пешком, считая убитых немцев. Внезапно позади нее раздается грохот. Она видит — мчится танк. Она останавливает его, поднимая руки. Танкист, выглянув из люка, долго не может понять, что ей нужно. Неужели она, одержимая, и правда надеется найти следы своего музея? Потом он говорит, что ему не по пути, он сейчас свернет в сторону. «А впрочем, залезай на танк!» Женщина взбирается на холодный, ледяной горб чудовища и, обняв замерзшими руками ствол орудия, трясется по рытвинам дорожной обочины. Этому счастью скоро приходит конец: танк сворачивает на проселок, танкист машет из люка черной кожаной рукавицей: «До свидания, смешная женщина, давай бог разыскать тебе твой музей!» Женщина идет пешком. Она уже перестала вести счет убитым, она не глядит на них. Непременно дойти засветло — вот ее цель. Ей везет: лошаденка, запряженная в сани, бойко выезжает из-за обгорелых домов поселка. Но надежда рушится так же быстро, как возникает: кучер, конечно, подвез бы женщину, но сани идут не в ту сторону, — это остатки имущества полевого госпиталя, который догоняет

фронт. Надо маршировать дальше, обходя воронки, перелезая через траншеи.

— Эй-э! — кричит ей кучер. — А насчет мин соображаете? Тут кругом минные поля.

Она просто не думала о каких-то минных полях, она идет напрямик. Не возвращаться же назад, когда она уже отшагала километров двенадцать и впереди чернеет длинная прямая полоса петергофского парка.

И вот она у цели. Она стоит на площади перед Большим Петергофским дворцом. Она смотрит на дворец. Нет, это неверно: она стоит, закрыв лицо ладонями. Ветер бьет ее, поземка крутится вокруг ее ног. Она покачивается, не сходя с места. Потом, когда она отрывает от лица застывшие мокрые пальцы, она уже чувствует себя другим человеком. Все, что она знала о своем Петергофе, существовало только в ее памяти. Перед ней лежали руины, из которых возвышались стены, напомнившие что-то знакомое. Что можно сделать из этих дорожных камней? Что еще сохранилось в этих свалках щебня? Она бежит по парку в Нижний сад. Всюду она встречает разрушения: в голландских домиках Петра — Марли и Монплеизир, в Эрмитаже и на месте былых фонтанов. Все кажется ей сном, и, как во сне, все начинает исчезать в темноте зимнего вечера.

Она не узнает парка: дорожки и аллеи под снегом, деревья обезличены ночью. Только теперь усталость сковывает ее по рукам и ногам. Она насилу тащится глубокими сугробами, помня одно — что надо идти в гору. И вдруг она слышит голоса из-под земли.

— Да, представьте, — смеется эта женщина, дойдя до неожиданного поворота рассказа, — представьте мое состояние: я в снегу по колено, кругом тьма, я боюсь шагнуть, потому что уже понимаю, что меня хранит чудо, и в этот миг под землей раздаются голоса. Я осмотрелась, вижу — светится щель. Подошла. Оказывается — землянка, блиндаж. И оттуда несется самый что ни на есть морской разговор. Я так обрадовалась! Отворила дверь.

Четверо балтийских матросов, на корточках, вокруг коптилки режут в карты. Ну, конечно, вскочили они, видят — женщина. Проверили документы, разговорились. «Как же, — спрашивают, — вы уцелели, парк ведь не разминирован». — «А почему я знаю, как уцелела? Ведь вот разве я могла знать, что встречу наших балтийцев за

картами?» — «Мы, — говорят, — из охранения сменились и вот отдыхаем». — «Ах, вы из охранения?» Подсела я с ними к коптилке и начала им рассказывать, как было в Петергофе до войны, какое преступление совершили враги, уничтожив наши памятники, и каким будет Петергоф, когда мы его восстановим.

— Восстановим? — перебил я.

— А вы думаете — нет? — воскликнула она. — Матросы ни на минуту не усомнились, что восстановим. Мы целую ночь проговорили с ними — как лучше взяться за восстановление. И, знаете, они теперь мои самые верные помощники по охране дворцов. Они собирают в парке всякие пустяки, осколки, обломки...

— Вот такие осколки? — опять перебил я ее, взяв со стола кусок позолоченной деревянной резьбы, который я подобрал в развалинах Екатерининского дворца в Пушкине.

Взглянув на меня испытующе и помолчав, она выговорила притихшим голосом:

— Самые вредные для нас, музейных работников, люди — это туристы. Зачем вы увезли обломок? На таких кусочках мы будем строить всю работу по реставрации. Я внушаю это сейчас всем и каждому. Мы, как пчелы, соберем наши дворцы из пыли. Мы возродим их из праха.

— Как только начнутся восстановительные работы, — сказал я, — я пошлю этот осколок по месту принадлежности, завернув его в вату.

Она опять поглядела на меня, точно испытывая — не шучу ли я, потом улыбнулась, поняв, что уколола меня словом «туристы».

— Мы немедленно возьмемся за восстановление. Конечно, это будет нелегко. Но вот я вам даю слово, что мы восстановим наш Петергоф так, что там не останется даже духа фашистского пребывания!..

Я пожал ей руку с восхищением и благодарностью. Я был убежден, что она дает слово не напрасно. Верность слову составляет нераздельную часть ленинградского патриотизма.

1944 год



## Андрей Платонов

### СЫН НАРОДА

Генерал, бывший прежде начальником подполковника Простых, может быть, лучше других знал своего офицера. Он сказал о нем: «Это вдохновенный человек, как бывают вдохновенные музыканты и поэты: бой для него есть творчество и творение его — победа; но он допускает иногда излишний риск и расширяет, так сказать, толкование Устава, а когда укоряешь его, то он отвечает, что в нашем Уставе крупнее всего написано одно слово — «победа», а все остальные слова написаны более мелким шрифтом, — вот какой был у меня Иван Иннокентьевич, но он хорошо дерется, шут его возьми, прямо одно наслаждение, выругаешь его, а простишь: как будто иногда и неправильно бывает, а все верно — фашисты от него умирают или бегут!»

Я поехал в полк Ивана Простых. Подполковник жил в избушке на краю деревни у многодетной вдовы. У подполковника была та обычная, и все же редкая, наружность, которая напоминает вам, что вы где-то уже видели это лицо и вам чем-то близок и дорог этот человек, хотя ничего вспомнить о нем невозможно. Может быть, вы никогда и не встречали его и не могли его знать, и лишь тайное родственное влечение вашей души к незнакомцу и ваше чувство симпатии к нему рисует на чужом лице знакомые черты... Подполковник на вид был человеком лет сорока, немного сумрачным, с темно-карими утонувшими подо лбом глазами, выражение которых не менялось от его настроения.

Познакомившись, я спросил у него, виделись ли мы когда-нибудь раньше. Он пронизательно поглядел на меня и ответил, что — нет, он меня не помнит; правда, был у него один лейтенант, похожий на меня, но тот убит еще под Кромами...

Моя дальнейшая жизнь в полку и знакомство с его командиром все более увеличивали мой интерес к этому офицеру. Есть люди, характер которых возможно приблизительно определить, и образ их делается сразу ясен. Но есть люди иные: вы уже знаете о таком человеке многое, однако они похожи на земное пространство — дойдя до одного горизонта, вы за ним видите следующий, еще более удаленный, и должны идти снова вперед... Такой

человек в своем духовном образе подобен бесконечному русскому полю, и это свойство его означает, что вы встретились с развивающимся деятельным человеческим существом, непрерывно рождающим себя заново в новом опыте жизни.

Гвардейский полк Ивана Иннокентьевича Простых квартировал в двух смежных деревнях, где много было разрушенных пустых жилищ. Командир установил обычай в полку, чтобы его люди всегда жили не в общих избах, совместно с населением, а отдельно. В нежилых или осиротевших местах это было просто: строились землянки и блиндажи и ставились палатки, а в населенных пунктах дело было труднее. В тех деревнях, где полк квартировал сейчас, Простых приказал красноармейцам отремонтировать или привести в годное для жилья состояние поврежденные избы и затем поселил в них своих бойцов. Однако на таких тыловых постах подполковник совсем не желал, чтобы его солдаты жили с населением вовсе розно или чуждо. Он только хотел, чтобы его люди жили постоянно своим войсковым домом и чтобы их человеческое чувство удовлетворялось в задушевном боевом товариществе, в учении и службе, — в службе, усвоенной как страстный долг.

С населением солдаты Ивана Простых имели близость жизненного и серьезного значения. Сейчас, когда была пора весны, красноармейцы в свободное время копали в помощь хозяйкам огороды, ровняли навоз на грядках, чинили сельский инвентарь и убирали с проездов мусор от немецкого нашествия и мертвые остатки войны — колючую проволоку, снаряды и погоревшие машины, а девушки-санитарки брали в избы малых крестьянских детей, чтобы их матери спокойно работали в колхозном поле. Это вновь и вновь приучало людей, и красноармейцев и местных жителей, к простым житейским отношениям, к сознанию того, что все они — один народ и дело их родственно. Когда полк Ивана Простых пойдет вперед, позади себя он оставит устроенные жилища, возделанную землю и доброе чувство в крестьянских сердцах.

Я спросил однажды у командира, не устают ли его люди от таких сельских работ, ведь у них есть свои прямые обязанности, требующие всех сил.

— Что ж такое, что они устают! — сказал Простых. — Солдат с усталостью не считается. Да и потом у меня своя есть главная забота! — резко добавил он. — Своя

забота! Я здесь не блаженных телят воспитываю, а людей подвига, людей, творящих смерть врагу! А здесь народ два с лишним года был зачумлен немцами, пусть теперь он вспомнит своих людей и полюбит их еще больше, чем любил прежде...

Подполковник обычно весь день проводил в поле на строевых занятиях и учебных стрельбах. От каждого бойца он требовал такой отработки своего оружия — пулемета, миномета, винтовки, автомата и штыка, — чтобы человек владел им, не напрягая сознания. «В бою действуйте своим оружием, как сердцем, без натуги, привычно и свободно, — говорит Простых своим солдатам, — а сознание держите незанятым, чтобы следить за неприятелем, понимать его действия и делать ему смерть. Если же кого жмет оружие, как непригнанный сапог, кто чувствует на себе автомат, как постороннее тело, тот еще не воин».

В долгих беседах с бойцами, в проверке их знаний, после сдачи зачетных стрельб Иван Иннокентьевич внушал всем подчиненным, особенно же новому пополнению, одну «народную философию оружия», как он сам это называл. Подполковник считал неправильным разделение техники на мирные орудия труда и на военные орудия истребления. Он говорил, что нашему народу покоя веков и донныне одинаково нужны и полезны для жизни как серп, плуг, трактор, станок или жнейка, так равно и копье, штык, автомат, пулемет и пушка. Командир полка здраво полагал, что родственное соединение плуга и винтовки, станка и пулемета как равноценных орудий для поддержания жизни народов, вернее всего зачнет в сердцах солдат любовь к оружию, а эта любовь явится лучшей матерью знания: тогда солдат охотно изучит оружие и умело будет владеть им в бою.

При мне он говорил в одной роте о кровном братстве рабочего, пахаря и бойца, плуга и винтовки.

— В мире есть злодейская сила, — сказал Простых солдатам. — Крестьянин возделает землю, токарь на станке создаст нужную вещь, но придет злодей, он убьет пахаря и рабочего, заберет себе их орудия труда — плуг и станок. Что толку в плуге и станке, если у человека отымается его жизнь. Поэтому без винтовки и плуг и станок не нужны. Поэтому для защиты родной земли нужны мы, солдаты. Я вам говорил о труженике, которого может убить злодей. Но если даже пахарь или рабочий останется в живых, то к чему тот хлеб или те вещи, что он наработал,

если хлеб его пожрет враг либо заберет себе созданные его трудом вещи и только умножит этим свои силы.

Бойцы с доверчивым изумлением слушали командира: понятные слова его глубоко западали им в сознание, и в сердцах их утверждалось чувство высокого человеческого достоинства, достоинства советского солдата, которому доверено сберечь человечество от убийства. Не знаю, так ли точно понимали они своего командира, но, вероятно, они понимали его лучше и непосредственнее меня.

Возвращаясь однажды с поля пешком, мы с подполковником шли деревенскими огородами. Иван Иннокентьевич негромким, обычным своим голосом говорил страстные слова о смысле деятельности офицера. Он говорил о постижении тайны боя: он верил, что есть рациональные законы, управляющие процессом боя; и тот, кто умеет открыть их, владеет искусством постоянно побеждать. Законы боя очень сложны, это ясно понимал подполковник Простых; но он верил в их полную доступность для человеческого разума, потому что проверка на практике подтвердила истинность его некоторых теоретических открытий.

— Нет более сложного и оживленного явления во всей действительности, чем бой,— с тихой уверенностью говорил Иван Иннокентьевич.

Я подумал было, что Иван Иннокентьевич является офицером-ученым, технологом войны, для которого война представляет как бы научно-исследовательскую работу, а победа — истину. У нас есть такие офицеры; они воюют с рассудительной страстью и совершают большие дела, но у них есть свои недостатки, и не всякое дело для них по-сильно; я видел, например, одного такого сосредоточенного офицера на берегу Десны — он ожидал, пока ему для переправы соберут понтон; сосед же его, офицер других душевных и профессиональных свойств, переправился в это время со всей своей частью через Десну на всем, что было легче воды.

— Но когда ты все понимаешь, — произнес Иван Иннокентьевич, — ты еще далеко не всем обладаешь. В бою так именно и бывает. А нужно обладать, нужно иметь власть над врагом, только тогда ты прав. Дело еще остается, стало быть, за твоей волей, за твоей верой в знамя, которому ты служишь... А вера в свое знамя, в правду своего народа — это первое начало солдата. Без этой веры победить нельзя.

Мое представление о подполковнике лишь как об офицере-технике было разрушено. Он снова возвысился предо мной силой своей постоянно действующей, творческой мысли.

Вечером того же дня полк Ивана Простых выступил вперед и к исходу ночи занял свой участок на переднем крае. Теперь можно было увидеть красноармейцев Ивана Иннокентьевича в настоящем деле и оценить их командира.

Подполковник получил вначале простую задачу: сдерживать контратакующего неприятеля. Мощное и обильное противотанковое вооружение полка делало эту задачу нетрудной и посылной. А раз так, то Иван Иннокентьевич размышлял сейчас лишь над тем, чтобы как можно экономней, в отношении крови своих людей, завершить бой. Он считал пехоту сильнейшим родом войск, потому что, сколь ни слаб огонь одного пехотинца, но каждым этим огнем управляет разум человека, и огонь его точен и губителен. Кроме того, пехота может бороться врукопашную, а это и венчает бой победой. Но главным искусством современной пехоты Иван Простых считал борьбу с танками. «Кто не умеет сжечь, изувечить танк, тот еще не солдат-пехотинец!» — говорил подполковник своим бойцам и старательно учил их технике сокрушения машин врага.

— Однако, — сказал мне, продолжая свою мысль, Иван Иннокентьевич, — можно знать свое оружие и все приемы, дабы наверняка остановить танк, и все же не сумеешь сделать это. Солдат должен иметь в себе внутреннее оружие — великую душу, сознающую свой долг, чтобы встретить несущуюся на него, бьющую в него огнем, стальную, дробящую препятствия машину, — и ударить ее насмерть, сохраняя в себе разум и спокойствие, необходимые в бою. Это внутреннее оружие — душевное устройство — солдату дает лишь родина.

Перед боем люди не спали и занимались малыми, но необходимыми хозяйственными делами; они находились в том тихом, глубоком настроении духа, в котором пребывает человек накануне свершения важного жизненного дела. Красноармейцы чинили одежду, пригоняли обувь, чтобы нога ее не чувствовала, осматривали оружие и брили друг друга. Один боец хотел было переодеться в чистое белье, но его остановили. «Что ты, помирать, что ли, собрался, — обожди, боев еще много впереди, успеешь!» —

предупредили его более знающие солдаты. — Береги белье до победы: домой поедешь, тогда оно тебе сгодится».

Меж собой красноармейцы были дружны, и каждый охотно делал другому любую уступку и исполнял его желание. Солдаты знали по опыту, что скоро навсегда можно утратить того человека, которому ты сегодня отказал в чем-либо, и тогда, после гибели его, в тебе останется страдание совести, и ты будешь терзаться, что не помог тому, кто уже никогда не будет нуждаться в тебе и кто умер, чтобы ты мог жить.

Я пошел проведать Ивана Иннокентьевича. Он молча сидел в блиндаже, на командном пункте, вместе с начальником штаба полка. Подполковник был сосредоточен и молчалив. Может быть, нет более глубокой думы на земле, чем размышление командира перед сражением, в котором он должен скупиться на каждого своего солдата и быть щедрым на трупы врагов, — и в этом труде размышления, заранее переживающем бой, офицер испытывает все силы своей совести и своих способностей, словно судит их Страшным судом перед лицом своего незримого народа...

— Важно, Иван Иннокентьевич, найти для противника непривычные условия, — произнес начальник штаба.

— Я думаю о них, и мы их найдем, — сказал подполковник. — Надо смутить его дух, потрясти его сердце. Все офицеры знают свое задание?

— Так точно. Все до одного. Я проверил.

Подполковник поднялся, точно в предчувствии, и мы все услышали залп немецких батарей.

— Сколько видно танков? — спросил командир.

— Двенадцать в ходу, — доложил начальник штаба.

Наши корпусные пушки начали издали рубить огнем артиллерийские батареи противника, и мы чувствовали по содроганию земли работу своих орудий.

Подполковник позвонил в батальоны.

— Помните, — сказал он, — нам нужны сожженные, уничтоженные танки, на ремонт не оставлять ни одного!..

Противотанковое ружье сержанта Евелина и молодого бойца Проскурякова находилось на правом фланге второго батальона, примерно в центре расположения полка.

Сержант смотрел вперед из окопа. На него неслись два немецких танка. Евелин знал по опыту и по верным словам командира полка одну тайну боя: нужно стерпеть противника, пусть он шумит огнем, нужно выждать свой момент, чтобы сразу ударить по врагу на его поражение.

Самое трудное — терпеть спокойно и думать здраво. Ближний бой выгоднее дальнего.

Проскуряков был безмолвен возле сержанта, лишь лицо его искавила замершая судорога страха, как онемевший крик. Евелин понимал состояние молодого солдата. «Ничего, обвыкнется», — кратко решал он в уме.

Танк набегал на них. «Не пора еще!» — соображал Евелин. С правого фланга расположения полка ударили гвардейские минометы, и поднебесье сумрачного весеннего утра засветилось бегущими огнями, как нива в цветах, взволнованная ветром. Минометы били по охвосту танков, где шла немецкая пехота. «Пора!» — Евелин выстрелил из противотанкового ружья, и танк сейчас же свернул в сторону, а потом перестал дышать мотором и остановился.

Но уже другой танк с живой свежей мощью шел на Евелина. Он выстрелил в него, однако танк продолжал движение, не почувствовав удара. Евелин взялся было за гранату и тут же оставил ее, потому что нужда в ней миновала. Проскуряков бросил в ходовую часть машины одну за другой две гранаты. Потом он управился еще метнуть одну гранату по первому неподвижному танку, и Евелин заметил в этот момент бледное, точно светящееся лицо Проскурякова и его увоенное выражение.

К этому моменту десять танков из всей группы были подбиты. Подполковник тогда приказал выйти одной роте вперед, использовать броню немецких танков как естественное укрытие и встретить оттуда немецкую пехоту точным ближним огнем.

— Для них это будет неожиданно, что мы оседлали их же неостывшие машины, — сказал Иван Иннокентьевич.

Но рота, посланная подполковником, работала мало: она встретила лишь редкую цепь неуверенно идущих вперед немецких солдат и прижала их огнем замертво к земле.

Вслед за тем бой точно остановился на мгновение, перевел дыхание, и все вдруг переменялось. Наша артиллерия тяжелых и средних калибров с внезапностью порыва ветра участила, удесятирила силу огня. Ревущий поток снарядов, как движущийся, бегущий навес, возник в небе над нашей пехотой, и далеко впереди нее встал вал сверкающего пламени и темная медленная туча праха над ним, — что было там живым, то умерщвлялось, что умер-



ло — сокрушалось вторично. И тот вал, судя по блеску разрывов, медленно начал удаляться вперед, призывая за собой пешего солдата.

Красноармейцы, увидев расsvирепевшую, радостную мощь своего огня, поднялись все в рост и пошли в атаку, исполненные восторга веры в непобедимость, и закричали от счастья, от гордости.

Я спросил у подполковника, что теперь дальше будет, какое у него задание.

— Идти вперед,— сказал Иван Иннокентьевич и увлеченно указал в сторону противника, обрабатываемого на его рубежах столь плотным огнем, что там уже более невозможно было никакое живое дыхание.— Вот великое творчество войны! Его создает высший офицер — наш народ, наш священный народ...

1944 год



**Леонид Леонов**

**НЕМЦЫ В МОСКВЕ**

Беглый очерк о поучительном московском происшествии станет достоянием не только моих современников. С понятной тоской и проникновенной злобой его прочтут и блатаки из берлинского шалмана. Им тоже захочется узнать о судьбе громил, пущенных на поиск чужого добра, и, таким образом, заглянуть в собственное будущее. Поэтому я и взял на себя труд расширить как географические, так и чисто описательные координаты помянутого события.

Это произошло в Москве, красивейшем из городов нашей эпохи, одетом в мечту героического поколения. Все дороги в его будущее ведут через Москву, и потому все взоры обращены к ее Кремлю, видимому сейчас из самых отдаленных захолустий мира.

Прекрасна Москва даже в знойном июле, когда пьянят сердце приезжего хмельные ароматы лип и тишина ее вечерних улиц...

...Незабываема она и теперь, в июле четвертого года войны, старшая сестра фронта, забывшая боль и усталость,

город внушительного и непоказного величия, у подножия которого прокатилось и потаяло столько завоевательских волн!

В особенности же хороша была Москва 17 июля 1944 года. На сей раз Геббельс и его речистые каналы не прокричали на весь мир об этой знаменательной дате.

В этот день прибыла сюда в несколько облегченном виде еще одна армия, отправленная Гитлером на завоевание Востока. Ее громоздкий багаж остался позади, на полях сражений. По этой причине немцы более походили на «экскурсантов», нежели на покорителей вселенной, и, надо признаться, за восемьсот лет существования Москва еще не видала такого наплыва «интуристов».

Представительные верховые «гиды» на отличных конях и с обнаженными шашками сопровождали эту экскурсию. Пятьдесят семь тысяч мужчин, по двадцать штук в шеренге, проходили мимо нас около трех часов, и жители Москвы вдоволь нагляделись, что за сброд Гитлер пытался посадить им на шею в качестве устроителей всеноевйшего порядка. Отвратная зеленая плесень хлынула с ипподрома на чистое, всегда такое праздничное Ленинградское шоссе, и было странно видеть, что у этой пестрой двуногой рвани имеются спины, даже руки по бокам и другие второстепенные признаки человекоподобия.

Оно текло долго по московским улицам, отребье, которому маньяк внушил, что оно и есть лучшая часть человечества, и женщины Москвы присаживались где попало отдохнуть, устав скорее от отвращения, нежели от однообразия зрелища. Несостоявшиеся хозяева планеты, они плелись мимо нас — долговязые и зобатые, с волосами, вздыбленными, как у чертей в летописных сказаниях, в кителях нараспашку, брюхом наружу, но пока еще не на четвереньках,— в трусиках и босиком, а иные в прочных, на медном гвозде, ботинках, которых до Индии хватило бы, если бы не Россия на пути... Шли с ночлежными рогожками под мышкой, имея на головах фуражки без dna или котелки с дырками, пробитыми для проветривания этой части тела, грязные даже изнутри, словно нарочно подбирали их Гитлер, чтоб ужаснуть мир этим стыдным исподним лицом нынешней Германии. Они шли очень разные, но было и что-то общее в них, будто всех их отштамповала пьяная машина из какого-то протухлого животного утиля.

Эти живые механизмы с пружинками вместо душ не раз топали под музыку по столицам распластанной Европы. Старые облезлые вороны с генеральскими погонами принимали завоевательский парад на парижской Плас Этюаль, и радио послушно разносило по всей планете эхо чугунной германской поступи. Эти же проходили по Москве уже не церемониальным маршем, и в растерянной улыбке у иных, ожидавших встретить разрушенную Геббельсом Москву или шаманов со стеариновой свечкой в зубах на улице Максима Горького, был заметен проблеск еще неуверенной, неоформившейся мысли. Другие откровенно улыбались, не скрывая животную радость, что удалось вовремя и невредимым вывернуться из-под березового гитлеровского креста: нет ничего глупее, как умереть за обреченного барина Адольфа, защищающего ныне лишь собственную шею от смоленой надежной удавки...

Прищурясь и молча, глядела Москва на этот наглядный пример бесконечного политического падения. Только из гнилой сукровицы первой мировой войны могла зародиться инфекция фашизма — этого гнуснейшего из заболеваний человеческого общества. До какого же непотребства и скотства фашизм довел тебя, Германия, которую мы звали в ее лучшие годы?

Шествие вурдалаков возглавляли генералы, хорошо побритые, числом около двадцати. Немецкие горе-стратеги шли с золотыми лаврами на выпущках воротников и высоких офицерских картузах, с вышитыми рогульками и опознавательными значками на груди и рукавах, чтоб никто не смешал степеней их превосходительного зверства: они были в больших и малых крестах за людоедство, юдоедство и прочее едство, с орденами Большого Каина или Ирода 1-й степени и с теми дубовыми листками, которые Гитлер раздает своим полководцам для прикрытия воинского срама.

У передних, кроме того, мы отчетливо разглядели большую черно-белую свастику, прикрепленную к кителю близ подвздошной области, — признак принадлежности к уголовно-политической организации, провозгласившей тунеядство и паразитизм основной из их добродетелей. Даже не смирение волка, у которого перебит шейный позвонок, читалось в этих щеголеватых фигурах, ибо есть и у волка своя смертная гордая статья: тупое равнодушие прочла Москва во всем облике этих всемирных бесстыдников.

Народ мой и в запальчивости не переходит границ разума и не теряет сердца. В русской литературе не сыскать слова брани или скалозубства против вражеского воина, пленного в бою. Мы знаем, что такое военнопленный. Мы не жжем пленных, не уродуем их: мы не немцы. Ни заслуженного плевка, ни камня не полетело в сторону врагов, переправляемых с вокзала на вокзал, хотя вдовы, сироты и матери замученных ими стояли на тротуарах, во всю длину шествия. Но даже русское благородство не может уберечь от ядовитого слова презренья эту попавшуюся шпану: убивающий ребенка лишается высокого звания солдата... Это они травили и стреляли наших маленьких десятками тысяч. Еще не истлели детские тельца в киевских, харьковских и витебских ямах, — маловедам Африки, Австралии и обеих Америк еще не поздно вложить пальцы в эти одинаково незаживаемые раны на теле России, Украины или Белоруссии.

Брезгливое молчание стояло на улицах Москвы, насыщенной шарканьем ста с лишком тысяч ног. Лишь изредка спокойные, ровные голоса, раздумье вслух, доносились до нас сзади:

— Ишь, кобели, что удумали: русских под себя подмять!

Но лишь одно, совсем тихое слово, сказанное на ухо кому-то позади, заставило меня обернуться:

— Запомни, Наточка... это те, которые тетю Полю вешали. Смотри на них!

Это произнесла совсем обыкновенная, небольшая женщина своей дочке, девочке лет пяти. Еще трое ребят лесенкой стояли возле нее. Соседка пояснила мне, что отца их Гитлер убил в первый год войны, — я пропустил их вперед. Склонив голову, большими, не женскими руками придерживая крайних, двух худеньких девочек постарше, мать глядела на пеструю, текучую ленту пленных. Громадный битюг из немецких мясников, в резиновых сапогах и зеленой маскировочной вуальке поверх жесткой, пропыленной гривы, переваливаясь, поравнялся с нами и вдруг, напорвшись глазами на эту женщину, отшатнулся, как от улики. Значит, была какая-то непонятная сила во взгляде этой труженицы и героини, заставившая содрогнуться даже такое животное.

— Поизносились немцы в России, — сказал я ей лишь затем, чтобы она обернулась в мою сторону.

На меня глянули умные, чуть прищуренные и очень

строгие глаза, много видевшие и ничему не удивляющиеся... а мне показалось, что я заглянул в самую душу столицы моей Москвы.

19 июля 1944 года



## Борис Горбатов

### ЛАГЕРЬ НА МАЙДАНЕКЕ

1

Когда с Майданека налетал ветер, жители Люблина запирали окна. Ветер приносил в город трупный запах. Нельзя было дышать. Нельзя было есть. Нельзя было жить.

Ветер с Майданека приносил в город ужас. Из высокой трубы крематория в лагере круглые сутки валил черный, смрадный дым. Дым относил ветром в город. Над люблинцами нависал тяжкий смрад мертвечины. К этому нельзя было привыкнуть.

«Печами дьявола» звали поляки печи крематория на Майданеке и «фабрикой смерти» — лагерь.

Немцы не стеснялись в своем генерал-губернаторстве — в Польше. Они даже желали, чтоб поляк повседневно дышал запахом смерти, — ужас усмиряет строптивые души. Весь Люблин знал о фабрике смерти. Весь город знал, что в Крембецком лесу расстреливают русских военнопленных и заключенных поляков из Люблинского замка. Все видели транспорты обреченных, прибывающих из всех стран Европы сюда, в лагерь. Все знали, какая судьба ждет их: газовая камера и печь.

Ветер с Майданека стучал в окна: поляк, помни о печах дьявола, помни о смерти! Помни, что у тебя нет жизни, — есть существование, временное, непрочное, жалкое. Помни, что ты только сырье для печей дьявола. Помни и трепещи!

Трупный запах стоял над Люблином. Трупный запах висел над Польшей. Трупный запах подымался над всей замордованной гитлеровцами Европой.

Трупным запахом хотели оккупанты удушить людей и управлять миром.

2

«Дахау № 2» — так сначала называли фашисты концентрационный лагерь войск СС под Люблином. Потом они отбросили это название. И по своим размерам, и по размаху «производства смерти» лагерь на Майданеке давно превзошел страшный лагерь в Дахау.

Мы нашли здесь пленников Дахау, Бухенвальда, Освенцима.

— Здесь страшнее! — говорят они. — О, здесь!..

На двадцать пять квадратных километров раскинулась эта фабрика смерти со своими агрегатами: полями заключения, межполями, газовыми камерами, крематориями, рвами, где расстреливали, виселицами, где вешали, и публичным домом для обслуживания немецкой охраны лагеря.

Лагерь расположен в двух километрах от Люблина, прямо у шоссе Люблин — Хелм. Его сторожевые вышки видны издалека. Его бараки — все одинаковые — выстроены в ряд с линейной точностью. На каждом — четкая надпись и номер. Все вместе они образуют «поле». Всего в лагере шесть полей, и каждое — особый мир, огражденный проволокой от другого мира. В центре каждого поля — аккуратная виселица для публичной казни. Все дорожки в лагере замощены. Трава подстрижена. Подле домов немецкой администрации — цветочные клумбы и кресла из необструганной березы для отдыха на лоне природы.

В лагере есть мастерские, склады — враги называли их магазинами, — водопровод, свет. Есть магазин, где хранился в банках «циклон» для газовых камер. На банках желтые наклейки: «специально для восточных областей» и «вскрывать только обученным лицам». Есть мастерская, где делают вешалки. На них — значок СС. Эти вешалки выдавались заключенным перед «газованием». Обреченный сам должен был повесить свое платье на свою вешалку.

На полях лагеря буйно цветет капуста. Пышная, грудастая. На нее нелегко смотреть. Ее нельзя есть. Она возвращена на крови и пепле. Пепел сожженных в крематориях трупов разбрасывался гитлеровцами по своим полям. Пеплом человеческим удобрялись огороды.

Весь лагерь производит впечатление фабрики или боль-

шого пригородного хозяйства. Даже печи крематория кажутся, — если не слышать трупного запаха, — маленькими электропечи для варки стали. Германская фирма, изготовившая эти печи, предполагала в дальнейшем усовершенствовать их: пристроить змеевик к печам для того, чтобы всегда иметь бесплатную горячую воду.

Да, это фабрика, — немислимая, но реальная, — фабрика смерти. Комбинат смерти. Здесь все — от карантина до крематория — рассчитано на уничтожение людей. Рассчитано с циркулем и линейкою, начертано на кальке, проконсультировано с врачами и инженерами, словно речь шла о бойне для скота.

Гитлеровцам не удалось при отступлении уничтожить лагерь. Они успели только сжечь здание крематория, но печи сохранились. Уцелел стол, на котором палачи раздевали и рубили жертвы. Сохранились полуобгоревшие скелеты в «складе трупов». До сих пор стоит над крематорием страшный запах мертвечины.

Сохранился весь лагерь. Газовые камеры. Бараки. Склады. Виселицы. Ряды колючей проволоки с сигнализацией и дорожками для собак. Остались в лагере и собаки — немецкие овчарки. Они исподлобья глядят из своих будок и, может быть, скучают без дела. Им не надо теперь никого рвать и хватать.

Спасены уцелевшие в лагере заключенные. Есть свидетели, их много. Схвачены палачи.

Мы говорили и с теми, и с другими, и с третьими.

— Я это пережил! — говорит спасенный и сам удивляется тому, как он сумел все это пережить.

— Я это видел! — говорит свидетель и сам удивляется: как же он не сошел с ума, увидев то, что он видел?

— Мы это делали, — тупо признаются палачи.

Каждое слово из того, что будет рассказано дальше, можно подтвердить документами, показаниями свидетелей, признаниями самих немцев.

Уже можно приподнять завесу над Майданеком и повесть всему миру страшную повесть о Люблинском лагере — «лагере для уничтожения».

3

Лагерь для уничтожения. Фернихтунгслагерь.

Международный лагерь смерти.

На воротах его можно было бы высечь надпись: «Вхо-

дящий сюда, оставь все надежды. Отсюда не выходят».

Из всех стран оккупированной Европы приходили сюда транспорты обреченных на смерть. Из оккупированных районов России и Польши, из Франции, Бельгии и Голландии, из Греции, Югославии и Чехословакии, из Австрии и Италии, из концентрационных лагерей Германии, из гетто Варшавы и Люблина прибывали сюда партии заключенных. Для уничтожения.

То, что фашистам неудобно было делать на Западе или даже в самой Германии, можно было свершать здесь, в далеком восточном углу Польши. Сюда пригоняли на смерть всех, кто выжил, выстоял, вынес каторжные режимы Дахау и Флосенбурга. Все, что еще жило, дышало, ползало, но уже не могло работать. Все, что боролось и сопротивлялось захватчикам. Все, кого гитлеровцы осудили на смерть. Люди всех национальностей, возрастов, мужчины, женщины и дети. Поляки, русские, евреи, украинцы, белорусы, литовцы, латыши, итальянцы, французы, албанцы, хорваты, сербы, чехи, норвежцы, немцы, греки, голландцы, бельгийцы. Женщины из Греции, остриженные наголо, с номерами, вытатуированными на руке. Слепые мученики подземного лагеря завода «Дора», где производились «ФАУ-1» — самолеты-снаряды. Политические заключенные с красными треугольниками на спине, уголовники с зелеными, «саботажники» с черными, сектанты с фиолетовыми, евреи с желтыми. Дети от грудных до подростков. Те, кому не было еще восьми лет, находились при родителях. Восьмилетние же «преступники» заключались в общие бараки. Совершеннолетие в лагерях смерти наступает очень рано.

Сколько сотен тысяч было уничтожено в этом международном лагере смерти? Трудно сказать. Пепел сожженных развеян по полям.

Но сохранился страшный памятник.

На задворках поля за крематорием есть огромный склад. Он весь доверху заполнен обувью, раздавленной, смятой, спрессованной в кучи. Тут сотни тысяч башмаков, сапог, туфель.

Это — обувь замученных.

Крохотные детские ботиночки с красными и зелеными помпонами. Модные дамские туфли. Грубые простые сапоги. Старушечьи теплые боты. Обувь людей всех возрастов, состояний, сословий, стран. Изящные туфли парижанки рядом с чеботами украинского крестьянина. Смерть урав-

няла всех. Вот так же, в общий ров — тело к телу — ложились умирать владельцы этой обуви.

Страшно смотреть на эту груды мертвой обуви. Все это носили люди. Они ходили по земле. Мяли траву. Они знали: высокое небо над их головою. Эти люди дышали, трупидились, любили, мечтали... Они были рождены для счастья, как птица для полета.

Откуда свалилась на них коричневая беда? За что скосила их смерть? Вот их нет теперь... Их пепел развеян... Только мертвая обувь, раздавленная, растоптанная, кричит, как умеют кричать только мертвые вещи...

Зачем фашисты сохранили этот страшный памятник? Зачем собирали они и хранили обувь в складе?

В дальнейшем углу барака мы находим ответ. Здесь лежат груды подметок, каблуков, стелек. Все тщательно рассортировано. Каждая партия — отдельно.

Все это шло в Германию. Как пепел на поля, как тепло их крематория в змеевик. Кровь на подметках не пахнет.

Нет, только фашисты способны на такое!

4

Заместителем начальника лагеря был эсэсовец Туман. Свидетели рассказывают о нем, что он никогда не расставался с огромной овчаркой.

Фашисты любят собак.

Они любят играть с ними, кормить их и ссориться с ними. С собаками у них быстрее находится общий язык. Шеф крематория Мунфельд имел комнатную собачонку. Начальник поля русских военнопленных играл с большим догом.

Эсэсовец Туман не пропускал ни одного расстрела, ни одной казни. Он любил лично присутствовать на них. Если автомобиль был доверху набит жертвами, он вскакивал на подножку и ехал на казнь.

Шеф крематория Мунфельд даже жил в крематории. Трупный запах, от которого задышался весь Люблин, не смущал его. Он говорил, что от жареных трупов хорошо пахнет.

Он любил шутить с заключенными.

Встречаясь с ними в лагере, он ласково спрашивал:

— Ну, как, приятель? Скоро ко мне, в печечку?— и, хлопая побледневшую жертву по плечу, обещал:— Ничего, для тебя я хорошо истоплю печечку...

264

И шел дальше, сопровождаемый своей собачонкой.

— Я видел,— рассказывает свидетель Станислав Гальян, житель соседнего села, мобилизованный со своей подводой на работу в лагерь.— Я сам видел, как обершарфюрер Мунфельд взял четырехлетнего ребенка, положил его на землю, встал ногой на ножку ребенка, а другую ножку взял руками и разорвал,— да, разорвал бедняжку пополам. Я видел это собственными глазами. И как все внутренности ребенка вывалились наружу...

Разорвав малыша, Мунфельд бросил его в печь. Потом стал ласкать свою собачонку.

Впрочем, уезжая из лагеря на новое и более высокое место, Мунфельд не взял с собой собачки. Он нежно простился с ней и бросил ее... в печь. Он и здесь остался верен своей природе.

Эсэсовец Шоллин, захваченный нами, занимал в лагере скромное место: он был фюрером кладовой. Он принимал одежду новоприбывших заключенных. Он обыскивал голых людей. Заставлял их раскрывать рты. У него были специальные никелированные щипцы,— он вырывал ими золотые зубы.

До войны Шоллин был мясником на бойне. Его призвали в армию, потом отпустили: мясники нужны были в Германии на бойнях. В 42-м году все-таки снова призвали и направили сюда, в лагерь. Теперь мясники нужны были здесь.

Шоллин стоит сейчас перед нами и плачет. Он пойман. Слезы эсэсовца — какие это отвратительные слезы!

Прежде Шоллин не плакал. Гитлеровцы в лагере на Майданеке любили смеяться и шутить.

Вот одна из их «добрых» шуток.

Эсэсовец подходил к заключенному — любому — и говорил:

— Сейчас я тебя расстреляю!

Заключенный бледнел, но послушно становился под выстрел. Эсэсовец тщательно и долго прицеливался. Наводил пистолет то на лоб, то на сердце, словно выбирал, как лучше убить. Потом отрывисто кричал:

— Пли!

Заключенный вздрагивал и закрывал глаза.

Раздавался выстрел. На голову жертвы обрушивалось что-то тяжелое. Он терял сознание и падал. Когда он через несколько минут приходил в себя, он видел склоненные над ним лица: того, который «расстреливал» его, и того,

265

который незаметно ударил его сзади палкой по голове.

Эсэсовцы хохотали до слез.

— Ты умер! — кричали они своей жертве. — Ты умер и ты теперь на другом свете. Что? Видишь? И на том свете есть мы. Есть СС.

5

Да, они были уверены, эти гитлеровские молодчики, что весь мир земной и весь мир небесный принадлежит им.

Для этого нужно только истребить пол-Европы. Сжечь в крематории.

Они строили лагерь на Майданеке с гигантским размахом, три года. Это была только первая очередь стройки.

Лагерь строили заключенные. Они осушали болото, копали котлованы, рыли канавы.

Они знали, что строят тюрьму для себя. Бараки, чтоб им в них гнить. Проволочные заграждения, чтоб им не убежать. Виселицы, чтоб их там вешали. Крематорий, чтоб их там сжигали. Проклятая гитлеровская система! Приговоренные к смерти сами копают себе могилу.

Лагерь вырос на костях и крови заключенных. Умирали и на работе, и в лагере. Замерзали зимой. Валились от истощения.

Каждый вечер на поверке всех выстраивали и осматривали. Тому, кто с трудом держался на ногах, приказывали: лечь наземь. Несчастные ложились. Они знали: это смерть. Встать они уже не могли.

Так лежали они всю ночь в поле. Утром их — и мертвых и еще живых — уволокивали прочь. Зацепив крючками, тащили к крематорию или жгли на кострах, — индийским способом: ряд бревен — ряд трупов, и снова ряд бревен — ряд трупов.

Волочить трупы товарищей оккупанты приказывали заключенным. Кто не подчинялся, сам тотчас же становился трупом. Здесь были короткие расправы, в этом лагере уничтожения. Человеческая жизнь здесь стоила дешевле пистолетного патрона. Убивали железными палками.

Заключенные же посылались и на работу в крематорий. Туда выбирали самых отупевших и уже сломанных людей. Их щедро поили водкой, хорошо кормили. Пьяные, одуревшие от смертного смрада, они, ничего не сознавая, копошились у печей дьявола. Они знали, что через месяц

сами пойдут в печь. «Неудобные свидетели», — так эсэсовцы официально называли их.

Ну, что ж. Печь так печь. Они знали, что все равно печь сожрет их поздно или рано. Из этого лагеря нет выхода. Пусть это будет раньше. И они работали у проклятых печей, заливая душу водкой.

Через месяц их всех отправили в газовую камеру и затем — в печь...

Ненасытные печи пожирали все. Они дымились круглые сутки. Пять печей сжигали в день тысячу четыреста трупов.

Гитлеровцы думали о строительстве второй очереди лагеря. Им мерещился гигантский комбинат смерти. Если бы им дать волю, они всю Польшу превратили бы в крематорий...

Красная Армия стремительным наступлением положила конец этой адской работе печей дьявола.

Пришло время расчета и ответа...

6

Человек, попадая в лагерь на Майданеке, переставал быть человеком; он становился предметом, подлежащим уничтожению. У него отбирали личные вещи, ценности, одежду. У него отнимали имя. Ему выдавали жестяной номер на проволоке для постоянного ношения на шее и полосатое арестантское рваньё. На куртке масляной краской намазывался красный, черный или желтый треугольник и буква, обозначающая национальность заключенного: П — поляк, Ф — француз. Национальность определяла отношение к нему тюремщиков. Человек мог забыть в этом лагере собственное имя, но палачи никогда не позволяли ему забывать, что он «славянская свинья», «польская скотина», «руссифицированный швайн» или «юде» — еврей.

С жестяным номерком на шее, с проволокой, вьезшейся в тело, проходил заключенный весь свой крестный путь от карантина до крематория. Этот путь мог быть очень коротким. Мог растянуться на много долгих месяцев медленного умирания, но он всегда приводил к печам обершарфюрера Мунфельда — к печам дьявола.

Отсюда не выходят.

Из Италии пригнали в лагерь каторжников серных

копей. Говорят, эти копи — самое страшное место мира. Но эти итальянцы выжили и в серных копиях. Тогда их прислали в лагерь под Люблином. Здесь они стали быстро умирать. Машина комбината смерти на Майданеке действовала безошибочно и беспощадно, с тупым азартом топора.

Она приходила в движение уже в карантине.

Вновь прибывшие должны были отбывать карантин... в бараке для больных туберкулезом в открытой форме. Двадцати дней карантина было достаточно для самых крепких. Туберкулез теперь прочно сидел в них, они несли его дальше, в общие бараки.

В одном только марте 1944 года, по официальным документам администрации лагеря, от туберкулеза умерло 1654 человека. Среди них 67 итальянцев, много поляков, русских, чехов, есть албанцы, югославы, греки, хорваты, словенцы, сербы, литовцы, латыши.

Туберкулез не лечили в лагере. Здесь вообще не лечили. Здесь — убивали. Но лазарет был, и даже блистающий чистотой, специально для фашистских фотокорреспондентов и все время ожидавшихся, но так ни разу и не приехавших «международных комиссий». В этом лазарете были аккуратные дощечки на дверях: «аптека», «операционная», но не было самых элементарных медикаментов, самого необходимого инструментария. Впрочем, это и не было нужно. Среди заключенных жило стойкое убеждение: в лазарет попадать нельзя. Из лазаретов в барак не возвращаются.

Если человек хотел протянуть свое земное существование, он должен был скрывать, что он болен!

В лазарете были медицинские весы. Иногда заключенных взвешивали. Зачем? Фашисты любят порядок. Они аккуратно заносили в книгу: вес заключенного (взрослого) — 32 килограмма.

Тридцать два килограмма — вес взрослого человека! Это вес его костей, обтянутых сухой желтой кожей.

Заключенные получали «суп» из травы, скошенной тут же на поле, у барачков. Эту траву узники Майданека с горьким юмором обреченных называли «витамином СС».

От голода и истощения умирало еще больше, чем от туберкулеза. Люди падали на работе, эсэсовцы добивали их железными палками.

Заключенные-врачи в вечерних рапортичках скрывали

умерших за день. Мертвых не уносили. Живые лежали рядом на одних нарах с мертвецами. На другой день паек мертвецов доставался живым.

7

Человека, заключенного в «лагерь уничтожения», мог убить всякий, принадлежавший к лагерной администрации: начальник картофельного поля Мюллер и самый последний капо. Капо — вспомогательная полиция, набранная из заключенных-уголовников. Капо соревновались в усердии с эсэсовцами. Убийство заключенного не считалось преступлением, оно было доблестью, долгом, службой.

Эсэсовцы хвалились перед гестаповцами своими подвигами в лагере. Гестаповцы не оставались в долгу.

У каждого СС, у каждого капо был свой метод истязаний. Один убивал ударом сапога в глотку, другой любил плясать на животе жертвы. Длинная костлявая эсэсовка из женского поля избивала бичом. Она била женщин по соскам, по половым органам, по ягодицам. Ее бич со сладострастным свистом падал на тело. Она была садистка и психопатка и засекала женщин до смерти.

Были среди СС и любители острых шуток. Одни травили заключенных собаками, другие забавлялись у бассейна. Эти заставляли узников нырять в воду и, дождавшись, когда жертва вынырнет, били палкой по голове. Если заключенный не утонул после этого, ему разрешалось выползти из бассейна и одеться. Одеться он должен был в три секунды. Нет, — снова ныряй в воду, снова удар палкой по голове, снова три секунды на одевание... И так до тех пор, пока жертвы погибали в бассейне или одевались в три секунды. Чаще погибали.

— Я видел, — рассказывает Владислав Скавронек, возчик, — я на собственные очи видел, как эсэсовка привела в крематорий шестерых детей: двух мальчиков и четырех девочек. Это были крошки: четыре — восемь лет. Начальник крематория Мунфельд сам раздел их догола, расстрелял из револьвера и отправил в печь. Я видел потому, что привез доски для склада.

— Я видел, — показывает Веслав Стопыва, — что они сделали с моим знакомым Чеславом Кшечковским. Ему было сорок два года, он был крепкий человек. Но он неровно стоял в строю, и его стал бить гестаповец. Он

ударил его ногой в живот... Потом палкой... Потом прыгал на его животе... Но Кшечковский все еще жил. Он был крепкий человек. Тогда гестаповец взял палку с заостренным концом, воткнул Кшечковскому в рот и с силой рванул... Он разорвал ему все лицо, внутренности... Кшечковский был еще жив... Все его тело содрогалось... Его положили на носилки и унесли в крематорий.

— Я видел,— говорит Петр Денисов,— как СС убил человека. Я инженер-любинец. Работал в лагере по проведению канализации. Этот СС наблюдал за заключенными. Он был совсем мальчик. Девятнадцати-двадцати лет. У него было нежное, женственное лицо. Я бы никогда не подумал, что он СС. Он выбрал среди заключенных одного молодого сильного еврея и сказал ему: нагни голову! Тот нагнул. Тогда СС начал бить его палкой по шее. Еврей упал. «Оттащите его!» — приказал СС. Еврея потащили лицом по земле. По мерзлым грудам... Был снежок на земле, и он стал красным. Но еврей еще жил. Тогда СС взял бетонную трубу — шестидесяти килограммов — и бросил ее на спину еврея. И еще раз и еще... Я услышал страшный хруст костей... И крик... Я сам закричал... Я не хочу смотреть, но не смотреть не могу. А этот СС подошел к еврею, поднял палкой веко — мертв... И закурил... У него было такое женственное лицо, но оно не побледнело даже.

8

Человека убить легко. Для этого железной палки хватит. Человечество истребить невысказанно.

Но именно этой маниакальной идеей задался Гитлер. Истребить все человечество, не угодное ему, непокорное, одухотворенное, свободолюбивое. Или по крайней мере истребить все человеческое в оккупированной Европе.

Для свершения такой диверсии против человечества фашистам и понадобились гигантские механизированные комбинаты смерти типа Люблинского лагеря.

Миллионы людей нельзя застрелить из автоматов. Нужен комбинат всех известных людям средств уничтожения.

Это и было сделано в лагере на Майданеке — этом комбинате массового производства смерти.

Расстреливали в лесу. Расстреливали во рвах. Засекали бичами. Травили собаками. Убивали палками. Дробили

череп. Топили в воде. Запихивали в «душегубки». — Плотнее! Плотнее! — Чтоб больше вошло. Морили голодом. Убивали туберкулезом. Душили в серных бетонных камерах. Напихивали людей побольше. Двести пятьдесят. Триста. — Плотнее! Плотнее! — Душили циклоном. Отравляли хлором. Через стеклянный глазок смотрели, как корчатся умирающие. Строили новую газовую камеру. Душили газом. Жгли на кострах. Жгли в старом крематории. Пропускали поодиночке через узкие двери. Оглушали ударами железной палки. По черепу. Тащили в печь. Мертвых и живых. Потерявших сознание. Старались набить печь плотнее. — Плотнее! Плотнее! — Разрубали трупы. Смотрели через синий глазок в печь, как съеживаются и обугливаются люди. Убивали поодиночке. Убивали партиями. Уничтожали целыми транспортами. Сразу восемнадцать тысяч человек. Разом тридцать тысяч человек. Пригоняли партии поляков из Радома, евреев из варшавского гетто. Евреев из Люблина. Гнали через лагерь. Окружали собаками и автоматчиками. Щелкали бичами — быстрее! Быстрее!

Через лагерь на пятое поле приходили бесконечные вереницы евреев. Молча. Рядами, взявшись за руки. Дети прижимались к родителям. Молча. Молча. — «Шнель!» — «Быстрее!» — подгоняли гитлеровцы. Рычали собаки. Хлопали бичи. Ряды убыстряли шаг. Задние догоняли передних. Бежали. Спотыкались. Падали. Задыхались.

Вдруг начинали греметь все репродукторы лагеря. Веселые фокстроты, танго. Лагерь замирал от ужаса. Знали: значит, большие расстрелы сегодня. Начинал работать трактор. Фокстрот сменялся румбой.

На пятом поле обреченные раздевались. Догола. До нитки. Все. Мужчины, женщины, дети. Их гнали ко рву. Быстрее! Быстрее! Ложились в рвы. Тело к телу. Покорно. Безропотно. — Плотнее! Плотнее! — приказывали палачи. Спрессовывались плотнее. Сплетались. Руки, ноги, головы уже не принадлежали человеку. Они существовали отдельно, придавленные, разбитые. Смятые. На первый ряд ложились второй. Потом третий. Гремели фокстроты в репродукторах. Стучал трактор. Весь ров теперь был до краев наполнен живой, трепетной, стонущей и проклинающей убийц человеческой массой. Автоматчики поливали ров огнем из автоматов.

И все пять печей нового крематория разевали свои жадные пасти. Они работали с адской нагрузкой. И днем



и ночью. Тысяча четыреста трупов ежедневно. Мало! Набивали печи плотнее. Вместо шести — семь трупов в печь. Подымали температуру в печах. 1500 градусов. Мало! Убыстряли процесс сжигания: 45 минут. 40, 30, 25. Деформировался кирпич в печах от невероятной жары. Оплавились чугунные шибера. Высокая труба крематория дымила круглые сутки. Черный смрад стоял над лагерем смерти.

Ветер с Майданека разносил трупный запах по всей округе.

9

Можно ли было уцелеть в этом лагере уничтожения? Отсюда не выходят.

Многие сами искали смерти, чтобы прекратить бесконечные муки. Бросались на электрифицированную проволоку и умирали на ней, почернев и скрючившись.

Инженер Денисов рассказал нам еще и о таком случае добровольной смерти, происшедшей на его глазах.

Двое заключенных подошли к эсэсовцу и попросили повесить их.

— Повесьте нас!

Эсэсовец удивленно посмотрел на них и усмехнулся.

— Яволь. Пожалуйста.

Он сделал петлю, сам накинул ее на шею желающему умереть, поставил его у рва, бросил концы веревки двум своим помощникам и, крикнув им: «держите крепче», ударил заключенного ногой под колено. Тот упал в ров, подергался в петле и умер.

Второй заключенный немедленно подошел ко рву. Он сам расстегнул свой воротничок, сам надел петлю на шею, оттолкнулся — и последовал за товарищем.

Мы нашли на стене барака две карандашные надписи. Первая: «Ваня Иванов дурак в том, что не может себе ничего сделать» и вторая — словно отвечая на первую: «Умри так, чтобы от смерти твоей была польза».

Можно ли было убежать из лагеря?

Мы слышали о «штурме лопатами» и о «побеге восьмидесяти». В обоих случаях действуют русские пленные. Видно, русскому, советскому человеку наиболее присущ дух борьбы за свободу.

«Штурм лопатами» произошел в Крембецком лесу, где

работали военнопленные из лагеря. Семнадцать русских лопатами убили вражескую охрану и убежали.

«Побег 80-ти» произошел позже. Ему предшествовал настоящий митинг в бараке. Обсуждалось: бежать или не бежать. Восемьдесят решили бежать, пятьдесят — остаться.

Решили бежать ночью. Оставшиеся обещали не выдавать. И не выдали. Ночью побег состоялся. Набросив пять одеял на проволоку (тогда еще не электрифицированную), пленные переползли через нее и убежали.

Оставшихся в ту же ночь фашисты вывели из барака и расстреляли.

Я знаю еще один случай побега. Его совершил люблинец Давидсон, еврей. Он бежал в тот момент, когда их гнали из лагеря на работу. Он знал, что его застрелят при побеге. Но он знал также, что его и без побега застрелят. Ему не из чего было выбирать. Он побежал, ожидая пули в затылок. Но пуля миновала его. Он спасся.

Его приютила знакомая польская семья. Два года и тринадцать дней — вплоть до прихода наших войск в Люблин — поляки скрывали еврея у себя на чердаке и кормили его. Все эти два года и тринадцать дней он пролежал влужку, чтобы шумом шагов не выдать себя и семью, его приютившую. Все эти два года он никого не видел, ни с кем не разговаривал. Ему забрасывали пищу — и все. Он разучился говорить. Он отвык от солнечного света. Но он сохранил жизнь. Мы видели его.

И так же, как он на своем чердаке, так и тысячи людей в лагере жили смутной надеждой...

Мы видели на стене барака в лагере рисунок синим карандашом. Без подписи. Без текста. Рисунок изображал простой и тихий украинский пейзаж. Сколько горькой тоски по родине, по вольной волюшке было в этом рисунке! Сколько надежды!

Да! Даже здесь, в лагере уничтожения, люди продолжали надеяться. Свои надежды они связывали с наступлением Красной Армии. Красная Армия не обманула их надежд.

Сейчас на Майданек приходят тысячи люблинцев. Приходят увидеть страшный лагерь.

Три года был он их кошмаром. Три года дышали они

трупным запахом его печей. Пять лет жили под кнутом оккупанта.

Черным смрадом и тайной был окутан этот лагерь смерти. Теперь нет больше тайн. Вот печи дьявола. Вот рвы, где расстреливали. Вот останки полусожженных трупов в крематории.

Люди смотрят и уже не плачут. Все слезы выплаканы. Слез больше нет. Толпа кричит.

Во рву работают гитлеровцы, захваченные в лагере. Палачей заставили выкопать трупы их жертв.

Глухо звенят лопаты о землю. Палачи работают молча. Они только испуганно вздрагивают, когда слышат яростный рев толпы, и еще ниже склоняются к своим лопатам.

Толпа кричит.

Лопаты стучат о землю. С ужасом вскрикивает женщина. Из груди развороченной глины рва выглянула ножка ребенка.

— Убийцы! — стонет толпа. — О! Убийцы!

Мимо проводят пленных фашистов, солдат и офицеров. Их больше восьмисот. Чтоб оградить их от народной ярости, их ведут по другой стороне рва. Конвоиры показывают им дело их рук. Труп ребенка уже весь извлечен из земли и положен рядом с другими трупами. Фашисты молча идут мимо. Одни — отворачиваются. Другие — тупо рассматривают трупы.

— Бандиты! — кричит им толпа. — Убийцы!

Толпа густеет. С дороги из окрестных сел сбегаются люди. Только ров отделяет людей от их палачей. Во рву среди трупов замученных — маленький детский трупик.

Гитлеровцы идут, согнув шеи, уткнув глаза в землю. Руки — за спиной. Толпа неистовствует. Слово хлыст, свистят и падают на спины убийц ее крики:

— Убийцы! Дегенераты! Садисты!

Старик поляк Петр Рожанский подымает палку над головой и кричит:

— Чем, чем вы заплатите мне за моего сына?

Чем?

11

Снова стучит в окна ветер с Майданека: помни о печах дьявола, поляк, помни о лагере смерти! Помни о миллионах замученных, расстрелянных, сожженных! Помни и мсти!

274

На площадь перед замком Люблинским стекаются огромные толпы. Поклониться праху мучеников.

Хор поет «Богородицу» — молитву, с которой шло Войско Польское на поля Грюнвальда бить врагов.

Рыдает площадь... Девочки в белых платьях несут венки на могилы. Припали к земле женщины в черном — вдовы замученных.

Обнажив головы, стоят солдаты Войска Польского. Взяли винтовки на караул бойцы Красной Армии.

Торжественно-траурную мессу служит ксендз Крушинский. Перед прахом мучеников он призывает соотечественников к единению. Член Польского Комитета Национального Освобождения В. Ржимовский открывает мемориальную доску на стене Люблинского замка. На ней краткая надпись:

**«Миллионам жертв, замученных немецкими преступниками на Майданеке и в Замке.**

**6 августа 1944 года.**

**Польский народ».**

Бывшие заключенные несут урну. В ней — пепел из крематория Майданека. Урна замуровывается в стену замка. Делегация Красной Армии возлагает венки от армии и правительства СССР.

Двадцать пять тысяч собравшихся на площади поют старую антифашистскую песню «Рота».

На крови мучеников, в огне борьбы, в братском союзе с советскими народами встает из пепла новая, свободная Польша.

*Август 1944 года*



**Леонид Соболев**

**ДОРОГАМИ ПОБЕД**

**ПОД КРЫЛОМ САМОЛЕТА**

Мы летим в Одессу, только что освобожденную ударом наших войск.

Чем дальше от Москвы, тем меньше снега, и за Орлом

275

тонкая его пелена уже не может скрыть следов войны, истерзавшей за эти два года русскую землю. Вся она в круглых желтых язвах орудийных окопов, в глубоких, извилистых порезах траншей, в толстых шрамах противотанковых рвов, в густой сыпи воронок от мин, бомб, снарядов. Под крылом проходят города с зияющими пустырями разрушенных кварталов, с обугленными коробками домов без крыш. Чернеют сожженные деревни. Страшным видением, от которого сжимается сердце, проходят справа развалины Днепрогэса... Горько и больно видеть лицо родной земли, изуродованное войной.

Сколько человеческого труда, таланта и надежд было вложено в эти заводы, села и города, сколько светлой мечты о свободной и привольной жизни! И все это разрушено, разломано, сожжено. И сколько человеческого страдания, которого не увидишь глазом, осело на этой земле, где прошел палач, убийца и разрушитель, уничтожитель всякой жизни и свободы...

Мысль отказывается найти меру возмездия.

Если кто устал в лишениях военного времени, если кого тяготит трудная жизнь третьего года войны, — я хотел бы, чтобы он вот так, с самолета, где быстрый полет сжимает пространства и откуда глаз охватывает все разом, увидел бы эти огромные просторы разоренной земли, залитой человеческой скорбью, увидел бы эти города — и следы городов, деревни — и золу деревень. Я хотел бы, чтобы он угадал в этих развалинах бледные призраки умерщвленных наших людей, подумал бы о пропавших и разлученных семьях, о детях, бесследно исчезнувших на дорогах войны, о нашей молодежи, увенчанной отсюда в рабство. Все трудное покажется ему тогда легким и выполнимым. Огромная ненависть к врагу, причина этого зла и беды, придаст ему силы. Все можно сделать, увидев это.

Чем далее к югу, тем прозрачней и ярче синева неба. Дружная весна подняла всходы. Зеленными коврами лежат внизу поля, влажной, прелой чернью темнеют массивы поднятой зяби. Ползут по узким полевым дорогам тракторы, и кто-то машет платком пролетающему самолету... Жизнь, неистребимая, неуничтожаемая, кипит на полях и преобразует землю. И удивляешься, какая огромная сила живет в нашем народе! В пламени войны, рядом со сгоревшей хатой, в лишениях и в горе, едва вернувшись

на родные места, он уже трудится в поле, возвращая хлеб для нашей страны, для ее армии.

Нельзя победить страну, в которой труд идет по пятам боя вплотную, как вплотную за огненным валом артиллерии идет в атаку солдат. Нельзя сломить страну, в которой сила народа, как живая вода в сказке, одним касанием возвращает жизнь убитой врагом земле. Такой народ и такая страна — непобедимы.

Невыразимо — слепительно, торжественно и спокойно — сверкнуло в глаза широкое Черное море. Мы летим вдоль берега на Очаков, и совсем другая земля проплывает внизу. Не видно мягкой черноты вспашки; узкими, редкими полосками идут бедные посевы; пусты и заброшены поля. Здесь недавно были фашисты. Лишь глубокие царапины траншей бегут вдоль крутого берега моря. Так и кажется: стоял здесь гитлеровец, стоял, втиснув в нашу землю шипы подкованных своих сапог, пока не ударили его сокрушительным ударом под подбородок, — и тогда он упал, поскользнувшись и исцарапав землю обеими подшивками.

И вот мы подлетаем к Одессе.

Узкими, длинными озерами блестят внизу лиманы — Куяльницкий, Андреевский, Хаджибейский, проходят Лузановка, Григорьевка, Крыжановка. Показалась Пересыпь...

Как странно видеть линию нашей обороны с самолета! Тогда, в осаде, нам казалось, что она страшно далека от города — целых двенадцать километров! Мы гордились этим и радовались этому. Теперь, с самолета, видно, что кольцо обороны было угрожающе близко — вплотную к городу. И уже не понимаешь, как смогли защитники Одессы держаться за ней более двух месяцев.

Оборона была создана за несколько дней, в боях, под снарядами, минами и бомбами врага. На фронт вышли части Приморской армии, Чапаевская дивизия под командованием генерал-майора И. Е. Петрова и моряки одесской базы. Здесь не за что было зацепиться, — ровная, как блюдо, степь, в которой разбросаны редкие пригорочки да торчат посадки из акаций и кустов. В степи, без укрытий, в наспах вырытых окопах, защитники Одессы оставили врага.

Город, стиснутый в кольцо, прижатый к морю, сказал: — Нет. Так легко вы здесь не пройдете!

И на долгие семьдесят три дня задержались у Одессы

дивизии врага, кидаясь в атаки по семь-восемь раз в день. Круглые сутки висели его самолеты над городом и рейдом, бомбя дома и корабли. Из пригородов — Дальника, Дофиновки и Григорьевки — немецкие батареи обстреливали город и порт. Враг старался порвать тонкую ниточку морской коммуникации, единственную связь с Большой землей — с Севастополем. Части Красной Армии, полки морской пехоты, морские береговые батареи, повернутые в тыл — на сушу, авиация, базировавшаяся на засыпаемых снарядами аэродромах, корабли, отбивавшиеся от воздушных атак, и горожане, беззащитные от бомб и снарядов, держали Одессу.

Город сидел без пресной воды: городская станция водопровода в Беляевке была в руках врага. В газете появилось постановление горсовета о нормах отпуска питьевой воды и о рытье колодцев во дворах и на улицах. Это напоминало средние века: крепость в осаде, вода на исходе.

Одесса вовсе не была крепостью. Это был мирный, веселый и трудолюбивый город, никогда не помышлявший об осаде. Но в Великой Отечественной войне оказалось, что Одесса и в самом деле была крепостью — крепостью негибаемого советского духа.

Городу было трудно. Фронт проходил по предместьям — почти до самых окопов ездили на трамвае. Аэродромы врага придвинулись к городу. Противовоздушная оборона не успевала предупреждать жителей, и часто свист бомбы раздавался ранее воя сирены. Неистребимый юмор одесситов изобрел особое наименование такой воздушной тревоги: «УБ<sup>1</sup> — уже бомбили».

Дома, построенные из пористого известняка, разваливались начисто, до самой панели, и жители нашли надежные убежища в Аркадии, в каменоломнях. Туда под вечер таборами тянулись семьи, чтобы утром вернуться на работу. Воздушные палачи сбросили пятисотку на трамвайное кольцо, в огромную толпу женщин и детей... Те, кому пришлось видеть страшную эту площадь в тот вечер, навсегда запомнили ее.

Ненависть кипела в Одессе, в окопах, на батареях, на кораблях. Ненависть жила в сердцах красноармейцев, моряков и горожан. Ненависть к врагу помогала держаться и совершать подвиги, на которые уже не обращали

внимания: подвиги стали нормой поведения защитников Одессы.

Подростки-колхозники и девушки провожали разведчиков по тылам врага, по родным местам. Юноши взялись за винтовки. Научные работники стреляли из орудий. Лейтенант Дионисий Бойко, командир батареи, преподаватель марксизма-ленинизма в Индустриальном институте Одессы, 17 сентября в течение девяти часов прямой наводкой на триста метров отбивался у Лилиентала от окружающих его врагов. Вся его батарея была из одесситов: инженер-пищевик, инженер-электрик, токарь, электросварщик... Старики в разрушенных бомбежкой цехах делали свои — одесские минометы и мины, починяли трофейное оружие, в изобилии доставляемое с переднего края после отбитых атак. Здесь делали «гвоздеметы» — странный, но страшный на близком расстоянии прибор: водопроводная труба, начиненная гвоздями, шурупами, обломками металла. Здесь ковали «одесские кинжалы», особенно полюбившиеся разведчикам, здесь сочинили особую модель «танка» НИ («на испуг») — трактор, обшитый броней и снабженный пулеметом и пушкой, конструкции морского инженера капитана Когана (семь таких НИ, однако, с успехом опрокинули румынскую атаку у Дальника). Женщины ходили под снарядами по огородам у переднего края, заготавливая бураки и картошку на зиму...

Одесса дралась, чем могла и как могла. И каждое утро встречала врага упрямым и гордым словом «нет!».

Основой обороны города были морские береговые батареи капитана Диненбурга. Орудия пришлось повернуть с моря на сушу. Всю осаду они били по дорогам, по резервам, по накапливающимся перед атакой фашистам. Корректировщики-моряки вылезали на передний край и, сидя под самым носом у врага, ловили малейшее их передвижение. Точность флотского «огонька» полюбилась армейским командирам, и, как правило, огонь морских батарей вызывался не раньше того, как вражеские цепи поднимались уже в атаку. И каждая из батарей — Никитенко, Шкирманна, Куколева — мгновенно и точно отвечала на «заказ» армейских командиров, после чего происходил телефонный обмен любезностями: «Спасибо, моряки, в самый раз!» — «Кушайте на здоровье...»

Батарея старшего лейтенанта Куколева у Сухого лимана, очутившаяся в прямой видимости врага, была в особен-

<sup>1</sup> Термин довоенного времени «учебно-боевая».

но трудном положении: едва она открывала огонь — противник начинал засыпать ее своими снарядами. Но Куколев тут же жаловался Шкирману, тот «призывал немцев к порядку» своими точными залпами, и куколевцы продолжали огонь, всегда убийственный для врага.

На этой героической батарее, все время жившей под угрозой прямой атаки врага (и однажды отбившей его прямой наводкой), царил тот удивительный жизнерадостный флотский дух, которым отличается в бою моряк, где бы ни привелось ему драться.

За все дни, проведенные на батареях, только раз я и видел сумрачные лица. Это было, когда долго не подвозили из Севастополя снаряды и пришлось отказывать армейским командам в «огоньке». Зато, когда «огурчики» наконец доставили, батареи тут же закатили «концерт без антрактов».

Когда Одесса была фактически оставлена, когда армия уже шла на транспортах в Крым для боев на Ишуньских позициях, и морские полки — Первый и Третий — уже грузились ночью на последние транспорты, и когда окопы уже были пустыми, — морские батареи Одессы день и ночь били по всему фронту, создавая у врага впечатление подготавливаемого нами решительного удара. Выпустив последние снаряды, батарейцы взорвали на рассвете орудия и ушли на шлюпках последними из Одессы. Свыше суток фашисты боялись поднять головы. Только на следующий день они вошли в город. Это они называли: «Мы взяли Одессу штурмом...»

Героическая работа летчиков полка майора Шестакова, которые подымались с аэродрома под обстрелом батарей врага, не успевая до переднего края набрать высоту, и летали на машинах, трижды исчерпавших ресурсы, — была второй особенностью Одессы. Летчики делали по пять-шесть вылетов за день. Часть из них вынужденно обучилась ночным полетам, что сильно сократило ночные визиты немцев. Истребители работали за штурмовиков. Замечательный по смелости и внезапности налет совершила эскадрилья старшего лейтенанта Елохина — летчики Маланов, Осечкин, Королев, Череватенко, Моисеенко вместе с командиром полка майором Шестаковым бреющим полетом на рассвете, почти в темноте, вышли на вражеский аэродром, сожгли на земле четырнадцать бомбардировщиков — и два дня Одесса отдыхала от бомб... К 29 сентября каждый из летчиков этого полка имел не

меньше ста боевых вылетов за осаду, а полк уничтожил три немецких самолета...

Здесь, в Одессе, прошли великолепную боевую школу и корабли. Крейсера и миноносцы приходили обстреливать берега. Тральщики вели упорную опасную работу по расчистке для них фарватеров. Сторожевые катера несли конвойную службу и особенно досаждали врагу в охране Одессы с моря: они изображали собой в море выносные посты ПВО и заодно встречали гостей таким огнем, что часто самолеты, не доведя груза до Одессы, сбрасывали бомбы на катера. Здесь получили боевую закалку те моряки-катерники, которые потом увенчали себя славой в феодосийском и керченском десантах, в борьбе за Новороссийск. В Одессе провел начало войны будущий Герой Советского Союза Державин, здесь начали свой славный боевой путь командиры катеров Тимошенко, Скляр, Михайлов, Щербинин...

И здесь, в Одессе, рождалась в те дни бессмертная слава морской пехоты. «Черная туча», «черные дьяволы» — эти прозвища, данные врагом советским морякам, дравшимся на суше, появились в Одессе. Здесь воскресли традиции гражданской войны, здесь возродилось орлиное племия матросов революции, чьи бушлаты и бескозырки чернели когда-то в степях Донбасса и лесах Урала и под Царицыном. Здесь, в Одессе, было положено начало сияющим подвигам морских бригад и полков, дравшихся потом под Севастополем и под Новороссийском, на горных перевалах Кавказа и в степях Кубани, на Таманском полуострове и в Керчи. Даже под Москвой, в дни нашего январского наступления 1942 года, я встретил потом многих моряков, защитников Одессы.

Командиром Первого морского полка и его организатором был полковник Яков Иванович Осипов, командир одесского порта, матрос с «Гангута» и «Рюрика», командир матросского отряда на Волге в гражданской войне. В этом прекрасном коммунисте, отважном воине и тонком психологе сказались лучшие качества моряка. Осипов и его комиссар Митраков сумели создать из сборного отряда моряков с разных кораблей, из разных частей монолитную грозную силу. Полковник Осипов на своей легендарной машине, на которой он носился по своим «хозяйствам», был вездесущим. Его видели моряки в самые опасные моменты рядом с собой. Шуткой, серьезным разговором, личным примером отваги и военной смекалки он учил

моряков биться на суше, и за короткий срок полк Осипова приобрел в Одессе заслуженную славу.

Мы пролетаем над Жеваховой горой. Румынские полки стремились взять ее, чтобы стрелять по Одессе прямой наводкой. На этом участке в начале августа их остановил Первый морской полк и до подхода подкреплений фактически один держал две недели весь правый фланг фронта за Пересыпью.

Дрогнуло сердце: внизу аккуратным прямым углом видна агротехническая посадка у Ильичевки. Самолет проходит низко, и видно, что акации и кустики покрыты густой зеленью. Тогда, в осаде, я не нашел здесь ни одного целого листочка: все они были сбиты, прострелены, сорваны металлическим дождем осколков и пуль. Три недели сидел здесь в окружении третий батальон осиповского полка моряков, отбиваясь от двух пехотных и одного артиллерийского полка.

Обрыв берега у Григорьевки... Сюда с кораблей высадился десант моряков для захвата немецких батарей, обстреливавших порт и не дававших нам спокойно выгружать с транспортов войска и боезапас. Операция, внезапная и смелая, началась в ночь на 22 сентября: крейсера высадили десантный Третий морской полк, самолеты сбросили в тыл врага моряков-парашютистов. Первый морской полк ударил из своей знаменитой посадки под Ильичевкой во фланг немецкой батареи. Трехдневный бой моряков отбросил румын на девять километров — дистанция для Одессы огромная! — за Гильдендорф. И по улицам Одессы провезли немецкие орудия, и на стволе каждой пушки было написано: «Она стреляла по Одессе — больше не будет!» И одесситы, как всегда, бурные в чувствах, провожали орудия, отбитые моряками, аплодисментами.

Позже я увидел эти орудия у Исторического музея в Севастополе, и это получило в моих глазах особый, важный смысл.

В Севастополе бились Третий морской полк и моряки Первого морского полка. Здесь были артиллеристы с одесских батарей. Сюда пришли с Перекопа и части Красной Армии, державшие Одессу, и сухопутной обороной Севастополя командовал тот же одесский генерал-майор И. Е. Петров, и сторожевые катера одесских дивизионов охраняли Севастополь с моря и конвоировали приходящие в него транспорты с Большой земли. Одесса возродилась

в обороне Севастополя, и традиции одного города-героя перешли к другому.

Навсегда запомнился мне тот солнечный октябрьский день 1941 года в осажденной Одессе, когда в новом — зловещем — звучании услышал я родное с детства любимое слово «Севастополь».

Это было в самый тяжелый период начала войны. Фашистские полчища подходили к Москве. На севере они вплотную осадили Ленинград. Здесь, на юге, их армии подкатились к Мариуполю и Таганрогу, стучались в Перекоп, и угроза Крыму стала реальной. Одесса осталась в глубочайшем тылу врага. Севастополь, который сам готовился к обороне, уже не мог снабжать ее боеприпасами. Родина, напрягая все силы на огромном фронте, где на каждом участке шли тяжелые бои, не могла присылать резервов ни в Крым, ни в Севастополь. Каждый воин был на счету, и каждый воин был нужен в Крыму, в Севастополе.

Едва мы отметили двухмесячный юбилей обороны Одессы, как я узнал о том, что наши морские полки, Приморская армия и корабли эвакуируются для защиты Севастополя. Приказ Верховного Главнокомандования отзывал нас в Крым.

Одесса сделала все, что требовала от нее родина.

Семьдесят три дня она оттягивала на себя двадцать дивизий врага — и могла бы держать их и дольше, если бы Крыму не угрожала опасность. Половину вражеской армии перемолола в боях Одесса — и всю бы уничтожила, если бы не Крым. По шесть врагов приходилось на каждого из защитников Одессы — по десять бы приняли, если бы не Севастополь...

Лишь теперь, когда, всматриваясь вперед, уже ясно различаешь в кровавых дымах войны сияющий облик победы и когда, оглядываясь назад, видишь этапы великой войны уже отлитыми в бронзу истории, — лишь теперь понимаешь, чем была Одесса в ходе Отечественной войны.

Одесса была первым городом, который сумел не только задержать, но и надолго остановить огромные полчища врага, ослепленного легкими европейскими успехами. Чтобы пройти всю Францию до Парижа, Гитлеру понадобилось тридцать семь дней. И семьдесят три дня он топтался у Одессы. Эти цифры многозначительны.

Одесса начала свою героическую оборону в первых числах августа. В конце его начал свою героическую эпопею

другой морской город — Ленинград. В октябре началась великая битва за Москву, закончившаяся декабрьским разгромом полчищ Гитлера. В ноябре на их пути встал Севастополь. И наконец, в ряду городов-героев поднялся над Волгой Сталинград — могила фашистских успехов, первый видимый всем луч несомненной нашей победы.

Но зарождение этой победы было здесь, в Одессе: Одесса учила нас, как сдерживать напор врага, чтобы дать стране драгоценные дни и месяцы, нужные для подготовки встречного сокрушительного удара.

На бушлатах моряков, встреченных мной в первые дни освобождения Одессы, я увидел севастопольские медали. На гимнастерках красноармейцев, штурмовавших Севастополь на самом трудном участке, я видел медали Сталинграда. Это не совпадение. Это логика Отечественной войны. Города-герои отдают друг другу старые долги. Одесса показала Севастополю, как держаться против огромных сил врага. Героический пример Севастополя показал Сталинграду, как стоять до конца. Там, в Сталинграде, оборона наша обернулась наступлением. Города-герои пошли на запад, — и севастопольцы пришли к Одессе, сталинградцы — к Севастополю.

Уходя из Одессы, мы, конечно, не могли еще понимать, что такое Одесса в истории Отечественной войны. Но сердцем, любовью к родине, горечью нашей за ее раны и страстной ненавистью к врагу мы угадывали это, и каждый из защитников Одессы, покидая ее, говорил, как клятву:

— Мы вернемся, Одесса... Мы вернемся!

И мы вернулись.

#### В ОДЕССЕ

На промежуточном аэродроме мы справлялись, как садиться в Одессе: это был третий день ее освобождения, а у фашистов есть привычка минировать аэродромы. Летчик, только что прилетевший из Одессы, деловито пояснил:

— Летите на школьный аэродром, там немцы для нас «Т» выложили... Садитесь к нему впритирочку, аккуратно получится.

И вот мы увидели это «Т» — посадочный знак. Он был огромных размеров и, вопреки правилам, черного цвета. Снизившись, мы рассмотрели, что это был «Мессершмитт-323» — громадная транспортная многомоторная

машина. Утром 10 апреля она, нагруженная немецкими офицерами, коврами, штабниками, швейными машинками и прочим, что считают нужным вывезти фашисты, пыталась взлететь. Обгорелые ее обломки лежали на аэродроме, распростерши гигантские крылья в виде буквы «Т». По этому оригинальному посадочному знаку мы и сели в Одессе. Рядом чернели обгорелые самолеты помельче, и на бетонной взлетной дорожке лежали бомбы. Фашисты не успели ни взорвать аэродром, ни взлететь...

Мы пошли в город по Овидиопольскому шоссе, разглядывая сожженные и разбитые машины. Награбленное добро виднелось в них. Лежали брошенные узлы, оказавшиеся помехой тем, кто спасался из Одессы пешком. На Мельничной улице, которая вливается в шоссе, мы увидели около двухсот машин сразу: они были нагромождены друг на друга и все сожжены.

Вечером 9 апреля вся эта масса машин ринулась на шоссе. Получилась пробка, машины задержались. Тогда из домов на передние машины полетели гранаты, те вспыхнули, и огонь перекинулся на всю колонну. Немцы выскочили из машин. Их встретил винтовочный огонь, уложивший тут до двухсот солдат и офицеров: партизаны, вышедшие из катакомб под городом, провожали из Одессы ненавистных гостей. Одесситы потеряли в этом бою пять человек. Могилы их виднелись рядом в сквере, в цветах и флагах.

Так встретила нас Одесса: следами разгромленного врага и памятниками мужества одесских патриотов.

Мы пошли дальше, в город.

Тени каштанов, начинающих уже одеваться листвой, лежат на мостовых густой чернью, яркое южное солнце слепящим светом заливают широкие и прямые улицы, и в стройной перспективе красивых домов виднеется вдаль синее просторное море... Одесса встречает нас праздничной толчеей на улицах, красными флагами на домах, сиянием солнца и моря, улыбками встречных, быстрым певучим говором расспросов и приветствий и — Одесса без этого не Одесса! — шумными стайками черномазых мальчишек с ваксой, щетками и скамеечками за спиной. Мы покорно подчиняемся неизбежному ритуалу вхождения на Дерибасовскую — и ставим правую ногу на скамеечку.

И кажется — не было этой тридцатимесячной разлуки с Одессой. Она все та же — живая, шумная, страстная,

какой была она в горячие дни обороны. И под каштанами ее снова проходят ладные фигуры красноармейцев с оружием, и моряки в высоких сапогах, оживляя в памяти первые дни морской пехоты, взбираются на деревья с катушкой связи, и танки грохочут по брусчатой мостовой, и тот же дух неистребимой энергии, живости, жажды деятельности, присущий Одессе, кипит на улицах. Только удивляет тишина в небе и невозмутимая ясность его синевы: тогда, в осаде, в нем постоянно белели облачка шрапнельных разрывов и вечный гул очередного «юнкера» висел над городом, время от времени сменяясь воем бомбы или свистом снаряда с Дофиновки или из-за Дальника.

Но первый же разговор с крохотным жрецом чистоты, колдующим над моим ботинком, сразу напоминает о тридцати месяцах рабства вольного города. Протягивая сдачу, мальчик поднял лицо, и меня поразило полное отсутствие передних зубов. Шепелявя, он объяснил:

— Офицер фашистский... Вакса у меня засохла, я плюнул на щетку, а он увидел да как даст мне сапогом в лицо... Так и выскочили...

В серых глазах промелькнул мрачный огонек. Он оглянулся (видимо, по привычке, нет ли кого чужого) и закончил:

— Ну, мы им тоже насолили. Две баночки с ваксой стали носить: одну — для наших, другую — для них. Серной кислотой разбавляли... Ух, и горели у них сапоги... В труху!

Он засмеялся. Выщербленный оскал детского рта остался в моих глазах страшным видением бесправия и рабства. И вся радость свидания с Одессой омрачилась. Я смотрел на улицы — и зияющие провалы разрушенных бомбежкой домов все время напоминали мне об этом изуродованном детском рте.

Среди знакомых со времени осады разрушений мы увидели и новые.

Почтамт, уцелевший до нашего ухода из Одессы, стоит теперь одной стеной, зияющий гигантскими проломами, сквозь которые видны небо и заваленный рухнувшей крышей великолепный зал. Немцы, уходя, взорвали почтамт тремя стокилограммовыми бомбами. Здание ЦДКА развалено. Вокзал, изумительный одесский вокзал больше не существует: вместо него за деревьями сквера видна низкая груда камней. В подвалах многих домов и особенно учреждений были заложены мины замедленного действия

и мины-«сюрпризы»: те, которые взрываются через месяц-два при повороте определенного выключателя или открывании какой-либо двери. Но по всем улицам на воротах мы встречаем надписи: «Дом свободен от мин. Старшина такой-то».

Эти разрушения сделаны и подготовлены немцами. 20 марта, не надеясь на стойкость полков Антонеску, немцы взяли оборону Одессы на себя. Они сменили румынский гарнизон, отослали румынские власти и пытались удержать натиск Красной Армии. Когда дело оказалось проигранным, фашисты за пять-шесть дней до подхода наших войск к Одессе начали по плану взрывать город и промышленность. Они уничтожили все заводы, порт и его сооружения, зажгли хлебный элеватор. На улицах через каждые два квартала вы натываетесь на яму в панели: здесь взрывом мины уничтожился колодец телефонного кабеля. Десятки домов стоят на улицах, еще тлея в перекрытиях.

Так мы увидели у набережной красивейшее здание музыкальной школы имени Столярского; развалины его еще дымились, огоньки перебегали под пеплом обугленных балок, и странно было услышать из тлеющих руин звуки рояля. Кто-то весело играл чижика одним пальцем, вдохновенно, но некстати, барабана пятерней по басам. Зайдя во двор, мы увидели одесского парнишку за великолепным роялем. Рядом, в нише ворот, стояло еще пятнадцать совершенно целых инструментов. Их вытащили из огня преподаватели школы. И на уцелевшей половине подъезда уже белел рукописный листок, объявляющий о наборе слушателей в новом помещении школы.

Одесситы спасали не только инвентарь горящих школ и учреждений. Они отстояли и самые здания. Так было с Одесским оперным театром.

Он был намечен к взрыву и сожжению в последний момент — после трех часов дня 9 апреля. Фашисты знали, что одесситы, патриоты своего театра, установили за ним наблюдение. Пронести мины в подвалы незаметно было нелегко, а делать это явно немцы не решались: одно дело рвать заводы на окраинах и сооружения порта, куда русским был запрещен допуск, другое — публично расписаться в уничтожении культурных ценностей.

Утром 9 апреля гитлеровское командование объявило по городу приказ: с трех часов дня все окна квартир за-



крыть ставнями или шторами, а все двери открыть. Появление на улице или у окна после трех часов дня каралось расстрелом.

Одесситы сидели по домам, со страхом ожидая грабежей, убийств, взрывов домов, из которых запрещено выходить.

Мы разговаривали с женщиной, которая ухитрилась все же смотреть в щелку ставни. Через час после закрытия окон к огромному дому против ее окна, к зданию жандармерии около памятника Ришелье, подошла машина, похожая на бензозаправщик. Солдат полил из шланга бензином стены до третьего этажа, другой скатил бочку. Машина отошла. Солдат дал очередь зажигательных пуль, бочка вспыхнула. Дом мгновенно загорелся, и машина пошла дальше.

Так и зажигали гитлеровцы одесские дома, в том числе и здание гестапо на Новосельской, где нашли потом в подвалах двести сорок обгорелых трупов.

Разрушение города, все население которого было загнано в дома, факельщики и подрывники должны были производить в течение 9 и 10 апреля. Но им помешала Советская Армия.

Уже горел на молу элеватор, раздавались взрывы в порту и в городе, летели стекла в расположенных рядом домах, и люди в них со страхом ждали своей очереди, когда в пятом часу дня 9 апреля над Одессой повисло огромное облако черного дыма. Его видели наши передовые части, ворвавшиеся на окраины Одессы, и те из одесситов, которые рисковали выглядывать со дворов. Это был сигнал «общий отход»: прорыв наших войск был совершен, и поджигателям оставалось убежать за спешно отступающими немецкими полками.

Наши войска ворвались в город по пятам врага. Батарея моряков-артиллеристов майора Солуянова, бывшая врагов под Новороссийском, успела подвезти орудия к Одессе еще тогда, когда они выходили из порта. Прямой наводкой моряки потопили две быстроходные десантные баржи с войсками — первую четверью, вторую тремя залпами. Моряки-разведчики, ворвавшись на Пересыпь, еще застали там гитлеровцев, готовивших взрыв железнодорожных мостов на дамбе. Два паровоза под парами стояли на мостах, чтобы увеличить разрушения. Моряки огнем отогнали немцев и перерезали горящий шнур. Советские войска ворвались в Одессу стремительно и внезапно, и благодаря

этому враг не успел выполнить намеченный им план разрушений. Шоссе на Овидиополь, забитое машинами и техникой, пленные, захваченные по квартирам, в сараях и уборных, порой в женском платье, и не взлетевшие с аэродрома самолеты свидетельствуют о том, как была взята нами Одесса.

Так остались целыми многие здания, в том числе оперный театр и одесская городская библиотека с ее двумя миллионами книг.

Как и артисты, работники библиотеки дежурили по ночам, следя за тем, чтобы фашисты не проносили мин. Это были О. В. Янушковская, двадцать четыре года заведовавшая книгохранилищем, М. М. Дерибас, внучка основателя Одессы, работающая на каталоге сорок шесть лет, Котов, Бабышев и директор библиотеки А. Н. Тюнеева, связанная с нею с 1919 года. Этим людям удалось сделать еще одно огромное дело.

Представитель тогдашнего румынского «министерства просвещения» явился в библиотеку с требованием изъять всю политическую и советскую литературу. Работники библиотеки представили ему каталоги одного только абонементного отдела. Тысячи книг были вывезены из библиотеки. Но все книги основного фонда, каталогов которого патриоты с риском для себя не представили комиссии, остались. И нам показали их — в полной целости и сохранности — в одном из нижних книгохранилищ, вход в которое был замаскирован.

На улицах Одессы мы обратили внимание на кресты, аккуратно, по трафарету, наведенные белой краской на целом ряде домов. Оказалось, что дом, на котором нарисован белый крест, свободен от евреев: здесь уничтожение еврейского населения было закончено.

Уничтожение мирного населения началось сразу же после захвата оккупантами Одессы. На шестой день на улицах и в Александровском парке закачались на деревьях тела повешенных «заложников», общим числом до шестисот человек. В селе Богдановке, в ста четырех километрах от Одессы, было согнано и уничтожено пятьдесят четыре тысячи человек населения Одесщины и Бессарабии.

Было введено даже нечто новое и ужасное в дело массовых убийств. В ров заранее бросали бочки с горючим и поджигали его. Жертвы, привезенные из лагерей и тюрем, прогонялись по краю оврага цепочкой, и каждый, полу-

чивший даже легкое ранение, падал в пылающий костер и сгорал, не оставляя следов.

Люди, испытывавшие на себе унижительные и отвратительные процедуры медицинского осмотра, исследований, опроса соседей, показывали мне специальные удостоверения. После массовых уничтожений полиция придала этому преступлению видимость «законности»: человек, которого обвиняли в принадлежности к еврейской национальности, мог апеллировать к суду, и военно-полевой суд выдавал удостоверение с фотокарточкой: «Предъявитель сего такой-то прошел обследования, и наличие в нем еврейской крови судом не доказано».

Захватчики, кроме того, стяжали себе в Одессе незавидную славу непревзойденных воров и взяточников. По квартирам шатались солдаты под предлогом осмотра для постоя, — и каждое такое посещение означало пропажу. Они не брезговали ничем: чайной ложкой, шапкой в передней, детским свитером и даже грязными носками. Особый доход для солдат представлял комендантский час. Артист оперного театра рассказывал нам поучительную историю.

Часа за полтора до прекращения движения по городу его остановил солдат с автоматом. Артист показал на часы, тот покачал головой и повел его за собой. Он водил артиста по всему городу полтора часа, вздыхая, ворча и чего-то ожидая. В три минуты одиннадцатого он привел жертву в комендатуру. Когда в следующий раз другой солдат на другой улице за час до срока также подошел к этому артисту со словами «комендатур», наученный опытом артист поспешно выдал ему пять марок — и тот даже любезно довел его до дому, защищая от других любителей легкой поживы.

В Одесском оперном театре стоит своеобразный памятник неизвестному ворюге. Это бронзовый канделябр — пастух и пастушка. Рука пастушки обломана до локтя: в последние дни завоеватель польстился на нее, решив, что это не бронза, а золото.

А на улицах висят грозные приказы городского головы о соблюдении порядка и о прекращении краж, но оккупанты продолжали грабить город. Они вывезли станки, мебель, посуду, рояли, белье... Из оперного театра украли партитуры и оркестровые партии ста тридцати шести опер и балетов.

Понятно, как встречали одесситы наших бойцов. Моря-

ки-разведчики рассказали мне об этом кратко и выразительно:

— Влетели мы в Одессу все в пылище, а к центру попали чистыми, как стеклышко: всех нас поцелуями обмыли...

В городе — смешение всех городов. Тут люди с Донбасса, из Харькова, из Киева, с Кубани, из Крыма — те, кого фашисты при отступлении уводили с собой. Тысячи трагедий, потеря, разлук...

Сводка, которую мы прочитали в газете, заставила нас спешить в Крым. Снова, как тридцать месяцев тому назад, по Одессе пролетело слово «Севастополь». Теперь оно звучало иначе — торжеством, радостью, победой.

И я снова — второй раз — покинул Одессу для Севастополя.

На прощанье мы вышли к одесской лестнице. Внизу расстилались гавани, порт, причалы. Все это когда-то кипело жизнью, и все теперь было мертво. Дымился еще огромный элеватор, все еще горело в нем зерно. Несколько раз его тушили, и несколько раз оно самовозгоралось. Глухо рвались внизу мины — иные сами, потому что отработал часовой механизм, иные рвали на берегу наши саперы.

Горький запах дыма, запах которого не забыть и который томит душу, тянул сюда от порта. Веселый и счастливый когда-то город был ограблен, разрушен и покрыт запекшейся кровью.

#### ГНИЛОЕ МОРЕ — СИВАШ...

Поразительна неудержимая мощь быстрой крымской весны. Все здесь — в зелени, в буйном росте, в стремительном движении жизненных соков. Молодая трава ярко зеленеет всюду, где в камнях есть хоть клочок земли, причудливо изогнутые ветви горного дубняка скрыты листвою, под обрывами лиловеют первые цветы, и даже самые склоны опутаны плющом, карабкающимся к солнцу по острым выступам желтого камня, а долины внизу белеют пушистым снегом яблонь и груш, и розовые букеты фруктовых деревьев разбросаны в сочной зелени трав на влажных склонах у речек.

Земля, накопившая за зиму огромную силу вечного своего возрождения, радостно и буйно творит новую жизнь. Солнце, благословенное солнце Крыма, встает в прозрач-

ной прохладе розовых зорь и садится в полыхании ликующих закатов. С черноморского неба, синего и высокого, не оскорбляемого туманами, оно бьет прямыми своими лучами на горы и долины и, к слову сказать, припекает уже надоедливо. Но люди в защитных гимнастерках — рядовые и генералы, юноши и ветераны — только радуются теплу.

Долгие месяцы провели они в холодных открытых траншеях Малой земли, в длительном подвиге строительства переправ через Сиваш, в постоянной борьбе с ледяной и горько-соленой водой Гнилого моря. И так же, как земля, войско накопило за эту зиму огромную силу. Встало солнце победы — и неудержимая мощь стремительного удара вырвалась из сырых траншей сивашского плацдарма, хлынула на Крым и согнала врага с плоскогорий, степей и гор, как сгоняют снег могучие весенние лучи.

И вот, пройдя стремительным маршем весь Крым до подступов к Севастополю, герои Сиваша, шурясь, блаженствуют на солнце, каждым кусочком тела впитывая давно забытое тепло. Но попробуйте завести с ними разговор о Малой земле, о переправах, о трудных месяцах подготовки прорыва. Вам будут рассказывать об этом, как о чем-то смутно вспоминаемом, почти забытом и — самое удивительное — как о чем-то вполне естественном, легко выносимом и не стоящем особого внимания...

— Ну, сидели в траншеях без землянок, без костров, частенько без горячей еды, мерзли — это правильно... Потом наловчились — «лисьи норы» рыли: трубу такую в стенке окопа выроем, а за ней — вроде пещерка пошире... Человек пять-семь набьется, надышат — и вовсе тепло... Там и от бомбежки спокойно было, если вход толково сделан — узкий, чтобы осколки не влетали...

— Походить взад-вперед по этому Сивашу пришлось, это точно. За боеприпасами, за харчем все ходили, пока переправы строили. Иные до ста раз его переходили — ничего, дело выполнимое. Только вода там очень злая: голая соль... Верно его называют: Гнилое море... Ноги до язв разъедало — и сапоги не помогали. Главное дело — обсушиться негде. О костре и не мечтай — ни тебе лесу, ни возможности: все на виду, земля плоская, по каждому дымку, по огоньку — бомба либо снаряд...

— Питьевую воду берегли, это вам тоже правильно рассказывали. Ее сперва через Сиваш таскали — с колодцами ничего не получалось: до восьмидесяти метров били,

а вода все горькая, сивашская... До сладкой воды дорылись — что праздник был... А там рассказывать больше нечего...

А вот поговоришь так — и лишний раз задумаешься о благородной скромности, о целомудрии русской военной души.

Велик народ, умеющий превращать подвиг в будни, и страшна для врага его мощь. Не вспышками героизма — великолепного, но кратковременного напряжения всех сил — побеждает такой народ, а длительным, истовым трудом войны, равномерным, непрекращаемым, неостановимым, — и нет в мире силы, какая смогла бы помешать народу-труженику, взявшемуся вырастить победу. Побода взойдет неизбежно, как всходит урожай на поле, политом жарким потом тяжелой пахоты. Огромный труд огромного народа вложен в дело Отечественной войны, и труд этот уже приносит свои плоды: победа, полная и окончательная, зреет у нас на глазах.

Здесь, в войсках Героя Советского Союза Крейзера, я узнал о том великом военном труде, который подготовил прорыв наших войск в Крым. Дело военных историков описать этот прорыв во всех деталях. Я расскажу об одной лишь стороне этой эпопеи — о строительстве переправ через Сиваш.

За два с лишним года пребывания в Крыму немцы создали сильную инженерную оборону во всех местах вероятных наших ударов. Две линии — Турецкий вал и Ишуньские позиции — защищали узкий Перекопский перешеек. Восточнее, против того узкого места Сиваша, где в 1920 году провел в Крым свои войска Михаил Фрунзе, немцы создали сильнейшие укрепления. Также приготовились они и на третьем опасном участке — у Чоңгорского моста. Везде были настроены доты, нарыты глубокие противотанковые рвы и густая сеть траншей, заминированы подходы, сосредоточена артиллерия и подведены отборные войска.

Первого ноября войска вгрызлись в линию немецкой обороны Крыма. На правом фланге, на Перекопе, войска гвардии генерал-лейтенанта Захарова прорвали укрепление Турецкого вала и заняли за ним плацдарм для будущего наступления. И одновременно с этим войска гвардии генерал-лейтенанта Крейзера форсировали Сиваш, но совсем не в том месте, где ожидали немцы. Это было сделано в широкой части Сиваша, на том участке, где они держали заслон из дивизий Антонеску, надеясь на непро-

ходимость Гнилого моря. Герои сталинградских и миусских боев ринулись вброд, преодолев одним броском три километра ледяной воды и вязкого ила, атаковали румын на плоских берегах крымской земли, отбросили врага, заняли береговую полосу и закрепились на ней. Так образовалась в Крыму еще одна Малая земля — сивашский плацдарм, зародыш будущей грандиозной победы.

Войска еще окапывались в рыхлой и морской плоской степи, когда на поддержку им стали перевозить через Сиваш артиллерию. Орудия уходили колесами по ступицу в жидкую лиманную грязь. Тогда саперы сочинили нечто вроде саней — плоты на полозьях. На них ставили орудия и волоком, людской силой, начали перетаскивать через Сиваш орудия: сначала легкие, потом более крупные. Иные тащили по сто, по сто двадцать человек, шаг за шагом, в течение семи-восьми часов, по колено в ледяной воде, на холодном ноябрьском ветру.

Так пришлось перетаскивать через Гнилое море орудия и грузы. Кони не хотели ступать в его ледяную воду: едва войдя в нее и чувствуя, как ноги уходят в вязкий ил, конь вырывался и выскакивал на берег, храпя и кося глазом на опасную мутную гладь, затягивавшую в себя... Тогда саперы связывали коню ноги, клали его на сани и волоком перетаскивали в Крым. В глубоких местах вода заплескивала на сани, и русский солдат бережно подымал коню голову, оберегал его от мертвой воды Гнилого моря...

Для прорыва в Крым надо было сосредоточить на Малой земле танки и тяжелую артиллерию. Это грузное хозяйство доставлять волоком на санях было невозможно. Поэтому уже на восьмой день после захвата плацдарма началось на Сиваше грандиозное строительство двух переправ — беспримерный подвиг сталинградцев-саперов.

Если бы эта гигантская работа была произведена в мирное время, она стала бы известной всей стране. Огромный объем работ, небывалые темпы их, изобретательность в замене материалов, которых не могло быть под рукой, работа часами в воде — в зимней соленой воде Сиваша, — это было бы темой стихов, рассказов, фильмов, это наполнило бы целые полосы газет. Но война принуждала к тайне. И мы ничего не знали о великом труде саперов до тех пор, пока выстроенные ими сивашские переправы не выполнили своего назначения. Они стоят теперь суровыми и величественными памятниками красноармейскому труду.

Среди множества островков Сиваша есть один, который

называется — Русский остров. Именно через него и повели русские саперы огромный мост с материка, а с острова на Крым — длинную гать. Одновременно рядом, в более широком месте Сиваша, начали строить дамбу для танков и самых тяжелых орудий.

На строительство переправ немцы сбросили до сорока тысяч бомб. Работы ежедневно обстреливались артиллерийским огнем и минами. Все дно Сиваша было изрыто воронками, и люди, переходившие его вброд с продуктами или снарядами, стали теперь проваливаться в воду с головой. Но никто не уходил с работы: во время обстрела пригибали головы и продолжали строить мост, насыпать дамбу. Работали по двенадцать часов в сутки, не успевая во время отдыха обсохнуть. Десятки тысяч кубометров земли было вывезено из Сиваша, одних мешков с землей на подкрепление краев дамбы пошло шестьдесят тысяч. Мост был закончен ранее дамбы, но если учесть все работы по его восстановлению после бомбежек и обстрелов — получится так, что за время подготовки к прорыву в Крым его фактически построили дважды.

Наконец к началу февраля гигантская дамба, которую вели одновременно с двух сторон, была готова. Осталось соединить ее двухсотметровым мостом. Но в дело вмешалась стихия.

12 февраля разразился шторм небывалой силы. По Гнилому морю, вся глубина которого — полметра, стали ходить волны высотой в метр. Черное море нагоняло сюда воду восточным ветром, волны начали размывать дамбы. За четыре дня шторма работа тысяч людей была сведена на нет. Дамбы были разрушены. От них осталось два хвостика — до полутора метров с каждого берега.

Пришлось начинать все сначала. Сроки подошли — нельзя было откладывать вторжения в Крым. Командование сказало саперам:

— Стройте, сколько успеете... Но стройте!

Снова бешеная, огромная, титаническая работа, под бомбежками, под обстрелом, на ветру, в воде, с одной тревожной мыслью: не успеем — не будет танков, не будет тяжелых орудий. Самозабвенно, яростно, входновенно работали саперы-сталинградцы и до начала операции сумели восстановить два километра дамбы. Остальное должен был соединить мост. Но его достроить уже не успевали, — пора было начать перебрасывать на Малую землю тяжелую технику.

И ее все-таки перебросили.

Понтонеры майора Иванова под огнем перевозили танки на паромках между незаконченными частями моста. Стальная сила шла через переправы без задержки, накапливаясь на плацдарме. Удар навис над врагом...

И снова показала себя капризная приморская весна: над Северным Крымом разбушевалась пурга — снежная пурга с ледяным ветром. Толстые пласты сухого снега завалили траншеи, бойцы не успевали откапываться. Застывало и отказывалось работать оружие. Пронзительный ветер сбивал людей с ног.

И это вытерпела великая армия советского народа, — бойцы сталинградских дивизий, герои Донбасса и Миусса.

Через несколько дней после бурана был подан сигнал общего наступления с обоих плацдармов — с перекопского и сивашского, а далеко на юге, под Керчью, с другой Малой земли, ударили войска генерал-майора Еременко.

Гитлеровское командование ожидало, что с сивашского плацдарма наши войска пойдут прямо на юг, на Симферопольское шоссе — и там они подготовили крепкую оборонительную линию и сосредоточили лучшие войска. Но командование фронта повело наступление по-своему: сделал мощный бросок на юг, наши войска резко повернули на восток, стремительно овладели соседним полуостровом, отрезав на нем румын, прорвали здесь оборону — и в этот прорыв хлынули наши танки и войска. В тот же день они овладели Джанкоем.

Эта операция решила судьбу Крыма. Гитлеровские дивизии, оставив в Джанкое и Симферополе склады, вооружение, боевую технику, покатались к Севастополю. С трех плацдармов — сивашского, перекопского и керченского — советские войска погнало врага к последнему рубежу обороны — к кольцу укреплений, окружающих Севастополь.

#### НА ПОДСТУПАХ К СЕВАСТОПОЛЮ

И вот после двухлетней разлуки я снова вижу Севастополь.

Вздвигаясь из воды бухты, подобно огромному кораблю, отягощенному нагромождением рубок, мостиков и надстроек, взбегают на крутые скалы ярусами своих кварталов чудесный город флота и солнца, садов и моря.

Дымка дали скрывает разрушения, воздух, нагретый

апрельским солнцем, струясь, дрожит у стекол стереотрубы, — и город поэтому кажется живым и целым: будто на каменных его трапах шумят веселые толпы, и под колоннадой Графской пристани плещет на широкие ступени бело-синий прибой моряков, и алые девичьи платья крутятся в нем лепестками цветов, подхваченных волной, и со ступеней «Динамо» летят в лазурную воду бронзовые тела севастопольских мальчишек, как всегда первыми открывающих купальный сезон, и тысячи молодых людей смеются, мечтают, учатся, любят и живут той полной, свободной жизнью, какой жили они до первой бомбы, ударившей в этот город на рассвете страшного июньского воскресенья.

Но легкий поворот винта стереотрубы возвращает к действительности. Темная гряда Сапун-горы, изрытой траншеями врага, покрытой бетонной цепью дотов, уставленной орудиями и минометами, возникает в поле зрения. И новое видение встает перед глазами.

Я вижу, как свежим октябрьским утром бьются на этих горах юноши в бушлатах и бескозырках — курсанты училища береговой обороны, все до одного комсомольцы: впереди других они ринулись навстречу лавине врага, прокатившейся от Перекопа к Севастополю, и остановили железный ход ее танков и машин.

Я вижу, как в траншеи, высеченные в каменистом грунте скал, прыгают с машин первые отряды моряков, красноармейцев, добровольцев-горожан, как сдерживают они натиск врага до подхода наших резервов. И трудным суворовским маршем, без дорог, через горные перевалы, таща на себе орудия и снаряды, спешит к ним Приморская армия, защищавшая недавно Одессу, с боями пробиваются к ним другие герои Одессы — моряки Первого морского полка. Только нет среди них полковника Осипова, — он убит в бою на прорыве... Идут на севастопольские горы из Евпатории моряки Седьмой морской бригады полковника Жидилова: отбиваясь от врага, подходит и Третий морской полк; сходят с кораблей прибывшие сюда армейские полки...

И вот уже занят героями рубеж, с которого долгие восемь месяцев никто не сойдет ни на шаг. И корабли их бухты стреляют через горы по резервам врага, а по переднему его краю метко и страшно бьют морские береговые батареи Драпушко, Александра, Матушенко... Первый штурм Севастополя начался.

Двести пятьдесят дней, каждый из которых был доверху набит смертью, держали севастопольцы родной город. Три длительных штурма, сотни тысяч снарядов, десятки тысяч авиабомб, тысячи атак...

Море кипело от взрывов, стоном стонала земля, темный столб каменной пыли качался над скалами, над городом, над бухтой, а севастопольцы стояли.

Камни не выдерживали — падали дома и лопались скалы, а севастопольцы стояли.

Шли дни, недели, месяцы — и все на тех же рубежах, неотступно и несдвигаемо, в великом мужестве стойкости, таинственной и страшной для врага, стояли севастопольцы.

Все на этих скалах полно славы. На Мекензиевых горах мы нашли скелеты в бушлатах среди груды стреляных патронов, рядом с заржавленными автоматами. У Балаклары — патронный ящик, на крышке которого начата надпись химическим карандашом: «Прощайте, товарищи, здесь бились моряки-черноморцы: Александр Ко...» и кровавое пятно свидетельствует, что надпись начата была слишком поздно. Над траншеей, над головами немецких солдат красноармейцы заметили на отвесной скале еще хорошо различимую надпись суриком: «Смерть немецким захватчикам!» Гитлеровцы не смогли уничтожить надпись, неведомо как сделанную моряками на этой недоступной круче, — и она кричит с горы в долину предсмертным зовом, призывом к мщению, лозунгом победы. И бойцы-сталинградцы выполнили этот завет севастопольских моряков: в каменной траншее под этой надписью фашисты-захватчики вошли в счет за безымянных героев, сражавшихся тут два года назад.

Севастопольцы бились здесь, не отступая ни на пядь. Бились, унося с собой в смерть столько врагов, сколько видели перед собой. Здесь, навесив на пояс гранаты, кинулись под танки пятеро бесстрашных сынов Черного моря: Фильченко, Цыбулько, Паршин, Красносельский, Одинцов. Здесь взорвал себя вместе с батареей ее командир капитан Александров. Здесь семьдесят четыре моряка трое суток держали старый Константиновский равелин, не пропуская немцев к воде, по которой уходили из Южной бухты последние катера.

Уже сложились в народе легенды о севастопольцах. В Симферополе мне рассказали о том, как на рассвете 4 июля 1942 года старый пастух в Джанкое услышал в

прозрачной тишине солнечного утра далекую песню. Он прислушался. Это был «Интернационал». Его прерывали глухие взрывы и залпы. И поверили люди старику, что это пели матросы в Севастополе на тонущем корабле, уходя в воду и стреляя из последних орудий, пели так мужественно и громко, что ветер донес их голос через весь Крым...

Мужество и благородство, стойкость и доблесть, верность родине и ненависть к врагу вечно, как море и скалы, будут окружать Севастополь сияющим венцом славы.

Оскорбительно и тяжело было увидеть теперь на скалах нашей славы гитлеровцев. Они заняли наши прежние позиции, рассчитывая удержаться на них долго. Линию обороны, построенную нами, они укрепили и дополнили. К нашим минам, оставшимся перед траншеями, они добавили тысячи своих. Наши доты, взорванные нами или разрушенные их снарядами, они восстановили и усилили бетоном и сталью. Они имели на то время: почти два года они строили свою линию обороны вокруг Севастополя — жалкие «хозяева» Крыма, боявшиеся партизан, боявшиеся десантов с моря, боявшиеся прорыва наших войск в Крым.

Немцы перетаскили сюда остатки своей артиллерии, спасенные в бегстве по Крыму. Вдобавок они привезли сюда орудия и минометы из Румынии. Под нависшие камни они подложили взрывчатку, готовясь обрушить их на наши наступающие цепи.

В отвесных скалах они вырубili узкие каменные норы и поставили там пулеметы, которых не сможет достать ни бомба, ни снаряд и которые могут сдерживать натиск батальонов. Долины и ущелья они перекрыли трехслойным огнем артиллерии. Огромное количество прожекторов и зениток приоткрылось отражать нашу авиацию.

Гитлеровское командование писало в приказах: «Солдаты! Фюрер приказал держать крепость до последнего патрона. Позади нас пространство, жизненно необходимое для сохранения крепости Севастополь. Впереди нас плохая русская пехота, которая не страшна немецким гренадерам в их мощных укреплениях...»

Но в том же приказе № 1036/44 от 20 апреля по 98-й пехотной дивизии после истерической патетики идет трезвый торговский расчет: «Каждый солдат, кто патроном «фауст» уничтожит русский танк, получает двухнедельный отпуск с немедленной отправкой на самолете». Та же цена, о которой в Крыму мечтал каждый солдат, объявлена для наводчиков противотанковых орудий — уже за два

танка, и для штурмовых — за три. Расчет по-немецки, по аккуратной таксе.

Однако гитлеровский солдат, видимо, не очень-то соглашался с формулировкой «плохая русская пехота». На пристанях у готовых к отправке кораблей появлялись «зайцы» — солдаты, не имеющие билетика на посадку. И пункт 3-й приказа обязывает офицеров «силой оружия отвести на старое место таких солдат или застрелить за проявление трусости».

Немецкое командование успокаивало солдат: «Прорыв русских в Крым только выгоден для нас. Мы заманили их в огромную ловушку: фюрер готовит колоссальный удар по побережью с целью запереть русские войска в Крыму. Недалек час, когда под Севастополем мы перейдем от обороны к наступлению и уничтожим окруженных на полуострове русских...»

В другом указании оно твердило: «Своей обороной крепости Севастополь немецкая армия докажет всему миру, что на этих мощных позициях можно держаться сколько угодно. Мы сумели раздавить здесь русских, но им никогда не взять Севостополя, который держат немецкие войска...»

Видимо, все это мало действовало, и командование для поднятия духа распускало в солдатской среде слухи о новом «секретном оружии». Пленный ефрейтор рассказал, что со дня на день ждут его применения: это будет порошок, рассыпаемый с самолетов. Он понизит температуру до ста семидесяти градусов мороза, и вся местность на десяти квадратных километрах замерзнет.

Услышав это, мы хлопнули себя по лбу: только теперь мы поняли, почему это в последние дни апреля чудесная крымская погода испортилась и в воздухе похолодало. Мы решили, что порошок этот либо просыпали где-нибудь далеко в море, либо сделан он из эрзац-сырья и сработал только на пять градусов, вместо обещанных ста семидесяти...

Не помогли захватчикам ни патетические слова, ни торговля отпусками, ни хвастовство, ни фантазии. Цифры беспощадно издеваются над ними, а цифры остаются в истории.

Мы держали Севастополь двести пятьдесят дней. С момента подхода наших войск гитлеровцы провели в Севастополе только двадцать пять дней. Ровно в десять раз меньше.

Мы держали Севастополь в последнем июньском штурме двадцать пять дней. Оккупанты выдержали здесь только двое с половиной суток нашего первого и единственного штурма. Выходит, тоже ровно в десять раз меньше.

Арифметика складная и очень убедительная...

Штурму Севостополя предшествовала тщательная подготовка. Нужно было разведать систему немецкой обороны, нащупать их огневые точки, проложить проходы в бесчисленных минных полях. Бойцов, испытанных в степных боях, надо было приучить к незнакомым им действиям в горах, где вся война идет по-другому. Надо было подтянуть тылы, отставшие в стремительном марше армии через весь Крым, подвести снаряды.

Вход в Севастополь преграждала сильнейшая инженерная оборона. Вот один из участков ее обороны на высоте 282,0.

Здесь на трех километрах фронта саперы обезвредили до двух тысяч мин. У подошвы горы были бетонированные огневые точки, в скалах ее — глубокие норы с пулеметами, на крутом склоне горы — сплошная траншея с укрытиями от бомб и тяжелой артиллерии, вторая такая же траншея — на гребне. Подходы к горе защищались несколькими батареями и десятиствольными минометами. По ночам она непрерывно освещалась ракетами: немцы высматривали работу наших саперов. Каждый шорох и стук вызывал плотный ружейный и пулеметный огонь, и время от времени, захлебываясь, лаля миномет.

Такой — настороженной, огрызающейся, утыканной от подошвы до гребня оружием и солдатами — мы увидели эту высоту, когда поднялись на наблюдательный пункт, чтобы посмотреть ночные действия нашей авиации.

Сразу же, как село солнце, с запада потянуло прохладным ветерком. Свежий и влажный запах моря пересилил теплый аромат молодой листвы. Темная южная ночь быстро упала на горы и долины, скрыв от глаз знакомые места, дорогие сердцу. Яркие звезды, звезды Черноморья, переливаются и сверкают на небе, и на переднем крае — тишина предгрозя.

Но вместо нарастающего гула мощных бомбардировщиков, которого мы ожидаем, в этой тишине неторопливо и деловито тарыхтит под горой немудрящий мотор. Это выходят на работу крохотные самолеты У-2: «короли воздуха», «кукурузники», «комары» — каких только ласково-шутливых прозвищ не надавали им за годы войны

армия и флот! Враг зовет их иначе, более близко к правде: «стоячая смерть».

«Комар» идет над нами неторопливо, уверенно, буднично, словно везет почту. И тотчас навстречу ему поднимается в небо высокий лес световых столбов. Мы считаем их: двадцать один прожектор встречает одного «кукурузника»...

Прожектора мечутся в небе, пересекаются, сплетаются лучами, останавливаются, как бы советуясь, а мотор «кукурузника» все тарахтит, и действительно кажется, что «стоячая смерть» висит на одном месте, рассматривая из темноты, где бы повернее сбросить бомбу или дать меткую очередь. Небо — в безумии прожекторов, в фейерверках красных трасс, пулеметных очередей. Крохотный самолет все жужжит и жужжит над передним краем, как неотвязный комар. И сидит на этом самолете какой-нибудь юнец-летчик, задорный и веселый, издевающийся над фашистами. И вот — первое его «здрассте!». На переднем крае грохает небольшая, но злая и точная бомба...

А справа и слева уже жужжат другие «комары». Их целый рой. Прожектора мечутся не в силах поймать каждого. С темного неба то там, то здесь летят на землю светящиеся кривые белых трасс: это «кукурузники» всем колхозом навалились на нужный им объект. Они бьют немцев с малой высоты — пулеметы отчетливо слышны. Время от времени в разных местах переднего края грохают бомбы.

И вдруг сердце сжимается: одного «комара» прожектор все-таки поймал. Восемь лучей, стремительно прочертив небо, сходятся вокруг пойманного в спящий пучок. Медлительный и упрямый У-2 плывет серебряной сияющей точкой, и вокруг нее вспыхивают разрывы снарядов, и к ней вздымаются из земли быстрые пунктиры красных трасс, но У-2 продолжает идти своим прямым курсом по-прежнему неторопливо и деловито, — и хочется крикнуть этому юноше, великолепному в дерзком своем упрямстве: «Да уходи ты скорей, ныряй в темноту!»

Долгую минуту У-2 идет в самой гуще искрящихся разрывов, в сетях пулеметных трасс. Потом под ним встает на земле круглая вспышка бомбы, вторая, третья... «Комар» нашел куда ужалить, — и тотчас исчезает из скрещивания лучей. Невидимый, он посылает из тьмы к прожекторам издевательскую очередь белых светящихся пуль, и тот, кто знает азбуку Морзе, может расшифровать

точки-тире этой знаменитой стрельбы: телеграмма кратка, ядовита и крайне обидна для немцев, но для печати, к сожалению, не годится...

Другой «комар», попавший в скрещение прожекторов, предпочитает более серьезный разговор. Он снижается, ведя за собой прожекторы и яростно огрызаясь: белая трасса его пуль летит точно в плоскости одного из лучей — и один прожектор гаснет. На другие тем временем навалились остальные «комары». Вспышки бомб встают у самых прожекторов. Фриц сдается, прожекторы поспешно гаснут. Из темного неба с малой высоты опять стучат пулеметные очереди крохотных самолетов, опять падают на передний край злые их бомбы. Небо в таратении моторов — возвращающихся «кукурузников» сменяют другие.

Но во время этой воздушной суматохи началась война на земле. Одна из важных высот, преграждающая нам путь в долину, вся полыхает ракетами. Идет ночной поиск разведчиков, а может быть — частная атака. Торопливо взлетает в небо немецкая красная ракета — вызов артогна. В ложбине против нас залаяло, забухало, запольхало коротким пламенем: десятиствольный миномет поспешил на помощь испуганным фашистам. Но не успели выпущенные им мины долететь до высоты, как в самой ложбине, у миномета, вспыхивают разрывы наших снарядов. Артиллерия, дожидавшаяся, когда миномет откроет себя, накрыла его. Тут же встает и пламя бомбы. Это сверху подбавил лично от себя очередной «комар».

В небе «брунчит» прерывистый гул «фокке-вульфа», пришедшего на помощь. Он долго бродит в небе на большой высоте, опасаясь наших зениток, потом пикирует — и кладет серию бомб в пустопорожнее место. Его провожают наши зенитки. Второпях «фокке-вульф» сбрасывает вторую серию бомб на свои же траншеи. Единогласно выносим ему благодарность за помощь нашим У-2.

В небе снова заматались прожекторы. Теперь они уже не обращают внимания на «комаров» и их бомбы. Дело пошло всерьез: пришла наша тяжелая авиация.

Высоко над звездами вспыхивают огненные точки разрывов шрапнелей. Вся мощь зенитных батарей, согнанных сюда со всего Крыма, встречает наши самолеты. В ответ в небе повисает ослепительно сияющая гроздь световых бомб. Ярчайшие люстры, миллионы свечей, плывут над севастопольскими бухтами, белым пламенем полыхают на их берегах разрывы тяжелых бомб — и долгое



вздрагивающее зарево пожара остается на этих местах. Новые люстры, новые сполохи в бухте, новое высокое зарево: идет бомбежка места погрузки немцев на уходящие в Румынию суда. Вражеские транспорты горят. Часть солдат, приготовившихся к вожденному путешествию, в билетах больше не нуждается. Другая часть держит в потном кулаке билеты, но не имеет кораблей, названных в них: корабли горят или лежат на дне у причалов бесформенной грудой. На оставшиеся корабли грузятся оставшиеся немцы.

Проследим нормальный, так сказать, «типовой» переход немецкого каравана из Севастополя в Румынию.

Бомбежка бухты закончена, наши самолеты ушли. Под спасительным покровом темноты караван судов, увозящих фашистов, спешит выйти в море. Сразу же за углом Херсонесского мыса его встречает восточная группа торпедных катеров капитана второго ранга Дьяченко. Очередной убыток в кораблях и людях. Несколько дальше на караван насккивает западная группа катеров капитана второго ранга Проценко. Новый урон...

Караван выбрался подальше от берега. С неба пикируют морские штурмовики подполковника Манжосова. Новый метод, которым они бомбили, дает, как говорят летчики, «полную гарантию — в правый глаз капитану». Еще два-три корабля с фашистами, мечтавшими спастись из Крыма, меняют порт назначения: вместо того чтобы идти в Констанцу, они быстро идут на дно.

Караван, сильно поредевший, вышел, наконец, в открытое море. Штиль, полдень, тишина. И вдруг — торпеды... Это дорвались до работенки подводные лодки контр-адмирала Волтунова.

Кажется, все. Уцелевшие гитлеровцы с нетерпением поглядывают на открывающиеся румынские берега. Но у нас есть еще дальние самолеты генерал-лейтенанта авиации Ермаченкова. Снова град бомб, новые пузыри на воде...

Черноморский флот в боях на коммуникациях противника нанес ему огромные потери. С момента прорыва наших войск через Сиваш и Перекоп потоплено: шестьдесят девять транспортов водоизмещением от тысячи до пяти тысяч тонн, пятьдесят шесть ВДБ — быстроходных десантных барж (каждая берет до пятисот человек), два сторожевых корабля, две канонерские лодки, три тральщика, двадцать семь сторожевых катеров и тридцать два

разных суда (в том числе и торпедные катера) — то есть сто девяносто одно судно.

И почти столько же повреждено нашим огнем, торпедами и бомбами. Часть из поврежденных кораблей затонула на дальнейшем переходе, но в черноморском счете они не значатся: утопленными считаются только те, гибель которых зафиксирована фотоснимком или засвидетельствована наблюдением с двух различных кораблей.

Пользуясь временем подготовки к штурму Севастополя, мы поехали к черноморским летчикам и катерникам, или — как называли их в штабе армии — «регулирующим движением на Черном море».

### НА ТОРПЕДНЫХ КАТЕРАХ

Ровный изумительный пляж, недвижная гладь бухты, глубокая синева которой переходит у берега в бледно-голубую, как бы забеленную молоком, волну ленивого прибоя. Легкий ветерок, сыпучий, нагретый солнцем песок, острый йодистый запах водорослей, — лечь бы тут, заложив руки за голову, и лежать так, ни о чем не думая, впитывая всем телом живительные лучи раннего крымского солнца и свежее дыхание милого моря...

Но место уже занято. Там и здесь видны на пляже раскинувшиеся полуголые тела, загорелые, как и полагается курортникам, дочерна. Они лежат здесь, греясь на солнце, хотя весь пляж еще изрыт траншеями, изуродован колючей проволокой, и приземистый дзот, сложенный из камней и облитый бетоном, угрожающе смотрит в море, а рядом с ним торчит шест с надписью «мины»: благословенные места отдыха и лечения обезврежены следами врага, смертельно боявшегося десанта с моря.

Возле «курортников» аккуратно разостланы на песке бушлаты, шинели, регланы, фланелевки, и чуть видные струйки пара, дрожая, вздымаются от них в прозрачном воздухе. Одежда насквозь мокра. Это отсыпаются и обыскают моряки торпедных катеров, вернувшихся поутру из ночной операции. У обломков пристани видны и сами катера: задрав вверх свои приплюснутые носы, они тоже дремлют в тихой воде.

Уже несколько дней базируются здесь моряки капитана второго ранга Проценко, отмеченные в приказе Верховного Главнокомандующего в числе отличившихся в боях за Севастополь. Впрочем, вряд ли можно назвать ба-

зой разрушенный причал, пустынный пляж, группу сожженных домов, грузовики с горючим и торпедами и удивительный камбуз — обыкновенный костер, на огне которого моряк, выставив солнцу голую спину, варит в ведре уху из рыбы, добытой тут же у пристани.

Однако в условиях последних месяцев катерники считают эту «базу» первоклассной. В первые дни прихода в этот глухой угол Черного моря они «базировались» на голом пустынном берегу. Моряки оставались на катерах, мокрые с головы до ног, греясь поочередно в отделении моторов, а командный пункт — радиостанция и штаб — разместился в воронке от бомбы, дно которой родное Черное море заботливо устлало морской травой, высушенной солнцем. На плоском берегу это было единственным укрытием от ветра. Воронка считалась дворцом: в ней не дуло, было мягко и сухо, и можно было наконец вытянуть ноги. Впрочем, дворец пришлось занимать с боем: в воронке до прихода катерников «базировалась» группа собак, которые весьма неохотно уступили это жилое помещение... Три дня провел штаб в этом «дворце», три дня, полных напряженной работы по организации первых торпедных атак на дальних коммуникациях врага.

Это было в начале марта. Одесса была еще в руках фашистов, и через нее они доставляли в Крым оружие, войска и продовольствие. Вместо долгого и опасного пути из Севастополя в Констанцу, где караванам приходилось часть похода совершать в светлое время суток и подвергаться атакам наших кораблей, подлодок и авиации дальнего действия, немцы справедливо предпочли пользоваться этим, более коротким и более безопасным путем — из Ак-Мечети в Одессу.

На этом пути им не угрожали наши подлодки и авиация, так как захватчики успевали проходить опасные районы под покровом темноты, а у берегов Крыма и Одессы они выходили под прикрытие береговых батарей и своих самолетов. Нечего было опасаться и наших торпедных катеров — они находились в кавказских базах, и появление их здесь было исключено: железной дороги, по которой их могли перебросить сюда, на нашем берегу не было, а переход их через все Черное море в район, где для катеров не было никаких баз, был просто невозможен. Поэтому оккупанты спокойно доставляли в Крым боезапас, продовольствие и войска и также спокойно вывозили из Крыма награбленные богатства.

Тем удивительнее для немцев была внезапная потеря двух транспортов в мирном уголке Каркинитского залива. Неведомо откуда появились тут советские торпедные катера. Кратчайший и удобный путь из Крыма в немецкие тылы оказался под угрозой. Каждую ночь вражеские караваны, шедшие из Ак-Мечети, начали терять корабли.

Этот небывалый в истории торпедных катеров длительный переход был выполнен моряками капитана второго ранга В. Т. Проценко. Катера своим ходом в туманную и штормовую погоду пересекли все Черное море — и без оборудованных баз, без мастерских, без возможности отдыха для личного состава начали топить немецкие корабли.

Переход этот опрокинул долголетние представления о возможностях использования торпедных катеров и о человеческой выносливости.

Чтобы понять подвиг черноморских катерников, надо знать, что такое торпедный катер.

Эта стремительно несущаяся по воде скорлупка, футляр для торпед, приспособлена для короткого плавания, для быстрого удара. Вся она открыта, люди в ней — с ног до головы в воде от брызг и волны. Оглушительно гудят моторы, скорость требует страшного напряжения внимания. Глаза болят от соленых брызг, тело стынет в промокшей одежде, коченеет на ветру. Согреться хотя бы глотком горячей пищи невозможно, как невозможно смениться на боевом посту, — все на катере несут службу бесменно. Когда же в море гуляет даже небольшая волна, плавание на катере превращается в езду на машине, которую сумасшедший шофер гонит по железнодорожным шпалам со скоростью восемьдесят километров: каждая встреча катера с волной отзывается сильнейшим ударом. Если вы в рубке — вы вынуждены стоять на согнутых ногах, пытаетесь спружинить эти непрерывные толчки и ударяясь об обивку рубки спиной, грудью, плечами. Если вы находитесь у моторов — вас бьет о более острые и твердые предметы, и поэтому вам следует работать одной рукой, крепко держась другой за поручни. Это занятие забавляет в первый час, надоедает на втором, становится мучительным на третьем и валит с ног любого здоровяка на седьмом часу похода.

Катера капитана второго ранга Проценко шли с Кавказа в Каркинитский залив более суток, причем для скрытности перехода была выбрана соответствующая погода — то есть волна до шести баллов и густой туман.

Осталось неизвестным, кто устал за этот переход больше: командиры ли катеров, которые бесменно стояли у штурвалов двадцать шесть часов подряд, всматриваясь вперед сквозь брызги волн в белесую мглу тумана, сам ли командир соединения капитан второго ранга Проценко или его штурман, капитан-лейтенант Кушнеров, на офицерской чести которых лежала огромная ответственность за все катера, доверенные их опыту и знаниям? Мотористы ли, от которых поход потребовал полной гарантии работы их механизмов, ибо малейшая поломка означала остановку катера на середине Черного моря и последующую его гибель? Воцмана ли, чей пустяковый недосмотр мог обернуться на этом небывалом переходе трагической катастрофой, или радисты, которые, скрючившись в своих ящиках-каютах, держали непрерывную связь между катерами? Бесплезно сравнивать и считаться. Каждый на своем месте сделал то, чего он не сделал бы ни при каких других условиях. Всех поддерживала одна мысль, одно стремление: дойти до западной базы, чтобы бить потом врага у берегов Крыма, бить за Севастополь, за Одессу.

На катере старшего лейтенанта Куракина в начале похода лопнула рулевая тяга. Проценко хотел исправить катер обратно. Но команда, оборотная вместе с командиром плавают на этом катере с самого начала войны и первая в соединении получила ордена, взмолилась: разрешите подремонтироваться... Капитан второго ранга Проценко дал на ремонт короткое время. Тогда старшина группы мотористов Юшин полез в воду. Четверть часа провел Юшин в ледяной воде, вслепую, на ощупь исправляя рулевое управление. Катер получил возможность продолжать путь.

Катера шли строем клина. Видные в начале перехода, они вскоре скрылись из глаз Проценко в навалившемся тумане. Потом их поглотила ночная тьма. Время от времени Проценко протягивал к радисту руку за микрофоном и окликал по радио командиров. Порой кто-либо терял свое место в строю, и катера уменьшали ход, поджидая его: оставить катер один в пустыне Черного моря было невозможно. Потом вновь начинали реветь моторы, и вновь катера прыгали по волне, избивая в синяки и кровь людей...

На восьмом часу перехода Проценко был вынужден скомандовать «стоп», хотя никто не отстал: на том катере, где он шел, моряки стали стучать зубами, дрожа от холо-

да и ветра. По радио пронеслась не предусмотренная уставами команда: «По сто граммов, по куску свинины, по плитке «колы»!.. Отдых пять минут!» И такие остановки пришлось делать не раз.

На пятнадцатом часу похода боцман одного из катеров был отпущен в моторное отделение погреться. На пост он не вышел: в тепле его свалил сон — мгновенный и беспробудный. Его подняли только через час. Пришлось запретить морякам спускаться в тепло.

На двадцать втором часу три командира на очередной остановке упали у штурвалов, потеряв силы. Проценко приказал боцманам заменить их: в соединении все боцманы обучены управлению катером, и не раз эта мера спасала катера в бою. Но — велика сила флотского упрямства! — едва взрвели моторы, командиры, как тени, шатаясь, вновь встали к штурвалам и вцепились в них окоченевшими руками...

К концу похода катер лейтенанта Игошина оторвался от строя и исчез. Долго искал и ждал его командир соединения. Катер не отозвался. Так и осталось неизвестным, какое именно повреждение заставило его отстать от строя. И только через месяц, когда была взята Красной Армией Ак-Мечеть, до нас дошла героическая история этого катера — еще один великолепный пример черноморской стойкости и мужества.

Исправив повреждение, катер стал пробираться самостоятельно. Видимо, за время ремонта его сильно снесло, и он вышел к берегу прямо к Ак-Мечети, занятой врагами. Командир понял это только тогда, когда увидел перед собой в бухте пять быстроходных десантных барж и на берегу — сильные батареи. Он развернулся для ухода и тотчас открыл огонь по баржам. Рыбаки на берегу видели, как фашисты, не пытаясь отвечать огнем дерзкому катеру, попрыгали с барж в воду. Катер уходил. Батареи открыли огонь с запозданием. Из рубки катера вызывающе показался красный флажок, как бы дразня немцев. Огонь их усилился. Флажок упал, но тотчас же его подняла другая рука. Еще через полминуты маленький корабль исчез во мгле. Свидетели героического поведения катера — рыбаки — вздохнули облегченно: ушел...

И он бы ушел, если бы не несчастное совпадение обстоятельств: у самой Ак-Мечети он нарвался на охранение. Три сторожевых катера и одна быстроходная десантная баржа встретили его сильнейшим огнем. Он стрелял

до последнего патрона. Снаряд попал в моторное отделение, катер потерял ход и начал тонуть. Немецкие катера подошли вплотную и потребовали, чтобы экипаж сдался. Командир катера лейтенант Игошин застрелился на глазах у фашистов. Выпавший из рук командира пистолет подобрал боцман и тоже застрелился. Врагам достались лишь четыре тяжело раненных моряка. Их привезли в Ак-Мечеть, и там моряк Агафонов, раненный в таз и в голову, рассказал обо всем этом двум русским женщинам — врачу и санитарке госпиталя — и умер у них на руках.

А к вечеру немцы скрытно, на двух автобусах, вывезли с батареей и с барж более тридцати трупов своих солдат, убитых огнем катера лейтенанта Игошина.

Остальные катера добрались до освобожденных нами берегов. Отсюда — без базы, без мастерских, в тяжелейших условиях — они начали свою двухмесячную боевую работу, закончившуюся только теперь, с ликвидацией крымской группировки немцев. За это время советскими моряками потоплено несколько транспортов, быстроходных десантных барж, сторожевых и торпедных катеров. Командир подразделения капитан третьего ранга Местников совершил набег на Ак-Мечеть, утопил нагруженные войсками две десантные баржи. Командиры катеров Умников, Лотошинский, Акулин, Шенгур, Бублик, Хабаров, Константинов еженощно выходили на поиски караванов противника и топили его корабли.

С того времени, когда немцы были прижаты к севастопольским бухтам, катера занялись «регулированием движения» и в этой части Черного моря. Капитан второго ранга Проценко, походив сам в ночные атаки, нащупал наиболее выгодные для перехвата врага позиции, и не было ночи, когда бы катера вернулись без «улова». В одну из таких ночей группа катеров, ведомая капитаном третьего ранга Туль, наскочила на вражеский дозор, вдвое сильнейший по численности, и попала под круговой огонь; Туль понял, что единственный шанс выиграть бой — это кинуться в атаку. Он повел свой катер на корабли противника. Остальные наши офицеры, угадав решение командира, повторили его маневр. Огонь противника смешался, немецкие сторожевики были вынуждены бить друг по другу, а катера прорвались — и через полчаса «отыгрались» на встреченных сторожевых катерах, утопив один из них.

Настойчивость в поиске врага, дерзость в атаке, терпение в засаде, меткость торпедного и артиллерийского

огня, личная отвага каждого катерника — вот качества моряков командира Проценко. Ордена и медали свидетельствуют об их боевых подвигах. Дорогую для каждого советского моряка награду — Нахимовскую медаль — первым среди других получил боцман Рыжов. На щитке его пулемета разорвался вражеский снаряд, осколок ударил Рыжова в щеку, под глаз. Перевязывавшие его моряки решили, что глаз вытек. Командир катера хотел идти на базу, чтобы сдать боцмана врачу.

— Не стоит, — сказал Рыжов. — Если глаз вытек, доктор не поможет, а не вытек — до утра дотерплю... Чего ж с торпедами возвращаться...

Катер остался в море, поймал немецкий корабль и вернулся утром. Глаз боцмана, к счастью, удалось спасти.

Два командира катеров, неразлучные друзья Пилипенко и Подымахин, пришли к Проценко с просьбой сделать их «свободными охотниками», то есть разрешить им искать врага по своему усмотрению. Командир согласился, с одним, впрочем, условием:

— Вы оба до сих пор ерунду всякую топили — БДБ всякая, катера... Без трубы не приходите ко мне, чтоб настоящий корабль был, с трубой, понятно?

Друзья, обрадованные, ушли. Две ночи они ходили на «свободную охоту» без всяких результатов, а днем шушукались в «клубе» — на песке пляжа, склонившись над картой, что-то колдуя, прикидывая возможные курсы крупных кораблей врага. Над ними уже, как полагается, начали подшучивать, показывая на летающих чаек: «Охотнички, подстрелите!» — подсаживались к ним «послушать охотничьи рассказы»... Друзья дулись, но терпели.

Зато терпение капитана второго ранга лопнуло. На третье утро, едва катера вернулись с моря, он вызвал к себе Подымахина и Пилипенко и сурово спросил:

— Ну, охотнички, как у вас дела?

— Труба, товарищ капитан второго ранга, — сдержанно ответил Пилипенко.

— Ну, раз дела у вас труба, возвращайтесь в звено. Хватит. Поохотились...

— Ей-богу, труба, — сказал Подымахин. — И дымила на совесть. Тысячи на три покойничек был, не меньше...

Так и стали они ходить в самостоятельные операции в чине «свободных охотников». При мне Проценко, давая

задания отряду катеров на ночь, серьезно предупреждал командиров:

— На вест от этой линии не лазить — там наши охотники зверствуют. Попадете им — конец. Они нынче в азарте! Пилипенко вчера коров потопил, нынче злой ходит...

Когда командиры разошлись, я спросил его, что за коровы. Оказалось, ночью приняли от Пилипенко радио с моря: «Потопил баржу коровами». Сперва решили, что подшутил шифр, но утром выяснилось — и точно: на десантной барже, кроме солдат, были... коровы. Одну из них Пилипенко хотел прибуksовать за рога — славное получилось бы блюдо взамен надоевшей ухи, но буксир на большом ходу лопнул, и корова осталась на широте такой-то, долготе такой-то.

Удивительно, как весело и легко в этом прекрасном боевом коллективе. Люди устают безмерно. Поутру они приходят с моря, тут же начинают перебирать механизмы и латать полученные за ночь пробоины, обедают на своей «базе» осточертевшей ухой, спят на пляже, сушась на солнышке, и с темнотой снова уходят в смертельную игру с сильно вооруженными кораблями противника. И все же неистребимый флотский дух веселья и жизнерадостности царит на этом клочке песка и развалин.

Но стоит вам заговорить о тех, кто погиб, как глаза офицеров и моряков темнеют. И вместо безудержно веселой молодежи вы видите перед собой взрослых, много повидавших воинов. Вспоминают лейтенанта Игошина и его подвиг, с уважением и грустью говорят о капитан-лейтенанте Григории Левищеве: он был первым, кто утопил торпедой немецкую ВДБ еще тогда, когда остальные командиры не знали, как попадать в такую малую и верткую цель. Другую ВДБ — шестую на его счету — он встретил, имея торпедные аппараты уже разряженными по другим целям. Левищев кинулся на нее в атаку, изображая готовность выпустить несуществующую торпеду. Баржа начала маневрировать, яростно отстреливаясь. Под ее огнем Левищев трижды демонстрировал выход в атаку и своим маневрированием загнал ВДБ на наш берег. Погиб он в бою с самолетами противника. Четверо раненых моряков плыли с ним к берегу, но командир их был смертельно ранен и, умирая в воде, пытался еще помогать друзьям слабым движением рук.

Одно имя погибшего друга влечет за собой другое. Те-

нями славы и мужества встают перед вами образы моряков, отдавших жизнь за победу. И каждый из живых, понизив голос, немногими, но сильными словами выразит вам то, что горит в его душе: боль и горечь за погибших соратников, страстная ненависть к врагу.

И тогда становится понятным, как выходят в ночную атаку эти молодые и веселые люди, что делает точным их глаз и твердой их руку.

Это — страстная воля к победе, которая одна может успокоить их сердца, тоскующие о боевых друзьях. Это — жажда возмездия.

### ВОЗМЕЗДИЕ

Грабители и палачи, два с половиной года расхищавшие богатства Крыма и порабоцавшие его население, уходили из Севастополя крадучись, тайком, во тьме. Они уходили, спасаясь от возмездия, надвигающегося на них через степи и горы Крыма, из глубин великой нашей страны.

Но от возмездия не уйти. Оно ждало их и в море.

В темноте нарастает над водой гул: торпедные катера, стремительные и разящие, невидимые во тьме, разыскали караван. Они врываются в строй военных кораблей, охраняющих транспорты, они проскакивают огневую завесу, находят цели и шлют в них свои разрушительные торпеды. Снова ослепляют захватчиков белые взрывы. Костры горящих кораблей полыхают по воде, освещая тонущих гитлеровцев. Затем пламя уходит в воду, ночь снова становится темной и тихой. Караван продолжает путь, уменьшившись на добрую треть. Бледнеют звезды, над морем встает нежная заря крымской весны.

Пробуждение дня, вечное возрождение света, встающего из тьмы, символ торжествующей жизни... Сколько надежд рождал он в человеческих сердцах, сколько поэм и стихов вызывал он и сколько людей обожествляло этот таинственный и прекрасный символ неумирающей жизни!.. И как страшен этот рассвет для солдат и офицеров гитлеровской армии — армии разбоя, армии мрака.

Не жизнь, а гибель несет им розовый свет зари, не надежду, а отчаяние, не бессмертие, а черную, бесславную гибель. Беспощадным обличителем встает над морем солнце. Яркие его лучи упираются в крадущиеся по Черному морю корабли тысячами указующих перстов: «Вот они,

убийцы, грабители, палачи! Вот они — те, кто губит жизнь!»

И в высоком небе уже гудит над Черным морем самолет. Человек в морском кителе внимательно смотрит вниз, на чистый простор знакомого моря. Темные полоски кораблей, белые ленточки буранов, светлые следы кильватерных струй: караван врага... Разведчик посылает на далекий берег радиосигнал и тотчас уходит просматривать море в других районах.

Караван резко меняет курс в тщетной попытке избежать разящего удара. Но негде спрятаться врагу на сверкающей поверхности Черного моря. Оно выдаст его своим друзьям-морякам — Черное море, советское море, свидетель славы двух городов-героев, море, истерзанное фашистскими минами, море, принявшее в вечные свои объятия тысячи жизней наших детей, безоружных жертв фашистской войны... Дети и женщины Одессы, старики и девушки Севастополя бледными, качающимися тенями бродят в слоях тяжелой глубинной воды Черного моря и призывают к возмездию. Они проходили здесь на кораблях, отмеченных знаком Красного Креста, — фашистские летчики засыпали их бомбами. Они карабкались на шлюпки, на обломки — фашисты с бредущего полета расстреливали их в воде. Мы пытались спасти свои семьи из осажденных городов — фашисты ставили на курсе транспортов магнитные мины.

Черное море не забыло этого, как не можем забыть мы. Врагу не спрятаться в чистых его просторах. Белыми бурунами пены оно отмечает ход его кораблей, увозящих убийц от заслуженной кары. Серебряным блеском сверкает оно под солнцем, выдавая этим темные полоски кораблей, доверху набитых палачами, и долго хранит на ровной глади своей следы кильватерных струй, облегчая черноморским летчикам поиск врага.

И они находят его. Ненависть обостряет их зрение. В союзе с Черным морем и с ненавистью они находят врага во мгле и в тумане.

Однажды черноморские летчики-гвардейцы Героя Советского Союза Челнокова вышли на штурмовку военных кораблей врага, пробиравшихся к Севастополю. Группу вел гвардии старший лейтенант Николай Пысин. В море был дождь, видимость исчезла, только десять-пятнадцать секунд полета отделяло летчиков от мглистой завесы, скрывающей береговые скалы. Соседняя группа верну-

лась, но гвардейцы продолжали поиск. Туман лежал до самой воды, и заданной цели летчикам найти не удалось. Тогда Николай Пысин, пользуясь мглой, прикрывавшей его самолеты от береговых зенитных батарей, повернул к Севастопольским бухтам. Там он нашел то, что искал: в одной из них под охраной сторожевого катера прокрадывалась в море немецкая БДБ. Гвардейцы утопили оба корабля точной серией бомб, сброшенных со ста метров.

Мы беседуем на аэродроме с Николаем Пысиным и его другом гвардии лейтенантом Александром Гургенидзе, они только что привели с удара свои эскадрильи. Небо было солнечно, море — гладко и чисто, но караван, обнаруженный нынче утром разведкой, сумел запутать следы. Долго и настойчиво искали его в море гвардейцы — почти до предела горючего. Наконец показались три транспорта, каждый в три тысячи тонн, под охраной шести БДБ и сторожевых катеров. Удар был нанесен — друзья утопили транспорт, одну БДБ и повредили охранный катер, а по свежим следам помчались добивать найденный друзьями караван другие штурмовики.

Оба эти морских летчика-гвардейца стоят друг друга. Оба они — командиры эскадрилий, и у обоих по два ордена Красного Знамени, у обоих более пятидесяти боевых вылетов только за время с начала боев за Крым, и у обоих все вылеты «результативные»: гибель вражеского корабля или серьезное его повреждение.

Оба они говорят не о себе, а о своих воспитанниках. У Гургенидзе молодежь прошлогоднего выпуска их школы. Но за каждым из них по полсотни боевых вылетов и по два ордена: Георгий Кузнецов, Дымов, Бурштейн, Шумилов. У Пысина такая же молодежь, воюющая всего год. Но и у него все летчики имеют те же полсотни боев, у многих из них по два ордена: Благодарев, Петр Бабкин, Василенко, Казаков.

И оба друга в свое время «присаживались». У Гургенидзе, штурмовавшего под Керчью зенитную батарею, немцы разнесли стабилизатор и сорвали элерон. Он все-таки повел подбитый самолет на свой аэродром. Двадцать пять минут он вел его, изо всех сил вытягивая ручку обеими руками. Руки отказывались тянуть ручку. Тогда Гургенидзе схватил ее ногой, вцепился руками в борт и так, противодействуя стремлению самолета закопаться в землю, довел его до своего аэродрома...

— Устал очень, — кратко подытожил он рассказ.

Пысина сбили над Темрюком осенью прошлого года, он сел в плавни в тридцати километрах за линией фронта и вернулся вместе со стрелком через фронт. Второй раз возле Анапы он упал с простреленным мотором в воду. Самолет утонул. Пысин поплыл — но не к берегу, а в море: берег был занят врагом. Он плыл четыре часа. Когда его вытащил катер, обгорелые руки уже не чувствовали холодной воды...

И наконец, оба в одинаковых выражениях говорят одно и то же о своем командире — Герое Советского Союза Челнокове:

— Мы своим летчикам передаем только то, чему нас самих командир учит. Будем так драться, как он, — и остальные, на нас глядя, фрицам насолят. Вы на него в бою посмотрите — поймете...

А «насолить» врагу летчики умеют. Недавно летчики подполковника Челнокова штурмовали в Судак десантные баржи, собравшиеся вывозить немцев в Севастополь. Четыре уже отошли от берега, когда на них налетели наши морские штурмовики. Три были потоплены на глазах у гитлеровцев, производивших посадку на остальные, стоявшие еще у берега, четвертая загорелась. Войска отказались грузиться на баржи и двинулись к Севастополю более безопасным пешим способом.

Так сказать, обучение показом...

Настойчивость и стремление во что бы то ни стало поразить врага отличают всех летчиков соединения подполковника Манжосова. Штурмовые самолеты висели над морскими коммуникациями врага, делая в среднем по два-три боевых вылета в день. Однажды гвардейцы вернулись на базу, не отыскав караван. Сели злые, помолчали, пока техники заправляли самолеты, — и вновь пошли над морем. Уже не имея данных разведки, превратившись в разведчиков сами, они все же отыскивали в море караван. Гвардейцы Гургенидзе и Пысин штурмовали его двумя группами и из трех транспортов по тысяче тонн один утопили и два повредили. При этом стрелок-радист Борисов сбил одного М-109 из воздушного сопротивления каравана. Тут же летчики подразделения Героя Советского Союза майора Степаняна младшие лейтенанты Попов и Глухарев атаковали другую группу каравана. Они уничтожили торпедный катер охраны, подбили сторожевой корабль и из двух БДБ утопили одну и зажгли вторую.

Мы рассматриваем фотоснимки этой штурмовки: тако-

во правило морских летчиков — привозить с моря «квитанции». Торпедный катер, снятый со ста метров, отчетливо виден на воде белым пятном пены, брызг, огня и дыма: он взлетел вместе со своими торпедами. Рядом продолговатым неуклюжим четырехугольником видна на воде БДБ.

На ее палубе возле черных пятен людей, стреляющих из зенитных автоматов, только что встал первый росток взрыва. На второй фотографии, сделанной самолетом группы прикрытия несколькими секундами позже, этот дымок разросся уже в огромный клуб, закрывавший всю палубу. Третий снимок — на отходе — только широким пятном пены, масла и взбаламученной воды свидетельствует о том, что здесь была БДБ.

Кстати сказать, это судно несправедливо называют баржей: это сильный, живучий боевой корабль, с хорошим ходом, с мощной зенитной артиллерией, с водонепроницаемыми отсеками и даже кое-какой броней. Немцы строили его для вторжения в Англию, а воевать и тонуть им пришлось у нас на Черном море...

Мы перелистываем альбом. Что ни штурмовка — то гибнущие корабли... Дымовые клочья, водовороты пены, тонущие транспорты, белые пятна бомб, разорвавшихся у самого борта, уничтожающих людей осколками, прорывающихся кораблей... Хромая, они уйдут от удара летчиков Манжосова, чтобы через три-четыре часа попасть под новый удар их соседей — летчиков дальней авиации Черноморского флота...

Таманский, керченский, новороссийский... счета здесь уже закрыты и положены в архив. Летчики завели новый — крымский счет. В подразделении Героя Советского Союза Челнокова с начала крымского наступления основные ведущие группы гвардии старших лейтенантов Пысина и Гургенидзе и гвардии капитанов Покалюхина и Николаева утопили 23 корабля врага, из них 5 транспортов до 3 тысяч тонн и 11 БДБ, и серьезно повредили 22 корабля, из них 6 транспортов и 22 БДБ. Все эти плавучие средства в основном были нагружены гитлеровскими войсками, перевозимыми из Крыма на другие фронты.

Почти такой же счет имеет подразделение гвардии майора Степаняна. Его летчики, дважды и трижды орденосцы Попов, Юсуп Акаев, Андрей Вожок, Глухарев, Удальцов, отработали новый метод бомбометания, требующий огромной выдержки, спокойствия и отваги, но даю-

щий «полную гарантию — в правый глаз капитану».

В одном из боев их группу вел Герой Советского Союза Степанян. Результат: из трех крупных транспортов в 3—3,5 тысячи тонн утоплено два, третий сильно поврежден, утоплены торпедный и сторожевой катера, повреждены одна БДБ и два катера, а из воздушной охраны метким огнем штурмана Удовченко и стрелка Петера сбито два «фокке-вульфа».

Работа черноморских летчиков на дальних морских коммуникациях врага началась в Крыму в условиях перебазирования, на взорванных аэродромах, на голом месте, когда первое время летчики жили «под крылом», когда не было ни базы, ни мастерских и техники голыми руками ремонтировали самолеты, «набравшие баракла» — то есть порядочное количество пуль и осколков. Но ждать базы было некогда. Так с самых первых дней освобождения Крыма в сводках Совинформбюро стали появляться сообщения об ударах черноморских летчиков.

Их вела в бой великая ненависть и жажда скорее вернуть родной Севастополь. Семьи погибших там друзей, призраки стариков и женщин, потопленных в Черном море фашистами в тяжелые месяцы осады, стоят перед их глазами. И когда на ровной морской глади появляются перед штурмовыми самолетами темные черточки вражеского каравана, летчики-черноморцы безошибочно и точно посылают свои бомбы в корабли врага.

На них — гитлеровцы. Они расхитили богатства благословенного южного полуострова. Они пожгли здесь деревни почти на всем пути от Симферополя до Чатыр-Дага. Они разрушили здесь города, взорвали лечебницы и санатории, опоганили Южный берег, превратили в камни Севастополь. Они уничтожили тысячи наших людей, никогда не бравших в руки оружие.

И вот они платят жизнью за жизнь, кровью за кровь, криками за крик, ужасом за ужас.

Это не месть. Это страшнее мести. Это возмездие — страшное, но справедливое.

Долго мы ждали победы. Стиснув зубы, пряча слезы, собирая все душевные силы, мы отходили, чтобы победить. Победа пришла из глубин нашей родины. Она пришла в величии народного духа, в труде отцов и матерей, в героизме и славе сынов. Она пришла и в Крым, она стоит над Севастополем и над Черным морем — и в руках ее сверкает холодный меч возмездия.

Мы уничтожаем, а не мстим. Мы просто очищаем нашу землю и море от племени убийц, созданных, выдрессированных и брошенных на наши дома и семьи непревзойденным убийцей и палачом — Адольфом Гитлером, которого также ждет возмездие.

#### НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ

Крутясь и извиваясь по склонам, бежит вверх горная дорога, пробиваясь через густой и высокий лес. Он играет на солнце всеми мыслимыми оттенками зеленого цвета, от темной, почти синей глубины, скопившейся в широкой листве огромных деревьев, до ярчайшей, поражающей глаз светлой зелени молодой травы. Крымская весна ликует в горах возрождающейся жизнью, радуя красками, ароматами, щебетом птиц, звонким рокотом горных речек, и голубые тени снегов на близких вершинах струят по склонам прохладу. Благословенный край солнца, гор и моря, простой и мудрый мир природы, раздумчивая и живая тишина... Покой и чистота первозданной красоты...

И вдруг на самом перевале из зелени показываются бойницы, траншеи, доты и рядом — три могильных креста, черные с белым: немецкое укрепление. Оно оскорбляет глаз, как плевок на картине.

Мы останавливаем машину и входим в это жилище страха.

Да, здесь жил страх. В самой глубине «завоеванного жизненного пространства», в громадном удалении от какого бы то ни было фронта стоит это укрепление неким символом.

Не было житья здесь, на полуострове, фашистам, которые два года считали его своим. Они вырубали лес, нарыли глубоких траншей, опоясывающих кругом дом, понастроили из бетонных труб огневые точки, каменной стеной перегородили шоссе, в три кола поставили проволоку, натыкали пулеметов, гусеницами танков прикрыли козырьки окопов — и так, прислушиваясь к таинственной тишине горного леса, вздрагивая и оглядываясь, сидели они здесь под презрительным взглядом старого Чатыр-Дага, ежеминутно ожидая, что с его крутых склонов, из густых его зарослей, из узких ущелий вырвутся на Южный берег партизаны.

По всему шоссе видны следы этого страха.

Там, где дорога идет в горном лесу, деревья вырублены



метров на полтора по обе стороны каждого поворота: боялись партизанских снайперов. У мостов — огневые точки: боялись партизанских подрывников. Но то и дело встречаются у шоссе битые, сожженные машины. Некоторые из них еще хранят очертания тупорылых транспортеров, широкозадых грузовиков, а порой — кокетливых офицерских лимузинов. Три зимы партизаны заваливали по ночам дорогу, подкладывали мины, взрывали шоссе, подстреливали шоферов, и машины катились с кручи, увлекая с собой в пропасть захватчиков.

Там же, где дорога бежит по ровному безлесому плоскогорью, гитлеровцы пожгли деревни, чтобы население их не кормило партизан. Сергеевка, Шамхай, Ангара — десятки деревень уничтожены. Задымленные голые стены торчат в пышных бело-розовых букетах садов печальным и страшным знаком беды и насилия, и издалека — из Бахчисарая, из Евпатории, из Джанкоя — возвращаются в родные места женщины и дети, выгнанные отсюда. У них нет с собой ничего: им не дали на сборы и пяти минут. На них лаяли: «Вег! Вег!» — и люди, в чем были, уходили в горькую даль скитаний по захваченной врагом и разграбленной им родной земле.

Многие семьи ушли в горы вместе с партизанами, разделяя с мужьями и сыновьями страшные лишения. Ни одной ночи на том же месте — постоянные облавы, бои, окружения партизанских отрядов. Голодали и холодали. Люди забыли вкус соли. Были дни, когда ели траву, заваривали в кипятке мох. Порой удавалось привести из степи скот, и тогда партизанский лагерь оживал.

В вечных боях с карательными отрядами кочевали в горах партизаны, держа семьи «в глубоком тылу». Мы поинтересовались, что могут означать эти слова там, где фронт был рядом, и нам объяснили: «Самая середка...» Семьи располагались у вершины горы, а на склонах ее кольцом передвигались в боях партизаны. Незадолго до прорыва наших войск в Крым каратели начали новую облаву, четвертую за эту зиму. Партизан притиснули к самым вершинам. Женщины и дети мерзли. Тогда партизаны укрыли их от ветра в штабелях срубленного когда-то леса и ушли отбиваться. Вернувшись после ожесточенного боя, они не увидели штабелей: все было покрыто глубоким снегом — он валил трое суток. Десятилетний парнишка Коля Журавлев рассказывал мне об этом с удивительным спокойствием:

— Под снегом даже теплей было, мы прямо отогрелись, а то ветер да ветер... А мамка ревет, — не найдут, говорит, нас. Мы откапываться... Роем, роем руками, а куда его денешь, снег-то? Там же тесно было... Хорошо, наши сверху нашли, откопали...

Коля полностью в фашистском обмундировании: зеленая френч, лягушачьи штаны, сапоги с шипами, пилотка с пришитой наискось алой лентой: обносились и ободрались, приходилось пользоваться трофеями. В этой последней облаве партизаны дошли до крайней степени лишений. Не было ни еды, ни патронов. Но еще не разрядились аккумуляторы радио, и газета — поразительная партизанская газета на обрывке бумаги, на которую краска терпеливо переведена с набора ударами щетки, — сообщала новости с дальних фронтов. На последнем яростном дыхании держались люди в начале апреля, и в день, когда командиры вышли к отрядам с известием о прорыве наших войск в Крым, громовое «ура» потрясло горы. В тот же день партизаны скатились с гор грозной лавиной местности. Они помогали частям Красной Армии в освобождении Симферополя, добивали отступающие отряды врага на дорогах к Севастополю. На юге они рвались на Ялту, Алушту, Массандру, перехватывали гитлеровские отряды на пути бегства.

И вот Южный берег расстилается под нами прекрасным видением, знакомым миллионам советских людей. Край здоровья и отдыха — обезображенный, расхищенный, изуродованный.

Алушта... В ней остались примерно половина санаториев — и то лишь стены: инвентарь разграблен. Вокруг сожженные деревни. Одна из них — Улузень — уничтожена совершенно: боязнь партизан. По этой причине другая большая деревня, Устькут, окружена сплошным кольцом минных полей; людей на работы выводила из нее секретными проходами полиция. Для возможности обстрела подходов к Алуште вырублено множество садов, уничтожены целые гектары виноградников. Мосты на Ялтинском шоссе были заминированы, но их спасла алуштинская молодежь: вслед за немецкими подрывниками они прокрались к мостам и вытащили до полутонна тонн взрывчатки.

В Алуште мы разговаривали с военнопленными. Один из нас завел речь о литературе. Солдаты мялись: они читали только дубовые «вицы» — тупые шутки в журналах. Зато обер-ефрейтор решил блеснуть культурой перед сво-

ими солдатами и перед русскими офицерами. Он из зажиточной семьи, учился в университете, у отца была машина, на которой он катался в Шлезвиге, и поэтому в армии стал шофером. Он сыпал имена авторов, произведения которых он читал (запнувшись, впрочем, на Гейне) — Гете, Лессинг, Шиллер, Эберс...

— Энгельс, — подсказал я.

— Яволь, конечно, Энгельс...

— А что вы больше всего любите у Энгельса?

Он самодовольно усмехнулся.

— Я так много читал, что не смогу вспомнить названий. Я большой поклонник литературы, особенно немецкой. Вам странно слышать это из уст солдата?

— Нет, отчего же, — сказал я. — Но все-таки, что больше всего вам нравится у Энгельса? Роман его или пьесы?

— Пьесы, — ответил обер-ефрейтор.

Я смотрел на фашистов, готовых угодливо и подобострастно отвечать на любой вопрос, и мне вспомнилась тяжелая сцена в Евпатории. Мы сидели там вечером в русской семье, пережившей два с лишним года господства захватчиков. Нам было весело, мы смеялись — и вдруг хозяйка, прислушавшись, встала. Из-за стены доносились глухие рыдания.

— Кому нынче счастье, кому горе, — сказала она. — Соседка... Была днем на раскопках за вокзалом. Мужа нашла там в яме... И сынишку...

Вспоминая об этом, я глядел на ефрейторскую морду с подстриженными усиками, на гитлеровского молодчика, радующегося плену и безопасности и охотно беседующего о литературе. Такие, как он, убивали во рвах наших детей и женщин. Пусти его сейчас на волю, верни его в волчью стаю, — он нес бы нам новое зло, жег бы дома, убивал бы беззащитных людей. Он — фашист, наглый в успехе и подлый в неудаче, зверь, когда чувствует свою силу, и трус, когда чувствует силу другого.

Не ему ли работник пионерского лагеря в Артеке, Николай Федорович Гнеденко, сказал свои последние тихие слова, исполненные человеческого благородства? Это было в первые дни прихода гитлеровцев на Южный берег. Они шли по Артеку, постреливая в статуи, раскрывая ударом сапога двери, оглядывая наших людей. Они повели с собой жену Гнеденко, еврейку. Николай Федорович взял ее за руку.

— Что ж, пойду и я. Мы одинаковые люди.

Его расстреляли вместе с ней в очередной партии, подлежащей фашистскому уничтожению.

В печальном зрелище разрушений, разграблений и бед на Южном берегу Крыма запминаются отдельные картины. Дико и странно было увидеть в Гурзуфе, в прекрасном когда-то здании лечебных процедур санатория РККА — коновязь, кормушку, навоз. На рубильнике мраморной распределительной доски в кабинете «горного солнца» кварцевых ламп еще висела уздечка, подтверждающая, что здесь, в лечебнице, держали лошадей. Почему и зачем нужно было превращать в конюшню целый и исправный дом здоровья, — нам никогда не будет понятно.

Дом в Гурзуфе, в котором жил Пушкин, разграблен. В комнатах музея грязные следы солдатского постоя, наспех брошенные вещи, отвратительное белье, воняющее из угла, и на паркете — следы костра. Жилье — не чище конюшни. И на огонь этого костра пошел ствол того кипариса, к которому Пушкин каждый вечер ходил на свидание, как к другу... Тонкий пенек его стоит у двери, и только пушкинские слова на разбитом мраморе доски свидетельствуют о том, что кипарис этот мы сберегали долее ста лет.

Ялта. Она производит впечатление как бы неразрушенного города. Но лучшие дома на набережной — это только стены. Санатории, как везде, разграблены. Двадцать три (почти половина ялтинских здравниц) сожжены. Одиннадцать — при последнем уходе, остальные в январе 1942 года, когда десант наших моряков в Керчь и Феодосию заставил оккупантов приготовиться к оставлению Ялты.

Здесь мы узнали, что ялтинцы ходили в Симферополь в поисках хлеба и продуктов. Пропуск давался только на группу в десять человек — и все десять обязаны были вернуться вместе. Известен случай, когда одна из женщин, не осилив долгого пути пешком по горам, слегла в Симферополе. И остальные девять ждали ее выздоровления, тратя обменные продукты на оплату ночлега, на взятки и на собственное питание. Через месяц группа вернулась в Ялту к голодным семьям с пустыми руками.

Было огромной радостью увидеть в Алушке изумительный Воронцовский дворец. Здесь были разворованы полотна передвижной выставки Русского музея, часть фарфора и ковров, но основные ценности дворца-музея спасены его работниками.

Разнежившись на крымском солнце, комендант Алу-

ки и всерьез поверил, что Крым стал достоянием рейха навеки. Да и как не поверить: сам фельдмаршал Манштейн получил в дар от Гитлера все Кичкинэ в качестве личного имения. Дачи и санатории разбирались генералами, присматривалось подходящее именье для Розенберга, и сам комендант тоже отхватил себе усадьбу рядом с Алушкой. Все как будто устанавливалось прочно, навсегда. И комендант решил сохранить для будущих гостей Воронцовский музей.

Дворец был принят им под свое покровительство и объявлен немецким музеем. Комендант даже лично присутствовал при посещениях комиссии, приехавшей из Берлина для отбора ценностей, достойных храниться в германских музеях.

И тут началось трудное время для работников музея.

Драгоценные подлинники они пренебрежительно называли копиями среднего качества. Редчайшее полотно английского художника Хогарта «Политик» привлекло внимание берлинского эксперта. Директор дворца-музея Степан Григорьевич Щеколдин поспешил объяснить, что это копия — очень хорошая, но все же копия.

— Я думаю, — сказал «эксперт» с самодовольной тупостью, — если бы это был подлинник, он висел бы в Дрезденской галерее...

И «эксперта» поспешно провели дальше. Стоило ему взглянуть на оборотную сторону полотна, он увидел бы там печать британского музея, где в свое время оно было куплено, — и опасная тактика хранителя сокровищ обернулась бы для него гибельно...

В библиотеке комиссия отобрала некоторые редкие книги на итальянском и французском языках.

Но воронцовское собрание русских книг, а вместе с этим и ценнейшую коллекцию гравюр удалось спасти. Из библиотеки есть ход в так называемую «железную башню», где и находились эти сокровища. Дверь тут сделана в виде двери книжного шкафа. С. Г. Щеколдин распахнул три стеновых шкафа. Все они были пусты. На четвертом «эксперты» перестали интересоваться стенными дверьми, а пятая — вела к башне...

Но тактика генерал-мецената, решившего сохранить музей для будущих гостей из рейха, не получила одобрения офицерства. Они начали «изъятия» своим способом. Капитан Дитман срезал низы портретного ковра Фед-Алишаха, висевшего при выходе на львиную лестницу. Мы

посоветовали повесить здесь плакат: «Украдено капитаном германской армии Дитманом».

Другой капитан украл из музея французскую бронзу — статуэтку Психеи. Она была установлена на мраморе, и стащить ее незаметно было нельзя. Капитан начал тщательную подготовку к воровской операции. Четыре дня он аккуратно посещал китайскую комнату, где на камине стояла Психея, и старался остаться там один. Оказалось, капитан германской армии все четыре дня терпеливо свинчивал крепления статуэтки — и под конец все-таки стащил Психею.

Все побережье от Феодосии до Севастополя и дальше, у Евпатории, представляет одно и то же зрелище: на пляжах минные поля, траншеи, проволока, доты, хитрые препятствия из поставленных на ребро санаторных коек, управляемые из дотов фугасы. Это — следы еще одного страха. Страх перед десантом с моря.

Есть такое английское выражение: «Fleet in being» — «флот в существовании». Оно означает, что сила флота измеряется не только теми боевыми действиями, которые он ведет, но и самим фактом наличия его на данном море, потенциальной его угрозой. Укрепления на всем побережье Крыма — великолепная иллюстрация того, какое значение имел и имеет на Черном море существовавший там наш флот. В Крыму гитлеровцы везде держали гарнизоны в ожидании возможного десанта. В Румынии порядочное количество войск всю войну сидело в береговых укреплениях в готовности отразить возможный десант Черноморского флота.

После взятия Севастополя мы снова проехали по Южному берегу, на этот раз дорогой через Байдары. Нельзя было покинуть Крым, не насладившись одним из прекраснейших в мире зрелищ, возвращенных нам победой. У Байдарских ворот мы остановили машину и пошли к ним пешком.

Голубым, фиолетовым, дрожащим маревом распахнулось за каменной аркой море, высокое, как небо, и неотделимое от него. Взгляд, утомленный за часы дороги теснинами ущелий, нависшими скалами, близкой зеленью деревьев, вдруг уходит в ослепительный голубой простор, — и не можешь понять, где в нем начинается небо и где кончается море. С этой огромной высоты оно не лежит, а стоит

перед глазами, и глаз не может найти линии горизонта. Если можно где ощутить — почти увидеть — бесконечность, это может быть только здесь.

Сколько раз я любовался отсюда Черным морем, но никогда еще эта мысль не приходила ко мне с такой волнующей ясностью. Бесконечная даль — даль пространства, времени, славы — расстилалась передо мной. Далекie горы невидимых берегов как будто ясно виднелись в дрожащей дымке. Боевые походы славян, походы предков наших и современников, ожили в волшебных перегибах голубизны.

И на валках дубовых челнах, на высоких деревянных кораблях, белеющих громадами парусов, на стройных стальных крейсерах, несомая вперед и вперед ударами грубых весел, свежим брамсельным ветром, рокочущим пением турбин, — плыла по Черному морю слава русского флота, плыла в века, в бесконечность грядущих времен, бессмертная, великолепная и огромная, как само Черное море.

#### СЕВАСТОПОЛЬ

Над всем широким полукольцом фронта от Северной стороны до Балаклавы воздух гремит, раскалывается, гудит, перекаывая грохот залпов: идет артиллерийская подготовка штурма Севастополя. Снаряды тяжело шелестят над головой, непрерывно и нескончаемо, — и временами кажется, что мы находимся под сплошным металлическим сводом, перекинутым от наших огневых позиций к переднему краю немцев.

На гребне знакомой высоты, длинным горбом выгнувшейся перед наблюдательным пунктом, вдруг прорастает высокий и частый лес: у правого края гребня одно за другим быстро встают в ряд фантастические деревья из земли и дыма. Стена гибели еще стоит над дотами и траншеями, покачивая свою пышную черную листву, а рядом с ней, продолжая ее, уже прорастает на гребне новый лес, и не успеваешь он слиться в сплошную пелену, когда еще левей вновь взвиваются в небо тесным и точным рядом черные дымы.

Это «катюши» дали по высоте 282,0 три последовательных залпа. На минуту-полторы общий гул стрельбы заглушается плотным рокотом их разрывов — как будто рядом простучала длинная очередь пулеметов, тысячекратно усиленного в звуке и в разрушительной силе.

К исходу первого часа весь горизонт перед нами уже неразличимо затянут дымкой и пылью разрывов. Темные облака все выше встают над горами, отделяющими нас от Севастополя. Гроза разразилась над фашистскими захватчиками — гроза гнева, расплаты, возмездия.

В начале войны Севастополь дал родине драгоценные восемь месяцев задержки немецкого наступления. Оттягивая на себя войска, предназначенные для удара через Керченский пролив на Кавказ, продолжая оставаться во вражеском тылу опаснейшим плацдармом и угрозой, — Севастополь выигрывал в войне время, так нужное родине для подготовки встречного удара. Моряки и красноармейцы держали Севастополь, а далеко от них, в глубине огромной нашей родины — на Урале, в Сибири, в Средней Азии — разворачивалась военная промышленность, ковалась оружие победы.

И вот во всей великолепной мощи оно пришло сюда — оружие, созданное родиной за два года разлуки с Севастополем. Оно пришло освободить героический город, чья самозабвенная борьба помогла рождению этого оружия. Густой бас тяжелых орудий и оглушающие хлопки штурмовой артиллерии, яростная скороговорка крупнокалиберных «катюш», ураганный вой стремительных «илов» и высокое гудение бомбардировщиков, прерываемое тяжелыми плотными ударами бомб...

Если б люди, которые великим своим трудом бойцов глубокого тыла создали это оружие, могли увидеть его вот так — все разом, в общем согласном действии, в могучей силе одновременного удара! С какой гордостью и удовлетворением слушали бы они этот голос победы, подготовленной их собственными руками!

Позже, на скатах Сапун-горы, мы увидели следы этой прошумевшей грозы. Все три километра склона были изрыты, все было в свежих огромных ямах. Земля здесь вся перевернута травой вниз. Сперва нас поразило малое количество трупов, — мы знали, что вся гора была занята немцами. Но, бродя по склону и натываясь на торчащие из земли руки и ноги, на стволы орудий, заваленные камнями, на прутья арматуры дотов, которые выглядели из желтой ямы причудливыми букетами засохших, перепутавшихся ветвей, — мы поняли, что видимых следов здесь ожидать не следует: между двумя соседними воронками было едва три-четыре шага не тронутой металлом земли.

Только так и можно было прорвать сильнейшую оборону немцев на Сапун-горе, как, впрочем, и в других узлах сопротивления. Если бы не удалось добиться такой плотности, силы и меткости огня, то при первой же нашей атаке исправно отработали бы все минные поля, и все фашистские доты, взоры, щели, огневые точки встретили бы атакующих ливнем свинца.

За Сапун-горой мы зашли в оставленный бежавшими солдатами бетонный дот. Он живо напомнил мне доты линии Маннергейма: такие же толстые стены, броневые укрытия, узкие амбразуры, таблицы пристрелянных до метра рубежей, солиднейшее убежище в нижнем этаже... Сила такой крепости, на которую немцы потратили два года труда, могла быть раздавлена только прямым попаданием.

Однако это не значит, что после такой блестящей артиллерийской подготовки нашей пехоте оставалось лишь пройти триумфальным маршем: высота Безымянная, расположенная возле Сапун-горы, встретила батальон Дебальцевского полка жестким огнем. И там, спасая от него товарищей, ринулся на амбразуру дота красноармеец Н. Афанасьев. Он был убит, но тело героя закрыло амбразуру — и рота прорвалась...

Словно какая-то сила восторга, торжества и жажды окончательной победы несла людей на траншеи, доты, на орудия и пулеметный огонь отчаянно сопротивлявшегося врага, несла вперед, к Севастополю. Последние километры до него наши передовые части прошли одним рывком, за несколько часов — штабы не успевали отмечать продвижение частей. К середине дня 9 мая войска ворвались в город. Начались уличные бои.

Они закончились к ночи, а рано утром мы пробирались к Севастополю, лавируя на машине по шоссе между войсками, орудиями, танками. Все это стремилось к Херсонесу для последнего расчета: там, на мысу, вдающемся в море, у гитлеровцев был подготовлен последний рубеж для прикрытия посадки на плавучие средства. Обогнуть эту лавину было невозможно. Мы оставили машину и пошли пешком.

С жадностью я всматривался в медленно раскрывающуюся передо мной картину великого города. Раннее солнце сияло на небе, по-утреннему бесцветном, и вода бухты, не отражая еще яркой синевы, блестела светлой гладью. Справа, на скалах, лепились крохотные домики Кора-

бельной стороны, зияющие темными пятнами сгоревших кварталов, лишь изредка радовали глаз целые крыши и садики. Слева, на зеленой высоте Исторического бульвара, виднелось здание панорамы Севастопольской обороны. Издали оно казалось целым, но обугленный каркас купола чернел на небе острыми прутьями, торчащими, как иглы тернового венца — знака страдания и мук. У выхода в море бессмертным видением флотской славы вставал из воды Константиновский форт. Черный дым покачивался над центром города высоким столбом. Гудели в небе штурмовики, идущие на Херсонес, грохотала за Рудольфовой горой артиллерия, добывая там фашистов. На высоких развалинах алели флаги, поставленные ворвавшимися ночью в город первыми нашими бойцами.

Все это навсегда запомнилось на медленном шаге. Торжественное раздумье волновало сердце. Каждый камень передо мной был дважды полит русской кровью его защитников.

Если бы я поддался чувству, я стал бы на колени и земным русским поклоном поклонился бы великому городу двух оборон, мученику двух осад, огромной могиле тысяч героев, братьев моих по морю, по чести, по оружию.

Шоссе спускалось в Лабораторную балку, и первые севастопольские дома, лепясь по горе, встретили нас. Тут, неподалеку от вокзала, в кювете шоссе, мы увидели первый труп фашистского вояки, убитого в уличном бою.

Он лежал в пыли и ничтожестве, навзничь, в зеленом своем лягушачьем одеянии. В левой его руке был зажат автомат, в правой — курица. Хозяйка домика, увидев, что мы с удивлением рассматриваем эту карикатуру, неожиданно воплотившуюся в действительность, пояснила:

— Это, как к вечеру стрельба пошла, он заметался, схватился бежать, заскочил к соседке на двор, ухватил курицу и вниз. Тут его наши и подстрелили...

Мы пошли дальше, дивясь на это свидетельство неистребимой тяги к грабежу, пересиливающей даже страх.

Вокзал открылся перед нами грудой камней, дыбом вставшими рельсами, длинными рядами вагонов с фашистским гербом: холодильники, пассажирские, товарные, платформы... Десятки их были сброшены в море, но эти остались.

В бухте за вокзалом, накренившись, стоял взорван-

ный плавучий кран, а за ним по всему берегу торчали из воды мачты и трубы, мостики и надстройки немецких кораблей, потопленных бомбами наших летчиков. Черными обломками стен виднелся по берегу разрушенный порт, и группа наших бойцов уже тушила пожар большого склада.

Знакомой дорогой над бухтой мы поднялись от вокзала к улице Ленина. Совинформбюро два года назад сообщало: «За восемь месяцев обороны Севастополя враг потерял до 300 000 своих солдат убитыми и ранеными. В боях за Севастополь немецкие войска понесли огромные потери, приобрели же — руины».

Да, это так. Одни руины. Город разрушен десятками тысяч бомб, сброшенных на него за время осады. Мы прошли все главные улицы города — и не видели ни одного целого дома. Только два — водная станция «Динамо» и санаторий возле нее — похожи на дома. Все остальные разрушены. Дом Красного флота, библиотека, театр, Исторический музей, кинотеатр, гостиницы «Интурист», «Франция», «Приморская», штаб флота, чудесный дворец на горе — филиал Дома Красного флота, огромный Дом подводников, Сеченовский институт, Дом специалистов на улице Карла Маркса — все это или торчащие стены, или просто высокие груды камней.

С волнением подходили мы к Приморскому бульвару. Я искал глазами вздымающуюся из воды белую колонну, с которой орел осеняет широкими крылами бухту, — памятник погибшим кораблям, затопленным черноморцами в первой Севастопольской обороне. За деревьями бульвара вздымался тот огромный столб дыма, который был виден еще издали, — у берега горел танкер, подорванный нашей авиацией и прибившийся к бульвару. Памятника не было видно, и горькое чувство кольнуло меня.

Но внезапный порыв ветра сильно качнул облако дыма — и на мрачном его фоне великолепно и празднично просияла стройная белая колонна. Она прорезала зловещий черный дым светлым видением несокрушимой, неуничтожаемой силы. И на миг мне показалось, будто я вижу, как из руин и дымов, из развалин и пожарищ вновь встал над бухтой прекрасный город — целый, великолепный, в зелени и в цветах, живой и счастливый город-герой, воспитавший два поколения верных сынов отчизны — севастопольцев.

Так будет. Кончится война — и родина восстановит Севастополь, колыбель мужества, верности и славы, во всей его величавой красоте, и памятники героям второй обороны встанут на высоких скалах над Черным морем, и здание панорамы второй Севастопольской обороны займет другую высокую гору, перекликаясь с первой, и венец двойной славы осенит Севастополь.

Но сегодня...

Сердце сжимается при взгляде на город. Отвратительные следы фашистского сапога оскорбляют великие могилы. Против Сеченовского института физических методов лечения — изуродованного, разрушенного, вызывающего к месту печальным видением обезглавленных снарядами статуй — стоит аппарат дымовой завесы, баллон, манометр. Рядом надпись по-немецки: «Не приближаться, ядовито!» Это же предупреждение повторено на румынском языке. Русского перевода нет: не беда, если русский человек и отравится просачивающимся из баллона газом.

Для русских — другие надписи. У Владимирского собора, стена которого развалена снарядами, стоит на углу разрушенной улицы плакат-окрик: «Кто пойдет дальше, будет застрелен. Портовый комендант». Здесь началась запретная зона — Карантинная бухта, Рудольфова гора: там было несколько уцелевших зданий, в которых размещались воинские части.

Возле этого плаката мы встретили двух седых женщин, и от них мы впервые услышали то, что после подтверждали все встреченные нами редкие жители Севастополя.

Начиная с 25 апреля по кварталам Зеленой горки, Воронцовой горы, Корабельной слободки, где в уцелевших маленьких хатках только и жили севастопольские семьи, начали ходить с облавой гитлеровцы. Заходили в дома с короткой командой «Вер! Вер!», забирали всех подряд: стариков, женщин, детей.

Их отвели в Стрелецкую бухту и начали грузить на баржи и транспорты — на палубу. В трюмы же пошли немцы. Русским объясняли: «Когда летчик будет бомбить — машите платками, показывайте детей, плачьте, кричите!..»

Так, терпя от нашей авиации и торпедных катеров большие потери в караванах, гитлеровские изуверы прибежали к чудовищному способу маскировки. Мы знаем, когда они гнали перед собой в атаку русских женщин и

детей, прикрываясь ими от нашего огня. Но такая «маскировка» не имеет себе равной по подлости.

И это преступление надо записать на кровавый счет Гитлера.

Из разговоров с севастопольцами мы узнали, что в городе все время выходила подпольная газета «За Родину». Ее издавали неведомые нашим собеседникам люди. Но о газете слышали все: те, кто сами не читали ее, получали новости из уст других. Каждое событие войны — победа под Сталинградом, наше зимнее наступление, прорыв в Крым — все было известно севастопольцам. Мы встретили женщину, которая через машинистку Управления водоканалом доставала бумагу и передавала ее для газеты знакомому, а тот уже отдавал «неизвестно кому». В строгой тайне выходило несколько экземпляров газеты. В том потоке клеветы и лжи, которым фашисты пытались отравить сознание советских людей, правдивое слово о войне, даже само напоминание о родине было делом огромной значимости. Оно стоит подвига на фронте. И делу этому лучшие люди Севастополя отдали свои жизни: 10 апреля были расстреляны восемь подпольщиков-коммунистов...

Вечером 10 мая в Севастополе был салют. Это был изумительный салют победителей: город и армия ликovali. В небо взвивались ракеты одна за другой целый час подряд. По небу чертили огненные трассы. Где-то бухали орудия. На гребне холма, против домика, где мы расположились ночевать, мы увидели даже черные разрывы, вздымающиеся на бело-красно-зеленом фоне ракет: кто-то, за неимением ракет, рванул на радостях с обрыва парочку-другую трофейных гранат...

В ту ночь немцы еще держались на Херсонесском мысу, пытаясь грузиться на последние транспорты и баржи. Оттуда доносился другой салют: их бомбила наша авиация, обстреливала артиллерия. И я подумал: с каким чувством отчаяния и безнадежности смотрят они из своих дотов, из траншей, с пристани на сияющий огнями город победы.

Мы выгнали их из Севастополя, мы добились их остатки на мысу. Черное будущее приоткрыло перед ними завесу. Настанет день — и они так же будут цепляться за тот последний клочок земли, который будет еще в их руках, а мрачная бездна гибели будет ожидать их так же неотвратимо, как ждало их в тот вечер глубокое Черное море за последней линией траншей.

Свидание мое с Севастополем было кратко. Мы должны были покинуть его. Утром перед отъездом я поднялся на холм в центре города — к собору, на разрушенных стенах которого уцелели мраморные доски с именами черноморских адмиралов и защитников Севастополя в первой осаде: Нахимов, Истомин, Лазарев, Корнилов...

Я был здесь один на один с великим городом. Бухта синела внизу. Море уходило в бесконечную даль. Севастополь сбегал к нему ступенями лестниц, развалинами домов, садами, бульварами. Всюду, куда хватал глаз, виднелись одни руины — рассыпавшиеся дома, неподвижные трупы кварталов. Зелень травы пробивалась в мостовых, одичавшая сирень лиловела в камнях, красные маки алели пятнами бессмертной крови героев.

В благородном молчании доблестной воинской смерти лежал передо мной великий город Черноморского флота, уничтоженный мрачной силой гитлеровского фашизма, но не сдавшийся. Я смотрел на его руины и думал о том, что дивная слава Севастополя будет вечно жить в сердцах людей.

Город на скалах — он сам стоял в двух оборонах, как скала. Город у моря — он сам несет в себе душу моря, бессмертную, гордую и отважную. Город южного солнца — он сам сияет в веках ослепительным блеском военной доблести.

И вот что осталось нынче от него: скалы, море да солнце. Да бессмертная слава, которая возродит эти груды камней.

Торжественная могучая тишина истории плывет над развалинами — истории, созданной моими прадедами и творимой моими современниками. Дыхание веков проносится над городом, унося в будущее двойную славу Севастополя, славу двух оборон.

И в отблеске этой славы я вдруг ощутил собственное бессмертие. Оно лежало на моей груди круглой пластинкой бронзы на светло-зеленой ленте. Здесь, на горе, я был один: я снял с груди свое бессмертие и поцеловал его — севастопольскую медаль, которой родина приобщила меня к бессмертной славе бессмертного города.

Никогда с такой силой не ощущал я счастья и гордости принадлежать к великому народу, жить в великой эпохе и быть свидетелем великих дел. На высоком холме разрушенного Севастополя в час его освобождения, в день

возрождения его к жизни я с необычайной ясностью понял это.

Из-за одного такого мгновения стоит жить.

Сладостен миг победы. К ней, к победе, друзья! Все силы для нее, все мысли, все чувства.

*Апрель — май 1944 г.*



**Алексей Толстой**

## **НАШЕ НАСТУПЛЕНИЕ**

Весна 1944 года. Красная Армия наступает. Это не совсем то слово, которым можно определить действия Красной Армии,двигающейся на запад.

Немцы тоже наступали осенью 1941 года и переходили реки и занимали города. Но то были военные действия качественно иного порядка. Немцам только казалось, что они побеждают. На самом деле их продвижение вперед было лишь результатом вероломного нападения гитлеровской Германии, в силу которого Красная Армия оказалась вынужденной временно отступить. Но, отступая, она изматывала силы врага и наносила ему жестокие удары. В это время был разработан... стратегический план, который подготовлял разгром и уничтожение немецких армий, разгром и уничтожение всей военной машины Гитлера.

Наступление немцев было для них роковой и смертельной ошибкой. Это знал маршал Сталин. В это поверила Красная Армия в битве под Москвой; Сталинградское побоище и разгром немецкого фронта от Воронежа до Владикавказа укрепили уверенность Красной Армии в превосходстве нашей обороны и нашего духа над немецким.

Курская битва была ясным доказательством того, что немцы более не в силах наступать, что русские солдаты и их оружие сильнее, ловчее, отважнее немецких солдат с их вооружением, что русская военная наука более передовая, чем немецкая.

После Курской битвы началось небывалое в истории,

величественное наступление Красной Армии. Оно не было похоже на немецкое наступление 1941 года, это было нарастающее движение разгрома и уничтожения армий врага. Это было дальнейшее развитие стратегического плана маршала Сталина. В нем не было ничего случайного, но все закономерно,— это наступление выражало беспощадную волю всего советского народа.

Наступление Красной Армии перекачивается, как лавина, через все изощрения обороны врага: укрепленные рубежи Днепра, Буга, Ингульца, Днестра, Прута, крепости, опоясанные неперелазными рвами и минными полями, артиллерийским, минометным и пулеметным огнем такой густоты, что не пролетит как будто и муха; контратаки танковых армий с чудовищными «тиграми» и «фердинандами»; контратаки пехотных дивизий, приносимых в жертву гитлеровской тупости,— вся эта страшная мощь вражеской обороны рушится в конце концов, как карточный домик, перед идущей на запад, неумолимо на запад, Красной Армией.

Нацисты контратакуют упрямо и бешено, как припертые в угол бандиты,— что же иное им остается делать, когда они ограбили всю Европу и значительную часть Европейской России, убили, заморили, сожгли в печах несколько миллионов мирных граждан, начиная с грудных младенцев. Но по этим контратакам уже видно, что они потеряли сердце, как раньше потеряли честь и совесть, а десять лет тому назад — здравый смысл. У них короткое дыхание. Они быстро поддаются панике,— они никак не могут забыть Сталинграда, а тут еще прибавились ужасы под Корсунью и на Ингульце с Шестой армией. Давно миновало время, когда они ходили в атаку — во весь рост, засучив рукава, с одним автоматом. Впрочем, эти спортсмены давно сгнили в русской земле. Сегодняшний немецкий солдат боится русского солдата хуже черта и там, где это только возможно, бросает винтовку, снимает сапоги и начинает метаться, как шелудивый волк на облаве. Правда, гитлеровцы еще сильны, их голыми руками не возьмешь, это все — правда, и трудов нужно положить еще немало для их окончательного разгрома, но фашист — конченый человек, и Германия — без пяти минут сумасшедший дом.

Солдаты Красной Армии, моряки Балтийского, Черноморского, Беломорского флота, вы ломаете хребет немецкому хищнику, дохнувшему на нашу Родину зловонным ды-

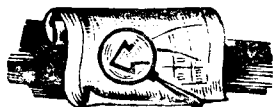


ханием. Вы подняли нашу любезную сердцу Родину на свои могучие плечи и несете ее к славе, в неизмеримо богатое будущее, раскрытое пред нами Великим Октябрем. Победа близка. Триста дивизий Гитлера, теперь уже не полноценных, принуждены вами к обороне, к безнадежной обороне, их участь — смерть и плен. Большие индустриальные города Германии — в развалинах. Порабощенные Гитлером страны и народы Европы живут надеждой на ваши победы. Красная Армия несет миру свободу и жизнь. Нет честнее и славнее названия, как солдат Красной Армии.

Победа близка...

Низкий вам поклон, солдаты Красной Армии.

1944



**Николай Тихонов**

**АРМИЯ-ОСВОДИТЕЛЬНИЦА**

**Т**емное зимнее небо, обледенелые холмы с высокими ржавыми соснами, пустынные, сожженные города, колючая проволока бывших загонов для рабов, мрачные дома рабовладельцев с накраденными со всей Европы вещами — проклятая земля черной Германии. Восточная Пруссия — гнездо прусских юнкеров и помещиков, притон фашистских сиятельных гангстеров — она слышит грохот наших пушек, шум моторов наших танков и самоходных орудий. Она видит бесконечный поток наших войск. Это Красная Армия — Армия справедливости и возмездия идет по ее дорогам, уничтожает очаги фашизма, гитлеровскую вооруженную машину истребления, уничтожает навсегда.

И навстречу славным полкам идет человеческий поток, идет день и ночь шествие освобожденных, вырванных нашим победным оружием из рук смерти. Мужчины, женщины, дети. Они идут и едут, они радостно приветствуют на всех языках своих освободителей — великую Красную Армию.

Идут все народы Европы навстречу новым частям, движущимся на запад. Гитлеровская тюрьма соединила людей всех наций в одно сборище угнетенных, одетых в лохмотья людей. Они несут бирки, которые им дал рабовладелец нового порядка. Этот проклятый новый порядок они запомнят на всю жизнь. Он написан у них на спине, на плечах, на груди и на шее кровавыми полосами бичей и кнутов. На руках у них следы кандалов, в сердце непреходящая ненависть.

Это идут не только усталые, измученные люди. Это идут спасенные для жизни. И спасла их Красная Армия — Армия-освободительница. Во все углы Европы разнесут они весть о том, как пасмурным зимним днем им блеснуло солнце весны. Как упали стены их тюрем, как разорвались цепи. Как понесли наказание их палачи. В рощах Италии, в виноградниках Франции, под оливами Греции, в полях Польши, в скалах Норвегии, в городах Бельгии и Голландии, в горах Югославии эти люди будут рассказывать близким и друзьям о своей страшной жизни в проклятой Германии.

И еще они расскажут о тех замечательных людях, о тех непобедимых воинах, которые принесли им свободу. О Красной Армии сложат они песни и о ее маршалах, каких не видел мир. Они сломали все укрепленные линии, взяли все крепости, разбили все гитлеровские силы, стоявшие в полной уверенности в своей непобедимости на рубежах разбойничьей страны.

Никакие преграды не могут остановить могучий натиск Красной Армии. Она перешла зимние Карпаты, чтобы чехи и словаки могли плакать слезами радости впервые за семь лет каторжной жизни, похожей на черный сон. Она форсировала Вислу, чтобы поляки Варшавы могли выйти из подвалов к солнечному свету. Она освободила всю польскую землю, чтобы никогда больше не смел топтать эти многострадальные поля сапог немецкого насильника. Она прошла по скалам и льдам Севера, чтобы в Киркенесе норвежцы обняли друг друга, поздравляя с наступлением дня посреди немецкой ночи, перед которой полярная ночь кажется радостным видением.

Красная Армия освободила всю родную землю, истребив и сокрушив силу Гитлера, которая всем народам казалась несокрушимой.

Она сокрушила предателей, продавших Гитлеру свои

народы. Она вывела из войны Румынию, Финляндию, Венгрию и дала возможность их народам направить свое оружие против немецких наймитов, против Гитлера.

Еще пять лет назад никто не сомневался в Европе, что Красная Армия — сильная Армия. Но когда сравнивали ее с германской армией, то самые опытные военные наблюдатели относились скептически к силе Красной Армии. Гитлер знал, что его блицкриг только тогда имеет шансы на успех, если он один на один бросит силы всей своей Германии и всей подвластной Европы против Красной Армии. И он бросил. Это были титанические битвы, когда мир содрогался перед ужасным ожесточением и небывалым масштабом происходящего.

И вот пришло время — и рассеялся дым гигантского столкновения. И весь мир увидел с радостью, что не Гитлер победил Красную Армию, а Красная Армия вдребезги разнесла его черные легионы и остатки их отбросила за свой рубеж. А отбросив, пошла штурмовать самое его логово. То логово, которое гордилось своей неприступностью, где каждый метр был приспособлен для сопротивления по последнему слову техники, где немцы сражались, как обреченные, как смертники. И здесь Красная Армия сокрушала и продолжает сокрушать это отчаянное сопротивление палачей, боящихся справедливого суда.

Одер не мог остановить натиск наших полков, сплошная крепость Восточной Пруссии доживает последние дни. В Дрездене и Штеттине паника охватила тех, кто еще недавно осмеливался изображать красноармейца как отсталого человека, которому до современной техники, как до неба. А сегодня эти же немцы завопили о превосходстве русской техники, о превосходстве русской стратегии.

Да, приходит последний час гитлеризма. Приходит час суда и возмездия. По земле, где родились чудовищные преступные замыслы, по земле, рождавшей так долго палачей и убийц, идет Армия Правды — Армия Справедливости — Красная Армия.

16 февраля 1945 года.



## Константин Симонов

### ВСТРЕЧА В КУМАНЧЕ

Это произошло не так давно в отрогах Карпат, в словацком селе Куманча.

Село, в котором сходились две дороги, имело вид, какой обычно имеют прифронтовые села в разгар наступления. Грязно-серые дороги были изборождены следами колес, порыжелые сугробы перемежались с ямами, наполненными бурой водой. У домов впритык стояли грузовики и повозки, скрипели подводы, ржали лошади, протяжно гудели застрявшие машины, и мимо охрипшего усталого регулировщика, тяжело меся сапогами грязный снег, шла через село пехота, таща за собой подпрыгивавшие на колдобинах станковые пулеметы.

Через село двигались части чехословацкой бригады, в ушанках с бронзовыми чехословацкими орлами, ехали обозы русской пехотной дивизии, и среди солдат то там, то здесь мелькали люди в штатских куртках и пиджаках, перетянутых ремнями, в шапках и шляпах с красными ленточками.

В этот и предыдущие дни словацкие партизанские отряды, действовавшие в окрестном районе, пробиваясь через фронт, выходили на соединение с частями Красной Армии и чехословацкого корпуса. В селе был один из сборных пунктов партизан. Они толкались среди солдат по всему селу, отыскивая друг друга, на ходу узнавая, кто жив, кто убит, кто вышел и кто еще остался в тылу у немцев.

Недалеко от перекрестка, где стоял регулировщик, в длинной хате со стенами, иссеченными осколками, и с выбитыми, заткнутыми чем попало стеклами, помещался обогревательный пункт и столовая.

Двое бойцов-дорожников и три помогавшие им женщины-словачки непрерывно варили на большой плите в нескольких котлах и кастрюлях универсальную солдатскую еду, заменявшую и первое, и второе, и вообще все на свете. Это был суп, в котором варилось много картошки и мяса. Его разливали по тарелкам и снова доливали в котлы и кастрюли воду, и снова бросали туда куски мяса и картошку, и снова бесконечно варили.

Кроме двух столов, нашедшихся в хате, был устроен еще и третий — сложенный из нескольких десятков пус-

тых снарядных ящиков. Те же самые снарядные ящики, поставленные на попа, служили скамейками.

За столами сидели различные люди: легкораненые, завернувшие сюда перекусить по дороге в госпиталь, бойцы с дорожно-комендантского участка, два молоденьких лейтенанта в новеньком обмундировании, видимо, только что назначенные в часть и догонявшие ее, и человек десять чехословацких автоматчиков, сидевших тут уже целый час в ожидании, когда шофер исправит отчаянно ревевший, но не двигавшийся с места грузовик.

Из-за того, что выбитые стекла были заменены фанерой и подушками, в хате было полутемно. Те, кто уже давно сидел здесь, привыкли к этой полутьме, но те, кто только что входил со света, жмурились и пробирались между столами, как слепые, шаря впереди себя вытянутыми руками.

Вдруг дверь распахнулась, и в полосе уличного дневного света появилась маленькая странная фигурка. Это был несомненно ребенок, мальчик на вид лет тринадцати, от силы четырнадцати, — узкоплечий, с худым остроносым лицом. И в то же время в этой фигурке было трудно признать ребенка: так не соответствовало его лицу и росту все то, что было на нем надето и навешано.

На голову его, низко спускаясь на глаза, была нахлобучена черная мохнатая шапка с пересекавшей ее красной лентой. На ногах у него были высокие сапоги с заправленными в них домоткаными латаными штанами. Наряд его довершал серо-зеленый немецкий френч с подвернутыми вдвое, почти до локтей, рукавами. Френч был перепоясан широким холщовым поясом с нашитыми на нем карманами, которые, оттопыриваясь, обнаруживали засунутые в них несколько гранат-лимонок. Поверх этого пояса френч был перепоясан еще вторым кожаным поясом, на котором висел большой немецкий парабеллум в треугольной кобуре. Ручка второго револьвера запросто торчала прямо из кармана френча.

— Ты откуда взялся? — обратился к мальчику пораженный его видом сержант-регулировщик, сидевший у самой двери.

Мальчик молчал.

— Откуда взялся, говорю, — повторил сержант, поднимаясь ему навстречу. — Откуда оружие взял? Кто такой?

Сержант стоял вплотную перед мальчиком и, глядя

сверху вниз, внимательно рассматривал все его вооружение.

— Я — партизан, — не смущаясь, ответил мальчик и гордо заложил руки за спину.

— А по какому праву ты два револьвера носишь, если даже офицерскому составу один револьвер полагается? — спросил сержант, разглядывая оба револьвера, один, висевший на поясе, и другой, засунутый в карман.

— Мне выдали. Я — партизан, — с быстрым и мягким словацким выговором повторил мальчик.

— А документ у тебя есть? — не унимался сержант.

— Есть, — задорно сказал мальчик и разнял руки, которые он до того держал за спиной, чтобы вынуть из нагрудного кармана френча документы.

— Вот документы.

— Так, — сказал сержант. Близко поднеся в полутьме бумажку к глазам, он прочитал там, что Андрей Гога, ефрейтор, является партизаном отряда имени Суворова.

— А откуда ты родом?

— Из Радваны, — сказал мальчик.

При словах «из Радваны» сидевший до этого за столом чехословацкий подофицер с двумя ленточками чешского «Боевого креста» и «Красной звезды» на френче поднялся и, вглядываясь в полутьму, спросил:

— Из Радваны?

— Из Радваны, — повторил мальчик.

— Слушай-ка, — сказал подофицер, — ты там с какой стороны?

— С той, что за дорогой, — ответил мальчик.

— Ты там Гогу Штепана не знал?

— Знал.

— А где он?

— В Россию ушел.

— А откуда ты знаешь?

— А он мой отец.

В хате на несколько секунд наступило молчание. Подофицер вглядывался в мальчика. Тот, немного привыкнув к полутьме, смотрел на подофицера.

Подофицер стоял не двигаясь у стены. Мальчик тоже стоял не двигаясь, а потом вдруг сделал несколько шагов вперед, и только тут все заметили, что он сильно хромает, волоча правую ногу.

Мальчик порывисто сделал еще два шага вперед, споткнулся на хромавшую правую ногу и чуть не упал.

И только в эту секунду остолбенело стоявший до этого подофицер сделал первое, тоже порывистое движение, шагнул к мальчику и, схватив за локти, не дал ему упасть.

Так они простояли секунду или две, а потом отец отступил назад к стене и повел сына, держа его за локти и глядя ему в лицо. Он его довел до скамейки, на которой сидел сам, и так же молча посадил его, а сам сел рядом. Повернувшись к сыну вполборота, отец долго молча смотрел на него.

Трудно сказать, что означал этот взгляд: то ли он смотрел и все еще не верил, что это его сын; то ли подбирал слова, какие можно сказать в такую минуту.

— Ну что ж, здравствуй, — сказал наконец отец, пожав руку мальчика.

Он не обнял его, не поцеловал, а именно подал ему руку, как солдат солдату. Если бы его потом спросили, почему он тогда не обнял и не поцеловал сына, он, может быть, даже и не объяснил бы, почему так вышло, но тогда его потянуло именно пожать руку сыну.

— Здравствуй, — сказал сын.

— Ну как мать? — спросил отец.

— Не знаю, — ответил сын, — давно не был.

— А брат?

— Не знаю, — повторил сын, — полтора года не был дома.

Они оба снова замолчали.

— А я тебя не сразу узнал, — нарушил молчание отец. — Шесть лет прошло.

— И я тебя не узнал, — сказал сын. — Здесь темно.

— Да, со свету почти ничего не видно, — согласился отец и, помолчав минуту, спросил:

— Ты что же, в партизанах?

— В партизанах, — сказал сын.

— В каком отряде?

— Суворовском, — ответил сын.

— Когда вышли из тыла? — спросил отец.

— Сегодня ночью.

— Что хромаешь?

— Ранен.

— А-а! — протянул отец. — Сильно ранен?

— Нет.

— Куда идешь?

— В госпиталь.

— А где госпиталь?

- Тут в деревне, говорят.
- Ну, идем, я тебя сведу.
- Идем.

Они поднялись и, молча обходя столпившихся за эти минуты вокруг них людей, пошли к дверям. Отец обнял сына за пояс и незаметно поддерживал его.

Они прошли десяток шагов, сын — сильно хромя, отец — поддерживая его. Вдруг отец покосился на пояс сына, который оттягивали три гранаты и парабеллум.

- Может, снять? Легче будет идти.
- Ничего, — сказал сын, — я все время так хожу.

— Где госпиталь? — спросил подофицер, когда они подошли к регулировщику, стоявшему на перекрестке.

— Налево восьмой дом, — буркнул регулировщик, которому, видно, уже в сотый раз за день задавали этот вопрос.

Сын повернулся, сделал два шага и, застонав, припал на ногу. Лицо его стало бледным как бумага.

- Больно? — спросил отец.
- Ничего.
- Больно? — настойчиво повторил отец.

И вдруг, уже не спрашивая, после многих лет разлуки впервые ощутив свои отцовские непререкаемые права, подхватил сына правой рукой под мышки, левой рукой под колени, легко поднял его на воздух и, широко шагая, понес к тому восьмому дому с левой стороны, в котором, по словам регулировщика, должен был помещаться госпиталь.

— Я сам дойду, — пробовал спорить сын, но отец ничего не отвечал.

Он донес сына до здания госпиталя, который помещался в одноэтажном каменном доме с надписью «Колониальная торговля». Он поднялся по затоптанной грязными ногами лестнице, все еще держа сына на руках, внес его в приемный покой и, все так же не спуская с рук, ждал, пока сестра зарегистрирует поступление нового раненого. И потом вслед за санитаркой пошел по коридору в предоперационную палату, куда должны были положить сына.

Он пихнул ногой дверь и вошел в палату и, только здесь спустив его с рук, положил на свободную койку.

Сын лежал на койке по-прежнему бледный, зажмурив глаза. Должно быть, ему было очень больно. Он терпелся к боли и ходил, а потом, когда отец взял его на

руки, вдруг почувствовал боль. И сейчас, положенный на эту койку, из маленького человека, старавшегося быть солдатом, стал тем, кем и был на самом деле, — смертельно усталым, да к тому же еще и раненым ребенком.

Сначала отец стоял рядом и смотрел на него сверху, потом опустился на колени рядом с койкой и приблизил свое лицо к лицу сына. Он забыл о том, что стоит на коленях, и когда пришла молоденькая женщина-хирург, он отвечал на ее вопросы, все так же стоя на коленях.

Вслед за женщиной-врачом подошла курносая, толстая, рябоватая сестра. Она сняла с мальчика сначала левый сапог, потом взялась за правый.

Мальчик застонал, открыл глаза и снова закрыл их.

— Отойдите, — сказала женщина-врач, — я сама.

Вытащив из кармана халата большие хирургические ножницы, тем резким спокойным движением, которым она, наверное, оперировала людей, лежавших на операционном столе, она разрежала сверху донизу правое голенище и, придерживая ногу за колено, резким рывком сняла сапог.

Мальчик только глухо и коротко вскрикнул и замолчал. Пальцы на ноге у него побелели от потери крови, а пятка, куда попала пуля, вспухла и стала лиловой.

— Будете оперировать? — спросил отец у врача.

— Будем, — сказала врач, — но только не сейчас, попозже.

Она смочила ватку каким-то дезинфицирующим средством, обтерла вокруг рану, перевязала ее белым бинтом и отошла, сказав, что через час вернется старший хирург, который сделает операцию.

Отец и сын остались снова вдвоем.

— Больно было? — спросил отец.

— Больно, — ответил сын.

— Что же не заплакал? — первый раз за все время улыбнувшись, спросил отец.

— Нельзя, — серьезно сказал сын и не улыбнулся.

— Когда ранен? — спросил отец.

— Ночью, когда выходили на соединение.

— Пешком шел?

— Нет, сначала на лошади ехал, а немцы стали стрелять.

— А ты стрелял?

— Стрелял. Но они были далеко, и я не мог попасть,

у меня пистолет. У меня лошадь ранило. И меня — тоже. Я соскочил, пошел пешком.

— А лошадь что?

— Лошади моей попало в глаз. Она упала и сразу подохла.

— Хорошая была лошадь? — спросил отец.

— Хорошая.

— Как ее звали?

— Дюри. Сивая. Грива стриженная, и хвост черный.

— Седло у тебя было?

— Было. Настоящее, военное.

— Как же ты шел, раненый, много?

— Восемь километров.

— Больно было?

— На морозе было не так больно, а как в хату вошел, стало больнее. И крови много. Как в хату по дороге зашел, так заболело.

— Заплакал? — спросил отец.

— Заплакал.

— А потом перестал?

— Перестал.

— Ты сейчас уйдешь? — вдруг спросил сын после паузы.

— Уйду.

— А какая твоя полевая почта?

— Сейчас еще не знаю, мы передвигаемся.

— Как же так не знаешь? — удивился сын.

— Не знаю, — ответил отец. — Да мне и писать некому было.

— Плохо, — сказал сын. — Ну ничего, я узнаю, напишу тебе.

— Хорошо, — согласился отец.

В дверях палаты показался один из чехословацких автоматчиков, сидевших в столовой вместе с подофицером.

— Штепан! — крикнул он. — Пойдем, машина готова!

Отец оглянулся, посмотрел на него и, сказав: «Сейчас, подождите», — снова повернулся к сыну.

— Уезжаешь? — спросил сын.

— Да.

— Ну, что же, хорошо, — сказал сын серьезно, почти по-старчески, словно благословляя собственного отца. — Я тоже скоро пойду.

Отец наклонился над ним. На секунду в его глазах

мелькнула нежность, но в следующее мгновение он просто протянул сыну большую руку и сказал:

— Ну, ладно, до свидания.

— До свидания, — ответил сын, открыв глаза, посмотрел на него и сразу же снова зажмурился от боли. — До свидания.

Неуклюже ступая по узкому проходу между двумя рядами коек и больше не оглядываясь, отец прошел к дверям и скрылся за ними.

Сын, открыв глаза, посмотрел ему в спину, следя за ним. Вот он миновал одну, вторую, третью, четвертую койку, повернул и вышел за дверь. И дверь за ним закрылась.

Мальчик снова зажмурил глаза, и две крупные, должно быть, неожиданные для него самого слезы выкатились из-под его век. Он вытащил из-под одеяла руку, поднес к лицу закатанный бязевый рукав непомерно длинной рубашки и, аккуратно вытерев сначала один глаз, потом другой, так, чтобы никакого следа слез там не осталось, снова спрятал руку под одеяло и зажмурил глаза от прекращающейся боли в ноге.

Я увиделся со старым партизаном Андреем Гогой примерно через месяц после этой встречи его с отцом, которая, как часто водится на войне, была одновременно и разлукой.

Называя его «старым партизаном», я говорю это без улыбки. В самом деле, несмотря на свои еще не исполнившиеся четырнадцать лет, он — один из старых партизан Словакии. Впервые он стал помогать партизанам в конце сентября 1943 года.

— Год и пять месяцев в партизанах, — гордо сказал он мне.

— Как же ты попал в партизаны? — спросил я.

— Шесть лет назад, когда к нам пришли немцы, отец бежал в Россию. Я тогда еще был маленький, — солидно добавил он. — Но потом мать мне все рассказала, и я был против немцев.

Он сказал это с убежденностью и твердостью старшего в семье мужчины.

— Когда же ты в первый раз увидел партизан?

— Я ходил в лес за грибами и встретил там разведку партизан. Они мне дали денег и сказали, чтобы я им при-

нес покушать и сигарет. Я взял деньги, пошел в село, купил покушать и сигарет и принес им. Они сказали, чтобы я пришел через три дня в лес и снова помог им.

— А дома ты ничего не сказал матери? — спросил я.

— Нет, ничего.

— Почему?

— Я боялся, что она меня больше не пустит в лес.

— И часто ты носил кушать партизанам?

— Через каждые два-три дня. Четыре месяца ходил.

А потом совсем ушел к ним.

— Почему?

— Они уходили от нашего села в другое место, а я хотел быть с ними. Когда я пришел в лес и в последний раз принес им кушать, командир отряда Василь — он был молодой, лет двадцати пяти, — сказал мне: «Мы уходим, Андрей. Пойдешь с нами?» Я молчал. Тогда он сказал «Давай пойдем с нами». — «Давай пойдем», — сказал я и пошел с ними.

— Что же ты делал у партизан? — спросил я.

— Больше всего я ходил в разведку. Я надевал гражданскую одежду и ходил по селам, продавал яйца. Партизаны давали мне полную кошелку яиц. Они покупали яйца по одной кроне за штуку, а я ходил и продавал по три кроны за штуку и меньше не хотел брать. А немцы не хотели покупать по три кроны за штуку, и никто не хотел покупать. Я спокойно ходил со своей корзиной.

— Что же ты разведывал?

— Я смотрел, где стоят немцы, где у них орудия и пулеметы.

— А тебя никогда не задерживали немцы?

— Нет. Только один раз. А то я ходил всегда спокойно. У меня спрашивали, куда я иду. Я отвечал, что иду к бабушке. Бабушка жила в Волике, а мама — в Радване. И все мне верили.

— А на самом деле ты бывал у бабушки?

— Бывал несколько раз. Кушал там у нее.

— Рассказывал что-нибудь?

— Нет, ничего не рассказывал. Она мне только давала покушать, и я уходил.

— А домой не заходил ни разу?

— Нет.

— Почему?

— Я боялся, что мама меня не пустит опять уйти, а потом мы далеко отошли оттуда, и я совсем ничего не

знал, как у меня дома. А потом, уже недавно, когда наше село освободили, я узнал, что маму и брата немцы арестовали и увели.

— А почему?

— Они узнали, что отец бежал в Россию, а я ушел в партизаны. И они увели маму и брата. Я еще не знал даже этого, когда видел отца.

При этом воспоминании лицо его стало печальным. Я не нарушал молчания, а он минут пять сидел и ничего не говорил.

— Значит, ты всегда в разведку благополучно ходил? — спросил я, желая перевести разговор на другую тему.

— Только один раз я попался к немцам, и то это было не в разведке.

— А как же это было?

— Это было около Банско-Бистрицы. Партизаны вышли на окраину, и немцы незаметно окружили их. И взяли десять человек в плен. И меня тоже.

— А у тебя было оружие?

— Было. Когда немцы нас окружили, я опустил револьвер в сапог. Нас взяли в плен и посадили на машины. И в каждой машине ехал немецкий автоматчик. В кузове машины я стоял около немца. Он отвернулся, чтобы закурить, а я вынул у него из автомата обойму и спрыгнул через борт машины. Он схватил автомат, а стрелять не мог: у него не было обоймы. А я убежал с дороги в лес и потом шел к партизанам по карте. Я знал, где они находятся.

— А ты умеешь разбираться по карте?

— Конечно, — просто сказал Андрей Гога. — Меня учили.

— А пистолет так и остался у тебя в сапоге?

— Да, — сказал он, — пистолет остался у меня в сапоге. Мне пистолет подарил командир отряда Василь. Я его берег.

— А стрелять тебе приходилось из твоего пистолета?

— Приходилось, — вдруг застенчиво улыбувшись, сказал Гога. — Сегодня утром мишень повесили на двери и стреляли.

— А по немцам?

— По немцам я стрелял, но в них не попал. Я далеко тогда стрелял. Я их тогда не мог убить. Я их убил, когда в прошлом году бросил в них гранату.

— Как это случилось? — спросил я.

— Мы шли в разведку с партизанами. Только подошли к дороге, а по дороге ехали немцы. Мы стояли за скалой над самой дорогой. У меня была противотанковая граната. Я ее взял и бросил вниз, когда проезжала немецкая машина. Она взорвалась. Мы вышли на дорогу. Партизаны нашли трех убитых немцев. Взяли у них документы и взяли пистолеты.

— А тебе они не дали?

— Чего?

— Пистолета.

— Нет. У меня же был пистолет, вот этот,— Гога внушительно похлопал себя по висевшему у него на поясе парабеллуму.— Мне не нужен был пистолет, я им отдал.

Он тихо сидел передо мной, этот худенький мальчик с внимательными глазами, гладко зачесанными назад волосами и усталым лицом. Кроме висевшего у пояса парабеллума, в нем не было ничего воинственного и необычного.

— Что же ты теперь будешь делать?— спросил я его, когда почувствовал, что наш разговор подходит к концу.

— Теперь поеду до Берлина,— сказал он просто и убежденно, как что-то само собой разумеющееся.

— А в Москву хочешь попасть? — спросил я его, зная, что мечта попасть хоть на неделю в Москву — мечта огромного числа людей в любой из славянских стран, которые я объехал за этот год.

— Сначала поеду до Берлина, а потом до Москвы,— все так же серьезно сказал он.

И вдруг, сжав губы, пристально посмотрев на меня, добавил как что-то самое заветное и давно решенное:

— А потом я хочу быть летчиком.

— А вдруг тебя не примут, вдруг у тебя глаза плохие.

— Все равно я буду летчиком,— повторил он.— Все равно я буду летчиком, летчиком! — три раза повторил он.

И я понял по его лицу, что пробовать шутить над этим или пробовать возражать ему было бы не только жестоко, но и бесполезно,— все равно он будет летчиком. Если у него будут слабые глаза, он будет летать в очках, но все равно будет летать. Если у него будет один глаз,

он все равно будет летать с одним глазом, как Вилли Пост. Он будет летчиком! Все равно будет! Он все равно добьется в жизни всего, чего захочет, он, этот старый партизан 1931 года рождения.

30 марта 1945 года



Константин Федин

ВЕРШИНА

Путь истории есть путь горный.

Через ущелья, от утеса к утесу, по теснинам, на дне которых клокочут реки и гремят водопады, сквозь туманы и снеговые бури вьется дорога с высоты на высоту, чтобы подняться к наивысшей вершине.

Советское необъятное государство народов-братьев в своем историческом пути, поднимаясь выше и выше, достигло вершины, откуда раскрываются просторы, осянные славой.

Враг пал ниц перед оружием Красной Армии и наших союзников. Отечественная война советского народа завершена полной победой. Гитлеровская Германия не существует.

Мир вздохнул освобожденной грудью. Разорению культур положен конец.

С вершины, на которую мы вступили, видно, как веют флаги торжества ликующих народов. Гул голосов объят землю — гул победных песен, гул славословия героям-воинам, людям подвига и отваги.

Навечно пали оковы, которыми силился заковать человечество его повергнутый враг. И взоры благодарных наций обращаются прежде всего к великому воинству Советского Союза.

Красная Армия разгромила противника исключительной мощи — вооруженную силу, подготовленную к разрушительным ударам.

Германская армия выращивалась гитлеровцами на основе исторической враждебности к русскому соседу. Захват земель на Востоке был девизом немецкого рыцарства и вошел в программу гитлеровцев. Они вышколи-



ли для универсального молниеносного налета на Россию миллионные кадры головорезов, прививая им злобу ко всему советскому, научив коварству в военной тактике, беспощадности в обращении с женщинами и детьми. Они раздули нетерпимую мысль об «избранности» немецкого народа, разожгли ненависть ко всем иным нациям и старательно воспитали присущую характеру немца бездумную способность повиновения.

Как странно теперь вспомнить наглую орду, вооруженную бронированными машинами и брошенную на наши земли в 1941 году!

Через три недели после нападения Германии на Советский Союз я был в лагере военнопленных и видел летчиков, сбитых нами в самых первых боях, — немецких ефрейторов, унтер-офицеров и лейтенантов. Все они были похожи друг на друга — с заносчивым огоньком в глазах, с высокомерно, глуповато вздернутыми физиономиями. Кое-кто из них насчитывал с полсотни налетов на Лондон, кое-кто успел покидать бомбы в Польше, в Греции, над Парижем. Все были награждены за свой разбой «пряжками» и Железными крестами. Им казалось — они отправились в развлекательную прогулку покорения России, и они очутились в лагере, явно к великому своему удивлению. Нельзя сказать, чтобы у них не было страха перед непохожей на победную обстановкой. Но они маскировали страх дутым самодовольством.

Один такой недоросль явился на допрос в расстегнутой рубашке, в подтяжках. Майор Красной Армии, ведущий допрос, спросил его, почему он не одет.

— Жарко, — ответил он развязно.

— Одеться по форме! Кругом — марш!

Мальчишка распрямылся, как пружина, сделал поворот по уставу и помчался в барак. Назад он вернулся одетым в форму унтер-офицера, застегнутым на все пуговицы, автоматически точным в движениях и отвечал не задумываясь на все вопросы. С ним говорил командир, с ним не шутили. Этого было довольно, чтобы в нем ожил механизм беспрекословного послушания.

Я спросил его, долго ли, по его мнению, придется ему посидеть в лагере.

— О, не слишком, — ответил он. — К осени все будет кончено.

— Отдаете ли вы себе отчет, против кого вы пошли воевать?

— О, конечно! Россия — страна огромных территорий.

— И это — все?

— А что же еще? — спросил он с наивностью и опасливо скрытым вызовом.

И вот мы показали немцам «что еще»: в Берлине Верховным Главнокомандованием Красной Армии, совместно с командованием союзников, принята безоговорочная капитуляция разбитой, поверженной наземь германской армии.

Наша победа является плодом всенародных усилий. Лучшие качества, воспитанные в нас на протяжении почти трех десятилетий после Октябрьской революции, наше сознательное уважение к труду, наша самоотверженность во имя интересов отечества были собраны воедино и устремлены к единой цели.

На протяжении войны советский воин явил всему миру пример неповторимой доблести. Он приобрел в закалке огнем такую школу военного знания и умения владеть любым оружием, какой не было никогда прежде.

В то же время советские военачальники обогатились совершенным искусством вождения грандиозных воинских соединений, по количеству превзошедших собою все примеры прошлых массовых воинских организаций.

В руководстве титаническими боями, которые, начиная со Сталинграда, неизменно выигрывались советским оружием, участвовало не только приобретенное на полях сражений знание современных условий боя. Великий опыт славного русского оружия в прошлом помогал нашему восхождению на вершину победы. Тени Румянцева, Суворова, Кутузова, Ушакова сопутствовали советским генералам и морякам в их трудном деле борьбы с озлобленным и опытным противником.

Никогда прежде ни один военный союз не мог реализовать с такой железной последовательностью наступление на врага и его разгром, как великое содружество свободлюбивых наций — СССР, США и Англии. Колоссальное наступательное движение, начатое в горах Кавказа и у берегов Волги — с востока, из пустынь Египта и просторов Марокко — с юга, от Британских островов — с запада, через Карпаты, Апеннины, Альпы, через реки, озера, моря, привело войска демократических держав в страну главного врага и виновника войны и раздавило его, подняв над ним свои победные знамена.

В конце концов германская армия перестала существовать. Ее генеральный штаб, ее главнокомандование сдались вместе с ней. Остатки гитлеровцев будут вылавливаться из щелей. Виновники войны предстанут перед судом во всех странах. Справедливость осуществляется. Справедливость не может умереть, как бы этого ни хотели ее ненавистники.

Новый Гомер воспоеет величие Красной Армии, пронесшей на своих плечах самый тяжелый груз испытаний тогда, когда германская армия, еще в полной своей силе, бросала на Советский Союз неисчислимы стада железных чудовищ истребления. Солдат, шедший под красным знаменем на защиту своего отечества, будет не только героем военных историков, но любимым героем сказаний и поэм. Много славных книг будет написано об Отечественной войне Советского Союза. И самая великая из них запечатлеет на своих страницах наш народ в счастливый день достижения им вершины славы — в День Победы.

1945 год



**Всеволод Вишневский**

### УЛИЧНЫЕ БОИ В БЕРЛИНЕ

Это была ночь с 20 на 21 апреля. Войска, совершившие в пять дней длинный, почти 100-километровый поход с непрерывными боями, готовились к последнему рывку — в самый Берлин. Надо видеть эти последние 100 километров перед Берлином! Здесь изрыта вся почва. Безобразно-серый слой земли начинается сразу за Одером. Сплошные ямы, кротовые ходы, воронки, зияющие дыры и щели. Отсюда с насквозь просматриваемых и простреливаемых плацдармов, с сырой и гиблой низины, и ринулись наши войска, проломали четыре тяжелейших пояса немецкой обороны и подошли к столице «третьей империи».

С особым порывом шли части, тренированные в калининских и прибалтийских лесных боях, части, воспитавшие в себе навыки ночного боя. Эти навыки сослужили в битве за Берлин неоценимую службу.

Немцы, скованные могучим натиском наших войск, пытались по ночам приводить свои части в порядок, подвозить резервы, перегруппировывать дивизии и так называемые «боевые группы» — остатки битых дивизий и полков; пытались по ночам кормить свои измотанные части и давать им хотя бы недолгий сон. Вот тут-то и вступали в дело наши закаленные полки, для которых боевые действия в лесу и ночью привычны... «Днем его, дьявола, выкуриваешь — километра на три, четыре... Траншей нарыли немцы — сами видите сколько — ну и упираются. А ночью мы двигаем и все семь, а то и десять километров. Ходки у нас проворные — ориентируются, хоть глаза завяжи, и огонь такой ведут, что немец не выдерживает. Тьмы боится, и огня, и обхода». Достаточно сказать, что в канун решающего удара части, о которых речь, сделали умелый бросок километров на двадцать. Бойцы буквально наступали немцам на пятки. Если встречались упорные очаги сопротивления, их обходили, обтекали и гнали немцев неустанно, идя тропами, лесными дорогами, просеками... Так русский боевой опыт лесных боев и поломал немецкую оборону в Бранденбургских лесах...

Было еще темно, когда на шоссе стали вытягиваться тяжелые машины с просмоленными челноками. Не сразу можно было разобрать, что за предметы на машинах. Бойцы строили догадки. Потом сомнения были разрешены простым сообщением: «Это лодки поданы, чтобы форсировать реку Шпрее в Берлине, когда вы, товарищи, ворветесь в город».

Тьма, приглушенный говор, полусекундное мерцание фонариков, кое-где лязг оружия. И тяжелый шаг советской пехоты... Ночь была сырая, дождливая. В дивизиях и полках главной была мысль: не только ворваться в Берлин, но ворваться первыми. В батареях ясное решение — не отстать от пехоты ни на шаг... В одном из ленинградских артполков бойцам напоминают: «Действовать, как при штурме немецкой границы, — и еще решительнее!» А при штурме этот полк в нужную минуту на полном ходу повел свои могучие гаубицы вперед пехоты, развернулся и расхлестал немцев прямой наводкой... На лицах людей — абсолютная решимость. И — волнующий, жгучий вопрос: кто ворвется в Берлин первым, кто первым откроет огонь по Берлину? На шоссе — столбы и желтые дорожные немецкие указатели, освещаемые короткими вспышками фонариков. Город во тьме, вот тут,

близко; на фоне пожаров уже видна гряда тяжелых архитектурных силуэтов... Это ты, Берлин!

Пехота идет по мостам и виадукам... Ага, кольцевая Берлинская автострада. Граница Большого Берлина... Тягачи батарей делают новый рывок — и первые русские батареи втягиваются в город... Пригород Аренсфельде... Каждые 20 секунд ложится немецкий залп. Артиллеристы, как на ученье, — молча, с глазами, вперенными вдаль, едут вперед. Руки сжимают скобы сидений. Часть разворачивается вправо и влево от шоссе. Лопаты врезаются в берлинскую землю — тут рыжий песок с галькой.

Пехота идет по полям и садам пригорода...

В расветной мгле звучит необычайно ясно и вибрирующе-трепетно голос офицера: «По столице фашистской Германии — батарею зарядить!» Лязг замков... Командир батареи старший лейтенант Царуковский стоит неподвижно, устремив глаза на город... Вот ты, долгожданный час, вот ты, день, которого ждал весь советский народ!.. «Батарея, огонь!» Сернисто-желтые огромные вспышки; орудия тяжело откатываются... 6 часов утра 21 апреля 1945 года.

2-я батарея открывает огонь. Нам оказывают честь, и мы стреляем по Берлину — по огневым позициям противника в восточной части города... Пехота идет на Мальхов. Правее могуче-стремительным клином, опережая всех, врезаются в Берлин гвардейская дивизия. Она идет на Панков.

На стенах мы читаем нервно-аляповатые, белой краской наляпанные лозунги гитлеровцев: «Соблюдать спокойствие! Берлин не будет сдан». Нет, спокойствия в городе не будет. Берлин будет взят!..

При свете утра видишь в сырой пелене панораму города, черные колоссальные столбы дыма, ряды по-солдатски вытянутых в шеренгу огромных заводских труб, столбы электропередачи... В домах свет, действует телефон. Но, когда мы спрашиваем у обывателей газету, нам отвечают, что уже четырнадцать дней как нет газет. На стенах последняя афиша, помеченная 20 апреля. Это последняя мобилизация из всех объявленных Гитлером. Призываются все солдаты-отпускники и все отпускники с заводов. Вот один из таких: без фуражки, в цветном кашне, лохматый... «Там был такой беспорядок, все смешалось, — офицеры перепугались...» «Фокке-вульфы» пикируют на наши передовые подразделения и позиции

батарей. Зенитчики сшибают в минуту-две четырех немцев — и налет исчерпан... Нахлестывая коней, в город мчатся первые обозники, усатые дядьки. Они подают боезапас. И по берлинскому асфальту бешено стучат копыта русских коней и сыплются яркие искры. «Эй, милые!..»

Штурмующие части вгрызаются в город. Около батареи — она укомплектована сплошь ленинградской молодежи — рвутся немецкие снаряды; звенят щиты, валятся ветви, резко ударяются в землю осколки. На батарею идет пехотный офицер: «Товарищи артиллеристы, вот из того двухэтажного дома работают два немецких пулемета, губят наших». И расчеты под свист и вой осколков становятся к орудиям. Старший лейтенант Патрикеев командует: «По пулеметам наводить!» И пехотный офицер говорит: «Если вы, братцы, уничтожите эти расчеты пулеметные, которые, видно, слишком любят фашизм, я лично буду ходатайствовать, чтобы вас представили к высшей награде. Вы только поймите — они мешают в Берлин войти!» И это было сказано так чисто и просто, что не понять, не ответить было нельзя. И Патрикеев ответил: «Не для того мы прошли от Ленинграда до Берлина, чтобы сплошать». И сам пошел в пехоту, чтобы в упор определить, где, в каких окнах эти два пулемета. Идет и говорит: «В дом попаду сразу, но мне надо попасть в пулеметы». Тогда вскакивают два бойца: «Сейчас покажем», — идут вперед и вызывают на себя огонь пулеметов. Патрикеев говорит: «Теперь вижу». Подал команду. Первый разрыв лег влево 25 и перелет — ясно, что артиллеристы боялись за свою пехоту и прицел взяли чуть больше. Второй дал недолет, третий лег в дом. Потом дали налет шестнадцатую снарядами, из них три легли как раз в пулеметы.

Таким-то вот родом и был взят один квартал Берлина.

По улице, по проулкам, вдоль заборов, пригибаясь, идут навстречу бегущие из берлинской каторги советские граждане. Проходит старушка: «Родненькие, как тут на Орел пройтись-то?» Бабушку с улыбкой провожают к ближайшей идущей в тыл машине.

Сплошные массивные дома и местами руины — следы англо-американских бомбардировок 1943—1944 годов. Неубранные, слипшиеся кучи щебня, кирпичача... Берлин грязен...

Бой принимает специфический характер: немцы сидят на чердаках, в подвалах, в сараях, на задних дворах и

стремятся, пропустив наши штурмовые группы, бить их в затылок. Некоторые немецкие группы перебегают по подземным ходам или по подвалам, которые тянутся в иных местах на длину всего квартала.

Бойцы, имеющие опыт Ленинграда и Сталинграда, опыт штурма Познани и других городов, быстро раскусывают эту тактику. Артиллерия, танки и самоходки бьют прямой наводкой по чердакам — и немецкие снайперы летят к чертям вместе с раскрошенной черепицей, а в подвалы, откуда стреляют, наши аккуратно бросают ручные гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Это сразу успокаивает любителей засад.

Вот выскакивают какие-то типы: в пиджаках, но в серо-зеленых штанах и кованых ботинках. «Солдат?» — «Нет». Морды нагло-пьяные, из ртов несет кислым спиртным перегаром. Это мальчишки из дивизии «Гитлерюгенд». Один икает и плачет. Стреляли по нашим частям в затылок. Потом, попавшись, стали переодеваться и удирать.

Из другого подвала вылезают полицейские в прекрасных голубых шинелях. Они козыряют, они спешно сообщают фамилии всего полицейского начальства.

Высоко проходят наши бомбардировщики. Они обстреливают западные районы — казармы, аэродромы и прочее. Постукивают очереди из автомата. У булочной стоит немецкая очередь за хлебом — домохозяйки и старички жмутся к стенке, кланяются. Наши бойцы, испытующе глядя, тут же на бульваре роют окопы. Стоят белые трамваи, на которых кто-то не успел уехать в центр. Опять надпись: «Спокойствие! Берлин не будет сдан!» Два хозяйчика-сапожника спрашивают, выглядывая из дверей, что им делать.

На улицу падает залп: четыре тяжелых немецких снаряда. Летят витрины, золотые буквы названий фирм, падают зеленые ветки вековых лип. Группа немецких ребятишек тащит из магазина игрушки, коробки оловянных солдатиков. Пронесется машина, водитель, притормозив, спрашивает: «Куда тут к рейхстагу?» — «Не взят пока». — «Так заберем!» — и нажимает педаль. С окон свисают белые флаги, но из этих же домов опять стреляют. Танк, урча, всаживает в эти дома несколько снарядов.

Берем резко к северу, чтобы выйти на соседние участки — к району Панков. Часть пути делаем по кольцевой

автострате. Здесь уже стоят регулировщицы. Флажки направляют потоки машин, вливающих с радиально расходящихся шоссе. Движение так густо и так неприужденно, будто все эти водители ездил тут, по крайней мере, полжизни. Местами танки проложили свои собственные варианты поворотов и объездов. Берем по танковому следу круто влево и устремляемся в северные районы города.

Высится прямоугольная башня Панков. Над ней реет алое знамя. Башня вся изрешечена снарядами — немцы бьют упорно и методически, чтобы сбить это знамя, но им не удается это сделать. Горят огромные артиллерийские склады, подожженные противником. Железнодорожный путь здесь изуродован совершенно: немцы подорвали каждый стык рельсов и шпалы взломали тяжелым резакком, который буксировался паровозом. Путь тут нужно настилать заново, рельс за рельсом. Огромное здание, судя по колоссальному красному кресту, — госпиталь. Подъезжаем ближе: в концах этого красного креста... аккуратно сделанные бойницы дотов — четыре дота. Огромное садоводство — гряды клумб, тюльпаны всех оттенков, длинные ряды кустов: смородинник, малинник. Под кустами длинные огневые точки, развороченные нашей артиллерией. Садоводство, как и госпиталь, было рассчитано на создание огневой ловушки.

Выходы из метро — оттуда тянет кисло-гнилым запахом. Выходы наблюдаются. Открытая пивная, персонал которой, напряженно улыбаясь, наливает пиво. Каким-то стандартным движением, напоказ, пробует его: «Не отравлено», — и предлагает нашей проходящей пехоте. Стоят брошенные немецкие автомашины.

В одном из домов — командный пункт части. Передний край в 30 метрах: дом напротив, там сидят немцы. Вблизи наши зажали батальон фольксштурма; немцы сгрудились во дворе, выходы заперты. Являются два парламентаря, им вручают ультиматум. Немцы его читают и перечитывают, кивают головами и деревянным шагом уходят к своим. Проходит назначенный срок, и немцы отвечают, что предлагают сдаться нашим. Командир, усталый от бессонницы, осипший от многодневных телефонных и радиопереговоров и команд, отпускает несколько слов. Артиллерия обрушивает шквал. «Если враг не сдается — его уничтожают».

Какой-то господин пробует доказать, что нельзя об-

стреливать дома, в частности его собственный дом. Кладом перед господином германский журнал «Ди Вермахт» («Вооруженные силы») номер 18-й от 27 августа 1941 года. «Ваш журнал?» Господин перелистывает журнал, смотрит дату, штамп официального издания, адрес издания: «Берлин, Шарлоттенбург, 2 Уландштрассе, 7—8». Тогда мы показываем господину снимки на 6-й и 7-й страницах, разворот на две полосы: «Бомбы над Москвой». Снимки ночных пожаров. Подпись: «Снимок показывает, насколько уничтожающа сила немецкой авиации». Мы говорим, возможно сжатее, и о том, что было в других наших городах — в Ленинграде, в Сталинграде, в Севастополе и прочих. Мы добавляем: «Теперь мы пришли с ответом».

Штурмовые группы вгрызаются в город все глубже... Тебе не будет ни часа спокойствия, Берлин. Мы говорили 22 июня 1941 года о том, что русские бывали в Берлине дважды: в 1760-м и 1813-м,— и о том, что мы придем и в третий раз. И мы пришли.

27 апреля 1945 года



## Евгений Воробьев

### ТРУБКА СНАЙПЕРА

С трубкой Номоконов был неразлучен всю войну. Даже в засаде он всегда лежал, держа трубку в зубах. Там нельзя зажечь трубку, тем более поднять вволю, можно только лежать, посасывая холодный и все-таки желанный, аппетитный мундштук.

Номоконов умело маскировал свою позицию. Его не находили и немцы и теряли свои.

Он прикидывался валуном, обросшим мхом, когда воевал на Карельском перешейке.

Он выдавал себя за сноп пшеницы под Житомиром.

Он подделывался под кряжистый пенёк в лесах Валдая.

Он притворялся трубой сгоревшего дома на окраине прусского городка Гольдан.

Война бросала Номоконова на разные фронты, и всюду он оказывался за тридевять земель от родных мест. Иногда письмо шло из дому месяца два, и тут не было большой вины почтарей. Далеки родные места, и не скоро дойдет.

на фронт письмо из поселка, затерянного в глухой тайге Забайкалья.

— Песню про славное море, священный Байкал помните? — спрашивает Номоконов. — Там наши места упоминаются. «Шилка и Нерчинск не страшны теперь...»

В мирное время Семен Данилович Номоконов плотничал, а все свободные дни занимался охотой. В родных местах Номоконов славился искусством выслеживать и бить в тайге дикого кабана, сохатого, медведя. В улусе Делюн, где он провел детство, тайга подступала чуть ли не к порогу дома. С девяти лет он начал охотиться. Отец и соседи брали мальчика с собой на промысел. Партии уходили в тайгу на полтора-два месяца, за триста-четырееста километров от дома, к Олекме и Алдану. Семен учился сызмальства экономить патроны: у бедного охотника каждый патрон был на счету. Как знать, не эта ли таежная бережливость положила начало меткости маленького охотника?

Когда началась война, Семен Данилович впервые взялся за трехлинейку.

Сначала он попал в санитары. Затем Номоконову дали автомат ППШ и послали в разведку. Ему не раз довелось охотиться за «языком». Он до сих пор помнит, как они захватили в плен фашиста с ручным пулеметом и по снежным сугробам волокли его на плащ-палатке, оглушенного и связанного.

Вскоре Номоконова, который отличался сверхметкой стрельбой, перевели из разведки в снайперы. Ему вручили винтовку № 2753, и Номоконов прежде всего решил ее пристрелять. Чтобы не тратить даром патронов, он проверил винтовку на фашисте. Тот шел пригнувшись по лесистому берегу озера, разделявшего наши и немецкие позиции. Было это на Валдае 12 марта 1942 года.

— На том берегу много фашистов водилось, — вспоминает Номоконов, попыхивая трубкой. — Только нужно было помнить, что вода к себе пулю притягивает. Так что прицел приходилось брать чуть выше, а стрелять тяжелой пулей...

Номоконов так и сказал о фашистах: «водились», будто речь шла о дичи или звере.

27 марта 1943 года в вечернем сообщении Советского Информбюро было сказано, что снайпер Номоконов истребил двести шестьдесят три фашиста.

Вот и получается, что усилиями Семена Даниловича

Номоконова численность армии Гитлера почти каждый день уменьшалась на одного солдата.

— Цена фашисту — одна пуля, — любит повторять Номоконов.

Среди «крестников» Номоконова были не только солдаты. Снайпер особенно терпеливо выслеживал офицеров.

Был случай, когда он взял на мушку и сразил какого-то солидного немца, окруженного целой группой офицеров; они пробирались кустарником по ложине, блестя стекла их биноклей. Какой на переднем крае поднялся переполох! Немцы открыли ураганный огонь из всех видов оружия, но Номоконов и его напарник бурят Тагон Санжиев остались невредимы. Захваченный ночью «язык» рассказал, что русский снайпер подстрелил представителя ставки Гитлера.

В другой раз Номоконов обнаружил на высоте наблюдательный пункт немцев, они корректировали оттуда огонь. Неподалеку от тропы, которая вела к наблюдательному пункту, он заметил на ничейной земле валун, а перед валуном — кустарник. Всю ночь Номоконов отрывал под валуном окоп, а землю оттащивал в своем «сидоре» к дальним кустам. Днем два офицера стали добычей снайпера, засевшего под валуном. Третий наблюдатель, хотя он уже не шел по тропе в рост, а полз, тоже не добрался до наблюдательного пункта. Немцам не трудно было догадаться о соседстве искусного снайпера. Они перепали снарядами все вокруг, смешали кустарник с землей. А Номоконов сидел под валуном в своей благословенной земляной норе. Он вышел из засады следующей ночью, когда наши артиллеристы уже свели свои счета с немецким НП на высоте.

Не всякий отличный стрелок становится снайпером. Одно дело поражать цели на стрельбище или в тире, а другое — вести опасные поединки с вражескими стрелками. Жертвой такого поединка стал земляк Номоконова и его друг Тагон Санжиев. Искусство снайпера требует одновременно смелости и терпения, прямо-таки сверхъестественного терпения, наблюдательности и спокойствия, упорства и сообразительности. Снайпер должен умело решать маленкие тактические задачи.

— Предположим, фашисты идут в атаку, — говорит Номоконов, прищурив глаз и попыхивая трубкой. — Фашисты не знают, что мы хорошо укрепили рубеж. В кого должен прежде всего целиться снайпер — в передних или в задних?

Я беспомощно пожимаю плечами.

— Конечно, в задних, — говорит Номоконов таким тоном, будто ведет занятие в школе снайперов. — Во-первых, фашисты не сразу узнают, что действуют снайперы. Во-вторых, если бить по задним, меньше фашистов уйдет от пуль, когда начнут пятиться обратно... Ну, а если нужно помочь стрелкам отбить атаку?

Я не хочу отвечать наугад и вновь пожимаю плечами.

Номоконов опять прищуривает левый глаз — то ли от дыма, то ли он мысленно целится в фашистов.

— В этом случае нужно в первую очередь бить по передним. А почему? Устроить панику. Пусть любят, как передние будут валиться! Но тут надо бить с разбором, чтобы не упустить из виду офицеров. Та-ак... Ну, а вот, например, два фашиста вышли из лесу, несут бревно. Они на краю полянки блиндаж строят. Когда огонь открывать?

— Как только цель появилась, немедленно.

— Ошибка, — строго поправляет меня Номоконов. — Зачем же цель пугать? А вдруг несчастный случай? (Так Номоконов называет промах). Тогда фашисты сразу в лесу спрячутся. Лучше всего открыть огонь, когда они со своим бревном на полдороге. От леса уже ушли, а к блиндажу, за которым можно спрятаться, еще не дошли.

— Теперь понятно.

— Ну, а какого фашиста следует снять сперва?

Номоконов, примирившийся с моей непонятливостью, не оставляет мне времени для ответа и тут же объясняет:

— Сперва нужно целить в заднего. А почему? Если снять переднего — тот, кто идет сзади, сразу испугается и может убежать. Лучше пусть тот, кто впереди, подумает, что товарищ сзади споткнулся и уронил бревно...

В месяцы обороны долгими часами выслеживал Номоконов фашистов. И подчас нужны были исключительная изобретательность и упорство, чтобы добиться успеха.

На одном участке фронта появился злой, глазастый и прилежный немецкий снайпер. Дело дошло до того, что он разбил пулей стекло стереотрубы, хотя ее неплохо замаскировали наши артиллеристы.

Обратились к Номоконову за помощью. Он приехал в полк со всем своим снайперским имуществом — две винтовки, запасная каска, уже помятая, исчерканная пуля ми, большой осколок зеркала.

Наутро он начал слежку. Номоконов лежал на огневой позиции, замаскированный так, будто надел на себя не каску с зеленой вуалью, а шапку-невидимку. Когда можно было, он попыхивал своей старенькой трубкой, а когда нельзя — посасывал ее холодный мундштук. Вся трубка была в черных отметинках: Номоконов раскаленной иглой выжигал на ней точки — по числу убитых фашистов.

Трое суток не прекращал Номоконов слежку. Он подзревал, что фашист сидит на чердаке дома, стоящего слева, на краю деревни. Но пока это была только догадка.

Номоконов укрылся за камнями, а заряженную винтовку закрепил на бруствере необитаемого окопа. От винтовки, прихваченной для этого случая, он протянул к себе веревку и в подходящий момент дернул за нее.

Фашист ответил выстрелом на выстрел. Пуля попала в бруствер, и по облачку пыли Номоконов установил направление ее полета, убедился, что фашист сидит именно на том чердаке.

Теперь он уже не спускал с чердака зорких, редко мигающих глаз, не слезающихся ни от усталости, ни от ветра. Глаза его, и без того узкие, тем больше суживаются, чем пристальнее он вглядывается.

Вечернее закатное солнце осветило сзади крышу дома, и Номоконов разглядел, что одной планки в дощатой обивке чердака не хватает. Он еще раз дернул за веревку, привязанную к винтовке, а когда в щели на чердаке что-то блеснуло — выстрелил сам по черному пятну, подсвеченному сзади солнцем. Фашист, который сидел на стропилах, рухнул вниз.

Конец снайперской дуэли видел генерал. Он пригласил Семена Даниловича в гости и, прослышав о его страсти к трубкам, подарил ему свою трубку слоновой кости, перехваченную у мундштука золотыми колечками.

— Курите, Семен Данилович, на здоровье, — сказал генерал, торжественно вручая трубку. — Курите да почаще давайте прикуривать немцам.

Эта трубка прожила у генерала тридцать лет без малого и провела генерал с нею четыре войны.

Номоконов очень гордился подарком и даже написал об этом жене Марье Васильевне, сыну Владимиру, восемнадцатилетнему снайперу, который воевал на соседнем фронте, и двум младшим сыновьям.

Известность Номоконова быстро росла. Поэт Лебедев-Кумач посвятил ему стихотворение «Какие золотые руки, какие острые глаза!».

Где только не довелось отрывать окопы, маскироваться, высматривать цели и ловить их в оптический прицел Номоконову! Под Старой Руссой и Выборгом, на рубежах демянского котла и в новгородских лесах, под Белой Церковью и Киевом, в предгорьях Карпат и в Восточной Пруссии.

Ему писали начинающие снайперы, его ученики, земляки и совсем незнакомые. Девушки, освобожденные из немецкой неволи, просили отомстить за их страдания, слезы, морщины и седые волосы. Виктор Якушин, горняк из Черемхово, просил земляка отомстить за трех его братьев, погибших на войне.

И только письма из далекого дома приходили редко и шли подолгу.

2 сентября 1944 года Номоконов, по обыкновению, охотился. Ему удалось в тот день подстрелить трех офицеров, и взбешенные фашисты открыли минометный огонь по ивию, где прятался Номоконов. Один осколок прошил у самого уха и попал в трубку. Номоконов с обломком мундштука, крепко зажатым в зубах, остался невредим. Он долго сокрушался о трубке слоновой кости и никак не мог простить фашистам такой пакости. Он был зол и огорчен так, будто его самого ранили в девятый по счету раз.

Семен Данилович вырезал себе из корневища молодого дуба новую трубку и приделал к ней старый мундштук, перехваченный золотыми колечками.

С новой, впрочем, давно уже обкуренной, трубкой, словно приклеенной в углы рта, я и увидел впервые Номоконова. Мы уселись на крыльце помещицкого дома. Это было в прусском фольварке с трудно запоминаемым названием, на Земландском полуострове, за Кенигсбергом.

— Давно меня писатели из газеты не беспокоили, — мягко усмехнулся Номоконов. — Бывало — отбоя от вопросов не было. А теперь у них заботы поважнее. Теперь танков на каждый полк приходится больше, чем тогда — винтовок с оптикой. Снайперы не в моде...

В словах его не было горечи.

Низко над островерхой крышей помещицкого дома шли штурмовики. Они держали путь на Гданьск. Номоконов запрокинул голову и сказал:

— Даже в небо снайперы поднялись. Вот они летают, воздушные стрелки!..

Он проводил штурмовиков долгим взглядом. Те скрылись из виду, а Номоконов еще долго продолжал смотреть в одну точку и думал о чем-то своем.

Я сидел рядом и пытался представить себе всю исполинскую меру труда и подвига, совершенного Семеном Даниловичем Номоконовым. Триста шестьдесят фашистов сразил он за годы войны. Один Номоконов лишил Гитлера двух рот солдат! А кто подсчитает, сколько фашистов уничтожили его ученики?

Помянем же добрым словом снайперов, прилежных и наблюдательных, дальнзорких и настоженных, трудолюбивых и беспощадных героев времен обороны на Днепре, Угре, Наре, Ламе, Жиздре, в лесах Подмосковья, Смоленщины и Орловщины!

Сколько зорких глаз, прищуренных и широко раскрытых; карих, голубых, серых, зеленоватых, черных, васильковых; юношеских, почти стариковских и девичьих; широко расставленных и раскосых, вглядывалось ежедневно в сторону немецких позиций.

Трудно лежать часами не шелохнувшись в снегу, в грязи, сидеть на суку дерева и всматриваться вдаль. Глаз начинает моргать, затекает слезой, дергается веко. Но еще больше устают не тот глаз, которым смотришь, а который зажмурен. Так что иногда этот второй, безработный, глаз даже лучше завязать платком.

Это они, всевидящие мстители, запретили фашистам ходить по нашей земле во весь рост, заставили их бегать, опасно пригнувшись, ползать.

— Немец тогда сделался торопкий, боязливый, — вспоминает Номоконов и прищуривается. — Не хотел ждать, пока ты его возьмешь на мушку.

Но все равно сотни и сотни фашистов оказывались ежедневно пойманными в перекрестия оптических прицелов, сотни пальцев плавно нажимали на спусковые крючки, и далекие фигурки шлепались на землю — иные суматошно вскинув перед тем руки, иные уже безжизненно.

В те дни Родина только накапливала силы для ответного удара, и за надежной спиной солдат, сидящих в глубокой обороне, монтажники собирали танки на уральском новоселье, летчики испытывали новые марки истребителей, на полигонах производили контрольные стрельбы из

новой пушки, сталевары варили броневой сталь для будущих танков, чертежники, копировщики где-то за Волгой готовили карты для будущего наступления, носили на эти карты названия немецких городов, фольварков, господских дворов.

Я разворачиваю лист карты, который вмещает в себя Кенигсберг, Фишхаузен, Пиллау и тот фольварк, где мы с Номоконовым встретились. В уголке карты значится: «Составлено в 1942 г. Выпуск — декабрь 1942 г.»

— А где вы, Семен Данилович, воевали в декабре 1942 года?

Номоконов прищуривается, долго попыхивает трубкой и говорит:

— Под Новгородом. Леса там, между прочим, стоящие.

Во фронтовые подробности при этом Номоконов не вдаётся и задумчиво смотрит куда-то на восток.

— Соскучился я по настоящему лесу. Все мое здоровье на хвосте настояно. А в этих немецких лесах и заболеть недолго. Душу воротит! Каждая тропинка подметена, валяжник собран в кучи, деревья все одного роста и стоят по линейке, как солдаты в строю. В таком лесу и зверь жить откажется...

Номоконов мечтает как можно скорей добраться до дому и вдосталь поохотиться в тайге вместе с сыновьями.

— Трубку в зубы, двухстволку за плечи, патронташ за пояс — и пошел!

Никогда еще за последние четыре года дорога на далекую Шилку не представлялась Номоконову такой короткой, хотя никогда прежде он не заезжал так далеко от родных мест.

*Апрель 1945 года*



**Илья Эренбург**

**27 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА**

Легко сейчас писать, легче, чем в октябре сорок первого, ведь если горе молчаливо, то радость не скупится на слова. А в наших сердцах великая радость — трагедия XX века подходит к концу: мы в Берлине!



Это началось с маленького: горел рейхстаг, подожженный фашистами. Это кончается на том же месте — пожаром Берлина.

Медленно шагает справедливость, извилисты ее пути. Нужны были годы жестоких испытаний, пепел Варшавы, Роттердама, Смоленска, чтобы поджигатели наконец-то узнали возмездие.

Есть нечто тупое и отвратительное в конце третьего рейха: чванливые надписи на стенах и белые тряпки, истошные вопли гаулейтеров и подобострастные улыбки, волки-оборотни с ножами и волки в овечьих шкурах. Напрасно гангстеры, недавно правившие чуть ли не всей Европой, именовали себя «министрами» или «фельдмаршалами», они остались и остаются гангстерами. Не о сохранении немецких городов они думают, а о своей шкуре: каждый час их жизни оплачивается жизнями тысяч их соотечественников. Но ничто уже не в силах отодвинуть развязку. Гитлеровская Германия расплзается, как гнилая ткань. Союзники стремительно продвигаются по Боварии к Берхтесгадену, к убежищу отшельника-людоеда. Тем временем Красная Армия в Саксонии и на улицах Берлина уничтожает последние армии Гитлера. Если Германия не капитулирует, то только потому, что некому капитулировать: главари озабочены своим спасением, а обыватели, брошенные на произвол судьбы, способны, сдать лишь свой дом, в лучшем случае свой переулок.

Справедливо, закономерно, человечно, что именно Красная Армия укрощает Берлин: мы начали разгром гитлеровской Германии — мы ее кончаем. Мы начали на Волге, и мы кончаем на Шпрее. Может быть, когда бои шли в неведомых иностранцам местах — в Касторном или в Корсуни, или в Синявине, мир еще не понимал, чем он обязан Красной Армии. Теперь и слепые видят, чьи ноги прошли от Сальских степей до Эльбы, чьи руки разбили броню Германии.

На улицы Берлина пришли воины, много испытывавшие. Иные уже пролили свою кровь на родной земле: как Антей, они приподнялись и пришли в Берлин. С ними пришли и тени павших героев. Вспомним все: зной первого лета, лязг вражеских танков и скрип крестьянских телег. Вспомним степи сорок второго, горький дух полыни и сжатые зубы. Вспомним клятву тех лет: выстоять! Мы пришли в Берлин, потому что крепкие советские люди,

когда судьба искушала их малодушным спасением, умирали, но не сдавались. Мир теперь видит сияющее лицо победы, но пусть мир помнит, как рождалась эта победа в русской крови, на русской земле.

Красная Армия идет по улицам Берлина. Уже недалеко до Бранденбургских ворот и «Аллеи побед». Возвысимся на минуту над событиями часа, задумаемся над значением происходящего. С тех пор как Берлин стал столицей хищной империи, ни один чужестранный солдат не проходил по его улицам. Расчет был прост: немцы воевали на чужой земле. Они сжали горло крохотной Дании. Они повалили Австро-Венгрию. Потом они затеяли первую мировую войну и, проиграв ее, но не уплатив проигрыша, стали готовиться ко второй. Если в Нюрнберге, в Веймаре, в Дрездене есть старые памятники подлинного величия немецкого духа, то Берлин — это памятник заносчивости прусских генералов...

Мы в Берлине: конец прусской военщине, конец разбойным набегам! Если все свобододлюбивые народы могут теперь за длинным столом Сан-Франциско в безопасности говорить о международной безопасности, то это потому, что русский пехотинец, хлебнувший горя где-нибудь на Дону или у Великих Лук, углем помегил под укрощенной валькирией: «Я в Берлине, Сидоров».

Мы в Берлине: конец фашизму! Я помню, как много лет назад на улицах вокруг Александерплац упражнялись в стрельбе молодые людоеды: они стреляли тогда в строптивых сограждан. Потом они прошли по Праге, по Парижу, по Киеву. Теперь они расстреливают свои последние патроны на тех же улицах. Один английский журналист пишет: «Когда нам говорили о немецких зверствах, мы считали это преувеличением, в Бухенвальде, в Орадуре мы поняли, на что способны нацисты...» Что к этому добавить? Да, может быть, одно: что Бухенвальд или Орадур — это миниатюрные макеты Майданека, Треблинки, Освенцима. Я знаю, что горе нельзя измерить цифрами, и все же я приведу одну цифру — в Освенциме заснят кинооператорами склад: шесть тонн женских волос, срезанных с замученных. Мир видит, от какой судьбы мы спасли женщин всех стран, наших далеких сестер из Гаскони, Шотландии, Огайо.

Страшная цепь! Мирный Берлин наслаждался невинными забавами: бургер, покупая ботинки, требовал, чтобы предварительно поглядели с помощью радиоскопии, хо-

рошо ли сидит на нем обувь. Потом он шел в ресторан и, прежде чем проглотить бифштекс, справлялся, сколько в нем калорий — четыреста или пятьсот. А в соседнем доме специалисты чертили планы Майданека, Освенцима, Бухенвальда. И вот цифра: шесть тонн женских волос... Что было бы с детьми канадского фермера и австралийского пастуха, если бы товарищ Сидоров не дошел до Берлина?

Мы никогда не были расистами. Руководитель нашего государства сказал миру: не за то бьют волка, что он сер, а за то, что он овцу съел. Победители, мы не говорим о масти волка. Но об овцах мы говорим и будем говорить: это — длиннее, чем жизнь, это — горе каждого из нас.

Я еще раз хочу напомнить, что никогда и не думал о низкой мести. В самые страшные дни, когда враг топтал нашу землю, я знал, что не опустится наш боец до расправы. «Мы не мечтаем о мести. Ведь никогда советские люди не угодятся фашистам, не станут пытаться детей или мучить раненых. Мы ищем другого: только справедливость способна смягчить нашу боль. Мы хотим уничтожить фашистов: этого требует справедливость... Если немецкий солдат опустит оружие и сдастся в плен, мы его не тронем, он будет жить. Может быть, грядущая Германия его перевоспитает, сделает из тупого убийцы труженика и человека. Пускай об этом думают немецкие педагоги. Мы думаем о другом: о нашей земле, о нашем труде, о наших семьях. Мы научились ненавидеть, потому что мы научились любить».

Когда я писал это, немцы были в Ржеве. Я повторяю это и теперь, когда мы в Берлине. Много говорили о ключах страшного города. Мы вошли в него без ключей. А может быть, был ключ у каждого бойца в сердце: большая любовь и большая ненависть. Издавна говорят, что победители великодушны. Если можно в чем-то попрекнуть наш народ, то только не в недостатке великодушия. Мы не воюем с безоружными, не мстим неповинным. Но мы помним обо всем, и не остыла и не остынет наша ненависть к палачам Майданека, к вешателям и поджигателям. Скорее огрублю свою руку, чем напишу о прощении злодеев, которые закапывали в землю живых детей, и я знаю, что так думают, так чувствуют все граждане нашей Родины, все честные люди мира.

Мы в Берлине: конец затемнению века, затемнению

стран, совести, сознания. Берлин был символом зла, гнездом смерти, питомником насилия. Из Берлина налетали хищники на Гернику, на Мадрид, на Барселону. Из Берлина двинулись колонны, растоптавшие сады Франции, искалечившие древности Греции, терзавшие Норвегию и Югославию, Польшу и Голландию. Придя в Берлин, мы спасли не только нашу страну, мы спасли культуру. Если суждено Англии породить нового Шекспира, если будет во Франции новый Делакруа, если воплотятся мечты лучших умов человечества о золотом веке, то это потому, что Сидоров сейчас ступает по улицам Берлина мимо пивнушек и казарм, мимо застенков, мимо тех мастерских, где плели из волос мучениц усовершенствованные гамаки.

Прислушиваясь к грому, который каждый вечер наполняет улицы нашей столицы, вспомним тишину трудного июньского утра. Отступая среди пылавших сел Белоруссии и Смоленщины, мы знали, что будем в Берлине. Как много можно об этом говорить, а может быть, и не нужны здесь слова, кроме одного: Берлин! Берлин! Это было самое темное слово, и оно сейчас для нас прекраснее всех: там, среди развалин и пожаров города, откуда пришла война, рождается счастье — Родины, ребенка, мира.

1945



## Борис Горбатов

### КАПИТУЛЯЦИЯ

Восьмого мая тысяча девятьсот сорок пятого года человечество вздохнуло свободно.

Гитлеровская Германия поставлена на колени.

Война кончена.

Победа.

Что может быть сильнее, проще и человечнее этих слов!

Шли к этому дню долгой дорогой. Дорогой борьбы, крови и побед. Мы ничего не жалели.

И вот он, вот этот день. Берлин в дымке, солнце над Темпельхофским аэродромом и высокое небо над головою — ждем появления самолетов в нем. Амфитеатром

расположился огромный аэропорт. Его ангары разбомблены, здания сожжены. На бетонированном поле еще валяются разбитые «юнкеры», под ногами — холодные, мертвые осколки бомб. Это поле — поле боя. Оно, как весь наш путь, — путь боев и побед. Сегодня оно будет полем встречи с друзьями и союзниками для того, чтобы вместе продиктовать свою волю побежденному врагу.

— Что же, Темпельхофский аэродром будет Компьенским лесом? — говорит кто-то.

Нет, это не Компьен. Компьена не будет. И Версаль не будет. И гитлеровского кошмара больше не будет никогда.

Ровно в двенадцать часов пятьдесят минут один за другим стремительно, красиво, словно линия, поднимаются в небо наши истребители. Они делают круг над аэродромом и уходят на запад, навстречу самолетам союзников. Спустя полчаса с аэродрома в городе Штендаль поднимаются пять «дугласов» и берут курс на восток. Почетным эскортом сопровождают их наши истребители. Два из них впереди.

В 14 часов на Темпельхофский аэродром в Берлине прибывают представители командования Красной Армии во главе с генералом армии Соколовским. Затем в небе появляются «дугласы» с американскими и английскими опознавательными знаками. Самолеты слетаются и вот уже бегут по бетонной дороге.

Из самолетов выходят глава делегации верховного командования экспедиционных сил союзников главный маршал авиации сэр Артур В. Теддер, за ним генерал Карл Спаатс, адмирал сэр Гарольд Барроу, офицеры английской и американской армии и флота, корреспонденты газет и кинооператоры.

Генерал армии Соколовский здоровается с главой делегации и представляет ему начальника гарнизона и коменданта Берлина, генерал-полковника Берзарина, генерал-лейтенанта Бокова. Американские и английские генералы и офицеры сердечно пожимают руки советских генералов и офицеров. Крепкое рукопожатие. Встреча союзников и победителей.

Из другого самолета выходят представители гитлеровского командования во главе с генерал-фельдмаршалом Кейтелем. Они идут молча и хмуро. Они в своих генеральских мундирах, при орденах и крестах. Высокий худой Кейтель изредка поворачивает голову в сторону —

там, в дымке, Берлин. Они проходят к машинам, ожидающим их. Сев в машину, фельдмаршал Кейтель тотчас же раскрыл папку и стал читать какой-то документ.

А по бетонным дорожкам аэропорта, мимо молодцеватого почетного караула советских воинов, идут победители — советские, американские английские генералы и офицеры. Развеваются флаги союзных держав. Оркестр играет гимны. Церемониальным маршем, крепко вкопачивая шаги в бетон, проходят русские воины. До чего же солнечно сейчас на душе у каждого!

Все чувствуют величие момента. Каждый понимает, что присутствует при акте, определяющем судьбу поколений. Глава делегации верховного командования экспедиционных сил союзников главный маршал авиации Артур Теддер произносит перед микрофоном речь:

— Я являюсь представителем верховного главнокомандующего Эйзенхауэра. Он уполномочил меня работать на предстоящей конференции. Я очень рад приветствовать советских маршалов и генералов, а также войска Красной Армии. Особенно рад, потому что я приветствую их в Берлине. Союзники на западе и востоке в результате блестящего сотрудничества проделали колоссальную работу. Мне оказана большая честь передать самое теплое приветствие с Запада — Востоку.

Начальник почетного караула полковник Лебедев общается эти слова воинам караула и провозглашает:

— За нашу победу — «ура»!

Могучее «ура» победителей гремит в поверженном Берлине.

Затем члены делегаций и все присутствующие на аэродроме отправляются в Карлсхорст — пригород Берлина, где должен быть подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Путь лежит через весь Берлин — через разрушенный, побежденный Берлин, через Берлин, штурмом взятый нашими войсками.

Поток машин несется по улицам германской столицы. Дорога расчищена, но на тротуарах лежат груды битого кирпича и мусора. Развалины — следы работы союзных летчиков и советских артиллеристов. Победители едут по Берлину. На перекрестках молча стоят жители города. Победители мчатся по Берлину, и вслед за ними следуют

побежденные гитлеровские генералы, принесшие капитуляцию. О чем думают они сейчас, проезжая по улицам Берлина? Вспоминают ли плац-парады или последние дни крушения? Они посеяли ветер и теперь пожинают бурю.

Машины проходят под воздвигнутой нашими бойцами аркой победы. Над ней гордо развеваются три флага и надпись: «Красной Армии — слава!» Поток машин пронесется под аркой. Мелькают улицы, развалины, люди.

Вот, наконец, Карлсхорст. Карлсхорст — этот берлинский пригород — сегодня на наших глазах вошел в историю. Здесь могила гитлеровской Германии, здесь конец войне. Все здесь принадлежит истории. И это здание бывшего немецкого военно-инженерного училища, в котором состоялось подписание акта капитуляции. И этот зал офицерской столовой, эти четыре флага на стене — советский, американский, английский и французский — символ боевого сотрудничества. И эти столы, покрытые серо-зеленым сукном, и все минуты этого короткого, но преисполненного глубокого волнения и смысла заседания — все это принадлежит истории. Хочется запечатлеть каждую минуту.

В зал входят Маршал Советского Союза Жуков, главный маршал британской авиации сэр Артур В. Теддер, генерал Спаатс, адмирал сэр Гарольд Бэрроу, генерал Делатр де Тассиньи и члены советской, американской, английской и французской делегаций.

Историческое заседание начинается. Оно очень недолго продолжалось. Немного людей присутствует в зале, немного слов произносится. Но за этими словами — долгие годы войны. Маршал Жуков на русском языке, а затем главный маршал авиации Теддер объявляют, что для принятия условий безоговорочной капитуляции пришли уполномоченные германского верховного командования.

— Пригласите сюда представителей германского верховного командования, — говорит маршал Жуков дежурному офицеру.

В зал входят немецкие генералы. Впереди идет генерал-фельдмаршал Кейтель. Он идет, стараясь сохранить достоинство и даже гордость. Поднимает перед собой свой фельдмаршальский жезл и тут же опускает его. Он хочет быть картинным в своем позоре, но дрожащие пятна проступают на его лице. Здесь, в Берлине, сегодня его последний «плац-парад». Вслед за ним входят генерал-

адмирал фон Фридебург и генерал-полковник Штумпф. Они садятся за отведенный им в стороне стол. Сзади их адъютанты.

Маршал Жуков и главный маршал авиации Теддер объявляют:

— Сейчас предстоит подписание акта о безоговорочной капитуляции.

Немцам переводят эти слова. Кейтель кивает головой:

— Да, да, капитуляция.

Имеют ли они полномочия немецкого верховного командования для подписания акта капитуляции?

Кейтель предъявил полномочия. Документ подписан гросс-адмиралом Деницем, уполномочивающим генерал-фельдмаршала Кейтеля подписать акт безусловной капитуляции.

— Имеют ли они на руках акт капитуляции, познакомились ли с ним, согласны ли его подписать? — спрашивают маршал Жуков и маршал Теддер.

О капитуляции, только о капитуляции — полной, безоговорочной, безусловно, идет речь в этом зале сегодня.

— Да, согласны, — отвечает Кейтель.

Он разворачивает папку с документами, вставляет монокль в глаз, берет перо и собирается подписать акт. Его останавливает маршал Жуков.

— Я предлагаю представителям главного немецкого командования, — медленно произносит маршал Жуков, — подойти сюда к столу и здесь подписать акт.

Он показывает рукой, куда надо подойти фельдмаршалу.

Кейтель встает и идет к столу. На его лице багровые пятна. Но его глаза слезятся. Он садится за стол и подписывает акт о капитуляции. Кейтель подписывает все экземпляры акта. Это длится несколько минут. Все молчат, только трещат киноаппараты. В этом зале сейчас нет равнодушных людей, нет равнодушных и во всем человечестве и тем более — в Советском Союзе. Это на нас обрушилась войной гитлеровская военная машина. Наши города жгли, наши поля топтали, наших людей убивали, у наших детей хотели украсть будущее.

Сейчас в этом зале гитлеровцев поставили на колени. Это победитель диктует свою волю побежденному. Это человечество разоружает зверя.

Фельдмаршал Кейтель подписал капитуляцию. Он встает, обводит взглядом зал. Ему нечего сказать, он ни-

чего и не ждет. Он вдруг улыбается жалким подобием улыбки, вынимает монокль и возвращается к своему месту за столом немецкой делегации. Но прежде чем сесть, он снова вытягивает перед собой свой фельдмаршальский жезл, затем кладет его на стол. Акт о капитуляции подписывают генерал-адмирал фон Фридебург, генерал-полковник Штумпф.

Все это происходит молча, без слов. Слов уже не надо. Все нужные слова сказали Красная Армия и армии наших союзников. Теперь это только безусловная, безоговорочная капитуляция. Больше от гитлеровцев ничего не требуется. Немецкие уполномоченные молча подписывают акт. Затем акт подписывают маршал Жуков и главный маршал авиации сэр Артур Теддер. Вот подписывают акт также свидетели — генерал Спаатс и представитель французской делегации генерал Делатр де Тассиньи.

Члены немецкой делегации могут покинуть зал.

Немецкие генералы встают и уходят из зала — из истории. Все присутствующие на этом историческом заседании радостно поздравляют друг друга с победой. Война окончена. Маршал Советского Союза Жуков жмет руку маршалу английской авиации Теддеру, генералу американской армии Спаатсу и другим генералам.

Победа! Сегодня человечество может свободно вздохнуть. Сегодня пушки не стреляют.

*В ночь на 9 мая 1945 года*



**Александр Твардовский**

**УТРО ПРАЗДНИКА**

Кому сколько доведется еще в жизни встречать этот праздник, тот столько же раз неизменно вспомнит с особым чувством день Первого мая, проведенный вдали от Родины, но в пору ее самых блистательных и гордых побед над противником. Да и сейчас в тысячах писем, что будут написаны в первые послепраздничные дни из Действующей армии в тыл, обязательно поместятся несколько строк, посвященных пережитому здесь празднику.

Каждый красный флаг, поднятый в эти дни, где бы

это ни было на всем неизмеримом пространстве родной земли, напоминал сердцу о нашем победном знамени, в друженном в центре столицы врага.

Празднество, освященное многолетней традицией свободного советского народа и всех трудящихся мира, приобрело еще особую, высокую знаменательность. Это был, в сущности, уже тот самый праздник, которого мы столько ждали в муках и горе, в безмерно огромном труде почти четырехлетней борьбы за нашу свободу и независимость.

Об этом говорил, это знаменовал каждый наш красный флаг, где бы он ни развевался в честь майского праздника, — в Москве, снявшей маскировочные щитки и шторы с окон, в горящих городах Германии, в ближних и дальних тылах фронта, на своей и чужой земле.

И тот маленький восточнопрусский городок, в котором нам довелось в этот год встречать Первое мая, запомнится на всю жизнь. Как не написать сегодня же в письме к другу, родному и понятливому человеку, о таких, казалось бы, обыкновенных и малозначащих вещах, как наступление этого свежего весеннего праздничного утра в немецком городе!

В открытое окно еще врывалась прохлада утихшего ночью дождя, пахло молодой садовой травой и пылью с улицы, тщательно, по-предпраздничному, подметенной и убранной. И все вокруг было полно разнообразных звуков праздника, постепенно вступающего в свои права. Пела патефонная пластинка агитмашины о чем-то далеком и милом, но не потерянном, а обретенном после долгой тоски ожидания:

На заре, белым-бела,  
В саду вишня расцвела...

С мостовой доносился дружный и ладный стук строевого шага колонны, направляющейся на парад. Шумели и рвали воздух с характерным энергическим звуком автомашины, взад и вперед проносившиеся по шоссе. Кто-то где-то в соседнем дворе или в противоположном доме поспешно приготавливал что-то, заканчивая хлопоты праздничных приготовлений. Низко над черепичными, целыми и обрушенными, крышами с веселым и мощным ревом прошел самолет...

И ни один из этих и множества иных звуков не принадлежал чужой силе, которая не так давно угрожала

всему дорогому нам на земле, нашим будням и праздникам, нашему труду и песням, нашему счастью. Это все были звуки нашей действенной силы, нашего движения, нашего праздника, уверенно разворачивающегося на большой улице — от Владивостока до Берлина и далее...

О многом можно и нужно рассказать в письме на Родину, коснувшись Первомайского праздника, проведенного вдали от нее. Ибо этот день есть день, в котором слышалась великая сила и правда Родины, ее торжество над врагом и предчувствие для каждого отдельного сердца долгожданных, но уже недалеких встреч и заслуженной радости.

1942—1945



**Всеволод Иванов**

### ПАРАД БЕССМЕРТНОЙ СЛАВЫ

Осталось несколько мгновений до начала парада, несколько мгновений ожидания, ожидания яркого, пышного и сладостно-задумчивого. Нет мгновения лучше, чем ожидание этого парада, и нет счастья больше, чем видеть этот парад, великий парад бессмертной славы советского народа!

А внимание ко всему происходящему такое, что громко произносимые слова кажутся шепотом, и звуки мешаются, и звон часов на Спасской башне почти однозначим со звуком каскада, устроенного на Лобном месте. Припоминается, бежит мимо многое, и с мягкой сыновьей любовью осматриваешь нашу русскую Красную площадь, ее седовласую и в то же время вечно юную древность. И рядом с прошлым встает настоящее, то, которое никак еще не ушло в исторические книги, встают золотые картины Великой Отечественной войны, участники которой построились ныне на изжелта-красном клинкере площади. И взметываешься ты, нахмуренная сталинградская пурга, и сердитые топи под Корсунь-Шевченковским, и глубокие серебристые струи Днепра, и неис-

тово холодные скалы Заполярья, и жаркие берега Черного моря, и тягостные леса Белоруссии, и угрюмые дамбы возле Одера, и злобные хутора Восточной Пруссии, каждый из которых — дот!..

Долго, бесконечно долго будет царить слава наших дней. Каждый человек во Вселенной отныне будет явственно видеть и осязать — как бы далеко он ни находился, на каких бы расстояниях ни жил от Советского Союза, — он будет чувствовать близость благородного, высокого мира, способного жертвовать всем, чем только может пожертвовать человек ради творчества, прогресса, цивилизации, высших устремлений гуманизма, науки и искусства. Бездна отныне не существует! Никому не придется душить в себе любовь к светлому, ибо существуют и могут существовать иные отношения между людьми — вечно молодые, обаятельные и совершенно необыкновенные, отношения небывалой дружбы, героизма, взаимоуважения. Именно эти отношения осуществлены в необычайной степени, и люди, осуществившие их, стоят ныне на Красной площади.

Построены войска. Недвижно замерли знамена возле каждого сводного полка. Деловито, в своих парадных мундирах, с боевыми орденами — знаками торжества и победы — ходят вдоль рядов генералы, вглядываясь в лица солдат. Фуражки, шлемы летчиков, каски с висящими каплями легкого дождя отбрасывают фосфорический отблеск на серебристо-золотые дорожки песка, пересекающие поле площади. Небо облачно, наполнено влагой, она льется на священные наши поля, торопя урожай... ну что поделаешь, если дождь! И примиренно глядишь на рассыпчатое серебро в лужицах, по которому шагают люди, и глядишь не наглядывшись в ласковые, мягкие лица вокруг, в загорелые лица солдат, прямо глядящих на Кремлевскую стену, на Мавзолей, на глубокое любимое слово, пересекающее его, — Ленин, — на багрянец нашего флага, что расплеснулся за стенами Кремля.

Жарко круглятся трубы оркестров, громкий и невыразимо знакомый марш мерещится, как эхо, которое никто не видит, но каждый слышит. И находящийся здесь, на площади, мнит себя эхом, которого не увидят потомки, но жизнь которого, подобно маршу победы, непременно услышат.

— Спасибо тебе, Отчизна, родившая меня и сохра-

нившая до этих огненных и неописуемо прекрасных дней! — так думает каждый из нас...

— Равнение на середину-у!..

Оркестры вскидывают долгожданный марш. Круглый, красиво выгнутый, катится он по Красной площади, и под звуки его белый конь под синим чепраком скачет от Спасской башни. Маршал Г. К. Жуков, трижды Герой Советского Союза, едет принимать парад. Вороной конь под пунцовым чепраком скачет к нему навстречу. Маршал К. К. Рокоссовский, дважды Герой Советского Союза, командующий парадом, едет с рапортом.

Они объезжают войска, и пышное, стройное, залихватское русское «ура» сопровождает их. Казалось, войска только и ждали возможности закричать это «ура», выразить в нем тот острый восторг, который они испытывают, ту любовь, святую и белую, что заполняет их сердца, ту мучительно-сладкую радость, которой светятся их глаза. Излучистое, как река, могучее и мощное, как мысль, многозвучное и многорадостное, как жизнь, и неизбежное, как наша победа, несется это «ура» над Красной площадью, над прилегающими улицами, несется над всем миром, несется, как блестящий символ нашего счастья и торжества. С восхищением слушают это «ура» трибуны, Мавзолей; все, кто слышит его, слушают и видят что-то далекое и вместе с тем близкое, что-то горячее и творчески неожиданное: видят свою жизнь, видят воссоздание, видят новые города, заводы, дороги, машины, видят лучистые и мерцающие зарницы необыкновенного!..

И хотя «ура» уже затихло, но кажется, что оно гремит даже тогда, когда маршал Жуков произносит свою речь о победе, о том, как создавалась она, как строилась и как осуществлялась...

Словно камни какого-то грандиозного здания, ложатся один за другим залпы торжественного артиллерийского салюта, и жгущей, жаркой молнией прорезают эти салюты свободный и сильный Гимн Советского Союза. 1400 человек оркестра исполняют его. А затем беспокойный, молодой звук трубы дает сигнал к торжественному маршу.

И под жемчужную трель барабана, под голубые звуки литавр двинулись сводные полки героев.

Идет Победа.

\* \* \*

Вы помните эти тягостные, как мрак, слова: «На всем протяжении фронта от Баренцева до Черного моря идут ожесточенные бои». Вы помните невыносимые страдания, с которыми мы читали эти слова. Враг был силен, коварен, беспощадно жесток и вооружен могучей и современной техникой, на врага работала вся поработанная им Европа.

Народ наш не жаловался. Живой и бурный, как море, он гранитным морем застыл, встал против врага, вдохновенно и величаво опрокинул его и бил до тех пор, пока в доме врага не наступило мертвое, гробовое молчание...

«На всем протяжении фронта от Баренцева моря...»

И вот теперь великое событие, парад Победы, открывается шествием войск Карельского фронта.

Это те, кто бился у Баренцева моря, кто сквозь жестокий и ледящий мороз пронес свою горячую любовь к родине, кто бился насмерть в тускло-сизом мраке пурги, возле глухих и ненасытных безмолвием скал, возле бездонных морей и рек.

Упорные и властительные, как мысль, вытянуты штыки. Певуче и гармонично шагают в марше бойцы. Какое дивное наслаждение — шагать по площади... Какое приподнятое и радужное настроение, раздольное и чистое, как поле! Ибо волею, жизнью и подвигами этих бойцов снято со сводки Баренцево море.

За сводным полком Карельского фронта идут ленинградцы. Великий город России, Октябрьская столица, бурный и вдохновенный, как порыв, вечно мощный и молодой, певучий и стремительный, как поток, город-поэт, он показал нам истинную правду жизни, истинный героизм, истинную и никогда не забываемую историю. Он всегда был историчен и высоко благороден. История его защиты — это защита всей нашей страны от ига немецких захватчиков, и Ленинград показал себя как силу бурного и вечно шумного прибоя, отбросившего неистовые, грабительские полчища гитлеровцев.

Идут герои Первого Прибалтийского фронта. Бледнолазурное, мечтательное море, песчаные дюны, сосны под неумолчным ветром. Здесь родились подвиги бойцов, освобождавших Прибалтику, здесь складывались, как прочнейший фундамент эпоса, те песни, которые поют о них.

Мерно и уверенно шагают они на первом параде мирного времени, того времени, которое они завоевали для Прибалтики.

Идут ветераны и молодежь Третьего Белорусского фронта. Они первыми перешагнули границу Германии, той фашистской Германии, которую они перед тем заботливо и густо били под Орлом, под Минском, под Каунасом и добивали, превращая германскую хвастливость в серую пыль, под Кенигсбергом, взяв яростным, безмерным по дерзости штурмом столицу Восточной Пруссии — Кенигсберг.

\* \* \*

Раздольный и размашистый барабанный бой звучит особенно победно и огненно. Двести бойцов, двести героев под этот звонкий и голосистый бой несут, склоненно, знамена. По шелку и атласу их — мрачные знаки, знаки насилия, высокомерия и тупости. Это — эмблемы фашизма, свастика, эмблемы гитлеровской Германии. Среди этих знамен — знамя людоеда, тупого крикуна, личный штандарт Гитлера.

И ныне эти знамена, волочась по камням Красной площади, руками наших бойцов брошены к подножию Мавзолея.

Прекрасная, светлая и пылкая Победа принесла их сюда, бросила их к ногам советского народа, бросила с такой мощью, что никогда отныне не поднимутся они, как никогда не поднимется фашистская Германия.

Идут и идут сводные полки, идут неудержимым, размашистым и в то же время степенным шагом, шагом победителей. Алые и пылающие, как розы, веют над ними знамена; высоко и светло поет оркестр, и горящая алмазная роса дождя лежит на их оружии. Идет сводный полк Второго Белорусского фронта, идет слава взятия Гдыни, Гданьска, Штеттина и многих городов. Идет Первый Украинский фронт. Сводный полк Четвертого Украинского фронта. Второго Украинского. Третьего Украинского... Никакой буйной и вдохновенной речи не хватит для того, чтоб описать их подвиги, то, что они сделали для славы и процветания нашей Родины, и много лет скромные художники и писатели нашей страны будут говорить о их

деяниях, о их жизни, о том, что мы сейчас еще так кратко называем подвигом. Подвиг их раскрыт нашими сердцами, нашими думами и, несомненно, будет раскрыт красками, чтобы все человечество узнало героев полностью, со всеми их думами, заботами, чтобы полностью была раскрыта их любовь к Родине, создавшей их, любовь, благодаря которой родился их подвиг.

26 июня 1945 года







Михаил Шолохов

СЛОВО О РОДИНЕ

**З**има. Ночь...

Побудь немного в тишине и одиночестве, мой дорогой соотечественник и друг, закрой глаза, вспомни недавнее прошлое, и мысленным взором ты увидишь:

...Холодный, белесый туман призрачно клубится над лесами и болотами Белоруссии, над пустыми, давно покинутыми блиндажами, заросшими пожухлым папоротником, над обвалившимися траншеями и налитыми ржавой водой стрелковыми ячейками. Тускло мерцают на дне их позеленевшие от времени гильзы винтовочных патронов...

Под густым северным ветром клонят вершины и глухо шумят иссеченные осколками сосны Смоленщины и Подмосковья.

Споро идет белый, пушистый снежок, словно спешит прикрыть истерзанную войной, священную для нашего народа землю в окрестностях бессмертного города Ленина.

Солнечные тени скользят по воскресшим полям Украины, много раз перепаханым снарядами, все еще помнящим громовые гулы невиданных боев.

Возле Курска и Орла, возле Воронежа и Тулы над исконной русской землей, три года стонавшей под тяжестью десятков тысяч танков, стелется косая метель; падают с деревьев последние, сожженные заморозком листья, и всюду — в полях, на большаках и проселках, вдоль и поперек, шаг за шагом исхоженных терпеливыми ногами нашей лучшей в мире пехоты, — краснеют они, как выступающая из-под снега кровь.

В бескрайних степях под Сталинградом, где каждый клочок земли, словно зерном, засеян осколками некогда смертоносного металла, где в прах и тлен превратились отборные гитлеровские дивизии, заволжский злой ветер гонит перекати-поле, такое же мрачное, ржаво-бурое, как и разбросанные всюду по степи остовы застывших навеки немецких танков и автомашин.

А в Крыму, в голубых предгорьях Кавказа еще плавают в прозрачном похолодевшем воздухе ослепительно-белые нити паутины. Погожими утренними зорями там, где когда-то не затихали бои, окопы и воронки, опущенные по краям лохматым бурьяном, как серебряной сеткой, затянута паутиной, и каждая ниточка ее прогибается и тихо дрожит, вся унизанная крохотными блистающими слезинками росы...

Но от Сталинграда до Берлина и от Кавказа до Баренцева моря, где бы, мой друг, ни остановился твой взгляд, всюду увидишь ты дорогие сердцу матери-Родины могилы погибших в сражениях бойцов. И в эту минуту ты острее вспомнишь те бесчисленные жертвы, которые принесла твоя страна в защиту родной Советской власти, и величественным реквиемом зазвучат в твоей памяти слова: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!»

Вспоминая прошлое, ты невольно подумаешь, ты не сможешь не подумать и о том, как много осиротевших людей стало на твоей Родине после войны. В эту долгую и просторную для горестных воспоминаний зимнюю ночь не одна вдова, потерявшая в войну мужа, оставшись наедине с собой, прижмет к постаревшему лицу ладони, и в ночной темноте обожгут ей пальцы горячие и горькие, как полынь, слезы; не одно детское сердце, на всю жизнь раненное смертью того, кто, верный воинскому долгу и

присяге, погиб в бою за социалистическую Родину, сожмется перед сном от случайного воспоминания с детской тоской. А быть может, будет и так: в маленькой комнатке, где грустная тишина живет уже годами, подойдет старик к своей седой жене-подруге, без слез оплакивающей погибших сынов, взглянет в тусклые глаза, из которых самое горькое на свете, материнское страдание выжало все слезы, скажет глухим, дрогнувшим голосом: «Ну, полно, мать, не надо... Ну, не надо же, прошу тебя! Не у нас у одних такое горе...» — и, не дождавшись ответа, отойдет к окну, покашляет, проглотит короткое, как вскрип, сухое старческое рыдание и долго молча будет смотреть в затуманенное стекло невидящими глазами...

Мой дорогой друг и соотечественник! Пусть не стынет наша ненависть к врагу, даже поверженному! И пусть с удесятеренной яростью кипит, клокочет она в наших сердцах к тем, кому нет названия на человеческом языке, кто все еще не насытился прибылями, нажитыми на крови миллионов, кто в сатанинском слепом безумии готовит истрадавшемуся человечеству новую войну!

Их зловещие имена с проклятиями, с гадливостью произносит каждый честный человек в мире, они обречены историей на черную погибель, и время со всей старательностью уже плетет для них надежные удавки. Но пока они живы, пока, не скупясь, отсыпают миллиарды долларов на создание атомных бомб, на подготовку новой чудовищной войны, — пусть живет и наша неистребимая ненависть к ним. Она пригодится в нужную минуту!

Вспомни, друг: за тридцать лет существования Советской власти Страна Советов не знала поражений ни в войнах, ни в преодолении любых трудностей; ценою неслыханных жертв и народных страданий мы вышли победителями и в последней, величайшей из войн. Но жертвы, принесенные во имя спасения Родины, не убавили наших сил, а горечь незабываемых утрат не принизила нашего духа.

Бывает так, что по соседству с пшеничными полями, в цветущем густом разнотравье сизым дымом расстелется, раскуются степная полынь, и вот хлебное зерно, наливаясь и зрея, вбирает в себя полынную горечь. На баловство, на кондитерские изделия мука из такого зерна не годится. Но хлеб от горьковатого привкуса не перестает быть хлебом! И благодатным кажется он тому,

кто работает, умываясь соленым потом, и ту же щедрую силу дает он человеку, чтобы на завтра было что тратить ему в горячем и тяжком труде!

С дивной, сказочной быстротой врачует народ-созидатель нанесенные войной раны: поднимаются из руин разрушенные города и сожженные села, вернулись к жизни шахты родного Донбасса, уже золотится хлебная стерня на тех полях, где два года назад чертополохом, злою непролазью дико щетинился бурьян, дымят трубы восстановленных заводов и фабрик, новые промышленные предприятия зарождаются там, где недавно были глушь и запустение. И даже бывалый, выдавший виды советский человек, давно уверовавший в творческую силу своего трудового гения, узнав о досрочном пуске восстановленного гиганта металлургии или о всесоюзном рекорде доселе неизвестного стране стахановца, в радостном изумлении разводит руками.

А гордость Родины — ленинградский рабочий класс — уже зовет трудящихся на завершение пятилетки в четыре года. И уже зримо встают перед глазами величавые контуры новой, прекрасной жизни...

Поистине невиданно могущественна партия, сумевшая организовать, воспитать, вооружить и повести за собой народ на свершение небывалых в истории подвигов! Поистине велик и непобедим народ, сумевший не только отстоять свою независимость и разгромить всех врагов, но и стать светочем надежды для трудящихся во всем мире!

Быть верным сыном такого народа и такой партии — это ли, мой друг, не самое высокое счастье в жизни для нас и наших современников? И не нас ли, ныне живущих, окрыляет на неустанный труд и новые подвиги суровая ответственность за судьбы Отчизны, за дело партии, ответственность, которую мы несем не только перед грядущими поколениями, но и перед светлой памятью тех, кто сражался и шел на смерть, защищая Родину.

\* \* \*

В памятные ленинские дни трудящиеся мира, как и двадцать четыре года назад, как и всегда в день скорбной годовщины, склонят головы, вспоминая того, кто указал человечеству путь к новой жизни. Он — вождь великой партии и создатель первого в мире социалистического

государства — сказал в 1919 году незабываемые слова:

«Первый раз в мире власть государства построена у нас в России таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации — Советы, и этим Советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клеветают на Россию представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «Совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся».

«Советская власть, — говорил Владимир Ильич, — есть путь к социализму, найденный массами трудящихся и потому — верный и потому — непобедимый».

Наша страна, страна победившего социализма, стоит несокрушимо в мире.

Друзья знают, из какого неиссякаемого источника черпали и черпаем мы силы и для войны и для мирного труда.

Враги остаются врагами: иные просто клеветают, клеветают с присущей им наглостью, примитивно и грубо, другие второпях вытаскивают из пыльных архивов изрядно траченные молюбо рассуждения о «загадочности славянской души», о «русском фанатизме» и, стыдливо прикрывая свое убожество и низость этими обветшалыми одеждами, делают вид, что никак не поймут, откуда берется всеокрушающая сила у советского народа.

А народ ценою долголетних страданий и великой революционной борьбы нашел для себя единственно справедливую власть, со всей решительностью и мужеством утвердил ее своей кровью, своим трудом, и никакие силы не смогут поколебать его веру в эту власть.

Как духовно преобразился русский человек, и в частности крестьянин, за время существования советского строя, какие новые и чудесные качества он обрел за годы пятилеток, уже будучи колхозником, — отчетливее видишь, сопоставляя недавнее прошлое с нынешним днем.

\* \* \*

В январе 1930 года, когда на Дону проходила сплошная коллективизация, мне пришлось ехать со станции Миллерово в Вешенскую. Ни мой возница, ни я не тешили себя надеждами за короткий срок проделать сто шесть-

десят восемь километров пути. Лошади были усталые, дорога, судя по рассказам, несносная — почти на всем протяжении в ухабах и выбоинах, — в степи курилась поземка, а густые лиловые тучи, стоявшие на востоке угрюмой грядой, обещали близкую непогоду.

Мы выехали с рассветом. Горький запах угольного шлака и дыма топящихся печей сменился за городом пресным и чистым дыханием молодого снега, ароматом степного сена, растерянного по обочинам дороги, и терпким душком лошадиного пота. Глухое зимнее безмолвие нарушалось лишь скрипом полозьев, фырканием лошадей да изредка, на спуске в глубокую рытвину, стуком барков о дышло саней.

Возница мой — бородатый, пожилой, но все еще, несмотря на годы, по-молодому статный казак, с шельмовскими, глубоко запрятанными глазками и лихо зачесанным чубом — оказался человеком на редкость словоохотливым. Вначале он молча правил лошадьми, melancholически посвистывая, думая о чем-то своем; я видел только его широкую спину, туго обтянутую нагольным полушубком, бурую, в морщинах шею да заиневший чуб, выбившийся из-под ухарски сдвинутого набок треуха, но стоило мне задать ему какой-то вопрос, как он тотчас же повернулся ко мне лицом, подоткнул под сиденье вожжи и, улыбаясь, заговорил:

— Поглядел бы, братец ты мой, что у нас на хуторах творится... Не дай и не приведи!

— А что?

— Да ведь колхозы же начались, ну, и заседают народ на собраниях, как и в Москве, небось, не умеют засесть!

— Как же это?

— Да так, что по трое суток подряд, днем и ночью!

— И многие вступили в колхоз у вас на хуторе?

— Раскололись пополам: часть вступила, а остальные пока еще мнутя, как овцы перед воротами на баз. А заседают все сообща и там же на драку сходятся, как молодые кочета... Там и смех и грех, всего не обещься!

Сосед у меня есть. Михей Фомич, старичок он крайних годов, а с собрания выходит только по вострой стариковской надобности, а так — и ночует в сельсовете и кормится там же. Старуха принесет ему щей в чугушке, ну, пока она по снегу добредет, щи начисто остынут; по-

хлебают Фомич холодненького и опять сидит, как гвоздь в стене... Страсть какой активист оказался!

— Колхозник?

— Какое там колхозник! Он активист с обратной стороны, из богатеньких середняков. Прямо супротив колхоза не выступает, а потихонечку сидит в задних рядах и яд пукает, то из Священного писания, а то и сам от себя чего придумает. Перед поездкой пошел и я на собрание. Сидим тесно, я — с краю, по левую руку от меня — этот самый Михей Фомич, рядом с ним — вдовья женщина Ефросинья Мельникова. И вот Фомич и зудит и зудит свое, слушать не дает. Она ему раз сказала: «Не мешай», два сказала, но он не унимается. Один приезжий партийный из района про колхоз рассказывает, а Фомич знай свое нашептывает: и то, мол, будет нехорошо, и другое вовсе плохо... А потом толкнул Ефросинью локотком и говорит потихонечку: «Сначала скотину заставят обобществлять, бабонька, а после и под общую одеялу спать загонят. Это мне верный человек говорил». Она, возьми, в шутку и скажи ему: «Что ж, мое дело вдове, я в убытке не буду, только, не приведи бог, с тобой рядом придется спать, — тогда хоть из колхоза выпишывайся». Ну, Фомич почуял недоброе и уже погромче спрашивает: «Это, то есть, почему же такое, паскудница ты этакая?» Фроська на эти слова рассерчала и уже вовсе громко говорит: «А потому, старый черт, что от тебя, как от пустого амбара, за версту мышинным пометом воняет!» Слово за слово — и завелись. Он ей: ты, мол, и бесстыжая, и такая-сякая, и про бога забыла, а она ему: «Тебе, подкулачнику, хорошо против колхоза говорить, у тебя две пары быков, пара лошадей, а я с одной коровенкой всю жизнь должна нужду трепать?» Он ее — ядреным словом, а она его — бабьим нескладным матом, ну, и дошло у них дело до драки. Фомич, как при старом режиме, платок с нее сбил и — за прическу. Ефросинья, не будь дура, за бороденку его ухватила. Баба она молодая, при силе, сколько захватила в горстки волосев — все у нее в руках и остались. Насилу растянули их, ей-богу. После этого глянул я на Фомича, а у него полбороды как корова языком слизнула. Смех меня разбирает, но я скрепился и говорю: «Не ходи ты, Михей Фомич, на эти собрания, а то тебя бабенки ощипают, как резаного кочета, и пуху на развод не оставят». А он этак гордо на меня поглядел и говорит: «Последнего

волоса лишусь, но с собрания не уйду!» Ужасный какой активист оказался, сроду и подумать нельзя было...

— А ты-то вступил в колхоз, Прокофьевич? — поинтересовался я.

Прокофьевич степенно разгладил каштановую, с рыжеватым подсадом бороду и плутовски сощурил голубые беспокойные глазки.

— Я не спешу...

— Что так?

— Видишь, какое дело, на свадьбе или еще при какой гулянке я не спешу вперед людей за стол садиться. Когда после других с краю сядешь — при нужде скорее из-за стола вылезешь... — И, чтобы у меня не оставалось никаких сомнений насчет его иносказания, добавил: — А может, за столом мне не понравится, — так за каким же нечистым духом я в самую серединку, под божницу попрусь?

Смеясь, я сказал ему, что если долго выжидать и раздумывать, то можно совсем за стол не попасть. Но Прокофьевич упрямо мотнул головой.

— Я остро кругом гляжу! В колхоз и меня пригласают, по достатку я самый что ни есть колеблющийся середняк: пара лошадей и немудрящая коровка — все имущество. Но только раз уж я колеблющийся, как меня на собраниях обзывают, то я и хочу приглядеться как следует к этому колхозу, а сторчмя головой в него кидаться — все как-то не того... не очень, чтобы...

— Страшновато?

— Нет, на испуг я неподатливый, а опаску имею. На всякий случай имею. Ты вот лучше скажи: какой жизни надо дюжей опасаться, колхозной или единоличной? Воюсю ошибку понести, потому что смолоду ученый и знаю: иной раз беды ждешь с одной стороны, а она на тебя — шась — с другой, ну, и будь здоровенький! К примеру, расскажу тебе такое: тридцать лет назад сосватали мне покойные родители невесту, и не в своем хуторе, а в чужом. Поехали невесту глядеть. И парень я был геройский, а как глянул на нее в первый раз — сердце оборвалось, и только чую, что оно у меня уже где-то в глотке бьется... Вижу: стоит передо мной бой-девка, глаза отважные, с искрой, а сама красоты невозможной, как цветок лазоревый! Смотрит она на меня, а я слова не могу сказать, молчу, как мертвый. Ну, оставили нас одних в горнице, сидим мы рядом на сун-

дуке, а я все молчу, оглядываю ее, глазами моргаю. Одно мне на вид кинулось: уж дюже у нее ручки мелкие, прямо как у дитя. Я еще тогда, помню, подумал: с такими руками она и навильника не подымет, какая же из нее будет работница в хозяйстве? Головой думаю, а язык все не ворочается. Долго мы так молчали. Она терпела-терпела, а потом нагнулась ко мне и шепотом спрашивает: «Да ты, кажись, немой?» Я только головой помотал, а слова опять же не скажу, не получается, хоть плачь! Тогда она брови сдвинула и строго так говорит: «А ну, покажи язык! Может, ты его в дороге при тряске откусил?» Я сдуру возьми да и высунь язык... Ох, черт, до нынешнего дня стыдно, как вспомню, каким дураком тогда оказал себя! И тут она так засмеялась, что аж слезы у нее из глаз брызнули! Смеется, руки к груди прижала, от смеха не продыхнет, а сама шумит: «Маманя, иди сюда! Погляди на него! Да он же чисто глупой! Как же я за него замуж пойду?» Во, брат, как оно, дело-то, для меня гадостно обернулось!

И зло меня на нее взяло, и самому засмеяться охота, а тут как глянул нечаянно на ее зубы и опять обмер: зубы у нее белые-пребелые, прямо кипенные, один к другому слитые, острые, и полон рот их у нее, как у волка-переварка. «Ну, вот это,— думаю,— попался я! Такими зубами смело можно телка-летошника разорвать, а что же со мной будет, когда женюсь? В случае какого семейного неудовольствия руками со мной не совладает — мелковаты у нее ручки для драки,— а, не дай бог, пустит зубы в дело,— и полетит с меня кожа ключьями! Она же из моей шкуры легочко может ремней на две шлеи надрать».

И то ли с испугу, то ли со злости, но только язык у меня стал ворочаться, и я говорю: «Гляди, девка, ныне ты смеешься, а выйдешь за меня — как бы плакать не пришлось». А она мне в ответ: «Слепой сказал — поглядим. Это еще неизвестно, кто от кого будет плакать!»

На том и сошлись. И ты думаешь, зубами она надо мной власть взяла? Как бы не так!

Нет, зубы она об меня не тупила, не попустил господь. У нее — даром, что старуха,— и сейчас их полон рот, и вишневые камушки она, проклятая, щелкает, будто подсолнуховые семечки грызет. Маленькими руками она власть захватила! Год от году потихонечку брала надо мной верх, а теперь я, может, и взноровился бы, да поздно,

приобвык в хомуту, притерпелся к беде, как паршивая лошаденка к коросте. В пьяном виде — я смиренный человек, в трезвом — еще смиреннее, вот она, вражина, и руководствует надо мною, как ей вздумается.

Иной раз в праздник соберемся мы, пожилые казаки, ну, выпьем на складчину по литре на брата, про старое вспомняем, кто где служил, кто с кем воевал, песни заиграем... Но ведь как жеребенку на лугу ни взбрыкивать, а придет время и к матке бежать. Прийду домой на голенищах или вроде этого, а жена уже в дверях ждет и сковородник, как ружье, наизготовке держит. Это, конечно, длинная музыка про все рассказывать, это даже неинтересно объяснять... Одно скажу: научила она меня спиной двери отворять, тут уж нечего греха таить. Какой бы выпитый ни был, а как только дойду до сенцов, сейчас же подаю сам себе команду: «Стоп, Игнат Прокофьевич, налево кру-у-гом!» Поворачиваюсь задом и таким путем вхожу в хату. Так оно получается надежнее, меньше урону несуну... Утром проснусь, спина болит, будто на ней горох молотили, возле меня стоит миска с капустным рассолом, а жены нету. С похмелья я, может, и сорвал бы на ней злость, да ее до вечера сам черт с фонарем не сыщет. Ну, а к вечеру сердце у меня, конечно, перегорит, тут и она является, сладко так поглядывает: «Здорово, Игнат Прокофьевич, как живешь-можешь?» — «Живу, слава богу,— говорю ей,— да жалко, что мне ты с утра не попалась, проклятая, я бы из тебя щепок на растопку натесал!»

Она все спрашивает меня, чтобы я дубовый держак на сковородник сделал, но я тоже себе на уме: деревцо на держак выбираю самое что ни есть трухлявое и тонко его обстругиваю, лишь бы сковороду держал, не ломался. Так и живем помаленьку...

К чему я все это тебе рассказывал? Да к тому, что при женитьбе опасался жениных зубов, а страдать от ее рук приходится. Так и теперь: опасаясь колхоза, а там, глядишь, как бы от единоличной жизни не пришлось по-волчиному выть... Останешься в этой единоличной жизни,— ну, и язык на сторону! Верно я говорю?

Прокофьевич, посмеиваясь в бороду, подмигнул и сощурился, как бы говоря всем своим плутоватым видом: не так-то я прост и безобиден, как тебе может показаться, а все, о чем шла речь, принимай как угодно, хочешь — в шутку, а хочешь — всерьез...

Несколько минут он молчал, а потом уже без игривых ноток, погрузневшим голосом сказал:

— Чума его знает, куда податься... Ну, поживем — увидим!

И вдруг, приподнявшись на козлах, с неожиданным остервенением вытянул лошадей кнутом, крикнул:

— Прислушались к чужому разговору, чертovsky единоличники! Вот я вам покручу хвостами!

Редко перепархивавший снежок вскоре повалил густыми хлопьями, злее подул ветер, по дороге легли косые переносы, и усталые, курчаво заиневшие в пахах лошади, бежавшие тяжелой рысцой, снова перешли на шаг.

В глухую полночь доехали мы до хутора Нижне-Яблонского. Только в одной из хатенок большого хутора сквозь промерзшее, не закрытое ставнями окно тускло светил огонек.

Попросились переночевать. Пока Прокофьевич возился с распряжкой лошадей, я вошел в хату. Около кровати, заваленной каким-то хламьем, на кособокой, низенькой табуретке сидел старик, широко расставив ноги, понуро скорбившись. В ногах у него, свернувшись клубком на соломенной подстилке, спал маленький черный ягненок. Курчавая шерстка его матово поблескивала, озаренная неярким светом керосиновой лампы. Хозяин как бы нехотя ответил на приветствие, мельком взглянул на меня и снова опустил голову. Большая грубая рука его, свисая с колена, легко и нежно гладила ягненка, толстые пальцы, лишь слегка касаясь, ласково перебирали глянце-вито-черные завитки.

Лежавшая на печи старуха сказала:

— Ты бы пошел указал человеку, куда лошадей поставить.

Хозяин молча накиннул на плечи зипун, вышел.

— Что-то вы долго не ложитесь спать, или неуправка по хозяйству? — спросил я.

Старуха, явно обрадованная возможностью поговорить с проезжим человеком, охотно отозвалась.

— И-и-и, милый мой, какое у нас теперь хозяйство! Мы, видать, свое отхозяйевали... Один ветер по пустым базам гуляет, хозяйничает как хочет. Осталось у нас всего-то две овечки да вот этот ягнотишко. Кобель был, да и тот с порожнего двора куда-то подался, нечего караулить стало.

Старуха, кряхтя, приподнялась, свесила с печи обутые в шерстяные чулки ноги и, подслеповато щурясь на желтый огонек лампы, продолжала:

— А старик мой, истинный бог, умом тронулся. Вот уже четвертые сутки никак не спит. С вечеру полежит, а потом зажжет лампу, сядет возле стола, свернет вот этакую сигарку и сидит, и сидит, курит, молчит... Я за эти дни уже и от голоса его отвыкла. К утру, веришь, так надымит, что меня аж удушье давит и в голове кружение. А сказать ему ничего не моги: выверится на меня глазами, дверью хлопнет и молчком уйдет на баз.

Извечно старым, присущим всем простым женщинам движением старуха подперла щеку рукою, горестно склонила голову.

— И в рот почти ничего не берет четвертый день. Сядет за стол, подержит ложку в руке и опять положит, а сам уж за кисетом тянется, сигарку сворачивает. И как ему этот табачище не осатанеет, в ум не возьму. Весь почернел обличьем, не евши-то, а все курит и курит. Так собой он здоровый, только хворость у него душевная, она его и точит...

— Какая же хворость? — спросил я, втайне уже догадываясь о происхождении стариковой болезни.

И старуха не замедлила подтвердить мое предположение.

— Известно какая, в колхоз мы вступили на этой неделе. Коня мой хозяин отвел, пару быков и корову сам отогнал на общий баз, остались пока одни только овечки. На базу-то без животины все равно как на кладбище...

И, наклоняясь, доверительно зашептала:

— А вчера в садике яблоню срубил на дрова. Это живое дерево-то! Я так и ахнула, — спятил мой старик! Какие скороспелки эта яблоня родила, страсть! А ему уж вроде ничего и не жалко, ничего не надо, как, скажи, все это чужое стало... Никто его в колхоз силком не тянул, сам по доброй воле вписался, а вот поди ж ты, что с человеком поделалось. Перед этим такой веселый был, пришел с собрания, говорит: «Ну, старуха, теперь мы колхозники. Нынче записался. Артемом будем работать. Может, в колхозе не так кормовито будет, зато горб будем меньше гнуть, при старости годов пора нам и отдохнуть». Заплакала я в голос, а он смеется: «Дура, нам, старым,

там легче будет, утри глаза!» А как худобу свел с база, так будто кто его подменил... Коров, никак, посулили вернуть, а там кто ж его знает, отдадут, нет ли...

У крыльца заскрипел снег, слышались мужские голоса. Старуха смолкла, проворно укрылась с головой рваным одеялишком.

Гулко гремя смерзшимися валенками, в комнату вошел Прокофьевич, за ним — хозяин.

За ужином Прокофьевич всячески пытался вовлечь хозяина в разговор, но успеха не имел: старик отмалчивался или отвечал коротко, односложно и заметно тяготился навязчивым собеседником. Обиженный Прокофьевич постелил на лавке полушубок, улегся спать. Старуха, наверное, тоже уснула, лишь хозяин бодрствовал: принес со двора охапку мелко нарубленных дров, затопил печурку, устроенную под кроватью, присел к огню. Почувяв тепло, поближе к печке перебрался и ягненок. Он долго стоял, покачиваясь, на расслабленно подогнутых ножках, потом тихонько заблеял, призывая мать, и снова лег у ног старика, усталился на огонь бесовскими, выпуклыми, желтыми глазами; в продольных, косо прорезанных зрачках его трепетали радужные отблески пламени.

— Вот какая насекомая, без году неделю на свете живет, а понимает, где лучше, к теплу жметя. — Старик указал кивком головы на ягненка, чуть приметно улыбнулся.

Долгое молчание было нарушено, и я решил спросить:

— Что ж не ложишься спать, хозяин?

— Сну нету, того и не ложусь.

Как видно, невысказанное горе плескалось уже через край, молчать старику стало не вмоготу, и он заговорил, изредка поглядывая на меня ввалившимися, угрюмыми глазами:

— Старикам сроду сладко не спится, а по нынешнему времени — вовсе. Ведь вот кое-кто из служащего народа легко думает об нашей хлеборобской жизни, а понапрасну так думает... Недавно был у нас на хуторе приезжий один, уполномоченный человек из района; как раз пригнал я свою скотину сдавать в колхоз, он и говорит: «Теперь, папаша, вздохнешь ты свободно! Никакой заботы у тебя не будет. Скотину тебе не убирать, об корме для нее не печаловаться. Зимним бытом тебе только и дела будет:

поел — да на печь. Разве что весной или в уборку можешь колхозу по своей силе-возможности».

Легкий человек по-легкому и рассуждает. Неужели я в колхоз вступил, чтобы дармоедом быть? Работать мне все одно надо, пока на ногах держусь, пока сила в руках есть, иначе я без дела от скуки ноги протяну! А по его разумению выходит так, что отдал я в общие руки скотину и вроде перекреститься должен: дескать, слава богу, избавился от обузы! Нет, не так оно получается. Отвел я коня, быков отвел на общественный баз, арбу сдал, бричку на железном ходу, два ярма, всю конскую упряжь, и вот теперь то ли живу я, то ли не живу, сам не пойму, но только белый свет для меня как сквозь туман светит... Побарывает меня тоска, и никакого сладу с ней нету! Вздумать только, с малюшки возрастал я возле лошадей да быков, всю жизнь кормился от них, до старости дожил при них же, а теперь вот остался без тягла один, как старый пенек в лесу... Не к кому на баз выйти, баз-то пустой... Понимаешь ты это, добрый человек, не к кому выйти! Или, может, ты думаешь, что такое горе пухом на сердце ложится?

Взять хотя бы быков, ведь сколько за ними надо уходу! Легким временем, в уборку, чтобы они в силе были, ночи напролет не спишь, пасешь их, доглядаешь, чтобы к заре далеко не ушли, чтобы потравы в чужом хлебу не сделали. Днем тебе работать надо, а ты, не спавши сколько ночей подряд, как пьяный, качаешься и вилы в руках насилу удержишь. А как только заосеняет, и на всю зиму с этими быками тоже заботы по ноздри: за ночь непременно надо два-три раза к ним наведаться, корму подложить, потому что ночи длинные, сена вволю не кладешь им, иначе они и под ноги будут его метать, и выедать нечисто. А сено берегешь к весне. Какой бы справный бык ни вышел с зимовки, а ежели его весной как следует не кормить, — подует теплый ветерок, и ляжет этот бык в борозде, и вот тогда-то ты наплачешься с ним горькими слезами!

То же самое и лошадь требует строгого надгляда: и напои-то ее вовремя, и почишь, и перед поездкой ночью зерна задай, либо мески замеси... Так и проходит ночь у хорошего хозяина в беспокойстве да в делах. Потому и спать он привыкает по-заячьи: сам вроде спит, а сам прислушивается, и как только первые кочета прокричали, ему уж некогда вылеживаться, надо вставать.

За пятьдесят лет, как сам стал на хозяйство, и я отвык спать без просыпу, нужда отучила крепко спать, а сейчас и вовсе сна лишился. С вечера вроде забудусь, а около полуночи проснусь — и пропал сон, хоть глаза выколи. Вчерашнюю ночь вот так же придремал малость, а потом очухался и думаю: «Пора быкам сенца подложить». Встал, обул валенки на босу ногу, оделся, до база дошел и только тогда вспомнил, что бычки-то мои на общественном базу, что пришла мне легкая жизнь... И такая тоска пала на сердце от этой легкой жизни, хуже черной немочи!

...Долго еще, уже сквозь сон, слышал я приглушенный, жалующийся голос старика и его глухое покашливание. Перед рассветом Прокофьевич разбудил меня. В печурке неярко светились присыпанные пеплом уголья, по ним резво порхали синеватые язычки пламени. Старик спал, сидя на маленькой табуретке, неловко привалившись к кровати. Свесившаяся рука его по-прежнему касалась спины ягненка, узловатые в суставах, крупные пальцы слегка шевелились и вздрагивали.

Потревоженный шагами Прокофьевича, старикavorочался, но положения руки не изменил, словно даже во сне боялся расстаться с ягненком — этой последней жалкой собственностью, живое тепло которой все еще как бы связывало его с недавней одиночной жизнью...

\* \* \*

Я вспомнил этого старика у хутора Нижне-Яблонского, возвращаясь осенью прошлого года из Сталинграда.

Поздней ночью мы приехали в один из колхозов неподалеку от Калача. Так же, как и в 1930 году, единственный огонек во всем селении привел нас к небольшому домику на окраине широкой затравевшей улицы.

Было что-то родное и милое сердцу в озаренной меркнущим лунным светом картине: новые белые хатки и словно караулящие их, устремленные ввысь пирамидальные тополя. Шофер остановил машину, — и тотчас же повеяло горьким запахом полыни с близкого выгона.

Едва лишь свет автомобильных фар скользнул по серому низенькому забору, на крыльцо вышел человек в накинутой внапашку шинели. Шурясь от света, прихрамывая, он сошел с крыльца, крикнул:

— Колесниченко, ты? — и, подходя к калитке, разочарованно сказал: — Да это легковая... Что за люди? Откуда?

Шофер наш шутливо отозвался:

— До чего же строгий хозяин! Не успели возле его ворот остановиться, а он уже допрос ведет, что за люди да откуда, того и гляди — документы потребует. У вас все тут такие строгие?

Человек в шинели подошел к дверце машины, добродушно говоря:

— Что ж, браток, понадобится — предъявишь документы. Вы же, наверное, на ночлег думаете остановиться? Ну, вот в том-то и дело: время позднее — устраивать вас на квартиру некуда, ночевать будете у меня. А за документы не обижайся — фронтовая привычка... Да к тому же и власть у меня в руках: я председатель здешнего колхоза.

В горнице на широкой кровати спала вместе с двумя детьми пожилая женщина. Она лишь на секунду открыла глаза и снова уснула тем глубоким, всепобеждающим сном, каким спит сильно уставший человек. Хозяин слегка прибавил света в лампе, вполголоса сказал:

— Вы уж извиняйте, но хозяйку будить я не буду, она у меня три ночи не спала, хлеб возила в Заготзерно.

Седина на висках его загорелого лица, твердо сложившиеся морщины на лбу — все говорило о нелегко прожитой жизни.

Ступая на цыпочках, он принес кувшин молока, присел к столу.

— Угощайтесь. Чем богаты, тем и рады.

— Давно председательствуете? — спросил я.

— С сорок третьего... Как только вернулся с фронта, по ранению, так вскорости и заступил председателем.

На вид хозяину было не меньше шестидесяти лет, и шофер удивленно спросил:

— Как же ты, папаша, оказался на фронте? Таких стариков в армию не брали.

Хозяин с шутливой лихостью провел пальцами по усам, сильно тронутым проседью, улыбнулся:

— Попал так же, как и ты, сынок, — одной дорогой. Верно, мой год в армию не брали, но я сам не стерпел и в сорок втором летом пошел добровольно. Наш секретарь райкома тогда посмеялся: «Куда ты, мол, годен, старик,



попадешь в пехоту — осрамишься перед молодыми. Ты уж лучше работай бригадиром. Люди и в тылу тоже нужны». Но я ему на это сказал: «Смех тут плохой, товарищ секретарь, если немец вон сколько у нас оттяпал. Раз я иду в армию, значит, я за себя отвечаю. А бригадиром и толковая баба может поработать, вон какую силу они у нас взяли». Ну, и пошел. В саперы меня определяли, в повозочные, но я упросился в пехоту. Правда, при моих годах нелегко было, ох, нелегко! Но ведь пошел-то я своей охотой, значит, надо было терпеть. И под Сталинградом повоевал, и до Курска дошел, а тут, под Прохоровкой, уже выбыл по чистой. Не повезло, пропади ты пропадом: год прослужил и, понимаешь, три раза был раненый. А ведь года-то мои не молоденькие.

Хозяин заметно оживился и заговорил уже чуть громче:

— На молодых и раны-то заживают невидючи: все равно как на молодом деревце, а старику солонее приходится. Уж это точно, по себе знаю. После второго ранения вместе со мной в госпитале, в Тамбове, лежали и безногие. Какие пожилые из них, те и на белый свет не хотят глядеть, лежат желтые из себя, морщенные, всю-то ночь у них охи да вздохи, до утра только и слышишь, как под ними кровати скрипят. Это они, сердешные, с боку на бок ворочаются, думают, как жить будут калеками да чем семьи свои содержать. Веселого мало в таких ночных думках, — это надо понимать. А молодой — какого ему беса? Он про себя, конечно, страшно горюет, но виду никак не подает. Он утром проснется, — костылей нет, — у них там на всех костылей не хватало, — а он, глядишь, за спинку кровати, за стены руками хватается и на одной ноге по коридору скачет, как воробей, да еще песенку какую-нибудь веселую про любовь напевает. Вот что она обозначает, молодость-то! Поглядишь на него — вчуже жаль становится, а в то же время завидуешь, думаешь про себя: «Эх, мать честна, мне бы годков двадцать — тридцать скинуть! Может, и я вот так же по-воробыному, по-хорошему прыгал бы».

Иного молодого привезут с тяжелым ранением, а через две недели, глядишь, он, чертов сын, уже санитарке подмигивает, глаза на нее заводит, вздыхает с лошадиным хрипом и делает на своей морде тысячу таких фокусов,

на какие я, допустим, по возрасту моих годов, ну, ни за что не способен! Смотришь на него со стороны — и только диву даешься. А иного пожилого солдатика привезут, — уж он лежит, лежит, прокиснет весь от лежания, докторов и сестер замучает, сам себе осточертеет, и рана-то у него не такая, чтобы очень серьезная, а он все лежит себе, скучает, на потолок любуется, место в госпитале понапрасну занимает.

Но и так ведь сказать: мы-то, пожилые, ввязались в эту войну, потому что лихо заставило — враг же хотел отнять у нас все вчистую, что нажили мы при нашей власти. Это тоже надо понимать...

У меня у самого одна косточка, перебитая осколком, долго не срасталась. Спрашиваю у доктора: «Почему такое кость моя тупо срастается? Видать, плохо вы ее гипсой обложили». А он меня спрашивает: «Тебе сколько лет?» Говорю ему: «Пятьдесят шесть». А он смеется: «Жениховский твой возраст, потому и плохо срастается. А вот если лет через двадцать тебя поранят, так кость твоя и вовсе плохо будет срастаться». Да что же, думаю, пес тебя укуси, и через двадцать лет я все еще буду воевать?! Куда же это годится такое дело?

«Нет, — отвечаю ему, — товарищ доктор, благодарю покорно. Мне надо с фашистом поскорее кончать: во-первых, насолил он мне здорово, а потом и годы мои не те, чтобы с ним долго воловодиться. Да и какой же из меня солдат через двадцать лет будет? Срамота об двух ногах, а не солдат! Придется самовольно отлучиться, так взводный и спрашивать не станет, куда, мол, девался боец такой-то. Он же меня по песчаному следу, как зайца по малику, сведет».

Только с тем веселым доктором сговорить было невозможно. Он себе знай посмеивается: «Об чем ты беспокоишься, Корней Васильевич? Все в наших докторских руках, и через двадцать лет, в случае чего, так аккуратно тебя заштопаем, что ни одна песчинка из тебя не выпадет, и будешь ты ходить браво, как молодой петух, — и голова и хвост кверху!»

Месяца два отлежал я там, обошлось, а вот уже под Курском пришлось хуже.

И, как бы оправдываясь, заговорил:

— А как вы думаете, мог я не пойти воевать против такого врага? Какую жизнь он, этот проклятый враг, порушил! Перед войной наш колхоз имел три своих

грузовых машины, две школы, клуб, мельницу, все имел, всего было вволю: и хлеба, и всякого добра. А как прошелся он по нашим местам, и все пошло прахом. Все изничтожил, гад ползучий!

Вернулся я в сорок третьем году и за голову взялся: половину хутора выжег чертов фриц, оставшиеся дома разорил на блиндажи, школы спалил, от ста восьмидесяти пар быков две пары осталось, лошадей — ничего, трактора побил, покалечил. Ну, и пришлось нам начинать все сызнова.

В поле одни женщины да ребятишки работали. На тракторах — тоже одна зеленая молодежь. Смеха ради могу сказать — был такой случай: весной иду по полю, ЧТЗ стоит, работает вхолостую, а тракториста и прицепщика и в помине нет. «Что такое? — думаю. — Куда же они делись?» Дошел до леска, а они оба на вербах сидят, грачиные яйца снимают! Им и по шестнадцати лет нету, разум-то у них детский, ну, что ты с них возьмешь? А работу какую они несли? Прямо скажу — неммысленную! Завести от руки нахолодалый трактор, — как ты его ни грей, — скажем, дело не легкое. И вот идешь по полю, а она, девчонка-трактористка, за два километра к тебе по борозде бежит, спотыкается. «Дяденька Корней Васильевич, крутни! Силы у меня не хватает». А ты ведь понимаешь, как с девичьим нежным животом такую тяжесть провернуть?! Тут нетрудно и надорваться. Тут и наш мужчинский, кряжистый костяк, и тот иной раз в хрящах похрустывает...

А бабоньки? Боже мой, глянешь, как она в колхозе работает, — и сердце на части рвется. А ведь ей в колхозе надо работать и у себя по домашности все справиться, отстрять затемно, за ребятишками приглядеть, и об муже она печалуется — муж-то у нее воюет... Все ей надо справиться, а работы в ее рученьках — не переделать, а тяжких думок — не передумать...

Один раз иду я в поле, еще до рассвета, а соседка сено косит для своей коровенки, до выхода на колхозную работу. Мужа у нее убили, четверо детишек мал мала меньше у нее на руках. Подошел я к ней помочь, и такими темными глазами она на меня взглянула, что, не поверишь, пришел я на стан и — закурил... Всю войну не курил, при всяком лихе держался! А тут свернул сигарку и закурил — так она меня за сердце взяла этим темным взглядом...

Хозяин, в задумчивости постукивая по столу пальцами, сказал:

— Есть у нас такая старая бабья песня:

Да никто так не страдает,  
Как мой милый на войне.  
Сам он пушку заряжает,  
Сам думает обо мне.

И молодая веселая улыбка как бы озарила лицо моего собеседника.

— Высоко они, наши женщины, о себе понимают. И правильно делают! Слов нет, воевали, день и ночь о них помнили. Бывало, конечно, и так: когда в бою подопрет к душе, на какой-то час обо всем забудешь, а потом опять к дому мыслями летишь.

Пришел я с фронта, пригляделся, как дома работают, — дошло до сердца, что тягость, какая легла на эти бабьи плечи, — одинаковая с тем, что мы там терпели.

На фронте получил я подарок. Ну, дело обыкновенное — кисет расшитый, сухарики и другое прочее, и письмецо. Пишет работница с московского завода: «Дорогой боец, посылаю тебе посылку и горячий привет, бей врага, как полагаешься. Мы на оборону день и ночь работаем, а душой — с вами». Ну, и остальное, что положено, пишет, доброго здоровья желает.

И как раз это было в тяжелое время Курской битвы... Тут немецкие танки черной тучей идут, отбиваем их, как указано, роздыху нет, после боя диву даешься, как жив остался, а тут эта посылка... Получил ее прямо в окопе и, знаешь, заплакал... Сам-то я некурящий, кисет мне не нужен, а сухари, конечно, ел, и соленая слеза на них падала... Вот, думаю, рабочая женщина, как и мы, день и ночь не спит, для нас, какие на фронте, трудится, но вспомнила обо мне. А может, она от себя оторвала этот кусок! Сладки были эти сухарики от моих думок...

Хозяин улыбнулся, тронув пальцами седоватые усы:

— А ведь смешинка была и там. Вот, посылала, гадала — небось, молодому попадет в руки, но пригодилось и старику...

Великий труд вынесли наши женщины в войну. И работали с великой сознательностью, понимали, как нужен их труд Советской власти. Так я по своему стариков-

скому разумению думаю, что памятник они себе заслужили.

...Через час я проснулся от гудка автомашины. Из кухни донесся голос хозяина:

— Что же ты, Колесниченко, так ездешь? Давно пора бы быть. Что ж, по твоей милости трактор должен простаивать? Мелкая у тебя сознательность, гляжу я. Без тебя знаю, что обувка на машине плохая. Ты на плохой обувке сумеешь хорошо ездить, а на хорошей-то и всякий поедет. Сейчас же вези горячее в поле, а Семену скажи, что я приеду на заре.

Хозяин в потемках прошел к кровати и, тяжело, по-стариковски, кряхтя, стал разуваться. Через какое-то время я снова проснулся от резкого стука в окно. Снаружи хриплый мужской голос громко позвал:

— Корней Васильевич, подводы второй бригады пришли с глубинки. Сейчас грузить хлеб или подождать до утра? Быки сильно приморились.

Хозяин подошел к окну, негромко сказал:

— Сейчас же пускай грузят и везут. Подожди, я выйду, вместе пойдем к амбарам.

Я не слышал, когда он вернулся, но задолго до рассвета его разбудили снова: один из тракторов, работавших на подъеме зяби, вышел из строя, и хозяин ходил в правление колхоза звонить в МТС. Его будили еще раза три за ночь. Перед рассветом наш невыспавшийся шофер, горестно вздыхая, сказал:

— Ну, папаша, веселая у тебя жизнь!.. Что у тебя ночевать, что в клубе под музыку — все одно.

Уже одетый хозяин устало улыбнулся, сказал:

— Беспокойно живем. Хозяйство у нас большое, дела много, вот ночушки и прихватываем. Но сейчас вы позорюете как следует, беспокойства для вас больше не будет, я уйду: у нас заседание правления колхоза.

Я посмотрел на часы: была половина пятого утра.

Шофер рассмеялся:

— Кто же это начинает заседание в пятом часу утра?

— А как же ты думал, сынок? Днем все члены правления в разгоне: один хлеб отгружает, другой — в полеводческой бригаде, третий поедет в Сталинград запчасти для машины добывать, мне тоже на заре надо в поле попасть. Вот и порешили собраться пораньше, накоротке обсудить наши дела. У нас у всех одна думка: как бы

поскорее колхоз поднять на ноги. Хуже других мы жить не собираемся!

Да и стыдно нам будет жить хуже других, потому что крепко помогает нам государство: не говоря уже про другие машины, одних новых гусеничных тракторов наш район получил в этом году более тридцати штук. Это тоже надо понимать! А дела наши резво идут в гору. Урожай в этом году богатый, зяби напахали куда больше, чем в прошлом году, озимых наш колхоз тоже посеял гектаров на четыреста больше.

Уж если такую великую беду, как прошлогоднюю засуху, одолели, то теперь нам удержу не будет. Уж это точно!

— А вас, папаша, засуха, значит, тоже по ногам ударила? — поинтересовался шофер.

— Ударила, сынок, да еще как. Но с ног не сбила. На своей земле мы крепко стоим! Я так думаю, будь такая засуха в старое время, половина народа перемерла бы. Ведь как раньше в крестьянстве жили? Один с голоду пухнет, а у другого, богатея, полны амбары хлеба, и он пальцем тогдашней до народного горя и дела не было. Но теперь — другая история. Попали мы в беду при этой засухе — государство выручило, помогло хлебом, семенами. Ослабевших мы подкармливали, поддерживали, как могли. Вот и устояли. И народ весь сохранили.

А весной как работали! Иного ветром валит, а он в поле идет и работает из последних сил. Золотой же у нас народ, это тоже надо понимать!

...Мы выезжали из хутора на восходе солнца. На улице прямо и нежно пахло увядшей лебедой. С Дона тянуло сырым, холодным ветром. Тяжелые тучи шли так низко, что казалось, вот-вот зацепятся розовеющим подбоем своих крыльев за оголенные макушки высоких тополей.

Возле колхозных амбаров, несмотря на раннюю пору, былолюдно и шумно: двое стариков на грохотах подсевали хлеб, у крайнего амбара разгружалось около десятка подвод, пришедших, очевидно, с колхозного гумна. Здесь же стояла полуторка и высокий шофер в жарко расстегнутом ватнике и сбитой на затылок кубанке яростно накачивал колесо, беззвучно, но достаточно выразительно шевеля губами.

Километрах в трех за хутором, неподалеку от дороги, работал новенький, с еще не выгоревшей на корпусе краской трактор СТЗ-НАТИ. Следом за ним, прихрамывая, шел человек в шинели и, наклоняясь, замерял прутиком глубину вспашки.

Шофер наш весело указал на него, заулыбался:

— Вот он, председатель-то, вышагивает, как грач по борозде. Силен, хромой дьявол! Уж у него, небось, тракторист мелко не будет пахать и огрехов не наделает... Перед выездом ходил я про дорогу расспросить. Из любопытства заглянул и в амбары. Хлеба у них — ого! И народ этим Корнеем Васильевичем доволен. «Строго-ват, говорят, у нас старик, зато уж хозяин — красота! По справедливости всегда действует. И работа идет у нас отличным порядком: потому что он нас уважает, а мы его». Я на него пожаловался: остановились, дескать, у вашего хозяина ночевать, но, кроме беспокойства, — никакого удовольствия. Он сам всю ночь не спал по хозяйственным делам и нам не дал. А один дедок смеется: «Он у нас тревожный... Но под лежащий камень вода не течет. Если бы меньше тревожились, то за два года хозяйства не подняли бы».

Шофер, любуясь на превосходную озимку, широкими зелеными волнами уходившую к горизонту, сказал:

— Этого колхоза озимь. Какое добро вырастили! Корней Васильевич ночью все про народ рассказывал. А вот когда народ хорош и кто им руководствует хорошо, тогда и дело идет на красоту!

И, повторяя слова председателя, смеясь, проговорил:

— Это тоже надо понимать!

\* \* \*

Самый хищный в настоящее время американский империализм по-паучьи особенно мерзостно раздулся после второй мировой войны. Ему грозит неотвратимо приближающийся экономический кризис, пробуждение и нещадный гнев обманутых масс трудового народа Америки.

Чтобы отвлечь внимание этих масс от положения в своей стране, чтобы найти выход из тупика, они, американские империалисты, ищут своего спасения в войне. Они пытаются привить своему народу захватнические чувства, отравленной, лживой пропагандой

разжигают в нем стремления к «завоеванию мира», они всячески стараются возбудить ненависть к нашей Родине — стране, не так-то уж давно спасшей мир и цивилизацию от немецкого фашизма, главари которого некогда так же идиотски мечтали о мировом господстве...

В глазах американского народа лживые псы американских империалистов пытаются изобразить нас в печати и по радио беззащитными и слабыми — словом, легкой добычей для воинственных мальбруков из «Американского легиона»...

Один из многочисленных холопов американского империализма — Уильям Зифф — в своей книге «Два мира» приводит цифры разрушенных во время войны в нашей стране промышленных предприятий, городов и сел, стертых с лица земли немецкими оккупантами. С нескрываемым злорадством он пишет и о «160 миллионах акров плодороднейшей русской земли, выжженной немцами». Из этого он делает свой вывод: «Несмотря на великолепные качества русских войск, сомнительно, смог ли бы сегодня СССР выдержать потрясающий удар новой решительной тотальной схватки».

К сведению Зиффа и его хозяев с Уолл-стрита можно привести красноречивые цифры Госплана, опубликованные нашей печатью: валовая продукция всей промышленности увеличилась в 1947 году по сравнению с 1946 годом на 22 процента, сельского хозяйства — на 32 процента, а продукция земледелия — на 48 процентов. Валовой урожай зерновых культур вырос на 58 процентов, сахарной свеклы — на 190 процентов и т. д. Урожайность зерновых культур достигла довоенного уровня. Посеяно озимых на 3,5 миллиона гектаров больше, чем в 1946 году. Зяби поднято на 8 миллионов гектаров больше, чем в предыдущем году.

И на этих 160 миллионах акров земли, разоренной немецкими фашистами, о которой говорит Зифф, советские люди также вырастили высокий урожай. Хозяева Зиффа рассчитывали, что мы после войны и засухи пойдем к ним с поклоном просить хлеба. Не вышло. И впредь не выйдет!

В прошлом году на Дону я видел символическую картину: полузасыпанный окоп, рядом — немецкая каска, в окопе — прикрытый истлевшими серо-зелеными лохмотьями полужележащий скелет убитого гитлеровца.

Карающий осколок советского снаряда рассек ему лицо. Рот его с выбитыми зубами был полон плодородного чернозема. Из него уже тянулась к стенке окопа курчавая веточка повителя, унизанная голубыми и розовыми цветочками.

Да, у нас много плодородной земли. И ее с избытком хватит, чтобы набить ею рты всем, кто вздумает перейти от разговора о тотальных схватках к действию.

Об этом следует подумать и холопствующему Зиффу, и его хозяевам!

\* \* \*

Старейшая звеньевая колхоза «Новый мир», Старооскольского района Курской области, Пелагея Васильевна Мартынова, вспоминая черные дни засухи 1946 года, когда на глазах ее погибали хлебные всходы, говорила:

«Обидно было за труд, что он может пропасть даром. Но что наш труд,— засуха несла вред колхозу, всему государству! Было так больно, что, кажется, слезами своими напоила бы высохшую, потрескавшуюся от зноя землю!»

В числе большой группы колхозников Курской области, награжденных нашим правительством за высокие урожаи 1947 года, Мартыновой присвоено почетнейшее звание Героя Социалистического Труда. Отвечая на высокую награду, она сказала:

«Всю жизнь свою, день за днем, перебрала я сегодня в памяти. И детство свое вспомнила, и замужество. Были светлые, хорошие дни. Но такой большой радости, как сегодня, я еще не знала... Хочется работать больше и лучше,— и сколько ни сделай, все кажется мало, чтобы отблагодарить за такую большую заботу обо мне, обо всех таких простых, как я, людях».

Миллионы советских людей во всех областях нашей жизни трудились и трудятся не покладая рук, движимые одним могучим желанием: служить своей величавой Родине.

Милая, светлая Родина! Вся наша безграничная сыновья любовь — тебе, все наши помыслы — с тобой!

1948



408

## Александр Твардовский

### В РОДНЫХ МЕСТАХ

Больших лесов уже давно не было, а стояли, как у нас говорят, кормельки, откуда были и дрова, и жердь, и бревно на холодную и даже теплую постройку. Эти небольшие островки леса, разбросанные по взгорьям и разделенные где проезжей дорогой, где заболоченной лужайкой, где пахотным полем, очень украшали местность. Теперь этих кормельков нет, а вместо них пошло, как говорится, всякое лихо: кустарники, жирный малолетний осинник, высокая и глухая трава лесных пожарищ, крушина, полевая березка. Лихо это занесло старые вырубки, ляда и кое-где уже сомкнулось с темными зарослями бурьяна, дедовника и еще какой-то бурой дурной травы, в рост конопли, поднявшейся на пепелищах.

Лучше ехать дремучим лесом, веселее, чем этой пустыней непролазного волчьего мелколесья с редкими и печальными приметамы бывшего человеческого жилья. Там выглянет из зарослей груда обожженной глины — остатки печи из деревенского кирпичика-сырца, там — облупившийся, голый и потемневший, как кость, ствол яблони, там вдруг мелькнет маленькое, с неровными краями, зеркальце сажалки, а то, глядишь, обозначается старое сельское кладбище, и одиночество тех, что когда-то похоронены на нем, необычайно оттенено окрестным безлюдьем и тишиной.

И, наверное, лучше было бы не знать и не помнить, как здесь все было прежде, как хороша здесь была эта пора доброй осени с утренними дымами, встающими над лесом, с запахом сухой яровой и ржаной соломы, с постукиванием и скрипом колес по накатанным проселкам.

Не сразу осознаешь беспокойное и томительное ощущение, все сильнее вступающее в душу с приближением к тому клочку этой задичавшей и чужевой теперь земли, где прошло детство, где отцы и матери на памяти нашей еще были молоды... Это ощущение большого времени, предстающего точно в разрезе, со многими своими слоями...

Вот такую, должно быть, выглядела эта земля, когда значилась она по бумагам «хутором пустоши Столпово»

409

и когда впервые пришли сюда наши отцы в самом начале века. Они застали на месте срубленных еще ранее больших казенных лесов такое же дикое мелколесье. При них та часть этого мелколесья, что не пошла под раскорчевку, стала лесом, который мы помним с детства и после которого теперь вновь пошли заросли. Разница только в том, что отцы наши не видели здесь следов прежней жизни, не слышали даже дальних отголосков такой разрушительной и кровавой войны, да еще в том, что нынешнему мелколесью, может быть, уже не стать лесом...

Сердце настороже, оно избегает вбирать в себя всю силу множества ощущений и впечатлений, рвущихся к нему. Оно словно знает, что ему не справиться с ними сразу.

Едешь по этим заросшим красноватой муравой, неверным дорожкам и с мнимой легкостью пропускаешь места и местечки, освященные такой дорогой и незаменимой памятью. Памятью детских лет, ранней дружбы, первой книги, прочитанной здесь в годы хуторского пастушества, памятью первых приездов сюда городским гостем и, наконец, недавней памятью вступления на эту землю с частями одной дивизии в такой же свежий и ясный денек осени 1943 года.

Война обживает и преобразует на свой однообразный лад любую местность, любой край, а я это особенно остро чувствовал, когда подъезжал в тот день к родным пепелищам со стороны Ельнинского большака, вдоль которого шла дивизия.

Не говорю сейчас о волнении, с каким я ожидал того дня и наконец увидел древние, по преданию «екатерининские», дуплистые, частью усохшие либо обгорелые березы большака, близ которого пас когда-то коров, купался с ребятами, ходил по грибы. Но я помню, как меня томило и удивляло то, что все, кроме меня, шли по этим местам, как и по всяким иным, никак не отличая мое Загорье от тысяч других деревень и деревушек, что лежали на их большом боевом пути. И уже совсем странно и даже обидно мне было слышать привычные с детства названия искаженными перестановкой ударений. Я не вдруг уверился, что во всем этом ничего нарочито неуважительного или обидного не было. Просто — война.

Она лишает всякую местность ее особливого облика. Всякое своеобразие пейзажа, очарование того или иного уголка земли отступает на задний план перед одно-

образием военных дорог, изгибами и пересечениями траншей, уродством пожарищ, воронок, руин.

У войны своя память, свои приметы и сравнения.

Я ночевал в двух-трех километрах от пепелища моего бывшего дома на немолоченых снопах мокрой ржи, под кое-как натянутой плащ-палаткой, сквозь которую дождь сеял в лицо мелкой водяной пылью. И никак не мог настроиться на воспоминания детства: ночевок на сене или в поле, в ночном. Вспоминалось иное, ближайшее: где и когда я ночевал за войну, какой был обстрел, как приходилось похуже, чем под этой прошибаемой дождем плащ-палаткой.

Когда я в тот раз ступал по полям и кустарникам Сельца, Загорья или Столпова, в сущности, это не были они, поселения и земли, заключавшие в себе мир моего детства и ранней юности.

Это не было Сельцо, Загорье или Столпово, а были тылы дивизии, артиллерийские позиции наступающих войск, скрытное, но все же видимое многолюдье фронта с его порядками, бытом и всеми приметами, знакомыми по множеству других мест, где бывал я впервые в жизни. И отцовская сторона в тот день казалась даже более оживленной, чем сейчас, спустя два года, хотя тогда не все еще жители вышли из окрестных кустов и овражков, и меня на подворье узнала в лицо одна женщина — жена Кузьмы Иванова, нынешнего председателя колхоза, Пелагея Николаевна.

В особой обстановке той встречи, когда еще в трех километрах, за Огарковским болотом, шел бой, не могло так тесно и глубоко уложиться в душу все печальное, что я увидел своими глазами на Загорьевском подворье и узнал от оставшихся в живых односельчан. Этому мешали волнение и потрясение самой встречи, какая возможна поистине только раз в жизни.

Теперь, два года спустя, встреча была иной. Приехал человек в колхоз, как приезжал не раз до войны. И впечатление разоренности, бедности, голого человеческого горя, оставленного немцами на этом подворье, почти без всяких помех наполнило душу. Оно было тем сильнее и собраннее, что теперь уже были видны первые признаки возрождения жестоко и дико поломанной и потоптанной жизни.

Они, эти признаки, еще как те жидкие деревца, что посажены на могилах, только-только принялись и еще не

могут скрыть своей тенью осевших от дождей потрескавшихся от ветра бугров...

Перед глазами у меня пустынное, неровное поле, где пепелища бывших строений обозначены зарослями бурьяна, дедовника и крапивы, обвалившимися ямами погребов и еще приметными щелями, в которых загорьевцы укрывались от немецкой авиации.

На этом поле десяток избенок под соломенными, толстыми, необлегшимися крышами с торчащими в сторону будущих сеней концами решетки. Вместо сеней соломенные, на один скат, полушалашики. Я не знаю строения печальнее и непригляднее избы без сеней в открытом поле. И все, что стоит на усадьбе колхоза, спланированной и застраивавшейся здесь еще до войны, стоит так, что трудно определить хотя бы главный порядок поселка.

Только видя это, можно понять, как дорого здесь всякое усилие рук, всякое, хотя бы малое умение, каждый отесанный и положенный в связь с другими отрезок дерева, каждый столбик, вкопанный в эту оголенную и приунывшую землю.

На ней — все сначала: с какого ни есть закутка, с куска дикой глины, обформованной в самодельной формовке, с колышка, затесанного топором.

Дует несильный, но уже захлаживающий ветер; шуршит невыкошенная и мало потоптанная скотиной, обчесанная ветром, сухая трава; доносится глухой и не в лад прерывающийся стук вальков на току — сыро-молотом оббивают лен; повизгивает и поет где-то под одним из соломенных полушалашиков тоскующий поросенок; с тонкой хрипотцой, силясь изо всей мочи, возглашает что-то печально-деловитое петушок-однолеток...

Мы сидим с Мишкой Мартыненком на бревнышке у нового, только что заведенного под крышу сруба. Левая нога Мишки в тяжелом солдатском ботинке лежит, упираясь каблуком в землю, протянутая так, словно он собрался поискать чего-то в глубоком кармане заношенных ватных штанов. Она кажется длиннее его здоровой ноги, точно чужая, и я невольно думаю, как, должно быть, хлопотно с этой ногой залезать на леса постройки, на крышу.

— Неужели все сам, Михаил Мартыныч? — спрашиваю я, называя так Мишку потому, что передо мной пожилой, усталый мужчина с занесенными седой щетиной щеками и подбородком. А помню я его молодым парнем,

еще игравшим с нами, ребяташками, в лапту на Святой неделе. — Неужели все сам?

— Ну, как же не сам? Сам. Оно же и видно, что сам. — Он улыбается, как будто конфузясь за свою работу. — Сам, брат.

Говорит он медленным добрым баском, с нарочитой важностью, смягчающей невольную похвалу себе.

— Отвага, — говорю я, пытаюсь поощрить Мартыныча к более подробной беседе о его первом опыте плотничества.

— Да нет, какая отвага! — возражает он. — Жить надо, а негде. Видал, как мы с Фрузой живем? Банька — она же ветхая, волков боязно, ночью придут, разорят...

Мне знакома в его речи манера своеобразной угрюмой шутки, и последнее замечание я считаю к делу не идущим, хотя уже порядочно слышался здесь о волках. Я хочу попытаться, как все-таки он отважился взяться самостоятельно за постройку избы, не будучи плотником, и как он справлялся с этой задачей. Известна поговорка, что всякий мужик — плотник, но практически это означает не более, как умение загородить какой-нибудь хлевушек, сменить прогнившую половицу в сенях, собрать готовую постройку, размеченную бревно за бревном на старом месте.

— Ну что ты хочешь, — с усталой и грустной рассудительностью, оставляя шутливый тон, говорит Мартыныч. — Пришел вот в прошлом году с этой лялькой, — показывает он на свою ногу, — жить негде. Ну и давай я думать, как строиться. Кузьма говорит: «Леску подтянуть поможем, а больше что ж? Ты не плотник, и я не плотник. Ты инвалид, а я уже стар, мне и председателем бегать через силу». И верно. Ну, начал я строиться. А хорошо сказать — начал. Начни — закурить надо для начала, а покамест огня добудешь...

И как бы желая показать начальную трудность строительства, Мишка достает кремень, кресало, мягкий тряпичный шнур, продетый сквозь гильзу обрезанного винтовочного патрона, и начинает высекать искру.

— Нет, — он отстраняет мои спички, — ветер, с одной все равно не прикуришь. — И, поймав искру на кончик шнура, машет им, чтоб гуще затлелся, и наконец подносит к потухшей у него в зубах папироске. — Вот, брат. А какой же я, правда, плотник? Сроду не был. Но, думаю, нет же таких крепостей, — продолжает он опять с той же

нарочитой важностью,— нет же таких крепостей... Я вот на войне шофером стал и машину с пушкой водил почем зря, а до войны понятия не имел за баранку сесть.

И начинается неторопливый его рассказ с оттенком даже некоторого удивления перед собственной дерзостью. Точно человек сам до сих пор не может поверить, что изба, стоящая рядом, настоящая изба с четырьмя углами,— действительно дело его рук, его смекалки, терпения и хитроумия по нужде.

Я смотрю на серый от дождей осиновый сруб, густо законопаченный бледно-зеленым мхом, на довольно аляповатые углы «в чашку», на низко спущенные застрехи соломенной крыши — колосом вниз — и вижу, может быть, еще более того, что рассказывает мне строитель. Я читаю эту историю возведения дома от первого до последнего венца и до гребня крыши человеком, не имевшим ни опыта в этом деле, ни порядочного инструмента, ни, наконец, достаточной физической силы. Ни одно бревно не легло само на место,— его нужно было окорить, окантовать, поднять, перекатить, впустить в чашки углов и вновь вывернуть, выбрать в нем паз так, чтобы оно плотно пришлось по нижнему, горбылем легло в выемку, кривизной было пригнано по кривизне,— словом, нужно как бы надеть это бревно на бревно, пригнать до неподвижности. И если настоящему плотнику приходится вволю понянчиться с каждым бревном, то во сколько раз увеличивалась и осложнялась эта работа для человека, взявшегося за топор плотника впервые...

Мы обходим избу вокруг, и разговорившийся Мартыныч уже спешит предупредить иное мое замечание или даже мысль, возникающую при осмотре строения. Похоже, что он, такой спокойный, рассудительный и не обольщенный своим мастерством человек, все-таки не хочет оставить ни одного изъяна или упущения, не показав, что он знает о них.

— Угол, конечно, не по шнуру, но он еще и не обрезан как следует. Это не главное. Лишь бы стены ровные. Осина. Виду она не имеет,— не ель, не сосна. И цвет — чуть намокла из-под коры, потемнела. Виду того нет. А лежать — под крышей сто лет пролежит. Дожди, знаешь, дня не было, чтобы не пробрызнул. Ослизнет бревно — жди, покамест опять обвянет, а то за него и не возьмись. Да с кем взяться? Малец меньший поможет, а то Фруза, когда свободна. Она и рада и готова, но

одно, что женщина, а другое — больная рука. Другой раз тащим с ней бревно: она правой рукой не может взяться, а я на левую ногу опереться избегаю, а тяжесть — двум здоровым мужчинам впору. Ну, поглядим друг на друга — два калеки, засмеемся с горя, но только смех, сам понимаешь, какой. А Фруза, глядишь, и в слезы, у нее это сейчас... Да я и о себе скажу: слаб стал, тоже вспомнишь...

Я знаю, какую незалечимую рану в сердце носят они со своей Фрузой, но он обрывает на этих последних словах, сказанных почти шепотом, и, справившись с собой, ведет дальше речь о постройке.

Я слушаю этого с детства знакомого мне человека, о котором знаю почти все, что можно знать о деревенском жителе. Работящность и несколько угрюмая положительность отличали его с давнишних колхозных времен. Замуж за него вышла Фруза, девушка грамотная, красивая и любительница читать книги. С годами они сжились, хватили вместе всего, что приходится на долю обзаводящихся своим домом молодых по выделу из общего двора. Пошли у них дети, и дети были на радость. Старшая дочь их, Женья, помню, удивила меня, когда приехал я сюда незадолго до войны, и своим редкостным сходством в лице с матерью, и редкостной жадью к учению, к книжкам — опять же материнской чертой. Помню, разводит девочка самовар, а огонь в нем что-то не берется, и она, раскрасневшись, голубоглазая, темнобровая, как Фруза, стоит над ним, чуть вобрав голову в плечи, с застенчивостью не то связанностью, за которой легко угадывается материнский характер, крепкий, порывистый и добрый. И помню, как она, помогая матери собирать на стол, по одному взгляду ее срывалась с места что-нибудь принести, подать, убрать. И всякий раз девочка возвращалась к книжке, раскрытой на подоконнике.

В сорок втором году в мой фронтowej адрес как-то дошло письмецо Михаила Худолеева, лежавшего тогда в госпитале после ранения. Не жаловался он ни на что, но тоска по своим, оставшимся под немцами в полной безвестности, горечь солдатского сиротства проникала все это письмецо.

А в сорок третьем году я по случайности попал в дивизию, которая шла на Смоленск и очищала от немцев мои родные места. Фрузы я в Загорье не встретил,— сказали, что она, спасаясь от угона в плен, подалась



с младшими детьми к какой-то далекой родне. А про Женю я узнал, что она помогала партизанам. Какая это была помощь, в подробности неизвестно, но когда стала гореть изба Худолеевых, подожженная немецкими карателями, то начали рваться патроны. Немцы, видя такую улику, стали загонять людей в огонь, стреляя из автоматов. И Женя кинулась к ним, что-то крича по-немецки и заслоняя собой остальных женщин и детей. Что она кричала, никто тогда разобрать не мог. «Она была такая гордая и так их всегда ненавидела», — вот в точности слова, которые я много раз слышал от моих односельчан о Жене. Похоронена она вместе с другими расстрелянными на огороде, неподалеку от того места, где теперь стоит сооруженная ее отцом изба...

И, читая историю этого дома по его венцам, я невольно диву даюсь: какая сила, какое терпение и стойкость духа нужны для того, чтобы, не хвастаясь бедами и еще с нередкой добродушной усмешкой над своим рукодельем, справиться с этим сложным, длительным, тяжелым трудом, который выпал человеку после всех мук и трудов на войне, после таких испытаний горя!

«Хороший ты человек, Михаил Мартыныч, — хочется мне сказать ему, — надежный человек...»

Но мы продолжаем осмотр избы, и я воздерживаюсь от какой-либо похвалы вслух, опасаясь, что она помешает серьезности и дружелюбной доверчивости, с какой Мартыныч все мне показывает и поясняет.

Порог дверей кажется слишком высоким оттого, что ступать через него приходится прямо с земли — вместо сеней только навес, притороченный одним краем к стене избы, а другим опирающийся на полуметровые столбики.

Притолоки дверей отструганы без особого блеска, и дверь к ним придется еще пригонять. Мартыныч признается, что в отделочных работах он не мог достигнуть настоящей нормы.

— Топор, один топор. Хоть бы тебе долотечко, стамесочка, — ничего! А тут уж требуется тонкость. Вот хоть бы и потолок, — он указывает мне на то, что я уже заметил и о чем не сказал, чтоб не огорчить мастера, — маленький я ошибся: средние матицы положил чуть выше, и потолок, видишь, посредине выше, чем по краям. Но я думаю, что беды большой нет...

— Воздуху больше будет, кубатура расширяется, —

с ходу вступает в нашу беседу председатель колхоза Кузьма Иванович.

Человек это еще бодрый и более подтянутый, чем мужики в его годы, хотя отпустил уже порядочную серобарашковую бороду. В молодости он живал в городах, работал полотором, и, должно быть, следующая его шутка, с которой он переступает порог, говорится уже не в первый раз:

— Поторапливайся, Мартыныч, стели паркет, по знакомству полы натру — будешь благодарить.

И Мартыныч возражает, как, может быть, не раз уже возражал на эту шутку:

— Спасибо, Кузьма Иваныч. Паркету настругать до зимы уже не успею, а вот если ты мастер коровьим дерьмом с глиной полы мазать, то прошу.

Оба смеются. И, обращаясь уже только ко мне, Мартыныч вздыхает без особого огорчения:

— Полов мостить нынче не буду. Сил не хватит.

И я только теперь соображаю, что доски для потолка не пиленые, а тесаные, и, чтобы получить две потолочины, человек должен был очень удачно расколоть чурбан надвое и все лишнее с этих плашек согнать топором в щепки. Так делали доски до изобретения продольной пилы. И Мартынычу пришлось наново постигать этот забытый человечеством способ.

— Поначалу, — говорит он, — полдня на доску уходило. Обтобью шнуром линию, тешу-тешу — нет, обязательно криво получается. А теперь наладился — как по струне иду.

Это сравнение показалось мне отчасти смелым, когда я разглядывал потолок, напоминающий поверхность фронтальной дороги, мощенной расколотыми надвое бревнами, но оспаривать не хотелось.

Мне все более естественным казалось определить возведение этого незатейливого избяного сруба как некий подвиг. Подвиг простого труженика, хлебороба и семьянина, пролившего кровь на войне за родную землю и теперь на ней, разоренной и приунывшей за годы его отсутствия, начинающего заводить жизнь сначала, с жилья для своей семьи. И вот еще одна новая изба на колхозной усадьбе, отрядный знак возрождения жизни на этих опустошенных оккупантами землях...

— Значит, Мартыныч, — заключает Кузьма по-хозяйски, — теперь у нас есть свой плотник. Сказался. А то

беда — никаких специалистов. Думал, пропадем совсем. — И в этом его выводе прямое житейское признание подвига Михаила Худолеева.

— Зачем пропадать? Нет! — отзывается на слова председателя Мартыныч и с какой-то, казалось бы, несвойственной ему лихостью провозглашает: — Жить будем, Кузьма Иваныч!

— Да, будем, Михаил Мартыныч, будем. Только, знаешь, забежал я сюда, сижу с вами, а сам еще в десяти местах нахожусь. Хозяйство. Крутись как хочешь. Поспевай: ах, туда, ах, сюда! И везде Кузьма нужен, а Кузьма один, и ноги у него уже не те... Вот даже и сюда, к Мартынычу, забежать надо: как он тут у меня мучается? Хоть я ему особо помочь не могу, а надо! И на ток надо. И вон там дед крышу кроет на амбаре — надо забежать, а то он прозябнет, слезет греться, а потом его опять поднимай. А-а?..

Но хотя при этом Кузьма Иваныч сорвал с себя шапку, сокрушенно махнул ею и умолк, как бы показывая, что, мол, все равно вы всего не поймете, — в его добрых, голубых, по-стариковски подернутых слезою глазах выражение обиды и раздраженности дополнилось оттенком смиренной и вместе горделивой озабоченности.

— Пойдемте, товарищи, — говорит Кузьма Иваныч, надевая шапку, — закусим чем бог послал. Бабы там собирают чего-то. Я, признаться, уже и за горячим спосылал. — И заторопился объяснить, что это близко, лавка в Станькове, через болото.

— Кругом если, так это вон где, Станьково. Куда к черту! А оно — вот оно, Станьково-то. Раз — и там...

— Ну что ж, пойдемте, это ничего, хорошо. Только другой раз приедешь, то уж давай у меня, в моем, так сказать, новом доме.

\* \* \*

Я вскоре простился с односельчанами, и бедная усадебка колхоза с застроенными и незастроенными пепелищами, с могилами Жени Худолеевой и других расстрелянных немцами людей моего родного угла осталась уже далеко позади. Но впечатление от всего, что я видел там, неотступно сопровождало меня вплоть до выезда с поселков на шоссе, ведущее в Смоленск, и в самом Смоленске. И за первым планом того, что мне кидалось

в глаза на улицах города, неизменно стояла худолеевская изба.

Я знаю этот город с детства, с той поры, когда он еще не имел для меня иного названия, чем Город.

Я помню гораздо полнее и отчетливее, чем многое другое и не столь отдаленное во времени, свои первые поездки с отцом в этот город, еще единственный для меня, на телеге с картофелем или еще каким сельским товаром, — случалось это обычно по осени. Яркое сентябрьское солнце скромно и ласково грело землю, дорогу, ольховые кусты с застаревшей летней пылью на шершавой, изъеденной мошками листве. Ездили мы по Ельнинскому большаку, но верстах в шести от Смоленска мягкая дорога кончалась, шел булыжник Киевского шоссе, — грохот этой нескорой, тревожной и утомительной езды уже означал собой город.

Со стороны этого шоссе он открывается слишком медленно и, как говорят, вида не имеет. Гористый, овражистый, застроенный по уступам, он лучше всего выглядел со своим белым собором, темно-коричневой старой Стеной, когда, бывало, подъезжаешь к нему поездом. Ровная линия Днепра, лежащая вдоль привокзальных путей, выгодно подчеркивала изломы зеленых высот, выносящих дома и домики, церквушки и башни Стены вверх-вверх, так, что казалось — каждое здание города видишь целиком...

Дорога, по которой я возвращался из деревни в Смоленск, памятна мне еще особым, горьким и радостным волнением. Это Рославльское шоссе, откуда осенью 1943 года я увидел руины родного города, заволоченные дымами свежих пожаров, в день его освобождения.

Я не видел Смоленска в первое лето войны, когда гитлеровцы жгли и разрушали его с воздуха, и для меня город в этот день выглядел так, словно бы он, не потухая, горел все эти два с половиной года. И казалось, что даже за такой срок непрерывной разрушительной работы огонь не сделал бы больше того, что можно было видеть глазами, знавшими город в целостности. Не хочется все это вновь описывать. Насколько разнообразны и примечательны — каждый по-своему — города при жизни, в своем цветении, настолько похожи и скорбно однообразны они в своем уродстве, причиненном войной. Тяжелая, едкая пыль от взорванных зданий, безобразные

конусы щебенки, наваленной с высоты первых и даже вторых этажей до середины улицы, стены с черными дырами выгоревших окон — все это видано и перевидано в своем удручающем однообразии. И, пожалуй, эта картина была по-своему еще печальнее тех зарослей и опустошения, что встретили меня в деревне.

Но нынче в первый раз я подъезжал к городу еще с одной, новой стороны — с Минского шоссе, откуда идет гладкая, под стать самой магистрали, десятикилометровая ветка. С высокой Покровской горы, приходящейся, пожалуй, вровень с главами собора, с того берега Днепра разрушенный Смоленск виден почти так, как я видел его с самолета У-2, пролетая здесь, когда фронт был еще неподалеку. Сверху кажется, что в городе нет ни одного уцелевшего здания. Но стоит спуститься к железнодорожному переезду — и город виден, как из окна вагона, когда московский поезд минует Сортировочную.

И отсюда он, как ни очевиден с первого же взгляда разрушения, как ни оголены склоны и уступы холмов, застраивавшихся большей частью деревянными домами, он — Смоленск!

Смоленск в своей суровой и печальной красе города — страдальца и воина, как будто постаревшего на сотни лет и снова из глубины веков несущего на себе это выражение суровости и печали, свидетельство пережитых испытаний. Ему действительно не в новинку и выгорать дотла, и быть опустошенным, стоя на этом исконном пути иноземных нашествий, устремлявшихся на Москву и Россию. Но все то уже смягчено было давностью, и для людей, живших в нем перед немецким нападением, он со своей Стеной не был только памятником, внушающим неизменно ощущение древнего времени, бывалых бедствий и славы. Он был просто городом, жилым домом, а не музеем. И тем внушительнее теперь его облик, как бы возвращающий нас ко времени польской осады или наполеоновского вторжения — событиям, запечатленным на камнях той же Стены, которая перестояла и немецкие бомбардировки.

Очень трудно передать то волнение, с каким человек приближается к городу, который был ему городом за все города, в котором он жил, учился, начинал думать о жизни широко и смело, как думается о жизни в юности. Такое чувство, как будто боишься узнать о чем-либо очень

печальном или ждешь большой радости, которая должна вот-вот наступить...

Новый мост, сооруженный саперами на месте взорванного, ведет прямо в пролом Стены, и его настил смыкается здесь с мостовой главной улицы города — Советской. Она поднимается вверх, к центру, оглябая подножие Соборной горы. Изношенные ступени лестницы, ведущей к главному входу в собор, начинаются от самого тротуара. Потемневшие плиты белого камня, обозначенные прорастающей в щелях меж ними травкой, — они не постарели, они все те же, что были, — старые, неровно вытопанные, по форме напоминающие какие-то каменные чаши.

Правый тротуар улицы идет по краю глубокого оврага. Прежде и этот овраг был живописен: по склонам его лепились домики, садики с лестничками и тропинками вкривь и вкось снизу доверху. В глубине оврага, при его выходе к Днепру, есть старинный колодец, откуда весь город, лишенный водопровода, носил воду при немцах и в первые месяцы по освобождению — в ведрах, в чайниках, консервных банках. Выше овраг заслоняют дома-коробки, частью уже приспособленные под жилье.

Я специально проверил в этот свой приезд одно наблюдение, очень поразившее меня здесь в первый день после немцев.

Через пустые окна дома на левой стороне улицы, мне помнится, я тогда увидел Днепр, хотя прежде он никак не мог быть виден отсюда. Теперь какое-то ожившее на втором плане строение заслонило этот пролом, и река опять скрылась. Как будто что-то стало на свое место, и это ощущение было отраднo. Это примерно то же, как если бы увидеть избу Мартыненка или иную избу на Загорьевской усадьбе уже с пристроенными к ней и покрытыми под одну связь сенями, чтобы дверь открывалась не в поле, а по-обычному и привычному — в жилой полусумрак пристройки...

В нескольких метрах от центрального пункта в городе — Часов — остается поворот вправо — Козловская гора. С этой улицей, начисто выгоревшей и разрушенной, у меня связано одно из самых дорогих и знаменательных на всю жизнь воспоминаний.

Там однажды я сидел на возу, не выпуская вожжей из рук, ожидал отца, скрывшегося за калиткой одного из

домов, и читал и перечитывал вывески. Одну из них запомнил так, что мог бы и сейчас нарисовать ее, расположив буквы и слова точно, как они располагались на ней, — дужкой от одного нижнего края вверх и до другого нижнего края: «Клуб поэтов». Мальчиком я писал стихи и, зная, что все известные мне поэты давно умерли, чувствовал себя в этом смысле одиноким на свете...

Часы! Знаменитые смоленские Часы на углу Советской и Пушкинской — главном перекрестке города, пункт, по которому определялись все направления и расстояния в городе: «от Часов», «пройдя Часы», «не доходя до Часов». От них осталась одна заржавевшая металлическая оправа с закопченным циферблатом.

В первую зиму здесь на каждом шагу тебя преследовал такой удручающий звук: скрежет оборванной огнем жести, скребущей по жести, либо камню, либо по обгорелой балке. Висит где-нибудь на высоте третьего-четвертого этажа лист кровельного железа, оборванного и полусвернутого в трубку, и бубнит, скрежещет, грохочет там, сверху.

Нынче я не услышал этого звука нигде в городе: нигде не висит зря ни одного обрывка жести, — они где прилажены на своем месте, где вовсе сняты и пошли в дело при возведении окраинным жителем какого-нибудь домишка, сарайчика или оградки участка, отведенного под застройку.

В центре города мертвых домов-коробок все еще остается больше, чем их возвращено к жизни. И нельзя представить себе, чтобы то, что возводилось, строилось и надстраивалось, лепилось, теснилось стеной к стене в течение многих десятилетий и даже столетий, могло быть восстановлено хотя бы в своей главной массе в каких-нибудь два года. Да еще из этих двух нужно вычесть те добрые полгода, когда фронт находился неподалеку, на линии Орша — Витебск. Еще весной сорок четвертого года город пережил несколько жестоких налетов немецкой авиации, и ее бомбы падали не только на руины трехлетней давности, но и на те считанные в городе здания, что уцелели от всех прежних бомбардировок.

Вглядываясь в то, как опустошенные и обезображенные огнем стены больших домов там и сям на протяжении улицы вновь приобретают жилой вид, начинаешь понимать, какая это тяжелая, сложная и многослойная

громада — старинный город. Медленный, непрерывный, необозримый в своем объеме труд многих поколений людей! Время, обнимающее собой и первый камень, заложенный на месте Свирской церкви, одного из древнейших памятников русского зодчества, и нынешнюю кирпичную кладку, выравнивающую и ведущую вверх какую-нибудь выщербленную взрывом и закопченную огнем стену дома.

И есть особое удовлетворение в том, чтобы разобраться в унылой неразберихе разрушенных кварталов, найти свой ряд и план восстановления. Там — осветить вновь остекленные окна отремонтированного дома, а в ряду с ним хотя бы убрать щебенку и кривые, горелые балки, торчащие из развалин, а если не под силу, то хоть протянуть порядочный забор до следующего ожившего или оживающего здания. Там — образовавшийся на пожарищах деревянных домов пустырь ограничить стройным рядом молодых деревьев, посаженных в линию с улицей. Один дом будет точно таким, как он был до войны; другой только частью своего корпуса может быть возвращен в строй улицы или квартала; остатки третьего будут убраны. Но в этом незаполненном порядке отрадно угадывать закономерность и обязательность заполнения и будущей завершенности.

Можно все это сравнить с картиной строительства нового города среди нарытой земли, котлованов, груд леса и кирпича, зданий, уже поднявшихся от земли, и еще только заведенных фундаментов.

На окраинах города возобновление его выглядит еще более отчетливо. Там заново возникают небольшие, но довольно опрятного вида каменные домики вперемежку со стандартными деревянными домами разных типов и редкими, целиком сохранившимися либо уже восстановленными зданиями прежнего Смоленска...

Если думать, что жилые стены за долгое время вбирают в себя какую-то частицу тепла человеческой жизни, то, несмотря на дожди и метели, прошедшие за эти годы над руинами, сколько этого тепла и даже запаха прежней жизни заключено в новой кладке стен из кирпича, собранного на развалинах!

На эти дома глядишь с какой-то иной пристальностью, этот кирпич уже не просто кирпич — сформованная и обожженная глина, — на нем отпечаток старины, многолетней, порой многовековой службы, какая прихо-

дится на долю городского камня. Он и с виду не такой. В одной стене укладываются кирпичи таких различных по возрасту и назначению зданий — от современного, советской поры дома до старинной церкви. Они разного цвета: то более темные, если положены наружу той же стороной, что и прежде была наружу, то с белыми пятнами цемента или известки, то бурые, то коричневые, то серые. Незатейливостью кладки и цветом домики эти немного напоминают постройки, какие бывают у нас на юге — например, в Крыму. Строят их, как правило, те люди, что будут жить в них. Не один только Михаил Мартыныч, говоря «мой дом», будет произносить эти слова в их прямом, буквальном значении. Один домик глядит получше, на других заметнее отсутствие профессионального опыта: там стена не очень ровная, осела или раздалась, выпятившись вбок... Но таких совсем мало; должно быть, это самые первые образцы строительной самодеятельности.

Еще за редкость можно увидеть на этих семейных стройках мужчину, все это, по преимуществу, дело рук женских.

За Никольскими воротами, у Чертова рва, на стройке одного дома, поднявшегося уже так, что кирпичная кладка сомкнулась над проемами, оставленными для окон, я увидел человека, который укладывал кирпич с заметной сразу же привычной ловкостью и даже легкостью. На мои вопросы он отвечал, не оставляя прилаживать один кирпич к другому и зачищать мастерком серую, замешанную на песке глину, что шла за цемент:

— Демобилизовался. Ехал, знаете, на родину. А тут у меня знакомые. Хотел у них узнать насчет своей семьи, потому что сведений никаких не имел. А тут они строиться начали, просят помочь. Я решил помочь, потому я хоть и не каменщик сам, штукатур, но дело мне это знакомо. Решил помочь.

Внутри постройки стояла еще не старая женщина и подкапывала лопатой раствор из песка и глины. Мне показалось, что она усмехнулась, слушая демобилизованного воина.

— Да, решил помочь вот,— заключил он, быстро и связно коснувшись и своей службы на войне, и прежней работы по специальности.— Решил помочь. Почему не помочь.

— Скажи лучше,— сказала вдруг женщина, усмехаясь, но не отводя глаз от работы,— скажи: нашел тут себе одну, и прижился, и дом стал строить...

Солдат не был польщен этим замечанием, как это могло бы быть с более молодым и более лихим на словах и в подобных делах человеком. Он заметно даже смутился.

— Да нет, что там! Просто, я говорю, ехал, а они мне знакомые. Ну, решил. Ну и живу покамест тоже, потому что где же приютиться. И о семье мне тут нужно еще хлопотать.

— Нашел, нашел, понравился тут одной. Что ж, специалист. Хоть кому так годится.

Я спросил, не она ли и есть эта «одна», привлекающая воина.

— Нет, где уж! — вздохнула она, может быть выражая сожаление, что все это только шутка.— Муж у меня тоже на фронте погиб. Трое детей, мать. Мы здесь раньше жили. А он, правда, помогает.

— Давай раствор,— прервал он ее,— чуть бы погуще надо, а то не вяжет...

И этот маленький, случайный пример доброго рабочего содружества солдата, еще не нашедшего своей семьи, и солдатки, потерявшей на войне мужа, опять привел мне на память избу Мартыненка, построенную самолично, и многое из того, что видано, слышано и передумано за эти годы великих утрат и великого утверждения нашей жизни...

За этим рвом — границей городской окраины,— совсем неподалеку от этой вновь возникающей городской улочки, уже виднеются светло-желтые соломенные крыши новых сельских построек.

А подальше, за горизонтом, не видимый отсюда, копается на новостройке неторопливый по нужде, обремененный инвалидностью, усердный труженик, недавний воин, Михаил Худолеев, представляющий в своем маломощном колхозе его строительную бригаду...

Но все вместе — и пятиэтажные здания, восстанавливаемые в центре Смоленска силами профессиональных строителей, и модельные кирпичные домики новой городской окраины, и вновь отстроенный порядок пригородной деревушки, и Мартыненкова изба, ровесница не только этихстроек, но и крупнейших послевоенных сооружений в стране,— все это вместе панорама велико-

го всенародного труда, пришедшего на смену такому же великому воинскому труду.

Я взял самые крайние по маломощности, если их рассмотреть в отдельности, образцы этого труда, то, что мне случилось увидеть на моей смоленской родине, в деревне, в городе. Человек, посещающий родные места спустя годы — и какие годы! — после того, как он жил там, по-особому заинтересован во всем, что он видит. И приметливость у него, должно быть, несколько иная, чем у человека, впервые видящего этот город, это сельское подворье, или человека, видящего их изо дня в день.

Каждый дом, и каждый жилой закоулок, и каждое пепелище города или села, видевшего войну, — это разнообразие судьбы людей, целые истории любви и разлуки, невозвратимых потерь и разнообразных встреч. Никогда люди, каждый в отдельности человек, не видят столько новых людей и так легко не сходятся с людьми, как во время войны.

Мой родной город — он иной, хотя я и встречаю на улицах иногда знакомые с прежних лет лица. Многие из тех, что ушли отсюда в первые дни и недели войны на запад или на восток, не вернулись сюда. Многие оставшихся здесь мы не застали, когда город был возвращен стране. Много здесь и людей, заброшенных сюда какими-либо путями войны. И для того, кто начинает здесь жизнь, город иной, чем для того, кто вступал здесь в жизнь когда-то, в довоенные годы.

Но город в целом начинает ту полосу своей возобновленной жизни, когда все уже течет привычным порядком — и движение на улицах, и толчея возле тесного здания кинотеатра, и будний и праздничный день с их приметами. Только заезжий и относительно досужий смолянин ходит здесь неторопливой походкой, заглядывается на развалины, припоминает, что где было когда-то и чего не было, задумывается над чем-нибудь, не идущим к его сегодняшней заботе и делу. Людям, что живут здесь и обживают этот город, уже это привычно. Они и по этим улицам, расчищенным от обломков зданий и осенным по преимуществу еще холодными стенами погубленных домов, ходят так же, как ходят люди в любом городе в магазины, в баню, на работу и с работы...

1946



426

Леонид Леонов

В ЗАЩИТУ ДРУГА

1

Когда мы думаем о родине, взволнованный строй мыслей встает перед нами. Никто не перечислит их даже с приблизительной полнотой. Пришлось бы вспомнить всю, битва за битвой, историю страны и наши собственные, удар за ударом, усилия, создавшие ее нынешнее могущество. Однако не одни лишь курганы поля Куликова или индустриальные накопления пятилеток возникают в памяти при упоминании о родине. В воображении предстают и спелые нивы в синих перелесках, заветная рощица детства, где безгонорарно концертирует какая-то милая пичуга, — хоромы дремучих лесов, наконец, в тишине которых созревают благодетельные дожди, поильцы урожая... И кто знает, что было предсмертным видением советского солдата, сраженного при взятии рейхстага, — заплаканная мать, или дымный призрак Днепра, или одинокая русская березка на колхозной меже?

Отрадно сознавать, что возвращается улыбка на материнское лицо, что снова начинают шуметь днепровские турбины. И хотя много у нас иных, первоочередных задач, поговорим о березке!.. Ни один начинающий поэт не миновал описания ее прелести, ни один ребенок не обходится без новогодней елочки, да и мы сами, пожилые хозяева советской земли, страсть любим спеть на пирушке про то, как одна рябинка клонилась на грудь старого дуба. Таким образом разговор распространяется и на всех березкиных родичей. Обсудим сообща, как живется им на Руси, и чем, помимо ласкательных именовании, платим мы им за беспорочную службу, и, в частности, почему помянутая рябинка так тянулась поближе к дубу, хотя ей выгоднее было бы иметь собственную жилплощадь под солнцем.

Много им досталось в наших стремительных буднях. Поредело зеленое племя... Вчерашние саперы с болью вспомнят километры противотанковых лесных завалов. Грандиозная стройка с каждым годом умножает расход деловой древесины. Но не в том дело, что звенит топор

427

на Руси и круглосуточно поют электропилы; неисчерпаемы наши лесные запасы и — доброе утро вам, советские лесорубы, которые по ледяным дорогам гонят родине стены новых изб и опалубку рабочих дворцов, лес, корабельный и крепезный, шахтный лес, сырье на шелка и бумагу!.. А в том суть, что, как выяснилось на одной сессии Верховного Совета, у нас действуют семьдесят фондодержателей леса, то есть лесозаготовительных организаций, но что-то редко попадают отчеты о ходе восстановления нашей лесной казны. При мне однажды вырубалась на дровишки древняя, чуть не гостомысловых времен, дубовая роща, хотя пришло время подумать об освоении для этой цели, если не более отдаленных лесосек (транспорт!), то по крайней мере местных топливных залежей. Сломить башку немецкому фашизму — предприятие более громоздкое, чем наладить производство механизмов для брикетирования торфа: справимся! Вкус щей от этой замены не испортится, зато сбережется зеленое национальное богатство, имеющее в нашей полосе первостепенное климатическое значение.

На протяжении прошлых веков мы черпали из этой зеленой чаши без опаски, что когда-нибудь обнажится дно. Мы не церемонились с лесным соседом, сказавшись наследственная неприязнь к нему предков-древлян, которым приходилось отвоевывать посевные площади у леса. Но пусть теперь профессора лесных наук расскажут в цифрах о нашей лесхозной культуре, о среднем обороте дерева, заметно сниженном за последние полстолетия, и, прежде всего — правда ли, будто обезлесенные при царе заволжские пространства пагубно повлияли на годичное количество осадков в европейской части России, а подмосковные суховеи — лишь авангард наступающих Кара-Кумов. Эти скучные ведомственные заключения должны стать достоянием народа, — глядишь, может быть, возникнет со временем разговор о восстановительной зеленой пятилетке, которая подремонтит побитые войной леса, оденет высыхающие водоемы, накроет прохладной и беспыльной тенью наши шляхи и шоссе, как проделали это деды на старинных трактах — Калужском, Смоленском, Черниговском. Чем скорее прозвучит такой сигнал, тем больше процентов еще на своем веку мы получим от этого неминуемого капиталовложения...

А пока подумаем о той героической березке, которая из привольных питомников и заповедников пришла украсить города обширной российской периферии. За малыми, хотя и блистательными исключениями (такими, как Ленинград и Новосибирск, Воронеж и Магнитогорск, Балхаш и северный Кировск, где, по рассказам, зеленые чудеса разведены на камне!), неважно ей живется на наших площадях и перекрестках. Отчего бы это? Правительство не щадит средств на озеленение, в горсоветских бюджетах это всегда солидная статья, ежегодно вагоны первоклассного посадочного материала отгружаются в адреса горкомхозов, благоустроительные чиновники чуть не в стихах расписывают свои озеленительные подвиги, а питомец хиреет в младенческом возрасте...

Хорошо бы построже и почаше брать таких деятелей за пуговицу и водить пешком на прогулку по их воображаемым рощам. Пускай сами полюбуются на культяпки да пеньки, жалкие останки их мужественного кабинетного руководства. Какие же стихии превратили кудрявое, стройное деревце в мертвый, изглоданный хлыст, ботаническую разновидность которого не опознал бы и сам Тимирязев? Бедные пасынки комунхозов!.. На них вяжут качели и бельевые веревки, на них повсеместно скидывают снег с высоких крыш, на них валят ледяной скол с мостовых и, наконец, их безудержу громадными ножницами стригут мрачные древесные парикмахеры, хотя, казалось бы, к чему нам королевские версали с их прилизанной, изуродованной, карликовой природой?.. Нечего греха таить, много потрудились в этом деле и ребятишки, устраивающие вокруг деревца подобие живой карусели, и добрые мамы, одевающие своих деток зеленой веточкой, и нагловатые озорники, в сравнении с которыми колорадский жучок представляется мирным деятелем земледелия, и, наконец, знаменитая бабушка с козликом. Не раз приходилось наблюдать, как кроткая старушка пригибает вершинку саженица своему рогатому любимцу, и тот без затраты сил творит из него безлиственную кочерыжку, которую ближе к осени бабушкин же внучек собьет косарем на растопку. Так хваленое древонасаждение наше становится дровонасаждением. Как же тут не тянуться рябинке под защиту дуба, хотя и

его дни в полной мере сочтены, если сам народ не вмешается в это, скажем, ненормальное явление.

Искусство истребления дерева в дачных местностях достигло своих пределов: тут действуют и солью, и бензином, и обстукиваньем весенней коры, и многими другими ухищрениями, которые мы не перечисляем по понятным соображениям. А во что обходится стране вырезание обязательных тросточек на пикниках, глушение рыбы взрывчаткой и другие виды хамского браконьерства, мальчишеские забавы с рогатками и истреблением гнезд? Все это — пережитки барского, потребительского отношения к природе, которая чахнет и пятится от нас, не имея иных способов защищаться. Трудно угадать, к чему приведет такое безнаказанное пренебрежение к извечным сокровищам родины! Хуже всего, что это творится у нас на глазах, а мы кряхтим да молчим за неотложными делами, хотя каждый в состоянии прочесть популярную лекцию о том, что родная природа — тоже святыня, неприкосновенная социалистическая собственность и каждая пичуга в ней — честный, работающий друг, который, будучи обижен, порою и не возвращается.

Доказано, что общение с природой по меньшей мере полезно человеку; лиц, желающих погрузиться в рассмотрение этого вопроса, мы отсылаем если не к букварю (где преступно мало говорится об этом!), хотя бы к директорам заводов, уже превратившим свои территории в сады и цветники. Они охотно подтвердят, что зеленая ветка в окне цеха — не роскошь и прихоть, что через длинную цепочку причин она тоже содействовала увеличению производства... На всю жизнь запомнился мне день открытия Днепрогэса: еще первая тысяча киловатт бежала по проводам, а рядом уже сиял в осенней красе молодой парк; в нем играли дети и гуляли юные парочки, родители завтрашних поколений. Меня поразила тогда целесообразность планировки и поливочного, необходимого в степи устройства. К слову, ни одна газета не отметила этой заблаговременной братской заботы строителей о будущих постоянных тружениках станции. А ведь буквально все проекты наших жилых и промышленных новостроек, которыми на праздниках мы так восхищаемся в витринах, бывают обрамлены в целые дубравы... Где они? Что-то не слышать их благостного, запроектированного в социалистический быт и оплаченного народом зеле-

ного шума! Проект есть тот же вексель народу и его правительству: надо выполнять до точки. Кое-где, впрочем, саженцы были своевременно опущены в тесные ямки и засыпаны строительным мусором пополам с обрезками железа и рваными калошами, удобрительная ценность которых отрицается современной наукой, — после чего намертво притоптаны каблуком. Хорошо бы на должность озеленителей приглашать людей, хоть в школьном масштабе знакомых с технологией посадки, а не просто первовстречную личность, непригодную в более ответственных областях социалистического строительства... Глубоко верно, настанет время, когда в актах государственных приемочных комиссий будут отмечаться количество и состояние произведенных посадок; когда будут производиться озеленительские соревнования городов, поселков и колхозов; когда будут писаться рецензии о художниках растительных ансамблей; когда будут рассылаться приглашения на вернисажи садов и парков, как это было с нашей великолепной сельскохозяйственной выставкой...

## 3

Великий поход в защиту Зеленого Друга нужно начать с Москвы. Собственно, он уже и начат, должное хозяйское внимание обращено на зеленый наряд Москвы. Уже в обиход вошло монументальное слово реконструкция, уже сверкающие троллейбусы плывут по расширенным магистралям, уже обзавелись мы лучшим в мире метро, по которому скоро подравняется и вся надземная Москва, но по-прежнему негусто обстоит дело с зеленью в нашей столице. Если подсчитать сотни тысяч хвойных и лиственных особей, расселенных по Москве, — то дремучий бор, как при Долгоруком, должен был бы образоваться на ее месте: ни пешему, ни конному не пробраться сквозь лесную десь... А на поверку оказывается, — залитые асфальтом под самый корень, погибли липы в Дорогомилове, во взрослом состоянии высаженные полтора десятка лет назад. Незаметно уходят куда-то ясенки с дороги в Тимирязевку, наполовину оголилась еще недавно такая красивая улица Воровского. Да и в Нескучном что-то слишком быстро тают молодые посадки, разведенные на свалочном (лесоводы шутят — сволочном!) месте без предварительной мелиорации и отвода больничных вод. Не успели еще прижиться



юные липки на Кузнецком, а уже начала их обламывать чья-то подлая рука. Плохо мы бережем наше достоянье, обожаемые москвичи, а ведь это та самая Москва, восьмисотлетие которой совсем недавно отпоясали мы с вами. Дело, конечно, поправимое, но срочное!

Грустновато становится и при посещении старшей смены растительных ветеранов. Старые деревья — в дуплах, шрамах, морозобоинах, а полагалось бы брать их на учет и особо присматривать за ними по достижении полувекового возраста, подобно тому, как дают персональные пенсии заслуженным старикам. Почтенность города нередко определяется наличием живых свидетелей его исторической славы... Исчезает знаменитая аллея липовенниц в Узком, желтеют зеленые ряды на Ленинградском шоссе, зараженные липовым клещом и наглухо утрамбованные сапогами прохожих... Еще больше опасений внушает судьба наших основных массивов, Сокольников и Измайлова, которые давно уже полагалось бы возвести в сан заповедников. Первые — на моей памяти поредели вдвое; сведущие люди утверждают, что и Измайлова хватит лишь на двадцать лет. Хорошо бы проверить — правда ли, будто измайловские предприняты успешно, в тысячу кубометров, ежегодно производят дровозаготовки из вырубаемого сухостоя... Древесная смерть ходит по нашим садам и паркам в облике то козы, то шустрого дачника с топориком, то расплодившегося за последние годы короода. А ведь ежели умело провести искусственное гнездование в расчете на всех этих, нами же испуганных дятлов, поползней да синиц, — да посадить кизильник, снежно-ягодник, иргу, жимолость попутно с зимней подкормкой, словом — заключить длительный военный союз с лесной птичкой, то, наверно, и поизвелось бы короодное племя. Наверно, это вам и без меня известно, товарищи хранители зеленогоклада... Но почему же, в таком случае, так вызывающе нахально смеется над вами помянутый короод?

С чувством глубокой радости мы прочли недавний моссосветовский план озеленения. В добрый час, — несомненно, москвичи откликнутся на него снизу встречным планом помощи. Тяга к зелени теплится в каждом горожанине; иногда она переходит в неодолимую потребность озеленительской самодеятельности... Я не шибко верю урбанистам, которым якобы созерцание брандмауера в окне доставляет больше наслаждения, чем омытая

грозой верхушка полнолиственного дерева. Хвастают... либо просто ждут, когда за них потрудится дядя Федор с чужого двора. Напрасное ожидание: дядя Федор не придет, дядя Федор занят. Украшение родины есть дело наших с вами рук, товарищи!.. Общеизвестно, что большой патриотизм начинается с малого, — с любви к тому месту, где живешь. Из таких местных патриотов в свое время выходили отличные краеведы, посвящавшие себя изучению производительных сил области, — неутомимые селекционеры и оригиналы отечественной флоры, чьи труды и сегодня бесследно растворяются в нашем нелюбопытстве, — и даже такие преобразователи растений, как Мичурин. Немало их таится и теперь среди нас. Стоит только клич погромче кликнуть, и народ выдвинет армию добровольцев всех профессий и возрастов, энтузиастов родной природы, готовых потрудиться ради приумножения ее красоты; это тоже входит в большевистский замысел преображенья мира.

Начало такому движению положено постановлением правительства Российской Федерации об учреждении Общества друзей озеленения. Их пока немного, — как говорится, «всего мужиков-то отец мой да я». Ничего, практика больших всенародных начинаний, вроде ленинского субботника, показала, что могут свершить миллионы упорных советских рук, даже не отвлекаясь от самых насущных дел. Для этого потребуются всего лишь простецкая огородная снасть, да чувство будущего, да немножко благодарности к честному, молчаливому другу. Успех предприятия зависит от того, в какой степени поддержит их общественное мнение и насколько родственные организации поймут возможности, заключенные в этом почине. А чтобы не провалить хорошее дело в самом начале, необходимо обдумать его с государственной точки зрения, то есть со всесторонним и принципиальным учетом всех смежных обстоятельств; обдумать все, от производства секаторов-ножниц и опрыскивателей до учреждения ремесленных училищ будущих садоводов, которых завтра потребуются десятки тысяч нашей стране. И надо начинать с детства...

Пора всю систему воспитания, от букваря до вузовской скамейки, пропитать действенной, хозяйской привязанностью к родине и ее природе. Авось сумеем мы направить

в единое русло крайности в устремлениях ребят, из которых одни ежегодно совершают опустошительные набеги на сады (причем не плодов жалко, а бессмысленно покалеченных яблонь!) или по-индейски караулят с рогаткой зазевавшегося дятла, а другие растроганно хоронят его же в серебряной бумажке или с прилежанием выращивают тощую фасоль на школьном подоконнике. Все зависит от людей, которым вверена неиссякаемая, часто такая разрушительная энергия ребенка... За примерами не ходить. Есть в Москве, на Красной Пресне, 89-я школа, где биолог-руководитель сумел привить своим школьницам благородное внимание к родной природе. И вот девочки-пятиклассницы ломали расковыривают известковый пустырь, собирают килограммы коллекционных цветочных семян в подарок своей Москве, выращивают мичуринский виноград, цинцинскую пырейную пшеницу, даже дыню (которую, за отсутствием заграждений, так тщательно приходится маскировать от вора...). Спасибо вам, Г. Н. Пожитнева, за патриотическое дело! И есть в том же городе, скажем, Центральная музыкальная школа. В годы войны там стояла армейская часть; пожилые ополченцы в перерывах между воздушными тревогами посадили перед новостройкой шеренгу рослых топольков, развели цветник вдоль цоколя, но вернулись юные скрипачи, любимцы муз... Я не знаю фамилии возглавляющего деятеля, который дал им загубить эту трогательную солдатскую памятку.

Прямой долг педагогов, юношеских организаций и прессы найти острое, доходчивое слово к сердцу и разуму подростка. Надо внушить ему понятие ответственности за клочок родной земли вокруг его дома, школы или хаты. Надо ввести это в кодекс обязательных доблестей нашего молодого человека... Наверно, все замечали, что чувство родины — в каждом гражданине соразмерно его личному творческому вкладу в общенародное дело; отсюда легко объясняются как патриотизм истинного гения и труженика, так и политическое безразличие бродяги и дармоеда. Пусть же юные граждане с малых лет привыкают вносить свою посильную долю в большую советскую семью, пусть понемножку пробуют себя на чудесном поле настоящей государственной деятельности, — воспитательные последствия этого неисчислимы.

В одной Москве советская власть подарила детям пол-

тысячи новехоньких школьных зданий, а кое-где украсила аллеями школьные входы. Эти саженцы были любовно выращены замечательными мастерами земли; их сажали очень занятые люди, руки которых так нужны восстановительной пятилетке. Оглянитесь на них, московские дети, и пусть из горячего стыда родится не менее горячее стремление исправить свою непростительную небрежность...

— Дорогие юные друзья! Думы о зелени — думы о будущем. Вам бесконечно долго жить в этой прекрасной стране. Она богата и обширна, но не всегда она была такой. Все, чему радуется ваш глаз, есть громадная копилка предков. Преемственность — основа прогресса; создание простого железного гвоздя потребовало кропотливой работы сменявшихся поколений... Все знаменитые люди эпохи, чьими портретами украшены ваши классы, с малых лет прошли через нужду, скудную подвальную жизнь и суровый окрик капиталистического хозяина. Они трудились наравне с отцами и на опыте познали цену хлебного ломтя, густо посоленного безутешной детской слезой. У них не было ни пионерских домов, ни стадионов и артеков... Советская власть избила вас от нищеты, майданеков и невыносимых социальных унижений. Ни одно постановление правительства не обходится без учета, как оно отразится на детях и будущих детях ваших собственных детей. Детская улыбка ставится высочайшей целью нашего государства. От вас требуется лишь прилежная учеба да любовное внимание к общественным ценностям, лежащим в поле вашего зренья.

Есть поговорка на Востоке, которая годится и в заповеди: каждый обязан в жизни вырастить дерево, построить дом, воспитать человека. Начало этой мудрой программы человеческой деятельности доступно вам уже теперь... И пусть первые два деревца на школьном дворе будут посажены в честь Ленина и Сталина, как знак признательности за их проникновенную заботу о вашем детском благе. Сделайте это в ближайшую весну, без спешки, навечно. Берегите и холите эти деревца, чтобы в полную силу развились они под вашим школьным окном. Такие памятники стоят в веках не хуже обычных гранитов и бронзы; кроме того, они растут с каждым годом и воздействуют на все человеческие ощущения разом... Наверно, со временем вам захочется также отме-

тить подвиги Зои и Матросова, Пушкина и Горького, и всех тех, чьи имена, как напутствие к победе, были произнесены в одно незабываемое пасмурное утро. Для всех хватит места и на советской земле, и в благодарной юношеской памяти. Пусть роци таких живых памятников в честь героев или исторических событий раскинутся по Советской державе... Может быть, по прошествии вереницы лет, ставши знаменитыми врачами, зодчими или, кто знает, астронавигаторами межпланетных глубин, вы зайдете вечерком да мимоходом на тесный дворик посидеть под тяжелой зеленой кровлей своих любимцев. Другие, еще более счастливые дети будут играть и шуметь под сенью этих растительных великанов, и в перспективе времен вам откроется весь гигантский разбег родной страны к ее коммунистической вершине...

5

...Было бы вполне разумно и своевременно отвести одно из первовесенних воскресений под всенародный праздник Зеленого Друга, — и сделать так, чтобы всякому совестно было в этот день показаться на улице без лопаты. Слишком велика нехватка рабочих рук и нелепо дожидаться, когда же, наконец, прибудет дядя Федор с Магнитки или Запорожья вскопать приствольные круги в черте твоего собственного домовладенья. Такой народный праздник уже состоялся в Ленинграде летним утром 1945 года, когда миллион ленинградцев, включая школьников, с секретарем обкома во главе, дружно вышел на эту веселую и умную демонстрацию любви к родному городу. Так произведена была зеленая посадка до самого Крестовского острова; так основался Парк Победы, памятник Единства и Ликованья, где каждое дерево несет дощечку с именем патриота, принявшего на себя труд его посадки и дальнейшего бережного воспитанья. Добрый пример всем прочим... У нас в Москве тоже много заброшенных пустырей и еще захламленных после войны углов, которые при дружном напоре за один день можно преобразить хотя бы в черновики будущих внутриквартальных скверов; да еще времени останется вечерком в кино сходить! Часть таких бросовых пространств придется уделить под спортивные детские площадки, потому что, к примеру, на территории одного Александровского сада регулярно в летнее время

подвизаются десятки ребячьих футбольных команд; воздействие их на молодые посадки можно приравнять лишь к небольшому минометному обстрелу. Хорошо бы также внедрить в городское хозяйство нарядные плодоягодные породы, как это сделано в Иванове, и при этом сразу определить, кто именно отвечает за их сохранность; замечательные ели вокруг Ленинского мавзолея подтверждают, что недостаток условий вполне возмещается добросовестным человеческим уходом. Разумеется, встанет вопрос и об охране — нужна ли здесь общественная инспекция, учреждение домовых ячеек озеленения, индивидуальное шефство любителей над каждым деревом, специальный штатный надзор, как это было и раньше, разъяснительная работа или повышение мер наказания за поломку и гадкое, постыдное губительство. Милицейского «ай-ай-ай» тут явно недостаточно.

Надо сказать во всеуслышанье и по возможности басом, что дерево в городе — не полено с листьями и не силомер для разгулявшегося стервеца. При нынешней скученности населения и задымленности промышленных центров весь живой зеленый инвентарь города есть громадный озонатор, гигиенический фильтр-ловитель из воздуха — газов, копоти и прочих примесей, вредных для общественного здоровья; следовательно, это есть дополнительный источник творческих сил и задора на одоление пятилетки. Следует помнить также, что не все дети уезжают летом на дачи... Круговой клятвой обязались мы в семнадцатом году сделать наше отечество краше всех флорид и других капиталистических эдемов. Немало и сделано с тех пор, — нет таких земель на свете, где так вольно дышит человек. Давайте же обеспечим ему в буквальном смысле стерильно чистый материал для дыханья!

Все это лишь мысли и факты, выхваченные наудачу. Мы ставим этот вопрос на всенародное вече. Пора приниматься за создание достойной зеленой рамы нашему социалистическому труду. Присоединяйтесь к походу в защиту друга. Я написал эту статью потому, что надо же кому-нибудь взять на себя почин в таком хорошем деле. Пусть сведущие или заинтересованные лица поправят и дополнят меня...

Кто просит слова, товарищи?

*«Известия», 28 декабря 1947 г.*

## Илья Эренбург

### ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПИСАТЕЛЯМ ЗАПАДА

Недавно закончилась третья сессия Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира. Участники этой сессии обратились с призывом «ко всем честным людям, которые, независимо от характера их взглядов на причины создавшегося сейчас напряженного международного положения, ощущают тревогу по этому поводу и серьезно желают восстановления мирных отношений между народами».

Участники сессии подписали обращение и предложили всем честным людям поставить под ним свои подписи. Я напоминаю текст этого обращения:

«Мы требуем безусловно запретить атомное оружие, как оружие устрашения и массового уничтожения людей, и установить строгий международный контроль за исполнением этого решения. Мы будем считать военным преступником правительство, которое первое применит атомное оружие против какой-либо страны. Мы призываем всех людей доброй воли во всем мире подписаться под этим воззванием».

Многие писатели Запада уже подписались под этими словами. Я обращаюсь к тем, которые колеблются, которым нашептывают, что за воззванием сторонников мира скрыта политическая интрига, которых уверяют, будто голубка мира напоминает пресловутого троянского коня.

Почему я обращаюсь к писателям? Прежде всего потому, что я писатель. Я знаю, что писатель понимает значение своей подписи, он понимает, что его слушают и к нему прислушиваются миллионы читателей, он не только видит, он и предвидит, он не только описывает, он и предписывает, на его плечах лежит огромная ответственность.

Писатель, который пишет книгу, ответствен за все книги, написанные до него, за книгохранилища всего мира, за великие ценности прошлого. Писатель, который описывает простую человеческую любовь, ответствен за всех возлюбленных мира, за все колыбели, за все сады. Писатель, который говорит с людьми, ответствен за всех людей. Может ли теперь писатель промолчать, затаиться,

предать ребенка, человеческое счастье, древние камни, судьбу культуры?

Я обращаюсь к писателю потому, что за каждой подписью писателя последуют подписи его читателей. Мне могут сказать, что никакие подписи не способны предотвратить войну, не способны защитить людей от бомб и супербомб. Такие возражения мне кажутся неправильными и недостойными писателей. Давно миновали те времена, когда войны вели обособленные касты. Я не думаю, чтобы теперь можно было бы воевать против воли народов, против воли простых людей. Подписи под обращением, осуждающим атомное оружие,— это не только листы бумаги с перечнем имен американцев и русских, англичан и французов, итальянцев и поляков, китайцев и индийцев. Подписи означают решение, волю, обет миллионов и миллионов людей. Мы знаем, что различные совещания дипломатов не привели ни к какому решению (я сейчас не стану разбирать, по чьей вине). Мы видим, что угроза применения атомного оружия против неповинных людей с каждым днем возрастает. Мы видим, что над человеческой культурой нависла еще невиданная опасность.

Древние римляне уверяли, что музы молчат, когда говорит оружие. Музы теперь должны поднять свой голос, они должны говорить для того, чтобы не заговорило оружие.

Я обращаюсь к тем писателям Запада, которые видят жизнь не так, как мы, которые часто по-другому чувствуют и по-другому думают. Я обращаюсь не к единомышленникам, я обращаюсь ко всем честным писателям Запада, к социалистам и к индивидуалистам, к реалистам и к мистикам, к ревнителям прошлого и к новаторам. Я не предлагаю им присоединиться к моим социальным, политическим или эстетическим взглядам. Я не предлагаю им выступить за одну политическую партию против других или за одно государство против другого. Я не предлагаю им осудить то или иное правительство за его внутреннюю или внешнюю политику. Я предлагаю им нечто другое: выступить против атомного оружия, против бомб и супербомб, угрожающих всем людям; я предлагаю им присоединиться к требованию сторонников мира о безоговорочном запрете атомного оружия и контроле над выполнением этого запрета; я предлагаю им осудить то правительство,

которое первым осмелится сбросить атомную бомбу на жителей какой-либо страны.

В обращении, принятом третьей сессией Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира, нет ни камуфляжа, ни хитрости, ни пристрастного подхода. «Секрет», связанный с изготовлением атомного оружия, давно не является монополией какого-либо одного государства. Требуя запрещения атомного оружия, мы требуем его запрещения во всех государствах, где оно изготавливается или может начать изготавливаться. Мы не призываем осудить правительство той или иной страны, мы призываем осудить правительство, которое посмеет первым прибегнуть к оружию массового уничтожения людей. Это не приговор, это предупреждение. Подписав воззвание, мы обратились ко всем людям доброй воли. Я думаю, что тот, кто выступит против нашего требования о запрете атомного оружия, тем самым выдаст свои преступные замыслы. Я думаю, что тот, кто не захочет называть преступниками людей, которые посмеют применить это оружие, тем самым обнаружит свои бесчеловечные намерения.

Я приглашаю вас, писатели Запада, присоединиться к нашему беспристрастному обращению, продиктованному гуманизмом и тревогой за цивилизацию.

Я думаю сейчас о некоторых писателях Запада, которые не могут сочувствовать планам массового истребления людей, но которые до сих пор, насколько я знаю, не выступили против атомного оружия. Я позволю себе обратиться к каждому из них, считая, что эти личные обращения еще более уточнят сущность моего призыва.

Я обращаюсь к вам, Эрнест Хемингуэй. Вы знаете, как я ценю ваш дар, об этом я писал. Почти все ваши книги переведены на русский язык и хорошо известны советским читателям. Но я сейчас обращаюсь к вам не только потому, что вы писатель, которого я люблю. Я встречался с вами в осажденном Мадриде, когда преступники безнаказанно убивали бомбами испанских детей. Вы тогда справедливо возмущались кучкой людей, которые принесли неслыханное горе мирному испанскому народу. Я помню и другое: когда итальянские фашисты напали на Эфиопию, вы выступили со статьей, полной негодования. Вы любили итальянский народ, но вы знали, что правители Италии, напавшие на Эфиопию, совершили тяжкое преступление. Вы знали также, что за Аддис-

Абебой последует Мадрид, а за Мадридом — Париж и Лондон. Многие нас теперь разъединяет, но я не хочу с вами спорить. Я обращаюсь к писателю Эрнесту Хемингуэю, пережившему трагедию Мадрида: можете ли вы молчать, когда бесчеловечные люди не скрывают своего намерения сбросить атомные бомбы или супербомбы на мирные города, на женщин, на детей, на стариков? Ваша подпись не может не стоять под требованием полного и безоговорочного запрета атомного оружия.

Я обращаюсь к вам, Роже Мартен дю Гар. Я долго хранил ваше прекрасное письмо, в котором вы осуждали вражду и говорили добрые слова о моем миролюбивом народе. Мне пришлось это письмо сжечь — в Париже, когда в город вошли фашистские захватчики. Вы, наверное, знаете, что ваша эпопея «Семья Тибо» хорошо знакома нашим читателям. Все ваше творчество отмечено гуманизмом, любовью к простым людям, и это позволяет мне обратиться к вам. Я позволю себе напомнить вам, что наш общий друг Жан-Ришар Блок много раз говорил об «ответственности таланта». Он говорил, что, когда миру грозят величайшие бедствия, писатель не вправе спрятаться, отвечая: «Это меня не касается». Вы до сих пор не сказали, что вы думаете о повисшей над человечеством угрозе. Мне кажется, что вы должны присоединиться к требованию о запрете атомного оружия: это требование не какой-либо одной партии, это требование человеческой совести.

Я обращаюсь к вам, Джон Б. Пристли. Мы с вами не знакомы, но вы любезно сопроводили английский перевод моих статей военного времени вашим предисловием. В этом предисловии вы говорили, что цените писателя, выступившего против военных преступников. Не думаете ли вы, Джон Б. Пристли, что писателям необходимо выступить против военных преступников до того, как ими совершено преступление, и тем самым попытаться это преступление предотвратить? Несколько лет тому назад вы были в Москве, вы, наверное, успели заметить, что вас хорошо знают наши читатели и театральные зрители. Когда я вернулся из Парижа после конгресса сторонников мира, советские люди меня спрашивали, участвовали ли вы в наших работах. Я не знал, как объяснить им ваше отсутствие. В Париже мне сказали, что вы отказались приехать на конгресс потому, что вы устали, и потому, что не верите в успех подобных совеща-

ний. Я тоже устал, Джон Б. Пристли, я устал от многого: от той войны, которую я описал в книге, украшенной вашим предисловием, и от той войны, которую подготавливают теперь люди, думающие о своих частных интересах. Я вполне согласен с вами: приятнее писать романы или пьесы, нежели выступать на конгрессах или на конференциях. Но я не могу уклониться от ответственности перед моими читателями, и хотя я тоже устал, я обращаюсь к вам. Конечно, я не могу вам поручиться, что ваше обращение остановит злоумышленников, но я вам ручаюсь, что, если вы не выступите против атомного оружия и не поставите вашей подписи под нашим воззванием, вам не простят этого ваши читатели — ни в Москве, ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке.

Я обращаюсь к вам, Эрскин Колдуэлл. Вы были в Советском Союзе, когда нацисты напали на нас. Вероятно, вы помните, как мы случайно оказались в одном бомбоубежище: преступники тогда бомбили Москву. Вы хорошо рассказывали, смеялись, и летняя ночь прошла незаметно. Но вы не только смеялись тогда, вы негодовали. Вспоминая это, я обращаюсь к вам: вы должны подписать наше обращение. Вы много и хорошо писали о горе простых людей Америки. Неужели вы не выступите, чтобы оградить этих людей от самой страшной беды? Я отнюдь не требую, чтобы вы разделили мою точку зрения на происходящие мировые события; я не юноша и понимаю, что ни открытыми, ни закрытыми письмами нельзя переубедить писателя, его переубеждает только жизнь. Но я хочу другого: осудите людей, помышляющих об уничтожении мирных городов. Если у вас остались добрые воспоминания о Москве, защищавшейся против фашистов, вы можете вспомнить Москву. Но это отнюдь не обязательно. Зато для вас обязательно подумать о судьбе американских городов и американских детей. По-моему, вы должны подписать наше обращение.

Я обращаюсь к вам, Андре Шамсон. Нас связывает давняя дружба. Вы были в осажденном, окровавленном Мадриде. Вы человек глубоко мирный и ненавидите войну, но когда преступники захватили вашу страну, вы примкнули к Сопротивлению, вы воевали. Под нашим обращением стоят подписи французских писателей разных взглядов. Можете ли вы не подписать этого обращения? Наши читатели знают ваши романы о жизни крестьян

любимой вами горной области Севенн, ваш «Кладезь чудес», показывающий беды, пережитые Францией от фашистов. Я убежден, что судьбы ваших героев вам дороже, чем некоторым дипломатам или некоторым политикам. Вы любите искусство и много сделали, чтобы спасти замечательные памятники прошлого. Недавно некоторые газеты, выходящие в другой части света, напечатали статьи: «Что останется от Парижа после того, как на него упадет супербомба». Из этих статей явствовало, что от Парижа не останется ничего, что погибнут и Лувр, и собор Парижской богородицы, и Национальная библиотека, и музей Пети-Пале, директором которого вы состоите. Я сейчас не стану разбирать, сколько правды и сколько бахвальства в таких статьях. Допустим, что преступники могут разрушить Париж. Но вы знаете, как и я, что построить его они не могут: для этого нужны века труда, творческий гений народа. Я убежден, что вы выступите против людей, прославляющих бомбы и супербомбы. Вы захотите отстоять мир, спасти древние камни Парижа и детвору Севенн, вы подпишете воззвание.

Я обращаюсь к вам, Джон Стейнбек. Вы говорили мне, что нужно развеять предвоенный туман. Вы побывали недавно в нашей стране, и вы написали книгу о вашей поездке. В этой книге вы говорите, что вам не понравилась советская пьеса, изображающая американцев, которые изготавливают предвоенный туман. Это ваше дело. Я мог бы вам ответить, что мне не понравилась ваша книга о поездке в Советский Союз: она показалась мне несколько поверхностной и легковесной, я ждал другого от автора романов «Люди и мыши» и «Гроздь гнева», которые кажутся мне глубокими и значительными. Но я не намерен сейчас заниматься критикой книг или пьес. Вы заметили (и вы об этом написали), что советский народ не хочет войны. Я полагаю, что американский народ также не хочет войны. Именно поэтому я приглашаю вас выступить против кучки людей, строящих свое благосостояние на опасной и преступной игре с атомными бомбами. Я надеюсь, что вы не уклонитесь от вашего долга.

Я обращаюсь к вам, Альберто Моравиа. Вы написали хорошую книгу «Безразличные», вы показали в ней, как и в других книгах, что вам далеко не безразличны судьбы простых людей Италии. Мы с вами о многом

спорили в Риме. Но мы никогда не спорили об одном: о том, что необходимо предотвратить войну. Если я правильно понял ваши книги, если я правильно понял вас, вы обязательно поставите свою подпись под воззванием, направленным против атомного оружия.

Я назвал немногих, но я обращаюсь ко многим: ко всем вам, честные писатели Запада, каких бы вы взглядов ни придерживались. В час величайшей опасности для всех людей, для всех народов, для всей культуры вы не можете дольше молчать. Наше воззвание подписывают каменщики и сталевары, ткачи и виноделы, фермеры и учителя, инженеры и агрономы. Не пропустите часа: писатель должен опережать других. Голос людей, которых называют «человеческой совестью», должен прозвучать особенно громко, особенно отчетливо. Мне может не нравиться многое из того, что вы пишете. Вы можете критиковать или отвергать книги советских авторов. Однако и вам и нам нужен мир: он нужен всем народам, он нужен искусству. Я хочу сохранить веру в человечность лучших писателей Запада. Эту веру разделяют многие читатели, и вы не должны их обмануть. Вы должны выступить с простыми, спокойными и строгими словами: запрет атомного оружия, предупреждение тем, кто замышляет убийство миллионов безвинных людей, мир всем материкам, всем городам и всем детям!

*Апрель 1950 г.*



**Александр Фадеев**

#### **РЕЧЬ НА МАССОВОМ МИТИНГЕ В ЗАЩИТУ МИРА В СТОКГОЛЬМЕ**

Дорогие друзья! Пользуюсь случаем передать сердечный привет от Советского Комитета мира прогрессивным деятелям культуры и всем честным людям Швеции, стоящим за мир.

Я обращаю свое приветствие прежде всего к миллионам простых людей в Швеции, потому что именно они, простые люди, являются главным оплотом мира. Это их труд, труд простых людей, создает основание всей

подлинной культуры. Это они, простые люди, являются в первую очередь хранителями лучших национальных традиций и национальной независимости. И они же сейчас являются носителями подлинного гуманизма, ибо большинство привилегированных людей в наше время отреклись от гуманизма, но гуманизм живет в сердце народа, как искра в кремне.

Бывают стечения обстоятельств, когда она, эта искра, вспыхивает с необыкновенной силой. Есть много оснований предполагать, что мы живем как раз в такое время.

Группы корыстных людей в Европе и Америке, подстрекаемые из-за океана наиболее сильной и бесчеловечной среди этих групп, совершенно открыто готовятся поправить свои дела новой войной. Вместо того, чтобы улучшать материальные и культурные условия жизни народов своих стран, эти группы проводят неслыханную гонку вооружений, в том числе такого вооружения, которое грозит уничтожением миллионам женщин и детей, целым городам, всей цивилизации. Следствием неимоверно раздутых военных бюджетов являются налоги, высокие цены, низкая заработная плата, которые ложатся тяжелым бременем на плечи народа больших и малых стран.

Вместо благ просвещения, вместо внедрения в народ высоких идеалов человечности, дружбы между большими и малыми нациями на основе уважения их национальной культуры — газеты, радио, кино, находящиеся в руках корыстных людей, грозят войной целым народам, восхваляют массовое истребление людей атомными и водородными бомбами, проповедуют расовую и национальную ненависть или национальный нигилизм под модным флагом Соединенных Штатов Европы, всемирного правительства или других форм порабощения более слабых наций более сильными, воспевают гангстеров, насильников, убийц, морально разложившихся людей с целью развить в народе низменные инстинкты, пригодные для захватнической войны.

Не было еще такого времени в истории, когда бы высокие моральные силы простых людей всех стран, всех передовых и честных людей мира нуждались бы в таком сплочении, как сегодня, против этих растленных сил войны и человеконенавистничества.

Я счастлив представлять здесь, среди защитников мира,

одну из самых крупных, одну из самых надежных сил мира — великий советский народ и его деятелей культуры.

Правда, существуют газеты, — говорят, они имеются даже в Швеции, — которые утверждают, что будто бы Соединенные Штаты Америки и страны Европы, охваченные планом Маршалла, вынуждены вооружаться из-за агрессии, якобы угрожающей им со стороны Советского Союза. Говорят, что даже миролюбивая Швеция стоит перед угрозой этой агрессии. Чтобы не употреблять резких выражений, скажу только: «Полноте врать, господа! В вашей пропаганде больше зла, чем ума: она рассчитана на людей неопытных и мало осведомленных».

Мир был написан на знаменах новой России с того самого момента, как она родилась в октябре 1917 года, и все время существования новой России мы хотели и хотим только мира. Не наша вина, что с самого первого дня нашего существования и вплоть до последних лет они, наши народы, являлись объектом агрессии, агрессии объединенных сил капиталистических государств, агрессии отдельных капиталистических государств или групп, агрессии открытой или завуалированной — в виде всякого рода провокаций или подрывной деятельности внутри страны.

Мы вынуждены были защищаться. Всеми миру известно, что мы защищались не без успеха. Всеми миру известно, что мы не только отстаивали свою свободу и независимость, но в последней мировой войне помогли освободиться от захватчиков многим народам Европы, и, несмотря на огромные потери и разрушения в войне, мы своим мирным трудом вновь подняли хозяйство и культуру нашей страны выше, чем до войны. Теперь даже человеку, который не верил бы в наше миролюбие, здравый рассудок должен подсказать, что нам воевать нет расчета. Мы живем все лучше и лучше. С 1947 года мы трижды снижали цены на продукты, на товары и будем снижать их дальше. Реакционные газеты в других странах замалчивают этот факт, чтобы простые люди не верили, что жизнь в Советском Союзе становится все дешевле, в то время как в маршаллизованных странах жизнь все дорожает. Мы ввели всеобщее семилетнее обучение для наших детей. В 1949 году у нас обучалось в школах 36 миллионов ребят. Одним словом, у нас есть все основания с верой смотреть в будущее. Только те силы стремятся к войне, у которых нет будущего, которые

не могут развиваться на основе мирного соревнования, которые надеются поправить свои неважные дела с помощью агрессии.

Как может Советский Союз угрожать другим народам и странам, если он сам является многонациональным объединением, если внутри него объединено около 60 больших и малых наций? Если бы Союз ССР не был построен на основе равноправия и взаимного уважения больших и малых наций, он давно бы распался. В том и сила международной политики Советского Союза, что она построена на уважении национальной независимости, национальной культуры каждой страны, будь то большая или маленькая.

Советские люди не хотят и не будут навязывать своего строя жизни, своего образа мыслей другим народам.

Но советские люди никогда не допустят, чтобы их поставили в положение, в котором находятся люди многих европейских стран, когда им насильно навязывают так называемый «американский образ жизни» или «американский образ мыслей».

Опыт истории показывает, что ничего нельзя навязать насильно другому народу, если он сам не пришел к этому своим опытом. Народ не примет того, что ему чуждо, а насильник рано или поздно будет наказан.

В вопросе о мире мы готовы сотрудничать и сотрудничаем с людьми, которые не согласны с нашим образом мыслей, но искренне стоят за мир, дорожат национальной честью, независимостью своих стран и не согласны продать ее за чечевичную похлебку из американских подачек.

Мы вступили в период, когда объединение всех честных людей в защиту мира способно на деле защитить его. У народов есть память. И даже самые добродушные народы бывают страшны в гневе. На попытку развязать новую войну народы могут ответить жестокой карой поджигателям войны. И пусть поджигатели войны помнят об этом.

За дружбу между народами во имя мира!  
За мир во всем мире!

1950





## Константин Федин

### В ЗАЩИТУ МИРА

#### ВЕСНА

Не верится, что уже промчался год с тех пор, как грохотала, звенела, во весь размах раскидывала крылья незабываемая весна Победы.

В преддверие к ее поющему звону мы вошли еще зимой, по снегу и льду, когда началось январское наступление за Вислу и Красная Армия, прорвавшись на Кельце и Радам, открыла свой триумфальный поход на запад.

Все шло неудержимо с того момента, и времена года как будто не успевали за движением наших войск: по снегу и льду красные знамена миновали всю Польшу, достигли былых неприступных границ нашего врага, перенеслись через них и непрерывной лентой развернулись над Одером.

Да, снег еще лежал, а мы уже знали, что Армия Победы глубоко проникла в тело врага и уже навис над его головой занесенный меч возмездия: Берлин ожидал с трепетом последнего удара. Русская песня слышалась на исконных немецких землях, — завтра мы должны были вступить в Саксонию на юге, в Мекленбург на севере.

Много славных походов совершила Красная Армия за годы Великой Отечественной войны, но поход в Германию на долгую эпоху останется непревзойденным шедевром военного искусства. Академии будут растить военачальников на примерах, которые были показаны стремительным рассечением немецких войск в Померании, когда рухнули последние надежды германского генерального штаба на серьезный контрудар.

Весна приближалась, поля заливались водой, реки выходили из берегов. Казалось, все могла бы приостановить, задержать, переиначить в событиях раскованная стихия. Но другая сила — сила освобожденных народов, которую олицетворяла и заключала в своем сердце величайшая из армий, — превозмогла стихию, как уже не раз случалось в предыдущие годы войны. Апрель, может быть, самый серьезный противник войны, месяц половодий, расковав землю, словно высвободил теплом своего дыхания всю меру могущества советских воинов. Бурный месяц весны превратился в месяц исторического наступления Красной Армии,

принесшего Западной Европе освобождение от гитлеровщины.

В апреле наши знамена продолжали шествие по Балканам и Чехословакии, неся желанную волю и независимость братским славянским народам. В апреле начались операции в Австрии, и уже тринадцатого числа пала Вена. Старые венцы не любили число тринадцать. В былое время трудно было найти на улицах Вены дом под номером тринадцать: его заменяли номером двенадцать «а». И тринадцатого апреля старые венцы, из тех, которые примирились с «аншлюсом» и господством Третьего рейха, могли сказать — не повезло! Но для Австрии будущего, для свободной Вены это число апреля приобрело иное значение: оно становилось открытием новой эры.

В шумный апрель Одер остался далеко позади армий маршала Жукова, — они вышли на Эльбу, вихрь достиг своей наивысшей мощи: солдаты Страны Советов ворвались в Берлин с востока и юга!

Война подходила к концу. Громы пушек все еще нарастали, но уже каждый солдат знал, что это конец, каждый человек слышал голос своей души: завтра, завтра!

Три дня спустя после того, как сводки стали сообщать о берлинских боях, в Саксонии, под городом Горгау, Красная Армия протянула руку войскам своего союзника. Германия Гитлера как целого государства больше не существовало. Ее тело, страшное тело чудовища, недавно подавлявшее собою почти всю Европу, было разрублено надвое и издыхало по кускам. Долгожданный миг уничтожающего удара, о котором мечтали народы, ради которого, как ради высшей справедливости, они принесли столько жертв — молодостью, счастьем, талантами, богатством, кровью, — этот миг пришел.

Я помню тишину и строгое благоговение огромного, длинного белого зала в Большом Кремлевском дворце, когда на заседании Верховного Совета раздался через громкоговоритель голос Иосифа Виссарионовича Сталина. Верховный Главнокомандующий с волнением достигнутого счастья сообщал об историческом событии: гитлеровская Германия рассечена, она повергнута наземь, час окончательной победы наступает. То была минута удивительной остроты душевного подъема и какого-то редчайшего единства разума и чувств.

В тот день я слушал орудийный салют в Кремле, у подножья Ивана Великого, и оглушающие громы залпов будто поднимали меня над Москвой. Огни ее после бесконечных вечеров и ночей принужденной слепоты уже снимали свои повязки, и город, зрячий, оживший, молодеющий, отвечал на салют торжествующими, радостными раскатами.

Так шествовал апрель — месяц половодий. В последний его день, помню, оторвавшись на час-другой, снова и снова подходил я к плану города Берлина, висевшему уже целую неделю на стене моей комнаты. Как каждый грамотный человек — взрослые и дети, — в те удивительные дни я следил за продвижением советских дивизий по улицам германской столицы шаг за шагом, буквально от одной трамвайной остановки к другой. Войска наши уже дошли до Ангальтского вокзала. Они очищали от фашистов Тиргартен. Подземными ходами «унтергрунда», из которых фашисты сделали свой последний бастион головорезов и самоубийц, через горы щепня, через сплетения железных балок домов, разметываемых нашей артиллерией, красноармейцы со всех концов подтягивались к центру города.

В какие-то секунды становилось до неправдоподобия странно, что вот я стою в московской комнате, окна которой трижды вылетали от террористических немецких бомбежек, и слежу по плану Берлина, как рушатся, разваливаются в ничто последние гнезда сопротивления некогда устрашавшего мир оплота нацистов. Рушился не только Берлин — город, прозванный, по крылатому слову, «логовом зверя». Распадалась вся «ось», которой, как палицей или гвоздарем, размахивал этот зверь в Европе и Азии. Именно в последние дни и часы апреля очищалась от врага Северная Италия, и убежавший, как вор, от народа, пойманный и казненный народом Муссолини висел ногами вверх на площади Милана, растерзанный и выставленный напоказ и позор. Какая-то женщина выстрелила в его труп пять раз — по числу убитых на войне своих сыновей, и об этом акте человеческого гнева стало известно всему земному шару, — так должно случиться с тем, кто отвечает за неисчерпаемое горе мира, вызвав и развязав мрачное зло войны!

Никогда, как в те первомайские дни, события не владели с такой властью душой. Никогда каждая последовавшая за вашей мыслью минута не оправдывала

так щедро ожиданий, выраженных этой мыслью. Гитлеровцы еще дрались, они хитрили, провоцировали, они сдавались на западе, чтобы сильнее обороняться на востоке, они надеялись, стремились в последнюю секунду расколоть союзников, запугав их друг другом. Они думали уйти от смерти. Но смерть не собиралась уходить от них. Она пришла к ним навсегда.

Парад на Красной площади в Москве Первого мая еще не мог быть наименован парадом победы. Но он был им. Он был парадом победы Советского Союза — это чувствовал народ, он хотел этого, он жаждал великой, справедливой награды за свой героизм, за свою жертвенность. Такой наградой могла быть только победа.

«Скоро ли?» — как будто вопрошал народ. «Скоро», — как будто отвечали войска всем своим строем — от маршала до суворовцев.

Да, это случилось скоро. На второй день майского праздника пришло известие, что части Красной Армии полностью овладели столицей Германии, Берлин пал.

В ряду столиц, крепостей и городов, которые взяты были когда-либо нашими войсками, имя Берлина заняло совершенно особое место не только по историческому смыслу и значению успеха Красной Армии, но и по грандиозности боя за превращенный в крепость город с многомиллионным населением. Концентрированность и мощность нашего удара по Берлину ни с чем не сравнима. Довольно привести один факт. Много позже, в разговоре со мной, который мне посчастливилось вести на той территории Берлина, где подписана Германией капитуляция, маршал Жуков сказал:

— В битве за Берлин удалось сосредоточить свыше шестисот орудийных стволов на один километр фронта. Представляете себе, что это такое? Когда до Берлина при прорывах фронтов мы собирали на километр редко более двухсот стволов...

Так начался месяц, расцвет весны. Ему суждено было историей сделаться месяцем фашистских капитуляций. Весенний ветер побед раздувал вражеские фронты, как сухой песок. За капитуляцией огромного берлинского гарнизона последовала капитуляция в Дании, в Голландии, на северо-западе Германии, в Северной Италии.. День за днем приносил вести о сдавшихся новых и новых сотнях тысяч германских солдат, пока через шесть дней, восьмого мая, германское верховное командование не

стало на колени и не подписано акта о безоговорочной капитуляции всех германских вооруженных сил.

Кто не помнит следующего утра, когда наш народ закончил восхождение на вершину, и, освобожденный от бремени четырехлетней небывалой войны, сбросил его со своих плеч, и вышел на улицу во всех городах и селах изумительной нашей страны? Это было ликование богатыря, как будто впервые увидевшего во всей полноте неизмеримое и жизнотворное свое могущество и с детской чистотой воспевшего счастье своей победы. Салют Москвы из тысячи орудий был только отзвуком единой народной песни радости, как огни московских ракет, залившие вечернее небо, были только отсветом того сияния, которым светился Человек.

И вот промчался год, и новая весна — весна Мира — пришла на землю.

Мы вспоминаем с гордостью и благодарно прошлую весну Победы. Как никогда, мы знаем нашу силу, ощутив ее в том плоде, который завоеван беззаветным героизмом нашего воина и беззаветной работой нашего труженика. Мы ценим и бережем нашу силу, как драгоценность, мы будем развивать, совершенствовать, растить ее, как талант.

И так же, как наш народ был первым в войне за победу, так будет он первым в борьбе за Мир, за весну Мира.

#### ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И БОРЬБА ЗА МИР

Славный русский путешественник по тихоокеанским островам Миклухо-Маклай впервые в семидесятых годах прошлого века исследовал неизвестный берег Новой Гвинеи, названный затем его именем — Маклаев берег. По следам путешественника на Маклаев берег вскоре ринулись хищники-коммерсанты в погоне за богатствами девственной страны. Страсть наживы толкала торгашей к эксплуатации незащитного островного населения. Грабители истребляли народ.

Миклухо-Маклай страстно протестовал против бесчеловечного угнетения ни в чем не повинного народа и страдал оттого, что невольно указал капиталистам дорогу в новые богатые земли. Все было тщетно: закон джунглей торжествовал, капиталисты умножали свои капиталы ценою новых своих рабов.

Трагедия человеческой мысли в условиях капита-

листического господства поистине велика. Ни одно открытие, ни одно изобретение не проходит мимо нацеленного на них полицейского глаза хищника. Всякое новое завоевание гения прикарманивается Желтым Дьяволом и обращается им во зло человеку.

Последний пример трагедии ученых в буржуазном государстве показан всему миру на опыте работ по физике атомного ядра.

Наука открыла человеку действительно фантастическую дорогу к небывалому, невиданному источнику энергии. Казалось бы, все силы изобретательности, мастерства, таланта и воодушевления человека должны быть теперь брошены на применение в жизни гениального открытия. Оно должно бы обновить все методы механической работы, произвести революцию в промышленности, перестроить и усилить машины на кораблях и железных дорогах, изменить, где нужно, русла рек, вскрыть недра гор. Оно должно беспредельно облегчить труд на земле и осчастливить будущие поколения.

Но с цепкостью павиана капиталисты захватили открытие физиков, принудив их направить его на разрушение.

Чего хотят достичь самонадеянные фабриканты атомной бомбы? Они думают терроризировать народы земного шара, подчинить их своей власти. Они думают соскрести со всех земель мира золото, которое еще не перекочевало в американские стальные сейфы, зажать все мыслимые богатства в одном своем кулаке.

Атомные фабриканты давно не скрывают своих вожделий. Сейчас они вновь без зазрения совести выступили перед всем светом с планом новой мировой войны.

Господин Кэннон только что разделся догола перед палатой представителей США. Он в качестве председателя комиссии по ассигнованиям потребовал на предстоящий бюджетный год шестнадцать миллиардов долларов на вооруженные силы. Он сказал, что с подписанием Североатлантического пакта американцы получили вполне достаточно военных баз. Но, видите ли, американцам еще далеко не хватает бомбардировщиков для «доставки» атомных бомб.

Стоя нагишом на виду у всех, господин Кэннон старательно и точно объяснил, куда он собирается «доставить» атомные бомбы: «Мы должны поразить Москву и любой другой город в России в течение недели после начала

будущей войны. Мы должны в течение первых трех недель превратить в развалины каждый военный центр Советского Союза».

Цель капиталистов ясна и без саморазъяснения Кэннона перед американским конгрессом. Эта цель — покорение Желтому Дьяволу не только Советского Союза, но и всей Европы, а за нею всех других континентов.

Интеллигенция всех стран должна понять сегодня, понять немедленно, теперь же, что в буржуазном мире по следам великих путешественников, открывающих неведомые страны, по следам гениев науки, изобретателей и мастеров труда под руку с голым конгрессменом Кэнноном нагло шествует поработитель человека, хищник, для которого нет ничего святого и великого, для которого есть только его собственный карман, его собственное раздутое чрево. Любое высокое знание, не дающее доллара, этот владыка презирает. Любое знание, обещающее лишний доллар, — покупает. Любое знание, которое может освободить от зависимости труд человека, — ненавидит.

Несомненно, большинство интеллигенции Соединенных Штатов Америки или Западной Европы отдаст себе отчет в том, что новая мировая война (если господа Кэнноны ее подожгут) будет катастрофичной по последствиям своим для всего человечества. Несомненно, они не хотят войны, они доброжелательны к людям и не способны вдохновляться кровожадными воплями Кэннона и ему подобных.

Но видят ли они, что на свете существует вполне реальная сила, способная предотвратить войну?

Для тех, кто этого не видит, Всемирный конгресс сторонников мира должен послужить путеводной звездой.

Сотни миллионов людей со всех частей света посылают своих представителей в Париж, чтобы они дружно и грозно произнесли могучее: «НЕТ!»

Нет, народы не хотят новой войны! Народы не допустят, чтобы лилась кровь матерей и детей, чтобы у молодого поколения было отнято право на будущее, право на жизнь! Единством и непоколебимостью своей воли к миру народы оградят себя от истребления.

Мир можно организовать. Мир можно сделать. Власть человека, созданного для общественной жизни, беспредельна. Эта власть порождает самое жизнь. Эта власть способна побороть любое зло. И зло войны не

может не уступить организованной воле народов к миру.

Тем, что мировая интеллигенция соединится в борьбе за мир с передовыми рабочими, с истинной народной демократией, она не только поможет человечеству освободиться от военной угрозы. Она совершит важнейший шаг к освобождению человеческого знания, человеческой мысли.

Когда планы воинственных конгрессменов типа Кэннона будут разрушены, когда готовящемуся преступлению против человека будет положен предел и поджигатели войны отступят перед защитниками мира — это будет крахом черных расчетов капитализма на использование науки в своих целях.

Говоря: «Нет, войне не бывать!» — интеллигенция говорит в то же время: «Нет, наука не допустит, чтобы ее плоды были использованы в преступных целях! Наука не для того указывает дорогу к знанию, чтобы капиталист умножал свои капиталы. Желтому Дьяволу не обратить человеческой мысли во зло человеку!»

Советская интеллигенция с помощью рабочего класса и в полном единстве с ним давно идет по пути безраздельного служения народу. Открытия, совершаемые учеными Советского Союза, не могут быть похищены торгашами, ибо торгашей в стране трудящихся нет. По следам ученого, открывающего неизведанные страны, в советском обществе идет не капиталист с целью личной наживы, но человек труда с целью обогащения плодами мысли всего народа.

На Всемирном конгрессе сторонников мира советская интеллигенция протянет руку передовой интеллигенции множества других стран, чтобы этим знаком дружбы и взаимного понимания показать единственный возможный путь к победе над угрозой войны — к международному сотрудничеству подлинных демократов всего мира в защиту мира.

#### ВО ИМЯ СЧАСТЬЯ НАРОДОВ

Все ценное, созданное художником в мировой литературе, жило и продолжает жить, потому что основано в своей сущности на приятии жизни как творческого созидания, на признании справедливости борьбы за лучшее устройство общества, за процветание народов и человека. В этом сила писателя, в этом объяснение влияния его искусства.

Идея мира между нациями не может не господствовать в умах и сердцах художников слова. Мир есть условие, которое необходимо для существования культуры, для ее роста. Только прочный и долгий мир обеспечивает развитие творческой энергии наций. Об этой простой очевидности можно было бы умолчать, если бы она не отрицалась или не уродовалась наемными полчищами писак, лакеев империализма, помогающих профессиональным спекулянтам на торговле вооружением.

Великим знаменосцем мира и дружбы между народами является Союз Советских Социалистических Республик.

Мир между народами был призывом, начертанным на знамени Великой Октябрьской социалистической революции. Этот гуманный лозунг Советов привлек на их сторону крупнейших писателей Европы и Америки. Друзьями молодого советского общества как знаменосца мира во всеуслышание и с гордостью объявили себя Ромен Роллан и Анатоль Франс, Бернард Шоу и Теодор Драйзер, Анри Барбюс, Мартин Андерсен-Нексе. Их присоединение к фронту мира дало могучий толчок прогрессивному движению среди международной интеллигенции, которое возглавил страстный борец за мир — Максим Горький. Десятки, сотни писателей всех стран на протяжении многих лет самоотверженно боролись в рядах сторонников мира.

Борьба за мир сливалась в одно целое с борьбой против реакции, с защитой культуры против фашизма. И это естественно.

Реакция и ее предельно агрессивное воплощение — фашизм, приговоренные к умиранию и конечной гибели всем ходом исторического развития общества, могут существовать единственно с помощью насилия, с помощью войн. События после второй мировой войны показывают это слишком обнаженно. Стремление народов к независимости от какой бы то ни было кабалы вызвало небывалое ожесточение империалистов, которые перешли к военному нападению на свободные государства.

Против кого посылали и посылают свои войска нынешние правительства Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции? Где стреляют их пушки? На чьи города и села падают их авиабомбы? Где рыщут их дредноуты и крейсера?

Американские и английские солдаты отравляли газами греческих партизан, отстаивавших право Греции на

внутреннюю свободу. Эти солдаты жгли китайские деревни вместе с обитающими в хижинах детьми и стариками. Эти солдаты бомбят сейчас города Кореи, стараясь повергнуть наземь народ, только что освобожденный от долголетнего японского гнета. А что творят французские экспедиционные войска во Вьетнаме? На какую «грязную войну» не готовы атлантические союзники американцев?

Нет, никакой писака не обелит позора захватнической войны, будь то обладатель раздутой известности Эптон Синклер, или претендующий на роль эстета Жюль Ромен, или перебегающий с одного фронта на другой мнимый демократ Теодор Пливье. Реклама американских коммерческих газет и французских однодневок-журналистов не создаст авторитета перу, воспевающему насилие над народами, которые не хотят уступить родную землю ни американскому доллару, ни американскому солдату.

Славу военным хищникам пели и будут петь оборотистые дельцы от литературы и воротилы газетных трестов. Писатель, достойный этого имени, пел и будет петь славу миру.

Недавно мне привелось как гостю участвовать в Конгрессе немецких писателей Германской Демократической Республики. Я счастлив был встретить глубокое понимание важнейших литературных задач, господствующее среди передовых писателей Германии. Дело борьбы в защиту мира от угрозы войны признано немецкой литературой одной из главных современных целей писательской деятельности. На этом сходятся художники самых разных индивидуальностей и дарований от Анны Зегерс, Арнольда Цвейга, Бодо Узе, Иоганнеса Р. Бехера, Людвиг Ренна, Бертольта Брехта, Фридриха Вольфа, Вилли Бределя до молодых, уже популярных в Германии поэтов Хермлина и Курта Бартеля.

Когда в своем выступлении на конгрессе я коснулся большой темы мира и сказал, что это есть именно та самая величайшая «вечная» тема поэта, которая так любезна и близка подлинному художнику; когда я заявил при этом, что, если бы меня лишили права писать о мире, я перестал бы быть писателем и стал бы несчастнейшим человеком, — присутствовавшие в зале откликнулись на мои слова с таким жаром сочувствия и одобрения, что я понял: передовая немецкая литература готова всеми средствами своих талантов — старших писателей и только что

явившихся — с воодушевлением работать во имя укрепления мира во всем мире, помогая своему народу изжить заразу нацизма и добиться объединения Германии на началах созидательного труда.

Современный писатель никогда не позабудет Максима Горького, учившего беззаветной службой народу литературным искусством, и прежде всего службой международной солидарности, международному миру. Писатель не позабудет труда и вдохновения, которые отдал в защиту культуры от фашизма Ромен Роллан. Это были стражи мира, гуманисты в истинном значении слова — пример высокий и вечно ободряющий для писателя в каждой стране.

Если после гнетущих годов гитлеровского мрака и бесправия немецкие писатели собрались в крепкий единомышленный отряд и выступают в первых рядах интеллигенции демократической Германии, отстаивая мир для своего отечества и для всех народов, то насколько больше у нас надежд и уверенности, что литературные силы других стран примкнут к необъятному движению противников войны!

Воодушевление, вызываемое сейчас Стокгольмским воззванием во всех уголках земли, является не только демонстрацией могущества фронта мира. Каждая подпись — это проба личной решимости человека отстаивать мир своею волей к нему, своею ненавистью к поджигателям войны. Каждая подпись — дело чести того, кто говорит: «Я — за мир».

Для писателя же подпись под Стокгольмским воззванием есть еще и объявление своего художественного кредо перед лицом всей литературы, перед лицом своих читателей.

Подписывая воззвание, писатель заявляет, что он работает в литературе ради всеобщего счастья народов и человека, что он своим делом художника готов помогать строительству справедливого общества и безгранично верит в будущее.

Мир — это жизнь, это счастливые дети, это расцвет культуры, — так понимают, так чувствуют свою непреклонную борьбу против поджигателей войны лучшие люди земли, друзья Советского Союза. Вот почему всякий честный писатель — естественный борец за мир, на каком бы языке он ни творил, в какой бы стране ни жил.

1950

Слишком скоро после мировой кровопролитной войны нашелся первый человеконенавистник, который во всеуслышание признал, что ему мало пролитой крови.

Слишком, кажется, немного времени прошло с тех пор, как прозвучало слово, заклеившее этого человеконенавистника и всех ему подобных:

«Поджигатели новой мировой войны».

Но сколько перемен произошло за это короткое время на земле и какие великие уроки получило много испытывавшее за свою историю человечество!

Открыто заключаются союзы для военных нападений. Открыто ведутся войны, не преследующие никаких целей, кроме захвата богатств и порабощения народов. Всеми мыслимыми техническими средствами размножаются призывы к истреблению деревень, городов и целых стран вместе с населяющими их людьми.

Все стало нагло обнажено там, где фабрикуется на экспорт за океан новые страдания для человека. Все меньше среди виновников нынешнего накала в международных делах видим мы господ, которые еще могут спрятать концы в воду, прикрыть черные замыслы мнимым благородством своей деятельности. Все больше и чаще эти господа либо вынуждаются к откровенности, либо сами петушатся и рвутся показать свою пригодность для службы врагам народов.

Мы хорошо запомнили таких прислужников войны, как, скажем, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Теодор Розбери. В своей книге «Мир или чума» он прославил чуму.

«Даже во время войны, — пишет Розбери, — преобдало такое мнение, что биологическое оружие является весьма грязным и отвратительным... Я считаю, что это скорее эмоциональное, нежели разумное восприятие вопроса... Какая разница, умрет ли человек легкой или мучительной смертью, ведь все равно он будет мертв. Нельзя быть более мертвым, чем труп».

«По моему мнению, — пишет он далее, — выделение биологических средств или любых других видов оружия, как особенно «ужасных» или «худших» с моральной стороны, не преследует какой-либо полезной цели и ничем не оправдано».

«Полезной целью» Теодор Розбери считает биологическую войну, «вредной целью» — мир. Я лично не встречал формулы, более совершенно определяющей самую сущность современного людоедства янки, чем эта формула профессора Колумбийского университета.

Не все поджигатели войны заявляют громко, что да, они хотят войны. Многие, и нередко главнейшие, скрыты пока темными шторами кабинетов или беседуют весьма тихо в уютных гостиных или в деловых бюро и конторах пресловутой нью-йоркской улицы, называть которую нам никогда не доставляло удовольствия.

Но сколько мрачных имен этих идеологов истребления было названо только за последний год!

Чему обязаны мы необычайно широкому оглашению таких имен во всех странах?

Мы обязаны этим истинно народному движению борцов за мир, движению, опоясавшему собой оба полушария, растущему особенно бурно в странах народной демократии, движению во главе с нашим великим Советским Союзом.

Надо представить себе на минуту, во что обратилась бы уже сейчас Организация Объединенных Наций, если бы в ней не раздавался голос Советского Союза. Чем был бы этот международный институт, созданный ради охраны мира, если бы мир не отстаивала, не защищала великодушная советская делегация с поддержкой представителей народно-демократических государств?

Организация Объединенных Наций окончательно стала бы подобием расширенного союза североатлантических стран, если бы замолк в ней протестующий против войны голос, который сейчас слышен на весь мир.

Советский Союз будет, конечно, и впредь исполнять свой долг, будет не переставая напоминать, что Организация Объединенных Наций создана во имя мира народов, а не ради войны, не для того, чтобы флагом большего числа наций прикрывать уничтожение наций меньшего числа.

В своей почетной миссии советская делегация в ООН опирается на мощь и международный авторитет своего государства. Голос Советского Союза звучит все сильнее. И сила этого звучания возрастает потому, что дело мира, отстаиваемое нашей страной и нашим правительством как дело жизни, поддерживается все могущественнее движением сторонников мира во всех странах.

Борьба за мир стала реальностью, которая сковывает пропагандистов войны, разоблачает везде и всюду еще притаившихся злодеев. Борцы за мир раздвигают шторы затемненных кабинетов, распахивают окна уютных гостиных, где тихо беседуют подлинные организаторы кровопролитий, для коих война — это «полезная цель», как точно выразился их подшефный, профессор Колумбийского университета.

Разоблачая поджигателей войны, сторонники мира в то же время показывают свою волю всею силой единства, образованного сотнями миллионов единомышленников, решительно защищать народы от покушений на их свободу и права. Борцы за мир — это прежде всего борцы!

Вот почему так последовательно, грубо, жестоко подвергается атакам лагерь мира со стороны лагеря войны. Поджигатели войны уже хорошо начали понимать, что им не простятся их преступления. И страх не избежать народного суда толкает их к жестокостям.

Очень верно сказал известный драматург французского буржуазного театра Поль Рейналь в замечательной статье, где он предлагает знаменитую формулу доктрины Монроэ — «Америка для американцев» — вывернуть наизнанку и переименовать так: «Янки, в Америку!» Он говорит:

«Одному богу известно, когда и после каких адских и бессмысленных мучений, перенесенных землей, придет конец нашествию янки, но он придет неизбежно, и последний акт трагедии может разыграться в самих Соединенных Штатах Северной Америки, опустошенных и посрамленных, раздавленных под тяжестью грандиозной евро-азиатской оккупации. Дело может кончиться новым Нюрнбергским процессом, который на этот раз происходил бы в Сан-Франциско или в Вашингтоне, при условии, что в Вашингтоне или Сан-Франциско сохранится хотя бы один уцелевший дом».

Вот эта роковая тень, тень Нюрнберга, и начала мешать сладкому сну янки в позолоченной колыбельке с тех пор, как вспенились гребни прибой, пробужденного сторонниками мира во всем свете.

Ибо не только передовые писатели рекомендуют сейчас янки отправляться в Америку. Во всех странах слышится этот вполне разумный совет — там, где положили ноги на стол американские дипломаты, там, куда везут из-за океана американские танки, там, где шляются по площадям нетрезвые солдаты американских оккупантов. В не-

давнюю бытность свою в Германии я читал чуть не на каждом шагу — на стенах, виадуках, мостах и крышах: «Ами, убирайся домой!»

Великое множество честных граждан Соединенных Штатов Америки не понимает, что их отечество тяжело больно, что оно распространяет заразу и что люди отовсюду в конце концов будут гнать янки вон, как гонят заразу.

Илья Эренбург привел в статье, посвященной Швейцарии, жуткий пример распространения долларовой инфекции:

«Передо мною циркуляр биржевого агентства «Аффиада», помещающегося в Цюрихе. Это агентство пишет своим клиентам: «Тот факт, что Россия также обладает атомной бомбой, вызовет еще больший рост американского вооружения. Ввиду этого на бирже наблюдается оживление с так называемыми «детьми войны», то есть с акциями предприятий, которые во время второй мировой войны благодаря военным заказам шли на повышение. Мы предлагаем вам краткое описание «Локхид эркрафт корпорейшн», акции которого приносят проценты, превышающие обычные, а именно 6, 7 проц.»

Вот они — «полезные цели» войны во всей их наготе — «проценты, превышающие обычные».

И так как сторонники мира выставляют карантин против заразы, так как сторонники мира подрывают успехи военных заказов и грозят снизить «проценты, превышающие обычные», реакция преследует борцов за мир всеми доступными ей полицейскими способами.

Все помнят, как на днях в западных оккупационных секторах Берлина полицейские избивали, арестовывали на улицах немецких профессоров, врачей за то, что они собирали подписи под Стокгольмским воззванием. Был схвачен и профессор университета имени Гумбольдта — Роберт Хавеман, который, работая в области атомной физики, выступал против атомной бомбы. Нам неизвестно, чтобы американская полиция схватила профессора Колумбийского университета Теодора Розбери за то, что, работая в области эпидемиологии, он выступал за применение чумных бактерий.

Наручники, избиения, издевательства являются действующим методом реакции в ее сопротивлении защитникам мира. Метод этот применяется не только на улицах и площадях. Он переступил пороги парламентов.

Нынешний год, ранней весной, в Бурбонском дворце Парижа, где заседает французское Национальное собрание, жандармы отличились кулачным боем с парламентской оппозицией. Они избивали депутатов-коммунистов, отстаивавших свое право на трибуну.

Депутатку Мари-Клод Вайян-Кутюрье жандармы топтали ногами.

Я не смогу, наверно, до конца жизни позабыть, с каким гордым и счастливым достоинством давала свидетельские показания Международному трибуналу Мари-Клод Вайян-Кутюрье. Она была посажена гитлеровцами в концлагерь Маутхаузен в Австрии, перенесла неслыханные долгие мучения и обвиня — как человек, как женщина, как французка — сидевших на скамье подсудимых фашистов, рассказывала не о своих, нет, не о своих страданиях, но о страданиях тех бесчисленных мучеников, которые расстались со своими жизнями на крутых ступенях карьеры, откуда они должны были поднимать на плечах непосильно тяжелые камни. Она как бы сама поднималась по этим залитым кровью ступеням вместе с мучениками фашизма и достигала высшей ступени — взойшла в зал суда над главными преступниками войны и сказала от имени всех погибших товарищей, борцов за правду, сказала голосом большой души: «Да, виновны».

И вот теперь на эту женщину новейшие преемники гитлеровских нравов спускают жандармов, чтобы они топтали ее в парламенте, который будто бы призван оберегать некую «демократию».

Нет, произвол над представителями народа и над самим народом никогда не заслужит имени демократии. И полицейский метод расправы с народным движением за мир, где бы он ни применялся — на улицах или в парламентах, — только разоблачает злобу и бессилие поджигателей новой войны, их фашистскую природу.

Огромна роль Советского Союза в распространении идеи мира во всем мире. Роль эту исполняет у нас воистину весь народ — и его рабочий класс, и его колхозное крестьянство, и его интеллигенция. Многие возложено народной борьбой за мир и на нас, писателей. Мы должны, мы хотим и мы будем отстаивать мир всеми силами талантов и способностей. Ибо это дело — важнейшее, драгоценнейшее для будущего всего человечества.

Историческая действительность говорит нам, что масштабы событий сейчас велики, как никогда прежде;



что темпы событий быстры, как никогда прежде; что напряжение событий растет.

Но мы видим, что противостоящие друг другу силы мира и силы войны неодинаковы. Видим, что нарастание сил мира идет гораздо более энергичными и прогрессирующими темпами.

Поэтому мы глядим вперед смело и бодро, несмотря на испытания, которые лагерь мира переносит.

Эпоха социализма давно вывела нашу страну на величайшую историческую арену защиты человечества от деградации, от вымирания. И мы можем сказать поджигателям войны: может быть, вам, господа, и удастся еще разжечь не один костер войны. Но они будут затушены. Пожар войны встретит всеобщее сопротивление, — народы не дадут огню охватить землю.

И не пожаром войны, а чистым воздухом, утром мира во всем мире будет приветствовать человечество свое завтра.

#### ФАКТЫ ИСТОРИИ

У порога второй половины века мир неузнаваемо преобразил свое лицо. Земля переменялась. Люди вступили действительно в новую, действительно в небывалую эру своего стремительного и неудержимого развития.

Никогда прежде в такой ограниченный срок не совершалось подобного гигантского переворота в общественных отношениях, в человеческом сознании, никогда не раскрывалось человеку столь много тайн природы и никогда он столь быстро и могущественно не овладевал ими, как это происходило на протяжении первой половины XX века. Словно накапливая силы целыми веками, история вдруг сделала фантастический скачок вперед.

Для нас, сынов и граждан Советского Союза, живущих в тридцать четвертом году Великой Октябрьской социалистической революции, особенно ярко видны все ступени пройденного пути.

Пал царизм. Пролетариат России свергнул власть капиталистов и помещиков. В ожесточенной гражданской войне, навязанной народу контрреволюционерами и иностранными интервентами, он победил и начал свое социалистическое строительство.

С волнением и благодарностью мы думаем о тех великих людях, о тех героях, которые не утрастились ни

враждебных действий белогвардейцев, ни наемных убийц, ни клеветы и тайных заговоров — всего, с чем выступила реакция в своем отчаянном сопротивлении революции. Истинная преданность делу освобождения человечества, делу коммунизма и любовь к родине, не знающая никакого страха, ни даже страха смерти, доставили этим народным героям непроходящую в истории славу.

Великое имя освещает собою нашу эпоху, вызывает у нас в отчизне и бесконечно далеко за ее рубежами восторженное признание — это дорогое человечеству имя Ленина. Величайшая из когда-либо существовавших политических партий, ведущая за собой сотни и сотни миллионов людей. Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков написала на своем знамени это имя. Его гением выражены лучшие чаяния века. Гений этот — не только мечта, он действие, он претворение в жизненной практике воли народов.

Созданием социалистического общества и государства страна наша пробудила глубокие народные силы и таланты. То, что прежде называлось «чудом», ныне стало действительностью. Всеобщая грамотность в советских республиках, образующих Союз, заложила основу для непрерывного роста революционной интеллигенции в городах и селах. Пришел новый ум и новый разум.

Привычное нам слово «советский человек» является одновременно и символом века, и его живым содержанием. Советская политика и советская мораль, советская наука, литература, советское воспитание, искусство — все это реальность нашего повседневного бытия.

У нас нет жизненной области, в которой не господствовала бы новая мощь советского патриотического сознания — начиная от индустрии и сельского хозяйства, где развитая техника день за днем облегчает человеческий труд, кончая кабинетом ученого или врача, участком садовода или вышкой нефтяника. Мысль бьется повсюду. Юности открыты дороги, горы, поля, леса. Матери верят в будущее своих детей.

В старых школах усердно внушалось ученикам, что идеалом гармонии был древний эллин. Но эллины жили тысячелетия назад, и ученики понимали, что преданиями об эллинах им внушается невозможность гармонии в нынешний дисгармоничный век, внушается слабость.

Взор наших школьников устремлен в настоящее и будущее. И они уже давно знают, что гармония — дело

рук человеческих, а вовсе не сказка. Они сами, вырастая, развиваясь душой и телом, строят гармонию своего мира. Они здоровы телом, крепки волей, богаты знанием, зрелы умом, когда выходят из школы и, засучив рукава, берутся за работу. Гармония — это их советское общество, внушающее им силу, это их путь к коммунизму.

Таков основной факт истекшей половины XX века: явился новый, советский человек, создано первое социалистическое государство — опора, надежда, защита трудящихся.

Историк уже теперь может с полной объективностью разработать и возвести здание величественной летописи пережитого нами пятидесятилетия. Ясно видны краеугольные устои этого здания, и среди них — другой факт мирового исторического значения: широчайшая освободительная борьба Азии против извечного своего врага и колонизатора, борьба, уже принесшая полную независимость Китаю.

Тяжелая многолетняя гражданская война, соединенная с войной против иностранных интервентов, завершилась к концу первой половины века победой китайской революции и установлением в Китае народно-демократического строя. Полумиллиардный народ во главе национального освобождения поставил свою отечественную партию коммунистов и сделался хозяином своей судьбы. Новый Китай — это новая великая победа прогрессивных сил человечества.

Они буйно растут, эти силы, они организуются к охране и действенной защите своих идеалов, они насаждают социалистическое сознание не только в Азии. Революционные, исторические прогрессивные события привели к созданию и победе народно-демократических государств в Центральной и Восточной Европе. Это третий факт, освещающий смысл происшедших громадных исторических сдвигов.

Образовалось могучее единство народов, независимость которых обеспечила свободное проявление их воли к мирному развитию. И это — виднейший итог, с которым мы вступаем во вторую половину XX века: народы организованно защищают мир во всем мире против поджигателей войны, и впереди борцов за мир последовательно, прямо, честно выступает Советский Союз.

Движение борцов за мир — одна из самых славных страниц истории нашего времени. Немало героев выдвиг-

нули сторонники мира в капиталистических странах. Немало успехов достигнуто за краткий срок в борьбе за мир.

Но с приходом второй половины века потребуется еще более широкая работа от национальных организаций борцов за мир, еще более стройное и пронизательное руководство от их международного органа — Всемирного Совета Мира.

Фронт мира должен расширяться, ибо враги мира чем дальше, тем озлобленнее и упорнее готовят мировой военный взрыв. С поразительным бесстыдством поджигатели войны используют в своих черных целях гениальные научные открытия, способные в невиданном масштабе облегчить труд человека и обогатить жизнь, если они будут применены для мирных задач.

Империализм обречен и потому безрассуден. Его вдохновители и слуги проливают без пощады человеческую кровь в расчете на будущие прибыли и доходы. Расчет неверен.

Мир победит войну.

Мы можем сказать врагам мира: вдумывайтесь чаще в факты истории. Вспоминайте уроки, преподанные вам судьбой Романовых, Гогенцоллернов, Габсбургов, судьбой Гитлера и Муссолини.

Все эти уроки содержатся в глубоко поучительной истории первой половины XX века, и ходить за ними не так далеко.

1951



**Николай Тихонов**

### О ЗАПРЕЩЕНИИ ПРОПАГАНДЫ ВОЙНЫ И ПРИНЯТИИ ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ МИРА<sup>1</sup>

Товарищи депутаты! Советский комитет защиты мира поручил мне доложить Верховному Совету Союза Советских Социалистических Республик о том призыве, с кото-

<sup>1</sup> Доклад на заседании Верховного Совета СССР в 1951 году.

рым обратился Второй Всемирный конгресс сторонников мира к парламентам всех стран по вопросу, непосредственно связанному с борьбой за мир, — о запрещении пропаганды войны и принятии Закона о защите мира.

Как известно, Второй Всемирный конгресс сторонников мира, собравшийся в ноябре прошлого года в Варшаве, явился событием огромной исторической важности. Он продемонстрировал непоколебимую волю народов к защите мира. Он показал единство во взглядах защитников мира всех стран на современные международные проблемы и способы их разрешения. Конгресс способствовал еще большему сплочению сил мира против поджигателей новой войны.

Специальное внимание конгресс уделил вопросу о борьбе с пропагандой новой войны. Пункт пятый Обращения конгресса к Организации Объединенных Наций гласит:

«Мы считаем, что пропаганда новой войны создает величайшую угрозу для мирного сотрудничества народов и является одним из тяжчайших преступлений против человечества.

Мы обращаемся к парламентам всех стран с призывом, чтобы они приняли Закон об охране мира, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду новой войны, в какой бы то ни было форме».

Конгресс считал совершенно бесспорной необходимость в такого рода законодательстве. В любом цивилизованном государстве действуют законы, карающие за подстрекательство к убийству и призывы к насилию. Почему же остаются безнаказанными призывы к массовому истреблению мужчин и женщин, детей и стариков, раздающиеся со страниц газет и журналов, по радио и в кино в государствах, кичащихся своим «западным образом жизни» и претендующих на звание цивилизованных государств? Почему в любом государстве любой человек, подстрекающий к убийству другого человека, карается со всей строгостью законов, а поджигатель войны, призывающий к нападению на другие страны, к истреблению целых народов, получает полную свободу для высказывания и пропаганды в печати своих человеконенавистнических идей?

Миллионы людей во всех странах считают, что раздуваемая империалистами пропаганда новой войны, принимающая все более широкие размеры, стала ныне такой

угрозой миру, на борьбу с которой должны подняться все честные и миролюбивые люди.

Следует подчеркнуть, что требование конгресса об осуждении военной пропаганды приобрело в настоящее время особенно важное значение. События последних месяцев показывают, что призывы к развязыванию новой войны усилились, а реальная подготовка к войне приняла небывалые размеры.

Правители многих империалистических государств объявили программы резкого увеличения вооруженных сил и производства вооружения. В Соединенных Штатах 16 декабря прошлого года введено чрезвычайное положение, которое в условиях мирного времени является событием, не имеющим никакого оправдания. К весне этого года в Соединенных Штатах подготавливается создание трехполовиномиллионной армии и большого воздушного флота; вводятся в строй резервные военные корабли и закладываются новые. Весь производственный аппарат Америки, находящийся в руках монополий, загружается миллиардными военными заказами и все более подчиняется целям подготовки войны.

Правительство Соединенных Штатов наметило ассигновать в ближайшие два года на военные цели более ста сорока миллиардов долларов — чудовищную сумму, значительно превышающую военные ассигнования США в разгар войны с гитлеровской Германией. Лейбористское правительство Англии наметило расходы на вооружение в ближайшие три года в сумме четырех тысяч семисот миллионов фунтов стерлингов. Военный бюджет Франции равняется сотням миллиардов франков. И все это — за счет сокращения гражданского производства, усиления налогового бремени трудящихся, роста цен на предметы первой необходимости, почти полного прекращения жилищного строительства, резкого уменьшения ассигнований на социальные и культурные нужды, хотя народные массы в этих странах терпят невиданные лишения, испытывают острый недостаток в жилище, в дешевой одежде, обуви и других необходимых товарах.

Наряду с продолжением безнадежной авантюры в Корее делаются попытки расширить агрессию на Дальнем Востоке, в первую очередь против китайского народа. Агрессорское ядро ООН во главе с Америкой протащило в этой организации позорное решение об объявлении «агрессором» Китайской Народной Республики с тем,

чтобы облегчить себе дальнейшее развязывание агрессии.

В нарушение всех международных соглашений форсированными темпами производится ремилитаризация Западной Германии и Японии. Бывшие гитлеровские офицеры, эсэсовцы, вчера отбывавшие наказание как военные преступники, сегодня выпущены из тюрем, одеты в форму и сводятся в боевые соединения, которые должны стать костяком будущей Североатлантической агрессивной армии. Заработали вербовочные пункты также в Японии, и остатки разбитой армии микадо потянулись в американские казармы.

В этой обстановке безумной гонки вооружений и лихорадочного сколачивания армий для нападения на СССР и страны народной демократии получили полную свободу носители самых низменных страстей, проповедники самых человеконенавистнических идей, которые отравляют международную атмосферу дикими призывами к массовым убийствам, к развязыванию новых войн.

Печать, радио, кино, художественная литература и искусство в странах Североатлантического блока все больше подчиняются интересам подготовки новой войны. Изо дня в день рядовому человеку Соединенных Штатов, Англии, Франции и других капиталистических стран приходится слышать по радио, читать в газетах и книгах лживые утверждения о том, что война неизбежна, что чудовищные затраты на вооружение оправданы, что враг стоит будто бы у ворот его страны и т. д.

Со страниц реакционных газет, с экранов кинотеатров, из радиопередач ежедневно выбрасываются потоки самых разнузданных угроз по адресу миролюбивых стран, призывы к истреблению целых народов. Сенатор-республиканец Брюстер из штата Мэн предлагает немедленно сбросить на китайцев атомную бомбу, как он говорит, «с такими же благотворными результатами, какие мы получили, когда сбросили бомбу на японцев».

Безумным призывам американских конгрессменов вторят их западноевропейские подголоски. Голландский журнал «Онс Легер», являющийся официальным органом союза высших офицеров Голландии, напечатал в феврале статью некоего Гейнсиуса, который призывает к войне против Советского Союза, к использованию в этой войне атомных бомб, бактериологического оружия, отравления посевов и т. д.

Черная волна таких людоедских призывов, истериче-

ских воплей, угрожающих заклинаний по воле империалистических правителей проникла во все области культуры, отравляя литературу, радио и кино стран капитализма.

Американская печать предлагает читателю романы вроде романа Джудит Меррих «Омраченный очаг», восторженно оповещая, что эта «книга показывает рядовому американцу, как важна подготовка к отражению внезапного вражеского нападения на крупные города США!» Роман оправдывает необходимость гонки вооружений и то, что рядовым людям надо приготовиться к самым тяжелым несчастьям, потому что они неизбежны.

В кинотеатрах демонстрируются фильмы, переполненные разбойничьими похождениями американских агрессоров в Корее; в этих фильмах испуганному зрителю показываются горы трупов, развалины горящих городов, по которым ходят «победители», всем своим видом показывая, что агрессорам все позволено и что нет силы, которая может им противостоять. Эти фильмы отвратительны своим цинизмом; вместе с тем они выглядят как жалкое хвастовство, особенно после того, как всему миру известны неоднократные поражения, которые потерпели американские войска в Корее.

Так, руками потерявших душевное равновесие сенаторов и министров, продажных журналистов и псевдолитераторов, владельцев мощных газетных монополий и радио-концернов творится черное дело развращения людей идеологией войны и убийства.

Цели, которые преследуют пропагандисты войны, с исчерпывающей ясностью раскрыты товарищем Сталиным в его недавней беседе с корреспондентом «Правды».

Товарищ Сталин показал, что агрессивные силы в США, Англии и Франции, все эти миллиардеры и миллионеры, жаждущие новой войны, боятся своих народов, которые не хотят новой войны и стоят за сохранение мира. Поэтому они стараются использовать реакционные правительства для того, чтобы опутать ложью свои народы, обмануть их и изобразить новую войну как оборонную, а мирную политику миролюбивых стран — как агрессивную. Они стараются обмануть свои народы для того, чтобы навязать им свои агрессивные планы и вовлечь их в новую войну.

Реакционные правители капиталистических держав пытаются убедить народы в неизбежности, неотвратимости

войны. Но это такая же ложь, как и все, что говорят эти правители.

«Мир будет сохранен и упрочен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои руки и будут отстаивать его до конца» — эти слова вдохнули новые силы в ряды защитников мира, вооружив их непоколебимой уверенностью в конечной победе дела мира на земле.

Во всем мире нарастает движение против войны, против милитаризации жизни, против высоких налогов, растущей дороговизны и нищеты, являющихся неизбежными спутниками гонки вооружений. Народы стоят за всеобщее разоружение, за мирную жизнь, против новых военных авантюр.

Кампания в защиту мира охватывает все более широкие массы населения, к ней присоединяются новые борцы за мир из рядов рабочего класса, крестьянства, средних слоев города, демократической интеллигенции, людей самых различных религиозных взглядов и политических воззрений.

Во всех странах мира, в том числе в Соединенных Штатах, ни на один день не прекращается широкая кампания протеста против войны в Корее, за мирное урегулирование корейского конфликта и прекращение агрессии на Дальнем Востоке. Бурю протестов вызывают планы создания так называемой Североатлантической армии, командующего которой, американского генерала Эйзенхауэра, население европейских городов встретило всеобщим требованием убраться обратно в Америку. В течение многих месяцев славные докеры Франции, Италии, Голландии, Бельгии, Норвегии отказываются разгружать поступающее в порты Западной Европы американское вооружение. Рабочие французских и итальянских заводов отказываются работать на войну и объявляют забастовки в защиту своих жизненных прав.

На наших глазах развертывается мощное движение европейских народов против ремилитаризации Западной Германии. Народные массы Франции, Польши, Чехословакии, Бельгии и других соседних с Германией стран, переживших две мировые войны, а также население самой Германии оказывают решительное сопротивление американским планам возрождения германского милитаризма. Они знают, что ремилитаризация Германии означает подготовку новой войны под диктовку американских миллиардеров. Они знают, что ремилитаризация Германии на руку

поджигателям войны и исключает возможность сохранения мира между народами. Тот, кто сегодня добивается сохранения мира, должен бороться против ремилитаризации, против превращения германского народа в пушечное мясо для американских поджигателей войны.

Призыв Второго Всемирного конгресса сторонников мира к правительствам всех стран запретить преступную пропаганду войны нашел горячую поддержку миллионов людей во всем мире.

Советские люди горячо одобряют этот призыв. В Советской стране нет почвы для пропаганды новой войны. Вся жизнь советских людей построена на совершенно иных началах, нежели жизнь населения в странах империализма. Весь образ жизни советских людей исключает всякую возможность проповедей человекоубийства и нападения на другие народы.

Советский человек начиная с детства, со школьной скамьи живет в мире, где ни от кого не слышит поучений о необходимости агрессии и завоевания других народов, о презрении к человеку другого языка или цвета кожи. Он не встречает книг, где бы проповедовалась ненависть и кровавая жестокость. Он не видит фильмов, в которых показывались бы подвиги гонимых и убийц. Он не смотрит в театрах пьес, зовущих его на агрессивную войну, на покорение европейских или азиатских стран.

Его жизнь счастлива и разумна. Он отдает свои таланты родному народу, родной стране. Он занят мирным созидательным трудом, культурным строительством, наукой, искусством.

Мудрая большевистская партия воспитывает советских людей в духе высокого уважения к другим народам, признания равноправия всех наций и укрепления дружбы между ними. Советские писатели, воспитанные партией на высоких идеях социалистического гуманизма, создают образы людей советского общества, образы героев Великой Отечественной войны и героев гигантских народных коммунистическихстроек. Советские художники изображают исторические события в жизни нашей Родины и величайшие изменения в облике наших городов и колхозной деревни, советские артисты играют в пьесах, где изображены люди, увлеченные высокими идеями служения своему народу. Советские кинофильмы воспитывают молодое поколение в духе верности социалистическим идеалам и беззаветного служения своей Родине. Нам не

приходится подвергать «решительному бойкоту», как того требует резолюция Всемирного конгресса сторонников мира об осуждении пропаганды войны, ни романы, ни сценарии, ни пьесы, ни картины, потому что в Советском Союзе нет мастеров искусства или литературы, являющихся подстрекателями войны, пропагандистами агрессии.

Мы приветствуем предложение Второго Всемирного конгресса сторонников мира парламентам всех стран о принятии Закона в защиту мира. Мы считаем, что в дни, когда мутная волна военной пропаганды захлестнула Соединенные Штаты, Англию и другие страны империализма, судьбы мира нуждаются в защите всеми возможными способами. Народы не могут мириться с безнаказанностью ведущейся агрессивными кругами некоторых государств пропаганды новой войны, ибо они перенесли на протяжении жизни одного поколения тяжелые бедствия двух войн. Советские люди не могут не рассматривать пропаганду войны как тягчайшее преступление против человечества.

Товарищи депутаты!

Позвольте мне внести на рассмотрение Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик следующий проект Закона о защите мира:

#### «ЗАКОН О ЗАЩИТЕ МИРА»

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик, руководствуясь высокими принципами советской миролюбивой политики, преследующей цели укрепления мира и дружественных отношений между народами, признает, что совесть и правосознание народов, перенесших на протяжении жизни одного поколения бедствия двух мировых войн, не могут мириться с безнаказанностью ведущейся агрессивными кругами некоторых государств пропаганды войны и солидаризируются с призывом Второго Всемирного конгресса сторонников мира, выразившего волю всего передового человечества в отношении запрещения и осуждения преступной военной пропаганды.

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:

1. Считать, что пропаганда войны, в какой бы форме она ни велась, подрывает дело мира, создает угрозу новой войны и является ввиду этого тягчайшим преступлением против человечества.

2. Лиц, виновных в пропаганде войны, предавать суду и судить как тяжких уголовных преступников.

Товарищи депутаты!

Не подлежит сомнению, что советский народ будет единодушно приветствовать принятие Верховным Советом СССР Закона о защите мира.

Принятие Верховным Советом СССР Закона о защите мира явится новым доказательством миролюбия советского народа, новым свидетельством наших мирных намерений!

Принятие этого Закона будет сильным ударом по всем злым пропагандистам войны, по всем человеконенавистникам, продажным слугам империалистических агрессоров, живущих клеветой на миролюбивые народы. Принятие Закона о защите мира будет новым вкладом Советского государства в дело защиты мира, защиты лучших достижений человечества в борьбе с мрачной и дикой реакцией, толкающей народы в пропасть новой мировой катастрофы.

Вместе с тем Закон о защите мира, принятый и утвержденный высшим органом власти в нашей стране — Верховным Советом Союза Советских Социалистических Республик, еще более укрепит лагерь защитников мира, придаст всем борцам за мир новые силы и укрепит их уверенность в победе правого дела мира.

1951



## Список использованной литературы

1. Великая Отечественная война в современной литературе. Сб. статей. Отв. ред. В. И. Борщуков, Л. В. Иванова.— М.: Наука, 1982.— 333 с.— (Ин-т мировой литературы).
2. Венок славы. Антология художественных произведений о Великой Отечественной войне. В 12-ти т. Т. 1.— М.: Современник, 1983.
3. Фронтвые очерки о Великой Отечественной войне. Т. 2.— М.: Воениздат, 1957.
4. Военная публицистика и фронтовые очерки.— М.: Худож. лит., 1966.
5. От Советского Информбюро 1941—1945 гг. Публицистика и очерки военных лет. Т. 1, 2.— М.: Изд-во АПН, 1982.
6. Кривицкий А. Горизонты публицистики.— Москва, № 11, 1983.
7. Грибачев Н. Выбор века. Публицистика.— М.: Сов. Россия, 1969.
8. Леонов Л. В наши годы. Публицистика 1941—1948 гг.— М.: Сов. писатель, 1949.
9. Соболев Л. Собр. соч., т. 3.— М.: Худож. лит., 1973.
10. Твардовский А. Т. Собр. соч., т. 4.— М.: Худож. лит., 1978.
11. Тихонов Н. Собр. соч., т. 7.— М.: Худож. лит., 1976.
12. Толстой А. Н. Военная Публицистика.— М.: Сов. Россия, 1980.
13. Фадеев А. Бессмертие.— М.: Сов. Россия, 1981.
14. Федин К. Собр. соч., т. 8.— М.: Худож. лит., 1972.
15. Шолохов М. Слово о Родине.— М.: Сов. Россия, 1980.
16. Эренбург И. Собр. соч., т. 5. Очерки, статьи.— М.: Худож. лит., 1954.
17. Эренбург И. Собр. соч., т. 7.— М.: Худож. лит., 1966.

## СОДЕРЖАНИЕ

И. Кузьмичев. *Голос героического народа* . . . . . 5

### 1941 год

А. Толстой. Родина . . . . .	19
Что мы защищаем . . . . .	25
Только победа и жизнь! . . . . .	29
К. Симонов. Июнь — декабрь . . . . .	32
Н. Тихонов. Город в броне . . . . .	41
Л. Соболев. Одесса в бою . . . . .	45
М. Шолохов. Люди Красной Армии . . . . .	50
В. Ставский. Боевая орденосная . . . . .	56
А. Фадеев. Единение славянских народов в борьбе против гитлеризма . . . . .	61
Е. Воробьев. Половодье в декабре . . . . .	67
П. Лядов. Зоя Космодемьянская . . . . .	76
И. Эренбург. 30 декабря 1941 года . . . . .	88

### 1942 год

Л. Леонов. Твой брат Володя Куриленко . . . . .	92
Е. Петров. На левом фланге . . . . .	105
М. Шолохов. Наука ненависти . . . . .	108
Б. Полевой. В партизанском крае . . . . .	124
А. Фадеев. Дети . . . . .	129
А. Сурков. Земля под пеплом . . . . .	135
К. Симонов. Дни и ночи . . . . .	141
А. Толстой. Самоотверженность . . . . .	149
Л. Леонов. Неизвестному американскому другу. <i>Письмо первое</i> . . . . .	152

### 1943 год

Л. Леонов. Неизвестному американскому другу. <i>Письмо второе</i> . . . . .	162
Вс. Вишневский. Битва на Неве . . . . .	170
Евг. Кригер. Ответ Сталинграда . . . . .	174
М. Шолохов. Письмо американским друзьям . . . . .	182
А. Платонов. Девушка Роза . . . . .	184
К. Симонов. Песня . . . . .	190
А. Фадеев. Бессмертие . . . . .	196
С. Борзенко. Десант в Крым . . . . .	203
И. Эренбург. Душа России . . . . .	229

1944 год

Н. Тихонов. Победа! . . . . .	237
К. Федин. Ленинградка . . . . .	245
А. Платонов. Сын народа . . . . .	249
Л. Леонов. Немцы в Москве . . . . .	256
Б. Горбатов. Лагерь на Майданеке . . . . .	260
Л. Соболев. Дорогами побед . . . . .	275
А. Толстой. Наше наступление . . . . .	334

1945 год

Н. Тихонов. Армия-освободительница . . . . .	337
К. Симонов. Встреча в Куманче . . . . .	340
К. Федин. Вершина . . . . .	351
Вс. Вишневский. Уличные бои в Берлине . . . . .	354
Е. Воробьев. Трубка снайпера . . . . .	360
И. Эренбург. 27 апреля 1945 года . . . . .	367
Б. Горбатов. Капитуляция . . . . .	371
А. Твардовский. Утро праздника . . . . .	376
Вс. Иванов. Парад бессмертной славы . . . . .	378

Первые послевоенные годы

М. Шолохов. Слово о Родине . . . . .	384
А. Твардовский. В родных местах . . . . .	409
Л. Леонов. В защиту друга . . . . .	427
И. Эренбург. Открытое письмо писателям Запада . . . . .	438
А. Фадеев. Речь на массовом митинге в защиту мира в Стокгольме . . . . .	444
К. Федин. В защиту мира . . . . .	448
Н. Тихонов. О запрещении пропаганды войны и принятии Закона о защите мира . . . . .	467
Список использованной литературы . . . . .	476

Публицистика периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет /Сост. Ю. Н. Афанасьева; Предисл. И. К. Кузьмичева; Худож. А. Ременник.— М.: Сов. Россия, 1985.— 480 с.— (Школьная б-ка).

В сборнике собраны и расположены в хронологическом порядке лучшие публицистические статьи и очерки виднейших советских литераторов о героизме нашего народа в период Великой Отечественной войны.

Но это лишь малая часть того, что было создано нашими художниками слова в годы тяжелых испытаний.

Публицистика того времени показала истоки героизма советского народа.



*Для детей старшего школьного возраста*

**Составитель**  
**Юлия Николаевна Афанасьева**

**ПУБЛИЦИСТИКА ПЕРИОДА  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
И ПЕРВЫХ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ**

Редактор *М. В. Долотцева*  
Художественный редактор *М. В. Таирова*  
Технический редактор *И. И. Капитонова*  
Корректоры *Н. В. Бокша, З. И. Шехмейстер*

ИБ № 3859

Сдано в набор 18.02.85. Подписано в печать 18.06.85.  
А07670. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типогр. № 1. Гар-  
нитура школьная. Печать высокая. Усл. п. л. 25,20.  
Усл. кр.-отт. 25,20. Уч.-изд. л. 26,23. Тираж 150 000 экз.  
(1 а-д 1—75 000 экз.) Заказ № 90. Цена 1 р. 20 к.  
Изд. ннд. ЛД-7.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия»  
Государственного комитета РСФСР по делам изда-  
тельства, полиграфии и книжной торговли. 103012, Моск-  
ва, проезд Сапунова 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Госу-  
дарственного комитета РСФСР по делам издательства,  
полиграфии и книжной торговли, 144003, г. Электро-  
сталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

Отпечатано с фотополимерных печатных форм «Цел-  
лофот»